

Дружба народов

5, 89

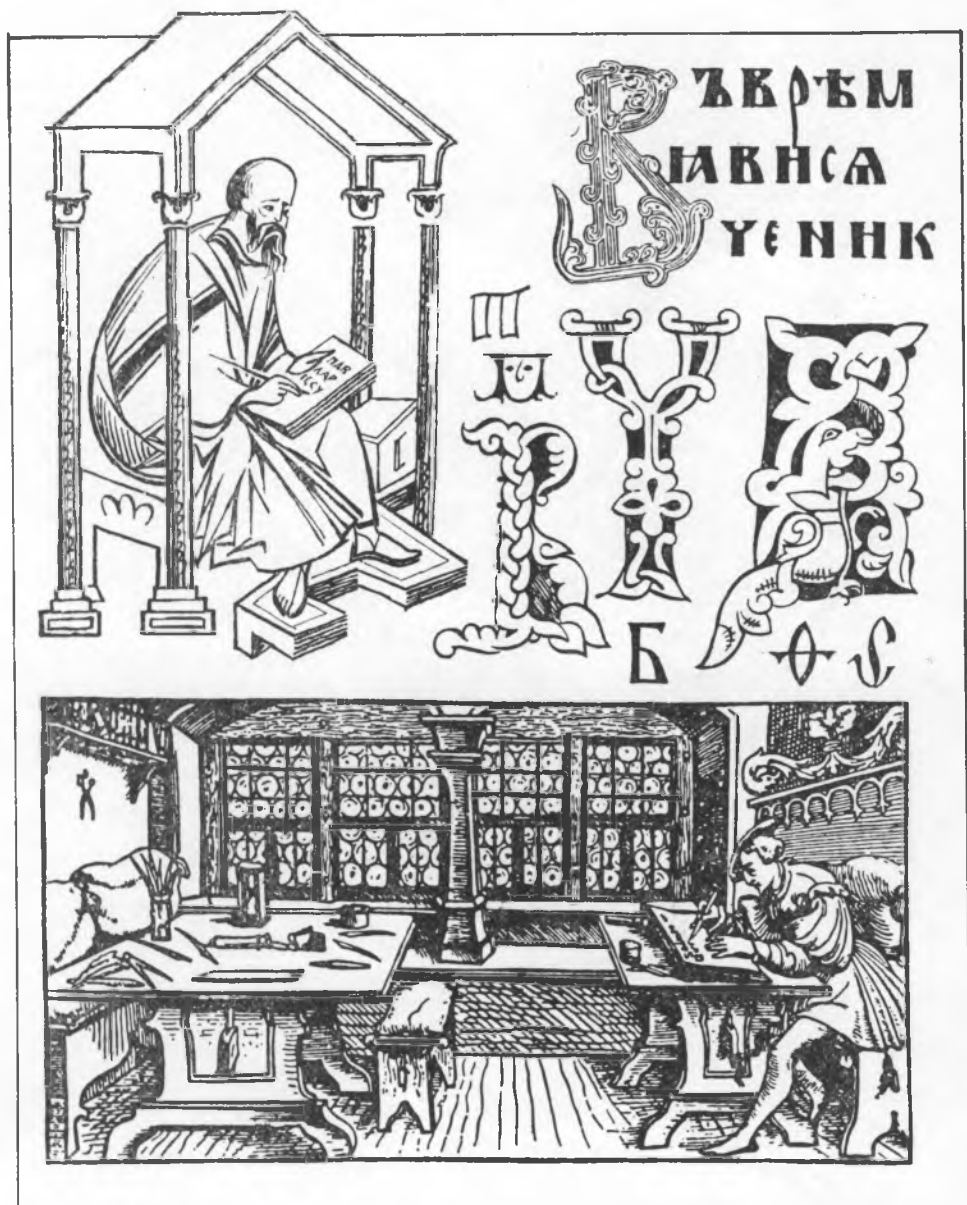


ежемесечный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

орган
Союза
писателей
СССР

Дружба народов

5 89



Г. ДМИТРИЕВ

В. Пуль. Человек придумал книгу.
Иллюстрация.

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

**ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ СССР**

**Основан в марте
1939 года**

Адрес редакции:
121827 ГСП
Москва, Г-69,
ул. Воровского, 52.
Телефоны:
главный редактор
и первый заместитель
главного редактора —
291-62-27,
заместитель
главного редактора
и зав. редакцией —
291-62-49,
ответственный секретарь —
202-52-03,
отдел прозы — 291-63-63,
отдел поэзии — 291-85-10,
отдел публицистики —
291-63-54,
отдел критики
и библиографии — 291-05-09,
отдел художественного
перевода
и отдела культуры
и искусства,
редактор приложений —
291-64-50.

Сдано в набор 07.02.89.
Подписано в печать
31.03.89.
А 00862.
Формат бумаги 70×108^{2/16}.
Бумага кн.-журн.
Гарнитура «Балтика».
Печать высокая.
Усл. печ. л. 23,8.
Усл. кр.-отт. 26,25.
Уч.-изд. л. 29,12.
Тираж 1.170.000 экз.
(1-й завод 1—400.000 экз.).
Зак. 599.
Цена 1 р. 10 коп.

Издательство
«Известия Советов
народных депутатов СССР»
103798, ГСП, Москва, К-6,
Пушкинская пл., 5

Ордена
Трудового Красного
Знамени
типография «Известий
Советов народных
депутатов СССР»
имени
И. И. Скворцова-Степанова,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Дружба 5'89 народов

Редакционная коллегия

Главный редактор

Сергей
БАРУЗДИН

Первый заместитель
главного редактора

Леонид
ТЕРАКОПЯН

Акрам
АЙЛИСЛИ

Ануар
АЛИМЖАНОВ

Лев
АННИНСКИЙ

Альгимантас
БУЧИС

Василь
БЫКОВ

Игорь
ЗАХОРОШКО

Наталья
ИВАНОВА

Анатолий
ИВАЩЕНКО

Наталья
ИГРУНОВА

Юрий
КАЛЕЩУК

Николай
КАРЦОВ

Алим
КЕШОКОВ

Юрий
КИРШИН

Григорий
КОРАБЕЛЬНИКОВ

Георгий
ЛОМИДЗЕ

Елена
МОВЧАН

Рафаэль
МУСТАФИН

Леонид
НОВИЧЕНКО

Борис
ПАНКИН

Вардгес
ПЕТРОСЯН

Тимур
ПУЛАТОВ

Александр
РУДЕНКО-ДЕСНЯК

Юрий
СУРОВЦЕВ

Бронислав
ХОЛОПОВ

Константин
ЩЕРБАКОВ

Ответственный секретарь

Зам. главного редактора

Художественный редактор

Николай
ПШЕНЕЦКИЙ

Технический редактор

Анна
СЕЛИВЕРСТОВА



ЮРИЙ РЫТХЭУ

*Путешествие в молодость,
или Время красной морошки*

ВИКТОР НЕКРАСОВ

*Маленькая
печальная повесть*

Из литературного наследия

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

Рассказы



ШОТА НИШНИАНИДЗЕ, НИКОЛАЙ ТРЯПКИН,
АЛЬМИС ГРИБАУСКАС, ВЛАДИМИР АДМОНИ

НАЦИЯ И МИР

*Что такое сегодня
автономия?*

Совещание в журнале «Дружба народов»

*Национальное
и провинциальное*

С главным редактором журнала «Огонек»

ВИТАЛИЕМ КОРОТИЧЕМ

беседует писатель ЮРИЙ ПОКАЛЬЧУК

Шота Нишнианидзе

**Как март,
переменчива
доля...**



С грузинского

* * *

Перевод Я. Гольцмана

В тот пасмурный день, когда я появился на свете,
Господь алычовою кистью светлил Имерети.

Как март, переменчива доля. Я жил подрастая.
Судьба непростая. И все же, наверно, простая.

И лишь одного не касаются все перемены:
Краса алычовая,
Горечь ее —
Неизменны...

Улетевшая эпитафия

Перевод С. Надеева

В той стороне — Финляндия легла.
За гранью времени, за гранью расстояний
Мы десять месяцев валяли дерева,
Как нелюди, стоящие за гранью.
Должно быть, Бог забросил все дела,
Дремал вдали
От нашей лесосеки, —
Топор и поперечная пила
Его не разбудили,
Не смогли,
Ни в том лесу
(Ни в человеке).
И участь горькая...
А от родной земли
Осталось нам студеное соседство:
Рубили лес, пилили горбыли —
И не могли согреться...

Морозы тужились.
Валились миражи,
Как птицы с обмороженной душою.
И память медленно... попробуй, удержи! —
Затягивалась плотной пеленою.
Уж вечность, кажется, живем в лесу пустом,
Как дикари, мотая век свой кроткий,
А лишь забудемся — и видим отчий дом,
Не оставляющий в тревожных снах коротких:

Лозу под окнами да поле, огород
И над водой оцепеневший скот...

Когда бы встретили
В те времена
В пути
Калеку горького, убогого, блажного,—
Наверно бы, вскричали,
Рассудив,
Что Бога встретили земного.
Уже не верилось, что где-то могут быть
Обычные людские отношенья,
Что есть кому
Тепло земное длить
И жить без понужденья.
Нам знать хотелось: было ли когда
Без окрика и кулака?
Отказывался верить разум наш,
Что где-то есть широкие бульвары,
Веранда в сад, открывшийся пейзаж,
Где сам собой курчавится маглари¹,
Что где-то время протекает без
Регламента и распорядка,
Что кто-то спит, а не уходит в лес
И волен спать, посапывая сладко.
Уже не верилось, не доставало сил,
Что где-то существует жизнь, помимо...
Мы все
Из тех, кто верил и любил
Воистину и неисповедимо...

Еще мороз выламывал сушняк,
Спеша под утро к' нашему ночлегу,—
Мы снялись с места, бросили барак
И целую неделю шли по снегу.
И снег... и снег... все вымерло вокруг,
Слепого пиршества безмолвные детали;
И путь и время поседели вдруг —
Или же вовсе не существовали?
Заснежило, вокруг белым-бело,
Безмолвие природы первозданно,
И горизонт сломался, как крыло,
Над нами занесенное пространно.
И мысли белые, и тишина,
Разлитая по миру безупречно,
И белая, как саван, бесконечность.
И белая, наверно, смерть сама?

Мы возвращались с зоны в снегопад.
Усталые. Прийти и лечь, не медля.
Напарник мой, бредя со всеми в ряд,
Напоминал косматого медведя.
Замаявшись протаптывать тропу,
Стояли мы, молчали отрешенно,
Как вдруг ворвался в нашу немоту
Крик петуха невнятно, приглушенно.

Я обернулся,— по снегу бежал,
Без шапки, проседая то и дело,

¹ Вьющаяся лоза.

Напарник мой, Степко!—
на снег упал
И задрожал всем телом.

Оторопев, не знали, что сказать.
Как зверь ревел, врывая в снег ладони,
Как буйвол, не согласный умирать,
Смерть чующий на бойне.

Я в горе видывал и жен, и матерей
На поле битвы,
Перед позорной плахой,
Клянущих смерть,
Идущих вслед за ней,
Стенающих над смертною рубахой,—

И я скажу, что не видал страшней,
Чем вой мужчин, в отчаяньи бессильных
Перед тоской

— а что сравнится с ней? —
Перед тоскою лагерных и ссыльных...

Скорей всего, он засмотрелся ввысь
И осознал с отчаяньем безбрежным
Свою неполучившуюся жизнь
И навсегда увечные надежды,

А тот далекий возглас петуха
Последней каплей умопомраченья
Швырнул на снег...
Тоска... тоска... тоска...
Бесплодие влеченья...

И вновь пошли угрюмые ряды.
А в сторону тянулась нить... прервалась...
Казалось мне, что это не следы,
А смерти эпитафия осталась.

И видел я сквозь мутную пургу
(О Господи, возьми к себе, потребуй!),
Как те следы, остывшие в снегу,
Ночными птицами перечеркнули небо.

Бескрайние просторы им тесны.
Потянутся, почувствовав сплоченность,
Подхватят наши горестные сны,
Надежды, обреченность.

Их черный клин, рубящий, как шрам,
Тревожащим нечетким очертаньем
Поворотил с протяжным причитаньем
К пустеющим домам...

Пройдут года,
И наша боль — пронзит
Художника, что к жизни приникает:
Ведь для того, кто пристально глядит,
На свете ничего не пропадает.

А матерям, считать уставшим дни,
Рассказ мой
Повторит гадалка слепо
С колодой карт...
И в снах прочтут они
Ту эпитафию, подымающуюся в небо.

Юрий Рытхэу

Путешествие в молодость, или Время красной морoshки



ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ

*Прожитого не исправить,
но на то и гана
нам память, чтобы обогащать жизнь
воспроизведением незаслуженно
забытого.*

*Невозможно вернуться в молодость и
исправить ошибки. Ну, а если бы у
людей была возможность исправлять,
догодевать прожитое, была бы жизнь
счастливой?*

*Мой земляк и родич Атык, певец,
поэт и морской охотник, как-то
рассказал мне свой сон.*

*Будто призвал его бог, почему-то
сидящий в кабинете, похожем на
обиталище первого секретаря чукотского
райкома партии, и предложил новую
жизнь той же протяженности, что уже
прожил Атык. Певец сначала*

*обрадовался: кому не хочется проглотить
свое существование на земле?*

*Но бог предлагала любую другую жизнь,
только не прожитую уже охотником-
поэтом. И Атык задумался: значит,
он никогда не встретит ту, которую
любил всю жизнь и схоронил на
вершине холма Памяти Сердца,
не будет у него тех детей, которых
вырастил. Он даже будет жить не в
своем родном Улаке, а где-то в другом,
незнакомом месте. И Атык отказался от
предложения бога: он не хотел,
не мог стать другим, ему нужна
была только своя, собственная жизнь,
со всеми ее радостями и горестями.*

*Да, нельзя переделать то, что прожито.
Но можно посмотреть на жизнь свою
с иной высоты.*

РЫБИЙ ГЛАЗ

В начале июля в Ленинграде настоящее лето. Даже если и случается прохладная погода, все равно чувствуется затаившееся где-то в недрах зеленых парков, в лабиринтах проходных дворов, за высокими кирпичными заборами заводов и фабрик и даже под полотнами нависших над Невой мостов летнее тепло, которое может неожиданно дохнуть в лицо, еще раз напомнив о прекрасной поре, когда высокая трава скрывает уже отцветающие медоносы, когда созревает первая ягода этих широт — черника, а по вечерам громяхают грозы.

...В университетских общежитиях стало совсем пусто: разъехались иногородние студенты, а заочники заняли несколько аудиторий в здании исторического факультета.

В общежитии северного факультета я остался в комнате один: товарищи отбыли в дом отдыха на станцию Сиверская, а мне надо было закончить рукопись «Книги для чтения» на чукотском языке, готовившейся в Учпедгизе. Дом, где помещался Учпедгиз, был приметным. Снаружи он выделялся причудливой архитектурой, огромными окнами, обращенными на полукружья колоннады Казанского собора. На крыше торчала стеклянная башня со светящимся по вечерам глобусом. До революции в этом здании помещался российский контора знаменитой на весь мир фирмы швейных машин «Зингер». Эти чудомашинки добирались даже до далекой Чукотки.

Изнутри здание впечатляло просторным вестибюлем с двумя украшенными ажурной ковкой лифтовыми шахтами и громадными, до самого потолка зеркала на лестничных маршах.

Спускаясь с четвертого этажа, я видел в полутемной зеркальной глубине худощавого, сильно вытянувшегося молодого человека, коротко стриженного, в двухцветной куртке «москвичка», серых брюках, измазанных понизу белой полоской от зубного порошка, которым были щедро намазаны парусиновые летние туфли. Одежда по тем временам (начало пятидесятых годов) была вполне приличной, и в ней даже можно было знакомиться с девушками, не рискуя выглядеть смешным и убогим.

Причастность к изданию книги возвышала меня в собственных глазах. Ведь мое участие состояло не просто в переводах с русского — приходилось и самому сочинять, особенно в тех случаях, когда требовались стихотворные вставки в определенные разделы, такие, как «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Началось это с того, что, не подозревая о последствиях, я после нескольких мучительных вечеров принес своему соавтору и учителю Петру Яковлевичу Скорика первое стихотворение с простым названием «Зима» — двенадцать строк, описывающих чукотскую зиму.

Стихотворение «Весна» уже не потребовало больших творческих мук, а остальные — «Лето» и «Осень» — и вовсе вылились как-то сами по себе. И не только потому, что эти времена года на моей родине были коротки, а скорее от ощущения, будто эти строчки находились где-то в закоулках моей памяти, лишь ожидая часа своего освобождения.

— Ты когда-нибудь писал стихи? — с некоторым подозрением спросил меня Скорик.

— Никогда.

— Ну, значит, у тебя есть поэтический талант, — решительно объявил учитель. — Пиши. Пиши как можно больше. Осенью покажешь, что сделал, и мы издадим твой сборник стихов. Представляешь, какая будет сенсация — первый чукотский поэт!

Однако вдохновения у меня хватило ровно на четыре стихотворения. Свою неудачу я объяснял тем, что мне не была досконально известна теория стихосложения, да и стихи в том виде, как они сложились у меня, ранее не существовали на чукотском языке.

Я взял в библиотеке книгу Вересаева о Пушкине, намереваясь там вычитать полезные сведения о поэтическом озарении.

В пустой комнате общежития, заставленной голыми кроватями, было прохладно и тоскливо. Все чаще вспоминалась далекая родина, короткое, но такое яркое северное лето. Сейчас у берегов Улака уже нет припая. Если даже северный ветер пригоняет лед, то стоит только подуть южаку, как его относит далеко за горизонт. Вельботы уходят ранним солнечным утром и возвращаются к вечеру, когда солнце стоит над Инчоунским мысом. В каждой яранге варят еду, и дым от костров стоит над крышами из закопченных моржовых кож.

Перед сном я пересекал двор филологического факультета и выходил на полчаса на Университетскую набережную. Маршрут у меня был привычный. Сначала направо, к мосту лейтенанта Шмидта, мимо двух сфинксов напротив Академии художеств, за старую церковь с искусственным катком, туда, где, причаленное к каменной стенке, стояло старое немецкое пассажирское судно, служившее общежитием. Возле него всегда толпился народ, порой прямо у ржавого борта устраивались танцы под аккордеон или установленный на палубе патефон. Кроме парохода-общежития вокруг стояли разнокалиберные суда, словно притягиваемые бронзовой фигурой великого русского мореплавателя Крузенштерна.

Именно здесь я познакомился с девушкой. Она стояла в кругу наблюдавших за танцующими, видимо, такая же одинокая, как и я,

и пряталась за спины, когда кто-нибудь направлялся к ней, намереваясь пригласить ее на танец. У нее были длинные, слегка выщипанные пепельно-серые волосы, и окраска их была не совсем равномерной, очевидно, они выгорели на солнце. На ней был аккуратный, но, вidać, довоенный еще жакет темной ткани и такая же темная юбка. Она выделялась обыденностью среди этой, специально наряженной для вечернего времяпрепровождения публики.

Когда патефон смолк и люди стали расходиться, я увидел ее снова, уже удаляющейся по набережной. Девушка шла к мосту лейтенанта Шмидта. Она пересекла трамвайную линию и свернула к Соловьевскому садику с обелиском «Румянцева победам». Но в садик не вошла, а прошла вдоль ограды и свернула на Первую линию.

И тут я заметил, что глупо и даже нагло иду за ней. Девушка несколько раз оглядывалась и, наверное, побежала бы, если бы не редкие прохожие.

Я остановился, дал девушке удалиться, свернуть на Первую линию, останувшись улицу и мимо Меншикова дворца направился в свое общежитие, мысленно ругая себя за назойливость.

Но, удивительно, облик девушки, ее лицо, обрамленное пепельно-серыми, слегка выцветшими под солнцем волосами, большие глаза под очень пушистыми темными ресницами так и стояли перед моими глазами. Это было тем более удивительно, что я видел ее на расстоянии. Выходит, я только и делал, что разглядывал ее весь вечер...

Нет, она не приснилась мне в ту ночь, и на следующее утро я едва мог вспомнить ее лицо.

Книга, работа над которой задерживала меня в городе, наконец была готова, сдана в производство, и оставалось еще дня два-три до отъезда в дом отдыха на станции Сиверская.

Несколько вечеров я не ходил на набережную, пытаюсь теперь написать рассказ, совсем крохотное повествование о морской охоте, которое мой соавтор намеревалась поместить в следующей книге.

— Чем больше будет настоящего, оригинального материала, — наставлял он, — тем книга будет лучше, тем интереснее она будет для твоих земляков.

Я не хотел огорчать учителя признанием, что для меня учебники были интересны именно тем, что в них можно было вычитать о совершенно неизвестных, необычных вещах, которых не было в окружающей жизни. Ну кого может поразить на моей родине рассказ о том, как запрягают собак, пасут оленей или же разделявают нерпу?.. Вот если бы поместить описание Невского проспекта или набережной лейтенанта Шмидта с ее необыкновенными кораблями, с этой громадиной, на которой плавали фашисты...

— Ты почитай книги Семушкина, — советовал Скорик. — Может, поучишься у него...

В те годы книга бывшего учителя Чукотской культбазы Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы» пользовалась большой популярностью у читателей, впрочем, как и его предыдущая — «Чукотка». Едва только узнавали, что я из тех людей, что описаны в книгах, как меня забрасывали множеством вопросов, весьма, на мой взгляд, глупых. Интересовались разными экзотическими обычаями, о большинстве которых я не имел никакого понятия: о добровольном уходе из жизни одряхлевших стариков, об обмене женами. Последнее почему-то казалось настолько распространенным среди чукчей, что у многих при упоминании того обычая загорались глаза... Удивлялись необыкновенной честности чукчей, их правдивости, неприятию зла, их наивности и доверчивости...

Смущенно поддакивая, не желая разрушать впечатления от книги, я прятал глаза и вспоминал своих земляков, среди которых хватало и лугов, и мошеников, и даже мелких воришек, не брезгующих тем, чтобы залезть в соседский увэран — мясохранилище.

Порой возникало ощущение какого-то уродства, словно я обладал странным отростком, который надо было прятать, скрывать, как пытаются скрыть физический недостаток.

Прочитав рекомендованные книги, я начисто потерял охоту к литературному творчеству, считая те четыре своих стихотворения чем-то случайным.

Лежа на единственной застеленной кровати в большой комнате, я смотрел в потолок и видел на берегу океана хитроватого Куку или известного мошенника из соседнего селения Нуукэн — Тыпилилка. Хорошо бы сейчас к ним!

Но какое огромное расстояние отделяло меня от родного берега — десять тысяч километров!

И в который раз на меня накатила тоска, появилась щемяще-сладкая боль в сердце, затруднилось дыхание, будто в этой просторной комнате с высокими окнами на Филологический переулок воздух вдруг стал разреженным, как это бывает в сильную пургу. Вот если бы написать об этой тоске, о долгом закате на океанском берегу Улака, когда тихая морская вода с висящими в прозрачной глубине медузами окрашивается в кровавый цвет от разделяваемых прямо в воде моржей и китов... Но кому это может быть интересно? Разве что мне самому, который это видел, кого необъяснимо волновало простое созерцание бегущих по краю неба облаков при сильном и постоянном южном ветре, когда бушует улакская лагуна, а морской прибой приглажен и лишь белые барашки вдали свидетельствуют о жестокой морской буре.

Кому интересно читать о том, как поначалу мне было неуютно в большом каменном городе, словно вырубленном в темных холодных утесах над Сенлуном — на подходе к мысу Дежнева, о постоянном ощущении своей неполноценности от простого неумения правильно держать вилку и пользоваться столовым ножом до заметного акцента, а более всего от подспудного страха, что многие окружающие, и особенно девушки, смотрят на меня с внутренней усмешкой. Может быть, даже и не с высокомерной усмешкой, а снисходительной, жалостливой, но от этого нисколько не легче вечно растревоженному сердцу, которое так долго не дает заснуть в этой наполненной плотной тишиной комнате.

Закрывая глаза, я слышал доносящийся до меня городской шум, и казалось, что я засыпаю не в комнате общежития Ленинградского университета, а в яранге дяди Кмоля, куда доносится рокот морского прибоя...

Однажды вечером, именно в тот час, когда окончательно были отброшены всякие попытки сочинять, я вышел на набережную. До Семнадцатой линии я никого не встретил, и возле ржавого борта немецкого парохода не было танцев. Одинок стоял Крузенштерн, слегка наклонив голову, разглядывая копошащихся под ним городских птиц — голубей, первоначально поразивших и возбудивших мое охотничье сердце.

На обратном пути в общежитие я решил посидеть на гранитной скамье у двух сфинксов, безмолвно и бесстрастно глядящих друг на друга. Я внутренне вздрогнул, заметив на дальнем конце гранитного полукружья девичью фигурку. Девушка была в том же длинном сером жакете, сливавшемся цветом с серым камнем, отчего вначале я ее и не заметил. От неожиданности я поздоровался.

— Здравствуйте,— ответила девушка и посмотрела на меня.

Я заметил в глубине ее зрачков замешательство и затаенное любопытство.

— Вы меня боитесь?

— Нет, не боюсь,— улыбнулась девушка.

— Наверное, все-таки боитесь,— сказал я, усаживаясь на прохладный зернистый камень.— Это потому, что вам показалось, что я вас преследую...

— Но вы и вправду шли за мной...

— Нет, вам показалось,— попытался я разуверить девушку.— Я живу в том же направлении, в общежитии университета, на набережной.

— А-а,— понимающе произнесла девушка и слабо кивнула.

— А вы живете на Первой линии?

— Я ходила в гости к родственникам.

— А-а,— почти в тон ей протянул я и усмехнулся.

— А что тут смешного? — вдруг встрепенулась девушка.— Разве ходить к родственникам смешно?

— Нет, конечно, не смешно,— серьезно ответил я.— Наверное, это очень хорошо — ходить в гости к родственникам. Особенно когда до них можно дойти пешком... А до моих...

— Вы издалека? — спросила девушка.

— Дальше уже не может быть,— ответил я,— с Чукотки...

— Это что? Дальше Камчатки? — в голосе девушки почудилось удивление и заинтересованность, и это прибавило мне уверенности. Я даже немного придвинулся к собеседнице.

Светлый ленинградский вечер уже догорал, превращаясь в серые, почти жемчужные сумерки, чистые, не смешанные еще с искусственным светом электричества. Невская вода отражала светлое небо, дворцы на противоположном берегу, Адмиралтейскую иглу с золотыми, сияющими в лучах долгого заходящего солнца парусами флюгера-кораблика.

— Это намного дальше Камчатки. Я ехал сюда почти четыре месяца...

— А я — почти месяц,— вздохнула девушка.— Когда я вышла на перрон Московского вокзала, даже заплакала от счастья...

— Откуда же вы? — не понял я.

— Здешняя я, ленинградская,— слабо улыбнулась девушка.— А была в эвакуации в Сибири, в Томской области вместе с детским домом.

Я понимающе кивнул.

А девушка, словно обрадовавшись случаю рассказать о себе, продолжала:

— Когда началась война, я закончила только второй класс. Мы жили на Обводном канале, неподалеку от Фрунзенского универмага. Папа работал на кислородной станции Балтийского завода, а мама была домашней хозяйкой. Были у меня еще два брата — старший, Юра, и еще один, Виктор. Он учился в Морской военно-медицинской академии... Жили мы хорошо, на лето уезжали за Лугу, в Толмачево... И в то лето тоже собирались, но не успели — началась война... А потом блокада, голод. Сначала умерла мама, потом папа, потом Юра... Из всей семьи в Ленинграде остались мы с бабушкой, а Виктор эвакуировался вместе с академией. Поздней осенью сорок второго года меня переправили через Ладогу вместе с детским домом. Мы уехали в Сибирь, в Васюганье... Год назад я вернулась...

Девушка говорила отрывисто, пропуская в своем рассказе целые периоды, но я не смел выспрашивать ее о подробностях, растроганный и взволнованный неожиданным откровением. Потом уже я сообразил, что таких, как Маша — потом познакомились, назвались друг другу, — в Ленинграде были сотни, а может быть, даже тысячи, потерявших не только родителей и близких, но и свой кров, свое жилище.

Когда девушка умолкла, я счел долгом сказать несколько слов о себе и даже неизвестно зачем упомянул, что задержался в городе из-за важного дела — подготовки книги для чтения на чукотском языке.

— Наверное, это очень интересно! — с неподдельным воодушевлением произнесла девушка.

— Да, интересно, — согласился я, с горечью вспомнив о безуспешных попытках сочинить рассказ.

Темнело. Мы поднялись с прохладной каменной скамьи и пошли по набережной по направлению к университету. Возле Соловьевского садика я замедлил шаг, ожидая, что Маша свернет на Первую линию.

— Нет, сегодня я поеду на трамвае на Боровую, — сказала она. — Сегодня я иду в гости к другим родственникам.

Я посадил Машу на трамвай напротив зеленого здания филологического факультета и неторопливо вернулся в свою пустую комнату. Прошло какое-то время, прежде чем я понял по-настоящему то, о чем мне поведала девушка, и мне стало стыдно за свое глупое хвастовство о работе над учебниками...

С того вечера мы стали встречаться чуть ли не каждый день. Не стовариваясь заранее, мы сходились под сфинксами, на гранитной скамье, спускающейся к воде.

— Когда ты рассказываешь о своей жизни, — как-то заметила Маша, — у меня такое впечатление, будто я с тобой вхожу в ярангу, в меховой полог, ем вместе с тобой из этого деревянного корыта... как ты его назвал?

— Кэмэны...

— Будто из этого кэмэны я ем с тобой моржовое мясо... Словом, становлюсь настоящим чукчей.

— Чукчанкой, — поправил я и вздохнул. — А я вот никогда не бывал в простой ленинградской семье, в простом ленинградском доме...

Маша ответила не сразу. Она долго смотрела на противоположный, уже хорошо изученный мной берег Адмиралтейской набережной, сверкающий купол Исаакия, Медного всадника, на медленно проплывающую баржу, где шла своя, размеренная жизнь: сушилось белье, маленькая белокурая девочка смиренно сидела на палубе и, сунув палец в рот, глазела на проходящие мимо роскошные дворцы.

— Жаль, что в Ленинграде у меня нет своего дома, — тихо произнесла Маша. — Нашу квартиру на Обводном давно заняли другие.

— Но как это можно — занять чужое жилище? — удивился я.

— Так уж получилось, — ровным, бесстрастным голосом, в котором, однако, чувствовалась непреходящая горечь, произнесла Маша. — В домоуправлении мне сказали, что эта семья тоже пострадала, их дом разбомбило... Меня новые жильцы даже не впустили внутрь, хотя в комнатах осталась наша мебель и некоторые вещи. Что я могла сделать? Когда я приехала, я еще была несовершеннолетняя.

— Но это же несправедливо! — горячился я. — Это грабеж! А твой родичи? Разве они не могли помочь?

— Наверное, им было не до меня, — вздохнула Маша. — Ничего, Ринтын, не переживай за меня. Таких, как я, в Ленинграде тысячи. Вернулись из эвакуации — нет ни родителей, ни родного дома... Давай лучше расскажи, как ты чуть не стал милиционером...

Но я долго не мог успокоиться. Даже предлагал свою помощь: сходить на Обводный канал и объяснить людям, которые поселились в чужой квартире, в какое положение они поставили настоящую хозяйку.

— Это бесполезно, — сказала Маша. — Я ходила в исполком, к депутату. Но он только пригрозил выселить меня окончательно из Ленинграда, если я буду настаивать.

— Выходит, и депутат с ними заодно? — догадался я.

— Выходит, — согласилась Маша.

— Но есть же другие, справедливые люди, — не унимался я.

— Может быть, они где-то и есть, — отозвалась Маша, — но одно-

го чувства справедливости мало, чтобы утешить всех, кто пострадал во время войны... Мне еще повезло, я осталась жива.

Маша явно не хотела ни вспоминать, ни говорить о пережитом. Однажды, едва поздоровавшись со мной, она сказала:

— Помнишь, ты говорил о том, что никогда не бывал в простой ленинградской семье?

— Говорил,— вспомнил я,— если не считать некоторых профессорских квартир, куда ходил сдавать зачеты и экзамены.

— Мы пойдем в гости к моему родственнику, дяде Пете,— сказала Маша.— Он живет недалеко отсюда, на Петроградской стороне. Я ему рассказывала о тебе, и он очень заинтересовался. Дядя Петя хоть и простой слесарь, но человек начитанный, так что приготовься к ученым разговорам.

Большой шестиэтажный дом, внешне совершенно не пострадавший во время блокады, углом выходил на красивую церковь. Прощли гулкий, уставленный дровяными штабелями двор и стали подниматься по узкой темноватой лестнице с выщербленными ступенями.

— Вообще-то у них есть парадный ход,— сообщила, задыхаясь от быстрого подъема, Маша,— но они пользуются этим, черным ходом.

— Я читал,— вспомнил я,— черным ходом в богатых петербургских домах пользовались слуги, горничные, истопники, кучера...

На третьем этаже с грязными, наполовину забитыми фанерой окнами царил полумрак. Маша показала на высокую дверь с облупившейся краской.

Я постучал. Через какое-то время послышался лязг железного запора и в распахнувшейся двери предстал среднего роста широкоплечий мужчина, одетый в тщательно выглаженную полосатую пижаму. У него были маленькие, но удивительно пронзительные черные глаза под густыми жесткими бровями.

— Ага! Это вы! — весело произнес он, отступая в глубину просторной, вытянутой в длину кухни.— Проходи, проходи, товарищ чукча! А почему стучал? Не видел рыбий глаз?

Он повернулся к толпящимся позади него людям и громко объяснил:

— Чукчи так называют кнопку электрического звонка! Правда, здорово? Точно и образно! Проходи, Маша, покажи чукче дорогу, ты же здесь не впервые.

Это назойливое «чукча» действовало так, словно меня раз за разом ударяли по лицу чем-то мокрым, и я громко сказал:

— Меня зовут Анатолий Ринтын!

— Очень приятно! А меня Петр Иванович!

Продолжая радушно улыбаться, дядя Петя подал жесткую, словно покрытую наждачной бумагой ладонь.

Под пристальными, откровенно любопытными глазами многочисленных обитателей большой коммунальной квартиры, явно собравшихся поглазеть на меня, я быстро прошел через кухню и вслед за торопливо идущей Машей углубился в длинный, освещенный слабо горячей лампочкой коридор.

Сзади смачно шлепал тапочками дядя Петя, продолжая громко говорить что-то значительное. Но я его почти не слушал, стараясь унять поднимающееся глухое раздражение и сожаление о том, что согласился пойти в гости. Маша толкнула дверь, и оттуда хлынул яркий свет.

— Входи смело, чукча, входи! — скомандовал дядя Петя, легонько подталкивая меня в спину.

Ужасно хотелось мне обернуться и дать как следует этому дяде.

Поначалу показалось, что в комнате только одни женщины. Они тут же захопотали вокруг меня и Маши, усаживая нас, здороваясь, называя себя. Маша, чувствуя мою растерянность и растущую на-

пряженность, старалась держаться рядом. Я силился хорошенько запомнить хозяйку, чтобы не спутать ее с остальными, чрезвычайно похожими на нее женщинами. Меня охватило то же ощущение, которое я пережил много лет назад, когда впервые очутился на полярной станции в Улаке, где все русские показались мне на одно лицо, и я недоумевал, как они различают друг друга. Потом я слышал или читал, что и русские, как, впрочем, все остальные европейцы, поначалу воспринимают азиатов как однородную, одноликую массу.

Хозяйку звали Марта Ивановна. Она была весьма могучей женщиной с широким ртом, полным золотых зубов. Я знал из рассказов Маши, что Марта работает шофером на молокозаводе. Прежний ее муж, который и являлся Маше настоящим дядей, то есть отцовым братом, погиб на фронте в сорок втором, а Петю Марта встретила два года назад и, по выражению Маши, «отбила» у прежней супруги и женила на себе.

Понемногу я стал ориентироваться среди присутствующих. Сначала отличил от остальных самую молодую (если не считать Маши), довольно привлекательную женщину с красивой и аккуратной прической над высоким чистым лбом. Ее звали Валея, и все обращались к ней с подчеркнутым вниманием, причину которого я узнал позднее: она была продавщицей продовольственного магазина на Большом проспекте Петроградской стороны. Это было понятно: блокадники с особым уважением и вниманием относились к тем, кто был как-то связан с распределением продовольствия. В конце сороковых и начале пятидесятых годов, острого недостатка продуктов уже не было, но такие люди, как Валея, все равно оставались в центре внимания. Вот почему незамеченный мной поначалу мужчина запомнился не по его собственному имени, а как его все называли — «Валькин муж». Это был молчаливый, но, по всему виду, физически очень сильный человек. Маша успела мне шепнуть, что «Валькин муж», как его называли за глаза, играет в городской футбольной команде.

Комната была большая, с двумя высокими красивыми окнами, выходящими на зеленый сквер перед церковью. Вдоль одной из стен располагался роскошный дубовый резной буфет. С потолка свисал большой оранжевый абажур с тяжелыми кистями. У другой стены — широкая двуспальная кровать с никелированными шарами. Белые кружевные подзоры выглядывали из-под коврового покрывала. Над кроватью висел машинный выделки гобелен, изображавший неведомой породы оленя с огромными ветвистыми рогами. Могучее животное, мало похожее на своих чукотских сородичей, утоляло жажду из небольшого водоема в окружении пышных экзотических растений.

Был еще один диван с очень высокой спинкой и зеркальными полочками, уставленными фарфоровыми фигурками разных зверей. Гости вместе с Валея и ее мужем оказались не больше десятка, и все довольно свободно разместились за большим обеденным столом под абажуром.

Угощение было типичным для тех лет, но были и такие деликатесы, которые сегодня трудно встретить: крабовые консервы и икра двух сортов — черная и красная. Очевидно, сказывалось близкое знакомство со всемогущей Валея, или Валентиной Сергеевной, как ее тут все уважительно называли. При всей экзотичности моего присутствия главной гостьей здесь, конечно же, была она, посаженная на почетное место, рядом с хозяином.

— Мы, так сказать, очень рады сегодня приветствовать в нашем доме чукчу... — начал Петр Иванович.

— Меня зовут Анатолий Ринтын...

— Товарищ Анатолий Ринтын, — нисколько не смутившись, продолжал хозяин, — в знак дружбы народов, которая крепнет в нашей стране с каждым днем...

Все мужчины пили водку, а женщины — красное вино кагор. Я

было попросил, чтобы налили красного, но дядя Петя укоризненно посмотрел на меня и покачал головой.

— Насколько я понял из прочитанных книг, огненная вода считается напитком настоящих чукотских мужчин!

Пришлось подчиниться такому категорическому нажиму. «Валькин муж» оказался большим любителем огненного напитка и с такой легкостью и лихостью опрокидывал в свой рот довольно вместительную рюмку, что любо и даже завидно было на него смотреть.

— Вот попробуйте ветчинки,— дядя Петя поддел вилкой толстый кусок проложенной белым жиром ветчины и шмякнул его на мою тарелку.— Правда, похоже на копальхен? — спросил он, пытливо глянув на меня.

Эта сырокопченая свинина и отдаленного сходства не имела с благородным моржовым мясом, но я покорно кивнул.

— Вы знаете, что такое копальхен? — дядя Петя победно оглядел гостей.— А вот и не знаете! Даже вы, уважаемая Валентина Сергеевна, в полном неведении относительно продукта, который при-суц только арктическим народам. Это воистину хлеб чукотского и эскимосского народов. А делается он из моржового жира, кожи и мяса и квасится в земляной яме до самой зимы... Эх, жаль, что мне в жизни не довелось попробовать этого замечательного продукта!

Чтобы немедленно компенсировать этот свой жизненный изъян, дядя Петя налил всем водки и вина и предложил тост за изобретательность чукотского народа.

— Но я крепко верю, что настанет то прекрасное время, когда мы с тобой, дорогой друг, вволю поедим копальхена!

Я внутренне улыбался, представляя себе, как дядя Петя будет вкушать копальхен. Особенно тот, который идет в дело уже на исходе зимы, выловленный железным крючком с самого дна земляного хранилища. Даже для такой простой работы нужна многолетняя привычка, чтобы выдержат специфический дух. Окаменевший за долгую зимнюю стужу кымгыт, сшитый толстыми сырыми ремнями, как рулет, скатанный из моржовой кожи, жира и мяса, тяжело рубится топором. Иные чукотские гурманы вкладывали внутрь такого кымгыта куски моржового сердца, печени, хорошо промытых кишок. Но такой кымгыт был большой редкостью и предназначался лишь для угощения знатных и дорогих гостей либо для ритуального пиршества. А простой обиходный копальхен потреблялся в равной степени и собаками и людьми. Из одного и того же кымгыта я рубил острым топором круги копальхена для дома и для упряжки. На срезе отчетливо различалась полоса белого, а к весне уже зазеленевшего жира с разноцветными кристалликами льда и полосы красно-коричневого сырого мяса. Из-под лезвия топора летели тонкие ошметки, и я соревновался в проворстве с голодными собаками дяди Кмоля. Однако я хорошо знал, что многие русские не могли есть главного чукотского продукта и даже малый кусок копальхена им было невозможно проглотить. Даже наш пекарь дядя Коля, проживший в Улаке большую часть своей жизни, перепробовавший все самые замысловатые блюда чукотской кухни, включая витъегыт — заквашенные и освобожденные от черной кожи тюленьи ласты, густой суп из полупереваренного содержимого оленьего желудка и крови, высушенные над жирником нерпичьи кишки,— любил повторять: все что угодно, но только не копальхен!

— А яранга! — продолжал просвещать дядя Петя гостей.— Это великолепное изобретение! Гений арктического человека создал такое жилище, в котором он мог спрятаться от самой жестокой пурги и трескучего мороза... А каково в яранге? Расскажи, чукча!

— Меня зовут Анатолий Ринтын!

Но дядя Петя уже был в таком состоянии, когда слушал только самого себя, и эти обращения к гостю были тем, что, как я пом-

нил из университетских лекций, называлось риторическими фигурами.

— Так вот,— опрокинув в рот очередную рюмку и закусив ее кусочком селедки, продолжал дядя Петя.— В яранге бывает так жарко, что люди ходят нагишом! Представляете — нагишом?

— Это как же? — подал голос «Валькин муж».— Голые?

— Вот именно! — торжественно воскликнул дядя Петя.— И мужики, и бабы, не говоря уже о детях, все голые!

Лицо футболиста покраснело, на крыльях его широкого носа выступили капельки пота.

— Но это же неприлично! — мрачно и решительно заметил «Валькин муж».— Это бесстыдство, достойное диких людей!

— Па-а-азволь, па-а-азволь,— дядя Петя даже привстал от возмущения.— Ты глубоко неправ! Народные обычаи нельзя огульно критиковать! Нельзя!

Мне было и стыдно и неловко не только от такого назойливого внимания к себе, но больше от необходимости поддакивать каждому глупейшему замечанию дяди Пети. А тут еще высказывания футболиста, настоящего имени которого я так и не запомнил.

Конечно, яранга — это даже не коммунальная квартира. Да, когда есть чем заправить жирник, в меховом пологе тепло и даже сравнительно чисто. В укромном месте стоит прикрытый куском засохшей до железной твердости моржовой кожи эчульгын — ночной туалетный сосуд, которым пользуются и в дневное время, когда на дворе пурга и выйти невозможно, не рискуя быть унесенным в торосы замерзшего моря. От эчульгына, конечно, пахнет, как отнюдь не свежестью тянет и от горячего жирника и потных тел обитателей яранги. И на белом волосе оленьей постели внимательный взгляд может заметить проворных вшей... но главное достоинство северного жилища и впрямь в том, что в нем тепло. А тепло — это жизнь.

В моей памяти еще были живы семейные сценки в яранге дяди Кмоля, когда по вечерам все собирались в теплом, хорошо прогретом помещении. Возле левого жирника на корточках сидела бабушка и, нацепив на нос очки в железной оправе, формовала собственными зубами лахтачьи подошвы, похожие на галоши. На ней, кроме плотно облегающих трусов из черной лоснящейся, скорее всего, от жира ткани, больше ничего не было, если не считать ниточки из оленьих жил с несколькими голубыми и красными бусинками. Плоские ее груди, похожие на старые кожаные рукавицы, свисали над сыромятной лахтачьей кожей.

Тетья Рытлина посреди полога мяла грубыми пятками оленью шкуру. Она была в таких же, как у бабушки, черных лоснящихся трусах. Дядя Кмоль, резавший драгоценный в военную пору табак на специальной дощечке острым, как бритва, охотничьим ножом, держал между ног кусок старого пыжика — это все, чем он был прикрыт.

Я в длинной рубашке лежал, распластавшись, на моржовой коже и, аккуратно макая ручку в чернильницу-непроливайку, решал арифметическую задачку под невесть каким образом попавшим в пол портретом первого Маршала Советского Союза — Климента Ефремовича Ворошилова...

Я несколько раз обменялся взглядами с Машей и понял, что она, быть может, больше меня переживает за все, что происходит.

— Народы Севера находятся в моменте прыжка! — разглагольствовал дядя Петя.— В моменте прыжка из первобытности в социализм. Верно говорю, товарищ чукча?

Молчавшая до этого Маша вдруг решительно встала и укоризненно произнесла:

— Дядя Петя, ну сколько раз вам можно говорить, что его зовут Ринтын! Анатолий Ринтын!

— А что тут обидного, что его называют чукчей? — обиженным голосом, несколько растягивая слова, произнесла Валентина Сергеевна. — Я же не обижаюсь, когда меня называют русской. А ты, Вениамин, тоже не обидишься...

— А вот когда еврея называют евреем, они почему-то обижаются, — громко сказал «Валькин муж» и повернулся ко мне. — Но ты же не еврей!

Однако, несмотря на изрядное количество выпитого, дядя Петя окончательно не утратил здравого смысла и подчеркнуто внимательно, даже ласково обратился ко мне:

— Дорогой... Анатолий, не обращай внимания на этого... товарища. Его иногда заносит, но парень он, в принципе, неплохой... Все мы очень уважаем малые народы, нацменов, так сказать... Расскажи-ка лучше нам о своей жизни, изобрази, так сказать, свою автобиографию!

Но тут, к моему удивлению, со своего места поднялась Маша и громко произнесла:

— Дядя Петя, к сожалению, Ринтын не сможет на этот раз ничего рассказать... Он очень занят. Он пишет учебник для родной школы, и ему уже пора идти... Верно, Анатолий?

Я, не ожидавший такого, поначалу замешкался, но, сообразив, что Маша все это делает для моего же блага, запинаясь, сказал:

— Это верно... Мне пора... Работа ждет...

— Ну что же, — напуская на себя еще большую важность, произнес дядя Петя. — Дело есть дело. Тем более когда это касается ранее отсталых, неграмотных народов, рассеянных на огромном протяжении советского Крайнего Севера.

Я поспешно выбрался из-за стола.

Дядя Петя проводил нас с Машей через весь коридор, опустевшую кухню к черному выходу. Откидывая железный засов и открывая дверь на темную лестничную площадку, он весело сказал:

— Приходи еще раз, чукча! Ты мне понравился. Но в следующий раз не забудь нажать на рыбий глаз!

Он вышел на лестничную площадку и среди множества разноцветных кнопок показал на одну, синенькую, и впрямь похожую на глаз дохлой камбалы.

— Видишь, вот тут написано — Огнёв. Это моя фамилия — Огнёв. — Он сделал ударение на последнем слог, и я, воспользовавшись этим, тоже не без нажима сказал:

— А моя фамилия Ринтын! Ринтын! — повторил я, выдирая свою руку из потной ладони дяди Пети и сбегая вниз по выщербленным ступеням лестницы вслед за спускающейся Машей.

Выбравшись на улицу, мы некоторое время шли молча. Только в зеленом скверике перед церковью Маша остановилась и, внимательно посмотрев на меня, сказала:

— Прости меня...

— За что? — удивился я.

— За то, что так получилось... Но мне так хотелось еще раз побывать в этой комнате.

Я ничего не понял и вопросительно посмотрел на Машу.

— Дело в том, — запинаясь, принялась она объяснять, — дело в том, что почти вся мебель, которая там стоит, наша. И этот буфет, и стулья, и стол, за которым мы обедали, и даже ножная швейная машинка «Зингер» у окна — все это наше...

— Так надо забрать все это! — решительно произнес я.

— Как теперь заберешь? — вздохнула Маша. — Хорошо хоть иногда дают переночевать. Вот сейчас я работаю на стройке, так там у меня маленькая комнатуха. А раньше буквально приходилось скитаться от одного родственника к другому.

Я не знал, как утешить девушку. В этот вечер я понял, что отношения между людьми разных наций в нашей стране далеко не просты...

ЗАГАДКА ТЭККИ ОДУЛОКА

В зимние каникулы пятьдесят третьего года я приехал в морозную Москву по вызову редакции журнала «Новый мир», опубликованного в двенадцатом номере за предыдущий год мои первые рассказы.

Я поднимался по мраморной парадной лестнице медленно, останавливаясь через каждые две-три ступеньки, и эта лестница казалась длинной и крутой, как подъем от прибрежных скал мыса Дежнева к первым ярангам эскимосского селения Нуукэн, откуда происходили мои родичи по материнской линии.

Главный редактор журнала Александр Трифонович Твардовский сидел за письменным столом и курил. Рядом стоял высокий веселый человек в хорошем костюме — Анатолий Кузьмич Тарасенков. Тогда хорошо одетый человек выделялся. Еще меня удивил несоразмерно маленький и очень обыденный письменный стол главного редактора, так не вязавшийся с пышностью парадной лестницы.

Я не хочу вымучивать и воскрешать тот разговор. Потому как от него в памяти остались лишь какие-то несущественные детали — что-то о деньгах, о номере в гостинице, в котором я боялся остаться один, так он был невероятно пышен и просторен и несоразмерен с тогдашними моими привычками (меня поместили в уже несуществующем ныне, поглощенном новым крылом гостиницы «Москва» «Гранд-отеле»). Почему-то запомнились стол и конец беседы, когда Александр Трифонович, подавая мне на прощание большую мягкую руку, сказал, неожиданно одоблив мою неуверенность насчет дальнейшего сотрудничества:

— Вот это и хорошо... Это хорошо, что вы еще не совсем уверены в себе. Сомневаетесь. А вот когда почувствуете, что обрели полную уверенность, считайте, что как настоящий художник вы на этом кончились...

...Я понемногу пытался писать, бродил по букинистическим магазинам. В те годы в Ленинграде еще можно было найти настоящие книжные редкости, очевидно, оставшиеся от разоренных довоенных собраний. Я приобрел четырехтомник Кнута Гамсуна, собрание сочинений Тана-Богораза в шести прекрасно оформленных коричневых томиках.

Однажды на книжном развале на Невском неподалеку от Армянской церкви мне попала книга с интригующим названием «Жизнь Имтеургина старшего» Имя автора также звучало странно знакомо — Тэкки Одулок. Два слова были, несомненно, чукотскими — имя героя и имя автора. «Тэкки» — по-чукотски значит «грязный», и это имя, несмотря на его довольно негативное значение, нередкое у моих соплеменников. Одулами же называли наших соседей юкагиров. С первых же строк книга захватила и заворожала меня. Она была написана настоящим писателем и человеком, досконально, изнутри знавшим мир кочевого оленевода. И, странно, при мне об этом писателе никогда и никто не упоминал!

Я поделился открытием с некоторыми учеными, преподавателями северного факультета Ленинградского университета. Доктор Воскобойников, признанный авторитет в североведении, отвел глаза и покачал головой.

— Я его не знаю...

Воскобойников недавно вышел из заключения: он отсидел два года по обвинению в умышленном оскорблении пионерского галстука, потому что в отредактированном им эвенкийском букваре слово «галстук» было переведено как «ошейник».

В те годы на набережной Кутузова, рядом со зданием бывшего французского посольства жил примечательный человек — Михаил Алексеевич Сергеев. Он считался большим авторитетом по истории Севера и литературы об этом крае. Я бывал у него; как только в печат-

ти появились мои первые рассказы, он разыскал меня. В первый визит к нему меня поразила огромная библиотека с редчайшими книгами по истории Сибири. Хозяин ее с окладистой седой бородой, с глуховатым, чуточку окающим говорком мог часами рассказывать, как он по личному указанию Владимира Ильича Ленина в первые дни Октября национализировал петроградские частные банки, потом создавал первое в стране кооперативное писательское издательство. «Вот на этом диване частенько сживал, а бывало, и спал Сережа Есенин, — рассказывал Михаил Алексеевич. — А вот за этим столом мы, случалось, ночи напролет с Алексеем Толстым... А что касается Кости Федина, он был и остается моим ближайшим другом...»

Вот у него я спросил о загадочном Тэки Одулоке. Вместо ответа Михаил Алексеевич посоветовал мне заглянуть в журнал «Пограничник», назвав номера и год издания...

Я направился в читальный зал Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина и в журнальном зале выписал «Пограничник».

То, что я узнал из нескольких номеров этого издания, ошеломило и повергло меня в смятение. Оказалось, что Тэки Одулок, он же Спиридонов, крупный японский разведчик, полковник японского Генерального штаба... События, относящиеся к этому невероятному делу, начались в конце двадцатых — начале тридцатых годов, когда в Ленинграде открылось удивительное (по тем временам) смелыми своими задачами учебное заведение — Институт народов Севера. Туда съезжались представители многочисленных народов, народностей и этнических групп со всего обширного Севера России. И вот, как сообщал журнал «Пограничник», из транссибирского экспресса, следующего из Владивостока в Москву, был выкраден направлявшийся в Институт народов Севера юкагирский юноша и заменен японцем того же возраста. Куда девали юкагира, неизвестно, об этом на страницах журнала «Пограничник» ничего не было сказано. Но японский юноша под видом юкагира благополучно добрался до Ленинграда, поступил в Институт народов Севера и сразу же стал удивлять преподавателей своими необыкновенными способностями. Мало того, что японец успешно закончил институт, он еще ухитрился защитить кандидатскую диссертацию по экономике Крайнего Северо-Востока, а в довершение всего написал книгу под псевдонимом Тэки Одулока. Не без помощи Самуила Маршака эта книга вышла в свет в ленинградском Госиздате и удостоилась благоприятного отзыва самого Алексея Максимовича Горького.

Японского шпиона разоблачили в тридцать седьмом году.

Я спросил Михаила Алексеевича Сергеева, неужели нельзя было раньше догадаться о подмене, ведь в Институте народов Севера были специалисты по юкагирскому языку, опытные североведы. Но маститый ученый отвечал мне невнятно и неохотно: враг коварен и изобретателен.

Многие события тех лет удивляли и устрашали. На моих глазах весной сорок девятого года проходил знаменитый Ученый совет филологического факультета Ленинградского университета. Сначала было объявлено, что заседание будет происходить в Большой аудитории факультета. Но оказалось, что она не может вместить всех желающих присутствовать. Тогда перенесли заседание в актовый зал главного здания. Я помню, как бежал вместе с другими студентами, аспирантами и преподавателями по залитому весенними лужами университетскому двору, мимо истопившихся полениц, чтобы занять удобное место, ведь предстояло необыкновенно интересное зрелище — выявление врагов Советской власти, пробравшихся в университет. Скрываясь под личиной ученых-профессоров, они протаскивали чуждые нам идеи космополитизма, рабского преклонения перед Западом. Все с жадностью слушали горячую, страстную речь аспиранта филфака Федора Абрамова...

Потом было дело «врачей-отравителей», занимавшихся умерщвлением выдающихся государственных деятелей.

Вообще в те годы случилось множество такого, чего я, как, впрочем, и многие мои сверстники, приехавшие в Ленинград с дальних окраин Севера, толком не понимал.

К примеру, знаменитое лингвистическое событие начала пятидесятых годов. Оно в какой-то степени было близко нам, студентам-северянам: наши преподаватели, бывшие учителя первых северных национальных школ, создатели письменностей, были приверженцами академика Николая Яковлевича Марра, его ученика Ивана Ивановича Мещанинова и откровенно одобряли их труды на лекциях.

Дискуссия в газете «Правда» по языкознанию, казалось, захватила внимание всей страны. Гадали: кто кого одолеет — сторонники Марра или же грузинского лингвиста Чикобавы.

Марровцы во главе с академиком Мещаниновым были уверены в своей правоте, и наши профессора говорили, что есть достоверные сведения о том, что по вопросам языкознания собирается выступить сам вождь.

Статья Сталина появилась как раз в тот день, когда мне нужно было сдавать экзамен по общему языкознанию профессору восточного факультета Ленинградского университета Холодовичу, известному лингвисту-японисту. Курс он нам прочитал с блеском, остроумно, прибавив под конец язвительные и, как нам показалось, безусловно, убедительные возражения против Чикобавы и его сторонников.

Ранним весенним утром я направился с Первой линии Васильевского острова, где снимал комнату, по Университетской набережной к зеленому трехэтажному зданию филологического и восточного факультетов. Справа от меня за искрищейся лентой полноводной Невы сверкал купол Исаакиевского собора, выглядывал из свежей листвы Медный всадник.

Напротив филфака у газетного киоска еще издали была заметна необычная для этого времени толпа. Это была очередь за газетой «Правда», которую ожидали с минуты на минуту. В очереди за газетой мои сокурсники, от которых я узнал, что профессор перенес экзамен на послеобеденное время с тем, чтобы студенты могли ознакомиться со сталинской статьей по языкознанию. Она, оказывается, передавалась по радио, и читал ее знаменитый Юрий Левитан, чей голос был всем хорошо знаком еще по военным временам, когда он торжественно и значительно произносил перед микрофоном сообщения Информбюро. Я встал в хвост очереди, но газеты мне не досталось — многие брали по несколько экземпляров.

В вестибюле факультета было прохладно и, как всегда, оживленно. Но в этой оживленности чувствовалась весьма определенная, ясно различимая растерянность у всегда самоуверенных, солидных профессоров, старших преподавателей, ассистентов и аспирантов. Все они разговаривали как-то приглушенно, вполголоса и были подчеркнуто вежливы с гардеробщицами. Я видел их такими только раз, сравнительно недавно, на похоронах академика Льва Семеновича Берга.

Но попадались и веселые и даже злорадно-улыбчивые лица, особенно среди студентов и аспирантов.

— Экзамен-то будет? — спросил я однокурсника.

— Профессор уже в аудитории, — ответил тот. — Но спрашивает только по сталинской статье «Относительно марксизма в языкознании».

— А мне газеты не досталось, — вздохнул я с сожалением.

Я успел разглядеть у счастливых обладателей «Правды», что статья огромная, занимает чуть ли не всю газетную площадь. При всем желании быстро прочитать ее просто невозможно.

Но делать нечего, пришлось подниматься на второй этаж, к дверям аудитории, возле которых уже толпились мои сокурсники. Из от-

рывочных, возбужденных разговоров я узнал, что профессор Холодович задает только один вопрос: с чем сравнивает товарищ Сталин грамматику?

Но дело в том, что я и этого не знал.

— С геометрией,— сообщил мне хант Виктор Алачев. Он развернул передо мной драгоценный газетный лист и показал соответствующее место в сталинской статье.

Весеннее солнце заливало просторную аудиторию. Недавно вымытые высокие окна смотрели на Неву. С противоположного берега Петр Великий указывал бронзовой рукой на наш университет.

Профессор Холодович сидел у стола, на котором были разложены белые листочки экзаменационных билетов, и безучастно смотрел в окно, на архитектурное великолепие Адмиралтейской набережной.

Я назвал себя, положил перед профессором свою зачетную книжку и взял билет. Прочитав вопросы и обрадованно подумав, что они не так сложны для меня, успокоился. В те времена любая наука для меня была интересна и непререкаема в своих конечных выводах: уж раз такие выдающиеся и незаурядные люди положили столько сил на выяснение непреложной и основополагающей истины, то мне, представителю еще вчера совершенно неграмотного народа, прозябавшего в темноте невежества, оставалось только усвоить ее. Что я и делал с жадностью и удовольствием сначала на северном, затем на филологическом факультете Ленинградского университета, усердно посещал лекции не только по языку, литературе, но и по истории первобытного общества, археологии, древнерусскому языку, экономической географии, диалектическому материализму, истории филологии и многим другим предметам.

Набросав план ответа, я предстал перед профессором не без внутреннего трепета: с ним явно творилось что-то странное и непонятное и неизвестно, чего можно было от него ожидать.

Профессор глянул на меня так, будто перед ним было пустое место, и бесстрастным голосом спросил:

— Так с чем сравнивает товарищ Сталин грамматику?

Запинаясь, я с трудом выдал из себя:

— С геометрией!

— Вашу зачетку!

Передавая профессору зачетку, я пытался заглянуть ему в глаза, скрытые за тускловатым блеском толстых стекол. Что же было там, в его глазах, в его душе, что за мысли заполняли его изрядно облысевшую голову?

Я беспомощно держал в руках билет с так и не отвеченными вопросами и, когда профессор, размашисто расписавшись в зачетке, протянул ее мне, как-то засуетился, замешкался, пока не услышал:

— Возьмите зачетку!

Закрыв за собой высокие двери, я заглянул в зачетку и едва поверил своим глазам: там стояла пятерка!

Наш экзаменатор, по сведениям, полученным от старшекурсников, щедростью на отметки не отличался. Но в этот день он всем без исключения поставил пятерки, задавая один и тот же вопрос: с чем сравнивает товарищ Сталин грамматику?

Что это было? Растерянность или же своеобразная форма протеста? Эта мысль часто возвращает меня в то солнечное утро, на весеннюю Университетскую набережную, в просторные прохладные аудитории второго этажа филфака.

На следующий учебный год академик Иван Иванович Мещанинов, жестоко раскритикованный вождем за якобы введенный им в науку «аракчеевский режим», прочитал нам курс «Сталинское учение о языке».

Возвращаясь к тем временам, часто задумываешься: чем же все-

таки объяснить такое слепое, рабское следование откровениям «гения всех времен и народов», поддакивание всему тому, что исходило свыше, видение того, чего на самом деле не было, принятие за непреложные истины явно несправедливых утверждений, возвещаемых от имени партии, как это было с оперой Мурадели «Великая дружба», музыкой Шостаковича, Прокофьева, книгами Зощенко, Анны Ахматовой...

Тогда в число университетских преподавателей и аспирантов влилось новое, свежее пополнение — бывшие фронтовики. Среди них был и Федор Абрамов.

Он уже был лауреатом и находился в зените славы, когда я спросил его о тех днях.

Мы шли по Большому проспекту дачного поселка Комарово по направлению к Зеленогорску под темно-зелеными сосновыми ветками, прогнувшимися под тяжестью снега. В заколоченных на зиму дачах было тихо, и только время от времени за густыми запорошенными деревьями слышался удаляющийся, истончающийся гудок электрички. Федора Александровича трудно было разговорить, но мне удалось расшевелить его воспоминаниями о послевоенном Василевском острове.

Это было удивительное место, особенно в районе Андреевского рынка, от Пятой до Восьмой линии, где в те годы в подвальчиках располагалось множество пивнушек, там за небольшую плату можно было получить кружку бочкового пива и порцию огромных, невообразимо толстых сарделек. На мокрых столах по выщербленным тарелкам была щедро размазана горчица. Тогда мне почему-то казалось (а может быть, так и было на самом деле), что основными посетителями этих заведений были вчерашние фронтовики, тосковавшие по испытанному окопному братству. Безобразно пьяных было мало. Большинство были оживлены, в приподнятом настроении, словно сохраненном с памятного мая сорок пятого года, дня великой победы, великого облегчения и рождения надежды на заслуженное, завоеванное кровью счастливое будущее. Среди завсегдатаев василевстровских пивных попадались и инвалиды, иные из них катились на грохочущих роликовых тележках. Им всегда заботливо помогали спуститься во влажный сумрак пивной, угощали небогатым, но добротным набором: пивом, водкой и сардельками. Именно сардельками, ибо сосиски уже считались продуктом более высокого класса и их можно было отведать в кафе, где к ним подавали уже не водку, а коньяк.

Разговоры в василевстровских пивных были преимущественно о войне, вспоминались бои, победы, поражения, надежда, отчаяние и великий победный марш через всю Европу до Берлина.

— О, я хорошо помню те пивные! — и улыбка появилась на почти всегда хмуроватом лице Федора Абрамова. — Любил и я хаживать туда. И ты верно заметил: лучшие из них находились у Андреевского рынка... Да, интересное было время... Помню, вернулись мы в наш родной университет еще молодые, радостно и удивленно уцелевшие, с огромным желанием мира, мирной работы. Хотелось совершить что-то новое, свое... Вернулись и видим: на наших кафедрах продолжают восседать те же старые профессора и долдонить о величии и превосходстве европейской культуры и литературы. Той самой культуры, которая поперла на нас в сорок первом под знаком фашистской свастики. За годы войны у меня появились основательные причины усомниться в этих так называемых нетленных ценностях, высоких художественных образцах европейской культуры... Может, эта самая высокая художественность вытравливает душу, сердце, саму человечность из человека? И поэтому, когда началась кампания борьбы против космополитизма, против угодничества перед западными образцами культуры, я, естественно, не мог стоять в сто-

роне... И честно скажу: мне тогда показалось — вот настало наше время, мое время! Тогда я был в парткоме филологического факультета, все происходило на моих глазах, при моем непосредственном, так сказать, участии...

— А не было ощущения, что все это несправедливо, часто даже незаконно? Ведь потом многих реабилитировали.

Абрамов ответил не сразу. Он долго шел молча, оглядывая запорошенные снегом просторные участки академических дач.

— Мы слепо верили тому, что нам говорили. Ведь во многом именно такая вера помогла нам одолеть далеко не слабого, хитрого и коварного врага. Может быть, одной из причин той несправедливости и была эта слепая вера в лозунг, который мы потом протянули и в мирное время: кто не с нами, тот против нас.

Молодой начинающий писатель пятидесятых годов, разумеется, равнялся на образцовые произведения тех лет и выискивал в чукотской жизни только светлое и передовое. То, что должно в будущем перерасти в прекрасную жизнь, в воплощенную мечту. Мечта эта принимала разные очертания. Чаще всего мне виделся мой родной Улак, застроенный жилищами наподобие русских изб, с окнами, чтобы в каждом доме была настоящая кирпичная печка с плитой, кровать, стол, умывальник... Дальше этого моя фантазия не шла, но даже это казалось тогда маловероятным.

Я старался не замечать того страшного, порой уродливого и даже трагического, что сопровождало восхождение моего народа к новой жизни: изломанные, исковерканные судьбы, начало возникновения беды, обернувшейся страшной болезнью, поразившей весь народ, — алкоголизма. Это касалось не только моих родичей — чукчей, но и наших ближайших соседей — эскимосов, эвенов, коряков, юкагиров. Разрушались вековые нравственные устои, выкорчевывались под лозунгом борьбы с шаманизмом прекрасные ростки самобытных культур, с таким трудом взращенные и взлелеянные. Но как можно было считать передовыми бубны, протяжные песнопения, когда нам едва ли не с младенческих лет внедрялась в сознание мысль о том, что вся наша прошлая жизнь не что иное, как прозябание в нищете и невежестве? Этим невежеством нам тыкали на каждом шагу. Мы начали стесняться всего нашего, исконного. Я буквально физически страдал от зависти, когда видел на ногах счастливого сверстника блестящие резиновые галоши, на его плечах — подбитое ватой драповое пальто, за которое я, не задумываясь, отдал бы меховую курлянку, так любовно сшитую и украшенную бабушкой Гивэвнэут. А уж форменная шинель работника полярной станции или же фуражка заезжего моряка были несбыточной мечтой!

И вдруг в этом мире — встреча с книгой Тэки Одулока! Овеянная поэзией, до боли знакомая, казавшаяся до этого такой обыденной жизнью.

Каким же надо было быть умелым шпионом, чтобы пробраться в самую сердцевину жизни! Но эти мимолетные мысли не могли затмить открытия — этот якобы японский шпион не только истинный юкагир, но и чукча!

... После смерти Сталина он был реабилитирован.

СТОЛИЦА КОЛЫМСКОГО КРАЯ

Впервые я побывал в Магадане летом пятьдесят пятого года, еще студентом Ленинградского университета, но уже автором первой книги и десятка рассказов, опубликованных в разных периодических изданиях — от альманаха «Молодой Ленинград» и городской молодежной газеты «Смена» до журнала «Новый мир». В кармане у меня лежал билет члена Союза писателей и командировочное удостове-

рение, выданное Литературным фондом, в котором говорилось, что член Союза писателей СССР такой-то направляется в районы Магаданской области и Чукотку для сбора материалов к своей новой книге...

Это был мой первый полет через всю огромную страну, которую я семь лет назад проехал на поезде от Владивостока до Ленинграда. Авиалинии от Москвы до Хабаровска обслуживали вполне комфортабельные по тем временам самолеты «Ил-14». Полет был «эстафетным». Это означало, что пассажиров пересаживали с самолета на самолет, пока через тридцать два часа (неслыханная в те годы скорость!) я, шатаясь от тошноты и желания завалиться в постель и всласть выспаться, высадился в Магаданском аэропорту.

В те годы я не придавал особого значения литературному ремеслу. С тех времен у меня не сохранилось ни одной рецензии и даже многих изданий. Нельзя сказать, что мне не нравилась моя, пусть небольшая, неожиданно свалившаяся известность, новое, неожиданное ощущение, очень похожее на то, как это порой случается во сне: вдруг оказываешься на какой-то высоте, над облаками, паришь высоко-высоко над землей, но, как это получилось, каких трудов стоил подъем, тебе совершенно неизвестно.

Магадан пятьдесят пятого года, точнее, лета того же года, представлял собой довольно чистый, оживленный северный городок, пестро и экзотически населенный немногочисленными представителями коренных северян. Но больше здесь было новоприезжих, молодых ребят и девчат, прибывших по комсомольскому призыву. Они резко выделялись среди массы старых колымчан и, как я потом сообразил, приехали эти молодые ребята для пополнения неожиданно оскудевшей рабочей силы, щедро до этого пополняемой из Колымских лагерей.

Бывшие заключенные, в свою очередь, разделялись на политических, уголовных и «бандеровцев», к которым причислялись все, кто сотрудничал с немцами или какое-то время находился либо в плену, либо на оккупированной фашистами территории. Это были люди самых разных гражданских профессий — от крупных политических деятелей, наркомов, ученых, инженеров до актрис и певцов, когда-то покорявших слушателей в Москве и Ленинграде.

Меня, конечно, больше всего интересовали политические. У каждого из них была какая-то тайна, вроде той, о которой я прочитал в журнале «Пограничник».

Долгие годы на огромной территории, величиной в несколько европейских государств, практически не существовало Советской власти, как, впрочем, и партийной. Вся верховная, средняя и иная власть принадлежали могущественной организации — Дальстрою с его политуправлениями и лагерным началом. Где-то в недрах засекреченных архивов лежат данные об истинной численности подневольного населения, добывавшего золото на колымских приисках. Бок о бок с лагерниками, часто далеко не мирно, существовали эвены, камчадалы, коряки и чукчи.

Я остановился в благоустроенной гостинице в центре города, на улице Ленина. Номер представлял собой отдельную комнату с окнами во двор, где стоял длинный деревянный барак, типичное магаданское жилище времен Дальстроя.

У меня было прекрасное настроение: я был встречен как известный писатель. И сам город, несмотря на его мрачную историю, производил приятное впечатление. В центре стояли многоэтажные каменные дома не лишенной интереса архитектуры, в которых чувствовалась знакомая ленинградская школа. За резко обрывающейся линией городских домов тянулись разнородные деревянные хибарки, слепленные из самых невероятных строительных материалов. Одна из них особенно поразила меня: она была искусно сработана из бон-

дарной клепки! Вдоль главной улицы и на площадях радовали глаз и радушно звали жаждущего разного рода киоски с горячительными напитками. В те времена это было обычно не только для Магадана.

Редакция «Магаданской правды» помещалась в левом крыле двухэтажного деревянного дома на берегу речки Магаданки. Открывая дверь, я и не предполагал, что через каких-нибудь три года я буду работать в этой редакции и входить в эту дверь уже как сотрудник газеты. В этом здании ранее помещались золотоприемные кассы, куда сносилась старательская добыча, так что, как утверждали знатоки, если разобрать полы и сжечь доски, то в образовавшейся золе можно наскрести достаточно драгоценного металла.

В «Магаданской правде» тогда работали веселые и любопытные люди, большинство — бывшие фронтовики.

Главным редактором был полковник Николай Филиппович Степанов, в недавнем прошлом армейский газетчик. Плотный и совершенно лысый, но еще живой и подвижный, он приветливо встретил меня и радушно усадил напротив себя, приказав секретарше заварить крепкого чаю. Он дотошно расспросил меня об учении в университете, о литературных делах. Подробнее о последних, ибо Николай Филиппович сам был большим любителем писания и, когда я уже работал в «Магаданской правде», он порой исчезал на несколько дней из редакции, запираясь в своей квартире, охваченный неожиданно накатившимся вдохновением. После этого газета несколько дней, из номера в номер печатала очередное сочинение главного редактора, чаще всего касавшееся его фронтовых дел. Случалось Николаю Филипповичу выступать и на так называемые морально-этические темы и даже публиковать рассказы.

Во время нашей беседы в кабинет то и дело заходили сотрудники. Пришел специально вызванный фотограф, очкастый, плохо выбритый, какой-то весь взъерошенный. Он снял меня отдельно, потом меня с редактором. В конце встречи Степанов позвонил по телефону и торжественно объявил мне, что нас ждет первый секретарь Магаданского обкома КПСС.

Первый секретарь, как я узнал впоследствии, тоже был военным человеком, генералом.

Он встретил меня не менее радушно, нежели редактор «Магаданской правды», но все же чуточку официальнее. Поинтересовался, куда я дальше намереваюсь ехать, и одобрительно кивнул, когда я ответил, что цель моей творческой командировки — Чукотка.

— Районы центральной Колымы тоже представляют большой интерес для писателя, — заметил первый секретарь. Он задумчиво посмотрел в окно, в сияющий, сверкающий солнцем летний день и добавил: — Такие судьбы!

Трудно сейчас поверить, но это действительно было так: в то время не только мне, но и большинству населения страны не были известны истинные размеры того бедствия, которое потом было названо «последствиями культа личности», «нарушениями ленинских норм», и той зловещей роли, которую сыграла Колыма. Почти неизвестны были такие аббревиатуры, как ГУЛАГ (Главное управление лагерей), УСВИТА (Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей), значение пятьдесят восьмой статьи Уголовного кодекса с ее многочисленными параграфами, а что касается Дальстроя, то он многим представлялся такой же героико-романтической организацией, как ГУСМП — Главное управление Северного морского пути. То, что начальник Дальстроя был генералом и по положению заместителем министра внутренних дел, никого не удивляло и никаких вопросов не вызывало.

Наличие же лагерей и заключенных объяснялось просто и убедительно: наша единственная (речь идет о довоенном времени) социа-

листоческая страна, страна трудящихся, окружена кольцом враждебных капиталистических государств, которые только и мечтали о том, как нас сокрушить. Они засылали к нам тайных агентов, всякого рода шпионов и диверсантов. Вероломное нападение гитлеровской Германии было достаточно убедительным и зловещим доказательством этому. Не успел рассеяться дым пожарищ, как в небольшом американском городке Фултоне со злобной антисоветской речью выступил наш бывший союзник Черчилль. А ведь еще совсем недавно мы видели его на страницах газет, позирующим рядом с нашим вождем Сталиным.

К тому времени, когда я приехал в Магадан, Сталин уже был мертв и тело его возлежало рядом с Лениным в Мавзолее. Берия был расстрелян. В приговоре мелькнули знакомые слова: агент английской разведки. Почти все, кто был в оппозиции Сталину, были агентами разных иностранных разведок.

Что-то ожидалось, что-то назревало, и это ожидание сквозило не только в тревожных взглядах людей старшего поколения, особенно тех, кого каким-то образом коснулось страшное прошлое. И, видимо, так или иначе причастных было особенно много в этом веселом, залитом солнцем светлоокрашенном городе Магадане. Такие люди попадались мне на улице Ленина, сбегавшей еще с пустынной, без нынешней телевизионной вышки площади вниз, к речке Магаданке и поднимающейся уже лентой знаменитого Колымского шоссе, в местном, гремящем очень шумным оркестром ресторане. Завсегда-таи с гордостью показали мне местную достопримечательность, удивительного саксофониста, который умел играть, держа в одном углу рта папиросу, а в другом — мундштук музыкального инструмента. Из сверкающего металлического раструба вместе с музыкой извергался дым.

— Он играл в оркестре Эдди Рознера, — с гордостью говорили мне.

Имя Рознера ничего мне не говорило, а вот способности музыканта действительно поразили меня, и я старался садиться за ресторанный столик так, чтобы видеть его.

Я познакомился с местными литераторами. Среди них своей основательностью и деловитостью выделялся Николай Владимирович Козлов. Он воистину был собирателем литературных сил обширного края и подлинным основателем альманаха «На Севере Дальнем». Много лет он занимал пост главного редактора областного издательства.

Долгие годы он собирал материал, а потом писал книгу о бывшем начальнике Дальстроя, чекисте Э. П. Берзине. Многостраничный труд под названием «Хранить вечно», отразивший на своих страницах сложное, полное превратностей время, так и не увидел света в полном виде, ибо затрагивал трагические события тридцать седьмого года.

Козлов заключил договор на издание моего еще несуществующего сборника рассказов и выдал щедрый аванс, который позволил мне безо всяких помех продолжить путешествие в столицу Чукотского национального округа Анадырь, тогда еще поселок городского типа.

Магаданский аэропорт в пятидесятых годах располагался гораздо ближе к городу, на тринадцатом километре Колымского шоссе. В летнюю пору он был особенно оживлен: кто-то кого-то провожал, встречал. Самолеты отправлялись в Охотск, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, в Анадырь, Марково, Гижигу, Сеймчан, Певек... Но главной притягательной силой для горожан был круглосуточно работающий ресторан. Сюда сходилось, съезжалось немало число любителей долгой застольной беседы, неожиданных знакомств, мимолетных клятвенных заверений в вечной дружбе, любви, братстве... Возможно, что эти спонтанно вырывавшиеся слова в ту минуту произносились вполне искренне, ведь встречались люди,

в большинстве своем в чем-то обиженные, обездоленные, ищущие настоящего человеческого общения, сердечности и участия. Пусть ненадолго, до похмельного пробуждения они верили в то, что искали, ради чего они отправились в этот суровый, неприветливый край.

Оглядывая шумное ресторанное население и заканчивая предполетный обед, сдобренный по обычаям того времени изрядной порцией спиртного, я искал в этих размягченных алкоголем, искаженных висящим подобно сырому морскому туману табачным дымом лицах отражение пережитых лет, опаленных войной, годами подневольного труда, невероятными страданиями, мимолетными радостями. Это были горняки из дальних, скорее всего, чукотских приисков, только что освободившиеся заключенные из еще многочисленных тогда на колымской земле лагерей, разного рода специалисты, завербованные в центральных районах страны во все концы этой огромной, как целый материк, самой северо-восточной области Советского Союза. Иногда в этой почти однородной массе мелькали лица моих сородичей. Земляки сидели тихо, смирно, оглушенные и потрясенные шумом, гамом, громкими разговорами, неожиданно прерываемыми громкими песнопениями и щедро льющейся водкой.

Ожидание самолета здесь могло затянуться на несколько дней, а то и недель. Случалось сидеть и больше месяца: робкие аборигены грубо оттеснялись в сторону, когда разъяренный долгим ожиданием пассажир штурмом брал билетную кассу, а потом и сам самолет.

Но мой билет был приобретен заранее, «по брони».

Самолет, разбежавшись по грунтовой посадочной полосе, медленно поднялся и потянулся по долине, набирая высоту, меж невысоких сопок.

Вот и знакомый пейзаж за стеклом иллюминатора. Но это еще была лесотундра, точнее, последняя граница лесной растительности, начисто исчезнувшей на подходе к устью великой чукотской реки Анадырь.

Самолет прошел над Анадырским лиманом, показав ряд небольших домиков на галечной косе меж рекой Казачкой и широко разлившимся устьем Анадыря, несколько пароходов на рейде лимана, и приземлился на старую грунтовую посадочную полосу.

ДОЛГОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОГО

В Анадыре я остановился в знакомом доме — педагогическом училище, в той половине здания, где помещалась библиотека. Заведовал ею Костя Синицкий, коренной анадырский житель, прямой потомок казаков-землепроходцев, торговых людей, а может, и священнослужителей, которым в этом краю пришлось весьма и весьма трудно по причине полной невозможности обращения аборигенов в православную веру.

В публичной библиотеке Салтыкова-Щедрина в Ленинграде среди пожелтевших страниц «Вестника Якутского епархиального управления» часто попадались отчеты миссионеров, их жалобы на невосприимчивость чукчей и эскимосов к божественному слову. Разочаровавшись в своей миссии, убедившись в ее бесплодности, иные священнослужители брались за торговые дела, оседали в стойбищах и крохотных становищах, вступая в брак с женщинами, как тогда выражались, туземного происхождения.

В облике Кости Синицкого смешались черты всех народов и племен. не только издревле живших на Чукотке, но и посещавших далекий край не только с западной, но и с восточной стороны.

Как истинный анадырец, то есть человек, причисляющий себя к более высокому сословию, нежели коренное население Чукотки, Костя по-чукотски и по-эскимосски не говорил, если не считать нескольких слов ругательного характера.

Хорошо мне знакомая библиотека педагогического училища на этот раз поразила меня удивительным порядком, такой я ее никогда не видел. Во всяком случае, во времена моего учения она была в ужасном состоянии, заведовали ею люди случайные, и даже одно время библиотекарем числилась жена завхоза, поразившая меня тем, что вместо слова «экземпляр» писала «инзупляк» и еще спорила, что это слово пишется именно так.

Сильно поредевшая училищная библиотека сегодня имела даже каталог!

Но больше всего поразило меня книжное собрание самого Кости Синицкого! Солидные тома по истории, искусству, философии, медицине, разным наукам... Книжные полки занимали две стены небольшой комнаты.

Я в изумлении застыл перед корешками с золотыми тиснениями. У меня учащенно забилось сердце.

— Какие прекрасные книги!

На худощавом аристократическом лице Кости Синицкого появилась улыбка. Ослабившись, он важно и полусшепотом произнес:

— Но самые ценные книги я держу в закрытом шкафу.

И впрямь один из шкафов не только имел висячий замочек, но и тщательно заклеенные темной бумагой стекла.

Из солидной связки ключей Костя выбрал один и открыл замок. Вытерев белым вафельным полотенцем руки, достал тяжелый том, на темно-зеленом переплете которого я прочитал: Форель. «Мужчина и женщина».

— Мое самое большое сокровище,— сдерживая дыхание, произнес Костя.— За большие деньги выписал из московского букинистического магазина.

Дав мне подержать книгу, Костя обещал:

— Вечером дам почитать...

Потом он показал мне великолепное издание словаря Даля под редакцией Бодуэна де Куртенэ. Имя прославленного лингвиста мне было знакомо из лекций профессора Холодовича, читавшего нам курс общего языкознания, и семинара по русскому языку Веры Павловны Андреевой-Георг.

Костя Синицкий открыл том на букву Х и молча показал мне несколько строк. Прижав палец к губам, прошептал:

— Никому ни слова! Местный уполномоченный НКВД что-то заподозрил... Надеюсь, ты меня не выдашь?

Я обещал. Тем более что все эти слова, пословицы и поговорки и частушки я знал не хуже самого Бодуэна де Куртенэ.

По вечерам мы пили с Костей крепко заваренный чай.

— Это хорошо, что не пошел к Никитину пить спирт,— хвалил он меня.— Мы с тобой будем культурно общаться.— Он клал на стол роскошный том Фореля «Мужчина и женщина» и том Даля на букву «Х».

— А нет ли у тебя какой-нибудь художественной литературы? — спросил я как-то Костю.

— Зачем тебе художественная литература? — удивился он.— Ты же сам писатель! Лучше учишься культурному обращению с женщиной. Полезное дело.

— Я эту книгу читал...

— Неужели? — страшно удивился Костя.— Где?

— В ленинградской Публичной библиотеке,— ответил я,— и этот словарь не раз листал...

Костя в изумлении вытащил изо рта нерастаявший кусок сахара-рафинада, осторожно положил на край блюда и шепотом спросил:

— А чего же тогда НКВД интересуется?

Я пожал плечами.

— Наверное, тоже хочет узнать, как надо культурно обращаться с женщиной.

Для Кости, как я догадался, книги представляли интерес как внешне привлекательные вещи. Он их ценил не за содержание, а за вид. И, надо сказать, именно в этом он был настоящим знатоком и тонким ценителем.

За несколько дней общения с ним я еще выяснил, что Костя — романтик и мечтатель. Он любил оперетту и буквально грезил ею. Порой он даже пытался изображать персонажей из увиденных им спектаклей в Москве, когда гостил у своей сестры Мирры, вышедшей много лет назад за московского авиационного механика. Голоса у Кости не было, зато он обладал удивительным умением передавать движения, мимику и даже голоса актеров.

— Я бы отдал все книги, — признался Костя, — только бы сыграть хотя бы маленькую роль в настоящем театре!

Необыкновенная аккуратность моего хозяина и трезвость несколько ограничивали мое общение с другими людьми. Ибо в те годы ни одна встреча в Анадыре не обходилась без бутылки и спирт был так же легко доступен и дешев, как красная икра.

Стояли прекрасные летние дни. Основное население окружного центра, хотя новые административные здания поднялись на сопку, проживало еще на низменном берегу лимана, где вдоль единственной Советской улицы, то пыльной, то непролазно грязной в зависимости от погоды, стояли деревянные домишки, большей частью оштукатуренные или же обитые черным толем. Напротив моего обиталища располагалось длинное деревянное здание. Одну половину его занимал детский сад, а другую — редакция газеты «Советская Чукотка». Здесь я и познакомился с молодым Виктором Кеулькутом. Он стал заходить ко мне. Оставляя в прихожей под пристальным взглядом хозяина ботинки, он бочком проходил в кухню, где на плите стоял чайник.

Виктор читал стихи и искал в моих глазах одобрения. Он считал меня классиком. Четыре моих стихотворения, помещенных в «Книге для чтения», он знал наизусть.

Стихи Виктора мне нравились, конечно, больше собственных. Они были просты и бесхитростны, как настоящая поэзия, и выражали естественные человеческие чувства.

Виктор украдкой вынимал из-под полы бутылку, мы под хмурым взглядом Кости немного выпивали, заедая спирт малосольными лососевыми брющками.

Однажды к нам на огонек зашла Валентина Кагак-Серикова. Она преподавала эскимосский язык в педучилище. Я хорошо помнил ее. Нуукэнские школьники зимой приезжали в гости и в большой кают-компании полярной станции давали концерт. Строили гимнастические пирамиды, и пионерка-отличница Кагак читала стихотворение Пушкина «Зимняя дорога» на завидно отличном русском языке.

Она казалась всем нам необыкновенной красавицей, и если честно, то я был тайно в нее влюблен.

Когда я встретил ее в Нуукэне летом сорок шестого года, она была уже взрослой женщиной. Я прождал с месяц okazji в эскимосском селе, чтобы продолжить свой долгий, растянувшийся на два года путь в Ленинградский университет.

Она выходила замуж за молодого учителя физики Серикова и была необыкновенно счастлива. Я перетащил для нее пружинную кровать из маяка-обсерватории. Кровать была почти новая, двуспальная, пружины упругие, звенящие. Я нес кровать на спине, и она подпрыгивала в такт моим шагам. На ножках были колесики, и, когда я собрал это необыкновенное спальное сооружение, оно легко покатилося по

отполированной от долгого употребления моржовой коже пола, пока нашло более или менее удобное место в древнем жилище.

Старый Кэргитагин, отец Кагак, молча наблюдал за моими действиями и что-то неодобрительно ворчал. Мать Кагак угостила меня вареным моржовым ластом и кружкой сладкого чая.

Валентина Кагак-Серикова сообщила мне, что уже не живет с физиком.

— Я развелась,— спокойно и просто сообщила она мне, хотя в те годы я еще смотрел на развод как на большую жизненную катастрофу.

Я не расспрашивал о причинах такого резкого поворота в ее личной жизни, но сама Валентина рассказала:

— Была с ним в отпуске на материке... Погостили у его родителей. Ко мне относились очень хорошо, может, даже слишком хорошо. Но вот именно это и стало причиной. Сколько раз я слышала за спиной: эскимоска, а умывается; вроде дикарка, а как платье носит; почему на моем лице нет татуировки... ем ли сырое мясо?.. Осточертело мне все это. А когда Сериков сказал, что через три года собирается совсем распрощаться с Чукоткой и вернуться в этот волжский городок, тут меня такая тоска взяла, что я сразу и открыто ему сказала: у нас с тобой, дорогой, никакой совместной жизни не получится...

Валентина Кагак-Серикова закончила Ленинградский педагогический институт, но в родной Нуукэн не вернулась.

— Наш Нуукэн собираются переселять,— сообщила она мне.— Говорят, что человек не должен жить на таком неудобном месте... Тысячи лет жили, и вдруг неудобно стало...

Она грустно вздохнула, посмотрела на меня и вдруг заплакала.

Я не знал, как ее утешить. О чем она плакала? О своей несложившейся личной жизни, о судьбе Нуукэна, ее родного гнезда?

— Ты меня прости,— тихо сказала Кагак-Серикова, утирая слезы.— Но ты все равно рано или поздно узнаешь об этом... Твоей мамы нет в живых...

Что-то горячее, а потом холодное вдруг полоснуло меня по сердцу. Я едва удержался на табуретке. Кагак-Серикова взяла меня за руку.

— Успокойся... Теперь уже ничего не сделаешь... А я помню твою маму... Она была красивая. Не забывай ее, пусть ее облик всегда будет в твоём сердце...

Среди загаданных радостей улакских встреч далеко не на последнем месте была и будущая встреча с матерью. Я много раз воображал: вот схожу с катера или баржи, если доведется приплыть, или же выхожу из самолета, если старенькая улакская посадочная полоса принимает самолеты, и вижу ее среди встречающих. Она стоит чуть поодаль в камлейке (она любила яркие цвета) и улыбается мне, взрослому, возмужавшему сыну, литератору, женатому человеку, отцу двоих детей... Я подхожу, касаюсь по нашему обычаю носом ее щеки, на которой прядь тугих черных волос, отделившихся от наспех заплетенной косы, чую такой знакомый запах тюленьего жира, навечно въевшийся в волосы...

Я вспоминал мамино молодое, почему-то всегда виноватое лицо: может, чувствовала, что обделила меня лаской, отдав ее младшему брату и сестре? Да, я был наполовину чужой, и об этом время от времени напоминал мне отчим тяжелой рукой своей.

Позднее я узнал: в пьяном угаре отчим забил маму насмерть доской, утыканной гвоздями...

Нино Заалишвили,
Николай Труфанов

К НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Оттенки кутаисского пленэра

Пленэр, как учат толкователи искусства, это не только правдивое отражение красочного богатства природы, проявляющегося под открытым небом, но и сама природа, сама природа с ее свободным дыханием, переменчивостью, переливами колористических оттенков. Пленэр в Кутаиси, втором по величине городе Грузии, столице ее западного края — Имеретии, в городе, который веками вслушивается в шум реки Риони под присмотром величественных гор, этот пленэр щедр своим разнообразием и многоцветием. Едва ли кто лучше передаст его очарование, чем поэты и художники, уроженцы Кутаиси. Их было много в истории города, их немало и теперь. И вот что удивительно: все здешние художники, как, скажем, славный Давид Какабадзе (1889—1952), в своих полотнах обязательно представляли поэтами, а знаменитые поэты, кутаисцы по рождению, к примеру, двоюродные братья Галактион Табидзе (1892—1959) и Тициан Табидзе (1895—1937), конечно же, были по своей натуре и живописцами. Это чувствуется по их стихам, по их привязанностям, с которыми нас знакомят музеи этих поэтов.

Как великий Галактион боготворил свой родной город, видно даже из коротких строк:

Из Цхалтубо к Кутаису
Улетевший ветерок,
Если даже утаиться
В Кутаиси дашь зарок,—
Не скрывай, что ты дыханье,
Ну, а чье, как ни таись,
Угадает мой желанный,
Обожаньем обуюанный,
Кутаис мой, Кутаис.

Перевод Г. Маргвелашвили

Чье это было дыхание? Самого Галактиона? Дорогого ему человека?

Кутаис был «обуян обожаньем» и Владимира Маяковского, который родился близ него, в селе Багдади, и всегда считал себя должником багдадских небес. В Кутаиси он ощутил себя сначала художником, а уж потом, в Москве, поэтом. Маяковский учился в той же гимназии, что и братья Табидзе, впрочем, как и десятки других их прославленных земляков.

Пленэр Кутаиси пропитан дыханием высокого искусства, но еще более полон он настоящим легендарной, мифической древности. Когда праздновали пятнадцативековой юбилей Тбилиси, кутаисцы провозглашали тост: «Старшему брату, тысячекратисотлетнему Тбилиси пламенный привет от его младшего брата, трехтысячедвухсотлетнего Кутаиси». Кутаиси, Айа-Кутайа, был столицей той страны, куда греческие аргонавты во главе с Ясоном плыли по Фазису-Риони за золотым руном, так что Медея родом отсюда. Великие храмы родились здесь в X веке — храм царя Баграта Третьего и величественная «бычья церковь» — Никорцминда.

Как видите, здешние художники получили от предков богатое наследство. Им есть, чьим традициям следовать. И все-таки в наше время Кутаиси долгие годы резко отставал от Тбилиси в культурном развитии. Тбилиси вел в этой сфере соло, звучавшее на всю страну и за ее пределами, а партия Кутаиси оставалась по своему звучанию местной, провинциальной. Обо всем этом тринадцать лет назад писал в «Дружбе народов» публицист Теймураз Мамаладзе. Его очерк назывался «Взмах второго крыла», и приветствие кутаисцев Тбилиси мы взяли оттуда. Мамаладзе уже в то время разглядел, что Кутаиси начинает сбрасывать с себя путы провинциализма и, равняясь по столице республики, становится вторым крылом грузинской культуры, помогающим ее взлету. Не монополизм, а культурный полицентризм — главное условие культурного прогресса. Мамаладзе рассказывал, как благодаря энтузиазму тог-

дашнего главы кутаисских художников, скульптора В. Мизандари, живописца Г. Калладзе, поддерживавших их выпускников тбилисской Академии художеств, а также партийных и городских властей в середине семидесятых годов была создана новая Галерея современного грузинского искусства. Очерк обещал, что второе крыло будет и далее наливаться подъемной силой.

Но осуществились ли сегодня давние представления? На этот вопрос в целом можно ответить утвердительно, хотя, конечно, выполнено не все задуманное — застойное время оказало свое влияние и на Кутаиси. Радует, что в последние годы льдистые наплывы в общественной жизни тают и пульс ее в Кутаиси ускоряется. Здесь реализуется целостная программа культурного развития города. В нем возрождаются старые, возникают новые традиции. Ежегодно стал проводиться всесоюзный праздник поэзии, посвященный Владимиру Маяковскому. Традиционными стали фестивали оперной музыки. Особое внимание программа уделяет изобразительному искусству. Галерея, о которой писал журнал, расширяется.

Кутаисские ваятели добились немалых успехов. Все большей известностью в Грузии стали пользоваться и здешние живописцы, графики, всех не перечислишь. Город окружает заботой мастеров изобразительного искусства. Часто устраиваются выставки, встречи художников с общественностью. Большинству мастеров их творческий союз предоставил мастерские. В городе имеется теперь отделение книжного издательства, и новые возможности открылись перед графиками-иллюстраторами. Плодотворно работают на разных предприятиях города молодые дизайнеры, художники по тканям, керамисты.

Конечно, не все гладко и теперь в жизни кутаисских художников. Не сложился еще устойчивый спрос на их работы у массового покупателя. Главные приобретения делают художественный фонд и его производственный комбинат. Этого мало для того, чтобы быт и труд художников получили достаточное материальное обеспечение. Правда, больше картин и скульптур стали закупать для себя коллективы промышленных предприятий. Они заключают с художниками договоры на их будущие работы. Конечно, это не значит, что произведения будут выполняться по принципу — «чего изволите», время такого художества прошло.

Кутаисцы почувствовали, что внутривнутриреспубликанские и, может, даже внутрисоюзные рамки им становятся тесны. Работы здешних художников стали пользоваться успехом и за рубежом. Недавно один богатый американец решил закупить чуть ли не всю персональную выставку живописца и графика Г. Доленджашвили. Но, чтобы приобрести имя за границей страны, мало случайных знакомств с тем или иным богатым покупателем. Надо обмениваться опытом с зарубежными товарищами по искусству, знать их творчество, знакомить со своим. Как это сделать? Руководитель кутаисского отделения союза художников Д. Пачуашвили творчески ответил на такой вопрос, предложив проводить в Кутаиси международные пленэры, приглашать художников из других стран к себе для совместной работы, ведь пленэр как таковой в Кутаиси прекрасен, мы уже пытались показать это в начале статьи.

Первый Международный пленэр в Кутаиси провели в 1985 году. Это была проба сил, что-то удалось, что-то не вполне, но новое мероприятие доказало свою перспективность. В 1988 году художники съехались в Имеретию на второй Международный пленэр. Его оргкомитет возглавил Д. Церетели. Гостями кутаисцев стали живописцы из Тбилиси, Ленинграда, Москвы, многих советских республик, а также из Болгарии, Венгрии, ГДР, Греции, Кубы, Монголии, Польши, Чехословакии. Полтора месяца работали гости на имеретинском пленэре. Ездили в романтический и суровый край, Верхнюю Сванетию, вознесшийся высоко в горы над колхидскими долинами. Работали художники, главным образом, в жанре пейзажа, но их произведения от этого огонь не стали однообразными, ведь виды города, ближних и дальних кутаисских окрестностей многолики и по содержанию, если можно так выразиться, и по цветовому колориту. К тому же участники ассамблеи принадлежали к разным направлениям в живописи: от академизма, реализма до самого смелого авангардизма. Что ж, грузины никогда не были аскетами в своих пристрастиях, они откликнулись на искусство разных народов, признавали соревнование разных стилей, считая, что все это только обогащает искусство. Тициан Табидзе писал:

Розу Хафиза
Я ставлю в вазу Прюдома.
В саду Бесикн

Цветы сажаю Бодлера;
 Все, что притянет
 Мой взгляд на пути незнакомом,
 В стихе грузинском
 Найдёт свой голос и меру.

Перевод В. Державина

Эти строки можно отнести не только к стихам, но и к живописи. Они определяют атмосферу кутаисского Международного пленэра. Одни его участники восхищались первозданной красотой грузинской природы, других привлекали памятники древности, о которых мы упоминали, вписанные в окружение гор, деревьев, потоков воды. Эти памятники становились своего рода камертоном, по которому пейзажисты выверяли тональность звучания природы в своих произведениях. Очарование старого Кутаиси тонко и трогательно передано в картине Г. Тоидзе, народного художника Грузии. Никорцминда стала композиционным центром картины грузина З. Цхадаи. У других авторов древняя архитектура становилась сценической площадкой фантастического спектакля. У третьих древность вызвала романтические размышления о судьбе времен и народов. На полотне В. Ельчанинова из Смоленска храм Баграта стал символом стремления к красоте, истине, идеалу.

Кубинец Х. Р. Сальдивари свободно интерпретировала фрески храма в Гелати. В картине Сальдивари непривычный для грузинской живописи ярко-желтый фон своеобразно контрастирует с суровыми темными яками святых. Колористическим богатством древних росписей вдохновлялся и венгр Я. Вагнер.

Современность тоже возникала в пейзажах пленэристов — литовки Р. Микнавичене, осетина Л. Касоева. Природе, строгой жизни Верхней Сванетии посвятили свои произведения К. Пачулия, монгол А. Намнадорж, ленинградец З. Аршакуни, москвич А. Бегов. Многим памятна недавняя трагедия Сванетии: снежные лавины, сорвавшись с гор, погребли здесь под собой дома и людей. Фигуры закутанных в черные одеяния женщины на полотнах В. Капанадзе напоминают об этих незаживающих душевных ранах. А вот в картинах К. Назаровой «Свадьба», «Танец» грузинский быт предстает радостным, праздничным, хоть автор и не скрывает своего несколько ироничного отношения к изображаемому событиям. Впрочем, за время своей жизни и работы в Кутаиси все его гости смогли лучше понять душу грузин, их национальный характер и перестали, думается, считать наш народ лишь вечным певцом и беззаботным танцором, хоть, конечно, песню и танец любят у нас беззаветно. Художники увидели народ-труженик, для которого стремление к общению и дружбе с другими народами — сильнейшая душевная потребность.

Международный пленэр закончился выставкой написанных в Кутаиси картин. Мы рассказали лишь о некоторых из них, ведь всего в экспозиции было девяносто полотен, которые были затем подарены кутаисской галерее. Но хотелось бы вспомнить еще и спокойные, несколько даже рассудочные декоративные композиции эстонца Р. Кельпмана, и романтические, исполненные таинственности пейзажи поляка М. Смерека, и сказочные феерии грузина В. Маргиани.

Залы выставки были переполнены. Многие получили в подарок медали, специально изготовленные к вернисажу (автор О. Кандария). О нем писала местная пресса. Она печатала очерковые портреты многих участников пленэра.

Художники из разных стран горячо дискутировали в Кутаиси — и не только об искусстве, но и о переменах, происходящих в нашей стране. Именно после этих разговоров, затягивавшихся иногда за полночь, греческий художник М. Николаникос из породненного с Кутаиси города Никеи поставил свечу в древнем Мартвильском храме. Зажигая ее, он сказал, что свеча будет гореть «в поддержку Горбачева и перестройки». Значит, греческий мастер считает Международный пленэр созвучным нашему бурному времени.

Николай Тряпкин

Горькие песни



Песенка моего друга

Не сумел я стыда своего
 Переплавить в гордыню.
Ухожу от лица твоего
 В снеговую пустыню.
Пропаду среди вечного сна,
 Среди смертного хлада.
Не гляди ты, родная страна,
 На смердящего гада.

Только пил, да гулял, да плясал
 Среди блуда и кала.
И руками всю потрясал,
 Не жалея кимвала.
И топтал я твою красоту
 И твои самоцветы..
Умереть бы в далеком скиту —
 У застывшей планеты!..

Не хочу я ни быть и ни слыть
 И коптить твои своды.
Не сумел я достойно прожить
 Эти жуткие годы.
Не сумел я в грозу постоять
 У священных заветов.
И зияет отцовская гать
 Черепами скелетов.

Не осмей же стыда моего,
 Не прими за гордыню.
Ухожу от лица твоего
 В снеговую пустыню,
Пропаду среди вечного сна,
 Запредельного хлада.
Не гляди ты, родная страна,
 На смердящего гада.

1982

* * *

И снова пьют, блюют и падают в ухабе.
И снова — там и тут, и в мировом масштабе.

И дьявольский содом, и зверское раденье,
Кабак иль отчий дом? Среда иль воскресенье?

Сноха или свекровь? Ролной очаг иль стойка?
А в этих жилах — кровь иль грязная помойка?

1971

* * *

Прогнали иродов-царей,
Разбили царских людоедов.
А после к стенке поскорей
Тянули собственных полпредов.

А после клопшы-косари
С таким усердьем размахнулись,
Что все кровавые цари
В своих гробах перевернулись.

1982

* * *

Не люблю русопятов —
Неумных Федотов,
Потребителей лука
И ворованных шпротов.

Нелюбителей твистов
И грузинских засолов
И глотающих рюмки
У приезжих монголов...

Ах ты, Кузя мой, Кузя,
Из московских злодеев,
Дорогой обличитель
Этих подлых евреев!

Не люблю тебя, Кузя,
Да и всех гармонистов.

1981

Что играют присядку
Для голодных артистов.

Для голодных артистов,
Для квартальных садистов
И для тех всерасейских
Удалых футуристов:

Реформаторы Камы!
Реформаторы Ламы!..
И ложится взрывчатка
Под старинные храмы...

И грыземся мы, Кузя,
Да на тех головешках
Или сушим портянки
На космических вешках.

Не стыдятся и не краснеют...

Не стыдятся и не краснеют —
Заберутся к соседу в дом,
Ни копеек и ни стаетек,
Ни гвоздя не оставят в нем!

А сосед — не давай промашку,
Не спеши ради бога в суд,
А не то ведь — загнут «корчажку»,
Да и ножичком поскребут!

Не стыдятся и не краснеют!
Уж такой, брат, замах пошел:
За вином твоим окосеют —
И рыгают тебе под стол.

Столько в каждом из нас гороха!
Столько в каждом глубинных сил!
Да и ты, брат, не будь аноха,
Покажи современный пыл:

Ни старухе и ни ребенку
Не спускай своих кровных ран!
Забирай у сестры гребенку
И засовывай в свой карман!

1982

Али глаз твой устроен плохо?
Али Пушкин тебя растил?
Али тетка, звезда Солоха,
Не стояла у всех кормил?..

Ах ты, тетка, звезда Солоха!
Сколько ты позаткнула звезд!
Отличала тебя эпоха,
За постом выдавала пост.

Не стыдилась ты, не грустила,
Заходила во всякий дом.
Даже бога ты уводила
Под наганом и тесаком.

А теперь вот твои внучата
На твою извострились дверь.
Ни клюки твоей, ни халата
Не оставят тебе, поверь,

Ни клюки твоей и ни вдоха,
Оторвут даже бедный хвост...
Ах ты, тетка! Звезда! Солоха!
Сколько ты позаткнула звезд!

* * *

Черный ворон! Черный ворон!
Стародавний спутник мой!
Что ж ты вьешься, черный ворон,
Над моею головой?

Ты вдали еще кружишься,
А в душе моей — все то ж:

Вдруг в окошко постучишься
Иль в калитку долбанешь!..

Испарись ты, чернокрылый,
Исчезай в любую щель.
А не то ведь, друг мой милый,
И тебя возьмут на цель.

1983

Семен Липкин

Декада

ЛЕТОПИСНАЯ ПОВЕСТЬ



1

глава

Об этом телефонном звонке Амирханову, о довоенном еще, но тоже внезапном, ночном, начальство и творческая интеллигенция республики обожали рассказывать такую быль. Рассказывали с насмешкой, но с насмешкой беззлобной, и вообще рассказ был не так уж простодушен. Кто спорит, обрисовывался Амирханов не очень хорошо, но если вдуматься, то не так уже и плохо. Конечно, слышалось в этой забавной были, высоко наш Амирханов не летает, а все же есть в нем что-то орлиное, наше, горское, удалое, а главное, есть стойкая уверенность знающего себе цену руководителя. Русский, наверно, застутился бы, занервничал, а наш...

Дело было так. Пировали. Кто-то из начальников не то женился, не то жена принесла ему седьмого ребенка, да еще мальчика, не то кандидатскую защитил. Короче говоря, в помещении Дома культуры собрался чуть ли не весь районный актив. Тамадой был директор плодоовощного консервного завода, сам армянин, но человек с душой, здесь родился и вырос, знал, как надо вести горское застолье. Было уже за полночь, когда после цыпленка в сметане с острой подливой один из инструкторов торжественно и весело вручил Амирханову баранью голову. Амирханов славился умением аккуратно изрезать ее длинным ножом и раздавать составные части почтеннейшим гостям сообразно должности и возрасту, а также служебной перспективности. Распределял он уши, глаза, мозг с прибаутками, давно известными, но всех они радовали, потому что, во-первых, молитва от повторения не портится, а во-вторых, Амирханов так искренно, по-детски был счастлив, произнося эти избитые прибаутки, что становилось легко и светло на сердце. Напомним: на Востоке разумно полагают, что мысль никогда не бывает новой, вся прелесть мысли — в новизне словосочетания, а если этой новизны нет, тоже не беда, лишь бы мысль не раздражала своей мнимой оригинальностью, всегда мнимой, ибо все, что должно быть сказано, уже сказано давно. Гости удовлетворенно рассмеялись, когда Амирханов на двух сомкнутых ладонях преподнес начальнику милиции бараний глаз. «Бдительность, бдительность!» — объяснил кто-то, и вдруг раздался звонок такой пронзительный, какой бывает только в сельском учреждении. Пир замолк.

Амирханов, низенький, широкоплечий, с той блаженной улыбкой на круглом загорелом лице, которая не связана со служебными обязанностями, поднялся, не спеша, чтобы не уронить себя в глаза пирующих, приблизился к висящему на стене телефону, взял трубку. Он слушал с деловым вниманием, переспрашивал, подкрепляя слова родного языка русской ответственной матерщиной. Повесив трубку, он обвел пирующих протрезвевшим взглядом и сообщил:

— В колхозе Кагановича несчастье. Сгорели сараи со всей наломанной кукурузой.

Пирующие застыли. Кое у кого опрокинулись рюмки. Амирханов сказал:

— На дворе ночь, дождь, шофера пьяные, до колхоза семьдесят километров, даже если благополучно доедем, ничем уже не поможем, все сгорело, а оставлять такой стол — грех перед народом, который все это изобилие добывал, проливая пот. А пожар — стихийное бедствие.

И остались, и пили, и ели до утра, и плясали, и Амирханов, почти квадратный, плясал не хуже других, с той блаженной, но, как полагают во время танца, при этом еще и важной улыбкой.

Когда о происшествии узнал первый секретарь обкома Девяткин, он рассердился, но не встретил понимания у членов бюро и махнул рукой. Тут была тонкость, и Девяткин в ней разбирался. Председатель Совнаркома, тавлар по национальности, хотя и предан был Девяткину, как борзая охотнику, был из того же рода, что и Амирханов, два других тавлара, члены бюро, без сильного давления не пошли бы против Амирханова из-за такого пустяка, они любили его за простоту, за то, что он, по всей видимости, не доносил даже в тридцать седьмом, чтобы взобраться наверх, да и по деловым качествам он не мог взобраться наверх — в нем было мало подлости, боевитой заветности, — а прочим пятерым членам бюро, гушанам по национальности, было неудобно осудить тавлара, горская этика не позволяла.

Вскоре пришла война, немцы заняли всю Гушано-Тавларскую АССР, даже водрузили флаг со свастикой на вершине Эльбавенда, за ледниками которой сказочно цвела родина Сталина, куда Амирханов успел перегнать с большими, правда, потерями скот, за что Девяткин вынес ему на бюро благодарность, после чего по-свойски, с партийным юмором вспомнил:

— Значит, говоришь, пожар — стихийное бедствие?

Так случай с Амирхановым, получив косвенное одобрение начальства, превратился в народное сказание. И вот через столько лет, и каких лет, — снова ночной внезапный звонок.

В эту ночь Амирханову хотелось одного: выспаться. Немцы похозяйничали в республике недолго, около полуугода, но выбивали их отсюда тяжело, дома были разрушены, скот забрала Москва, в кошарах — ни ягненокка, работники — одни женщины, а если мужчины, так либо на руководящих постах, толку от них мало, либо старики, калеки, подростки, даже дети, мяса нет, хлеб из муки с лебедой, что ни день — похоронка, плач по всему селению, а никто в мире не плачет так, как мусульмане, а Девяткин все требует и требует.

Амирханов вернулся из дальнего колхоза, он устал, продрог, дорога была жуткая, с гор подул первый зимний ветер, а внизу стался туман. В том колхозе испокон веков занимались ковроткачеством, Москва приказала, несмотря на войну, возродить старинный промысел, но женщины кричали, жаловались, оскорбляли Амирханова, мол, сам толстомордый, и у жены его курдюк в два пуда, а наши мужья и сыновья гибнут на войне, а мы тут голодаем. Амирханов успокаивал их шуточками и прибаутками, обещал, что будут хлеб и мясо, все понимали, что он врёт, но хотели ему верить, иного выхода у них не было, одна коврощица приглянулась Амирханову, но он вымотался, было не до этого.

Домой он вернулся поздно. Выпил полбутылки, закусил мамалыгой с подогретым куском вяленой баранины. Жена, пока он ел, укачивала маленького, нагнувшись над люлькой, Амирханов, глядя на нее сзади, вспомнил меткое выражение про курдюк в два пуда, он вышел во двор по малому делу, а когда закончил его, то жена уже спала. Амирханов не обиделся, разделся, лег со вздохом рядом, сам не зная, хочет ли он или не хочет, и быстро, громко заснул.

Разбудил его звонок, звонил Девяткин. Подражая Сталину, секретари обкомов по ночам не спали, но секретарям небольших сельских райкомов спать ночью дозволялось, пусть припухают.

— Амирханов, как слышишь, узнал?

— В гробу лежать буду, а ваш голос услышу и узнаю, Иван Григорьевич, клянусь всемогущим Аллахом.

— Стихийного бедствия у тебя нет?

— Пока нет, но будет.

— Голову сниму. Ковровую артель наладил?

— Золотом режу ваши слова, Иван Григорьевич. Без головы останусь, а к лету будут ковры.

— Молодец. Слушай, вот какое дело. К тебе в Кагар на днях придет на недельку-другую генерал-майор. Жить будет у тебя. Ты не против?

— Иван Григорьевич, вы же знаете лучше нас, для тавлара большая честь, если гость отломит в его доме кусочек лепешки, да еще такой гость. Но к лепешке надо кое-что прибавить. Как гласит русская пословица, сухая ложка рот дерет.

— Не прибудняйся, твою сухую ложку помню, три дня потом голова болела. Но ты не волнуйся, будет порядок. А как с высоким гостем обходиться, не тебя учить.

— Сами у вас учимся, Иван Григорьевич. Старики у нас говорят: «Ни один мулла, ни один уstad не знает наших обычаев так досконально, как товарищ Девяткин».

— Не подхалимничаешь? Приятно слышать. Со стариками всегда советуйся. А генерал не простой, Семисотов ему фамилия.

— Опять золотом режу ваши слова, но разрешите спросить: что делать ему в нашем Кагаре? Война далеко, мирный труд налаживаем.

— Не телефонный это разговор, Магомед. Когда будет нужно, я дам тебе знать, поедешь генералу навстречу, а то дороги у нас плохие. Ты понял?

«Утром пойму»,— подумал Амирханов и заснул. Проснулся рано — заплакал маленький. Амирханов поднял его, голенького, на руки, поцеловал его еще не обрезанный крантик, умиленно сказал: «Пусть я умру за твои яички». Три вещи понял утром Амирханов. Во-первых, такой гость, генерал, да еще не простой, как намекнул Девяткин,— почет ему, секретарю райкома, повысит его авторитет в глазах населения. Во-вторых, из Гугирда, столицы республики, пришлют для генерала все, что надо — коньяк, наверно, пару дюжин бутылок, не меньше двух жирных баранов, кондитерские изделия, конфеты-манфеты,— жена и старшие детишки обрадуются. В-третьих, он усек слова Девяткина насчет плохих дорог: не иначе, как хотят пробить через горы рокадную дорогу. К морю? К нефти? О Аллахе всемогущий, еще покажет себя Кагарский район!

Генерал прибыл без предупреждения Девяткина. Амирханов распекал председательницу колхоза, терпеливо ждали своего часа другие два председателя, вызванные Амирхановым, когда к зданию школы, где теперь весь первый этаж временно занимали райком и райисполком, подъехала машина, из которой вышли Везилов, нарком внутренних дел республики, и высокий, слегка сутулящийся немолодой генерал в старомодных очках.

Амирханов с достоинством направился навстречу гостям. Он был в папахе, но без пальто, в гимнастерке. С гор продолжал дуть ветер. Везилов, такой же низенький, как и Амирханов, но тонкий в талии, женоподобный, как виночерпий на персидской миниатюре, представил Амирханова генерал-майору, товарищу Виктору Николаевичу Семисотову. Генерал-майор приветливо улыбнулся, губы у него были узкие, бледные, рот длинный, зубы сплошь золотые, как и ободки на стеклах очков. Амирханов пригласил обоих к себе в кабинет.

— Это Фатима Сафарова,— сказал он,— боевая председательница колхоза имени Орджоникидзе, думаем представить ее к награде, но это пока секрет, правда, Фатима? Муж у нее уже заслужил орден на фронте. Работает без отдыха, а сама мать четырех детей, старшему, Алиму, тринадцать лет, у него исключительные способности к рисованию, хотим его отправить в художественное училище в Баку или в Тбилиси.

— Очень рад, здравствуйте,— пожал руку председательницы генерал-майор. По-братски провел смуглой изящной рукой по ее черному головному платку нарком Везиров.

— Здравствуй тебе,— сказала генерал-майору Фатима, ее властные умные глаза как бы погасли, и она оробело, спиной к двери удалилась, прижимая не по-женски большие руки к груди.

Генерал-майор, усаживаясь, повел разговор:

— Трудная доля досталась нашим женщинам. Им, прямо скажем, порой не легче, чем мужчинам на фронте. А вам, товарищ Амирханов, воевать не приходилось?

— Три раза подавал заявление, просил, не отпускают.

— Нам, солдатам партии, надо стоять там, куда партия нас поставила.

— Он у нас с пожарами привык воевать,— позволил себе пошутить Везиров. Генерал-майор чуть-чуть, как пристало в таком случае, улыбнулся бледной улыбкой, ему уже успели рассказать эту давнишнюю историю. Но понял генерал, что надо и как-то поправить Везирова, подбодрить хозяина. Он сказал:

— Мне нравится, товарищ Амирханов, что вы хорошо знаете своих людей, вот даже талантливого мальчугана запомнили по имени. Похвально.

Амирханов осмелел:

— Есть такой хабар. В районе проводили открытое партийное собрание. Зал был битком набит. Приехал представитель обкома, сел в президиуме рядом с секретарем райкома, который, как полагается, вел собрание. Вдруг до президиума донеслось, что в переполненном зале кто-то, извините, испортил воздух. Секретарь райкома немедленно приказал: «Мухаммадиев, выйди!» Во время перерыва представитель обкома спросил секретаря: «Как это ты среди такого количества людей, да еще при небольшом количестве беспартийных, узнал, что навоял именно Мухаммадиев?» А секретарь райкома ответил: «Мы свои кадры знаем». Может, я рассказал не к месту, но могу заверить, что в районе каждого жителя знаю, кто чем дышит.

Длинноротый генерал опять улыбнулся своей бледной улыбкой, кивнул головой, решил, что этот анекдот перескажет в Москве, а Амирханов, видно, не дурак, только с виду простоват.

— Беседа интересная,— учтиво вмешался Везиров,— но, может быть, продолжим ее в доме товарища Амирханова? Я думаю, что он лицом в грязь не ударит, хотя время военное, трудное.

Потом обратился к Амирханову:

— Ты чего на меня смотришь растерянными глазами? Боишься, что мы обо всем не позаботились? У тебя на дворе уже стоит полуторка.

Везиров поднялся и сказал высокому гостю:

— Прошу прощения, товарищ генерал-майор, что в вашем присутствии заговорил с Амирхановым не по-русски. Хозяйственные заботы.

— Что ты, надо поощрять наших работников, изучающих местные языки.

— Не моя заслуга, товарищ генерал-майор. Тавларский язык очень похож на наш, азербайджанский, и мы, и они тюркоязычные.

То, что Амирханов имел возможность разговаривать с наркомом внутренних дел республики не по-русски, а на родном языке, созда-

вало между ними теплоту общения, и это иногда помогало Амирханову в повседневной работе. Но Амирханов знал, помнил и другое о Везирове.

Чуть ли не с начальных лет Советской власти первым секретарем обкома был у них Сулейман Нажмудинов, герой гражданской войны, партизанский вожак, лично известный товарищу Сталину. За огромный рост и черные усики его прозвали Петром Великим. Местные рифмоплеты-одописцы величали его пехлеваном, то есть богатырем-исполином, что, говорят, потом ему поставили в вину, так как этот эпический троп был закреплен стихотворным реализмом за товарищем Сталиным. Однако товарищ Сталин через посредство центральной печати всячески поднимал личность Нажмудинова. Считалось, что население республики крепко любит Нажмудинова. В одной из трех республиканских газет напечатали, что Сулейман Нажмудинов имеет такую же власть над врагами народа, какую его тезка, премудрый царь Сулейман имел над джиннами, злыми духами. Редактор газеты был награжден орденом.

В тридцать седьмом году, когда Амирханов работал в обкоме партии инструктором по торговле, Везиров был охранником Сулеймана Нажмудинова: даром, что маленький да тоненький, а был Везиров мастером спорта по вольной борьбе в легком весе и никого не удивляло, что огромного, могучего Нажмудинова бережет от опасности женственноподобный, маленький Везиров.

Как-то отправили Амирханова к соседу, секретарю горкома знаменитого курорта. Речь шла о том, чтобы «Курортторг» согласился, пусть в ограниченном объеме, снабжать и республику. В горкоме знакомые ребята сказали Амирханову:

— Первый тебя сегодня не примет. Сейчас здесь на отдыхе Андрей Андреевич Андреев. Он сидит у первого в кабинете. Кстати, вашего Петра Великого вызвали, скоро придет.

— Так я подожду его у вас.

— Подожди, кто тебя гонит,— согласились знакомые ребята.

И действительно, не прошло и часа, как появился огромный Нажмудинов. Орден Боевого Красного Знамени за геройство в годы гражданской войны пылал на его френче. Он тяжело прошел, ни на кого не глядя, в кабинет секретаря курортного горкома. Его сопровождал Везиров, верный охранник. Нажмудинова вытолкнули из кабинета через пять минут. Руки его были связаны, на месте ордена зияла дыра. Два чекиста наставили на него свои карманные пушки. За ними следовал взволнованный Везиров. Когда почудилось, что Нажмудинов хочет освободиться от обвязавших его ремней, маленький Везиров ловко подскочил и ударил Нажмудинова в подбородок. Оба чужих чекиста и Везиров не без труда вывели Нажмудинова на дворик горкома. Дверь кабинета распахнул секретарь горкома, и важно вышел Андрей Андреевич Андреев. Член Политбюро выглядел старше, чем на обильно развешанных в стране портретах. На его простоявшем лице монголоида тлел нездоровый румянец. Что мог почувствовать правоверный курейшит¹, когда увидел, как в Мекке избивают божьего посланника Мухаммеда? Точно так же, если не больше, был потрясен Амирханов. Он долго еще вспоминал огромного Нажмудинова (которого, говорят, в ту же ночь расстреляли у тюремной стены курортного города) и маленького Везирова, ударившего в подбородок того, кто, казалось, самодержавно правил республикой семнадцать лет.

— Умен Андрей Андреевич,— сказали Амирханову знакомые ребята.— Вызвал вашего сюда, чтоб арестовать здесь, а не в республике, где его мюриды могли бы затеять волюнку. Так спокойней,— и уже отчужденно посмотрели на раздавленного Амирханова.

¹ Члены арабского рода, к которому принадлежал основатель ислама Мухаммед.

2

глава

Гость по-тавларски — кунак, по-гушански — густан. В каждом доме есть обязательно комната для гостя. У тавларов она называется кунацкой, у гушанов — густанхазом. Гушаны — индоевропейцы, мы надеемся найти время и место, чтобы рассказать о том, как они оказались в этих местах, «густан» напоминает русское «гость», а «хаз» — немецкое «хауз», дом. Кунацкая обычно убрана со вкусом, на стенах ковры, на полочках кувшины, изделия местных гончаров, на широкой кровати много подушек, на полу палас. В кунацкую ведет отдельный вход, расположена она так, чтобы гость не видел внутренних комнат, не видел женщин. Хотя теперь прежние обычаи забываются, жена Амирханова и их семилетняя дочь, ненароком встретившись на дворе с генералом-майором, стыдливо и косо прикрывали лицо рукой.

Семисотов старался не быть хозяевам в тягость. Он рано уезжал на машине, а возвращался вечером, шофер у него был тавлар, Амирханов его немного знал, его звали Темир, он работал у Везирова. Перед ужином нагревали для Семисотова воду, ежевечерне он купался в сарайчике рядом с кухней в большом корыте. Роль банщика исполнял Темир. По утрам Семисотов, в пижамных брюках, голый до пояса, умывался на дворе из рукомойника. Амирханов распорядился, чтобы к обряду омовения был готов нераспечатанный кусок туалетного мыла, чтобы на гвоздь вешали свежее полотенце. Целый ящик такого мыла, не считая нескольких кило хозяйственного, прислали из Гугирда специально для генерала. Глинобитная уборная содержалась в приличном порядке, на ночь Семисотову ставили в кунацкую эмалированное ведро, таково было указание Везирова, а выносила хозяйка дома. Иногда Семисотов брал почитать перед сном книгу. Амирханов пыжился, говорил самодовольно:

— Библиотечка кое-какая есть. У меня был план — собрать тысячу книжонок. Война помешала, план выполнил только наполовину.

Из чрезвычайно немногословного Темира Амирханову удалось кое-что выудить. Генерал-майор побывал в нескольких селениях, беседовал с людьми — Темир служил ему и переводчиком, — больше всего интересовался дорогами. Забеспокоился, когда узнал, что высокогорный аул Куруш зимой практически отрезан из-за бездорожья от остального мира. Амирханов понял, что догадка его правильная, генерал прибыл, чтобы на месте изучить возможность строительства удобной дороги.

А кто будет строить? Если объявят народную стройку, плохо придется колхозникам. Но, быть может, потому-то приехал не простой генерал, что хотят сюда пригнать заключенных? Тоже мало радости.

Как-то Амирханова позвал к себе секретарь расположенного ниже, в предгорьях райкома. Население там было гушанское, кагарцы с теми гушанами соревновались. Сосед настойчиво просил привезти генерал-майора, но Семисотов наотрез отказался, да еще лицо у него при этом стало таким, что Амирханов почувствовал себя нехорошо.

Сообщательства обсуждали долго, пили еще дольше, у гушанов такая привычка — напоить гостя до бесчувствия, Амирханов ловчил, старался обмануть собутыльников. Он вернулся ночью, отпустил своего шофера. Дом спал, спал и Семисотов. У плетня Амирханову померещилась какая-то тень. «Я пьян, что ли?» — рассудительно подумал Амирханов, но тень к нему бесшумно приблизилась и Амирханов узнал генеральского шофера. Амирханов встревожился:

— Что-нибудь случилось, Темир?

— Тише, Магомед, есть разговор, — ответил шепотом Темир, и Амирханов еще больше встревожился.

Ночь была безмолвная. Ветер утомился. Из-за вершины неожиданно появилась прозрачная луна, осветила облако, зацепившееся за бойницу башни, сторожившей в старые времена Кагарское ущелье. Темир отвел Амирханова к развалинам соседнего дома и все тем же шепотом спросил:

— Мы одной крови, Магомед?

— Можешь со мной говорить как брат.

— Так скажи мне сначала: кто такой у немцев Кылейсыг?

— Клейст. Генерал. Командовал немецкой танковой группировкой.

— Он был на нашей земле?

— Был, говорят.

— Теперь держи в ушах каждое слово. Наши друзья гушаны сказали генералу, что мы, тавлары, обрадовались приходу немцев и подарили тому Кылейсыгу белого иноходца под бархатной попоной, а на седле были изречения из Корана, выведенные чистым золотом.

— Семисотов сам тебе это сказал?

— Сам сказал.

— А как сказал? С весельем?

— Плохо сказал. С предупреждением. Ты поговори с ним. Мое имя назовешь — вычеркнешь меня из книги живых.

— Мы одной крови, Темир.

В воскресенье Амирханов предложил генералу отправиться в горы повыше, взглянуть на знаменитые водопады. Генерал неожиданно охотно согласился. Когда миновали последний дом, генерал обратил внимание на старинную башню. Она возвышалась среди скал, поросших буковыми деревьями. На уровне двух третей ее длины, считая от земли, образовался прямоугольный пролом, сквозь который таинственно дымились облака, еще хранившие память о ночной жути. Амирханов объяснил:

— Камень привозили с гор. Как доставляли сюда такие гранитные глыбы, до сих пор историки не понимают. Ни одна арба не выдержит. Башня состоит из пяти ярусов; каждый ярус высотой в четыре метра, мы замеры делали до войны. Первый ярус — для скота, во втором хранили продовольствие, в третьем и четвертом прятались женщины, дети, дряхлые старики, а на самом верху — воины.

— С кем же воевали?

— Врагов было много. Монголы, арабы, персы, турки.

— Русские?

— Когда башни в горах строились, здешние племена о русских не слыхали. Башням, наверно, тысяча лет. Наш народ очень древний, достойный народ. Мы и при белом царе с русскими не воевали, наш народ считался «мирной», так у Лермонтова сказано

— А с гушанами бывали стычки?

— Никогда, товарищ генерал. Мы во все времена с гушанами близко-близко, — и Амирханов вытянул указательные пальцы обеих рук и стал их легко ударять друг о друга, пока не скрепил окончательно, чтобы наглядно показать, как тавлары близки с гушанами.

— Магомед Амирханович, давно хотел у вас спросить. Я из машины вижу каждое утро через два дома от вас старика, который в папахе и трусах занимается гимнастикой. Неужели обычай это позволяет? Все-таки не нашего поколения человек, а у самой дороги почти голый.

— Когда верующие совершают намаз, молитву, значит, они пять раз в день то вниз пригибаются, то поднимаются вверх. Называют это ракат. Вот и старик взял за основу ракат для своей физкультуры.

— Но, знаете ли, сейчас зима, холодно, такое и в русской деревне было бы удивительно, а здесь, на Востоке... Кто этот старик?

— Гомер двадцатого века. Неграмотный, но мудрый.

— Позвольте, позвольте. Мусаиб Кагарский? Как это я сразу не догадался?

— Мусаиб Кагарский. Депутат Верховного Совета СССР. Два ордена Ленина имеет.

Семисотов почему-то смутился.

— Замечательный поэт. Во всех школах нашей многонациональной страны его произведения изучают. А его поэма о товарище Сталине переживет века. Да, сложно, сложно.

— Почему сложно, товарищ генерал? — Амирханов насторожился.

— Стихи писать сложно. Да еще такие шедевры.

— Он не пишет. Он неграмотный. Устно складывает. Сядет на террасе, возьмет в руки саз и складывает. Половину Корана знает наизусть. Память у него изумительная. Здесь у нас мулла был, враг народа, много лет по-арабски в медресе учился, а Коран знал хуже нашего Мусаиба, состязался с ним — терпел поражение. Мусаиб и по-персидски говорит, в Баку научился, на нефтепромыслах работал, нищета из аула погнала. А выпьет — он только домашнее вино пьет, — Омара Хайяма продекламирует. Красиво, очень красиво. Про его поэму о великом вожде вы, товарищ генерал, веско сказали: века переживет. По-русски она звучит хотя и неплохо, но как-то «авторизованно», в плен не сразу берет, а когда самого Мусаиба слышишь или по-тавларски читаешь, то слезы удержат неultzя.

— Почему? Разве поэма печальная? Она героическая, зовущая.

— От счастья плачешь, товарищ генерал. За душу хватает.

— Его, кажется, Горький открыл?

— Да, буреветник революции, Алексей Максимович. На Первом съезде писателей. А ведь сначала Мусаиба на съезд послать не хотели.

— Это почему?

— Старая история. У нас тогда пролез в первые некто Сулейман Нажмудинов. Разоблачен как враг народа.

— Помню.

— Нажмудинов был по национальности гушан. Гушаны очень хорошие люди, трудолюбивые, гостеприимные. Но Нажмудинов, откровенно говоря, был буржуазным националистом. Он выдвигал гушанского писателя Хакима Азадаева. Поныне здравствует, плодотворно работает. Слышали о нем, наверно?

— Кое-что слышал, — уклончиво сказал Семисотов, и Амирханов понял, что имя Хакима Азадаева генералу незнакомо.

— Он в Гутирде живет. Ничего плохого о нем не скажу, писатель он, конечно, выдающийся но всякий согласится — до нашего Мусаиба Кагарского ему далеко. Настоящая его фамилия Шарматов, а это показывает, что он дворянского происхождения, шарматы — предки гушанов, по-русски пишется «сарматы». Азадаев очень эрудированный по-мусульмански, медресе кончил, был в молодости муллой, ездил в Багдад, в Дамаск, в Мекку. Во время гражданской войны, есть такой хабар, он приветствовал лжеимаму, которого нам привезли турецкие оккупанты.

— Что значит «хабар»?

— Хабар — это слух, базарный слух. Потом Хаким искупил свою вину, воспел коллективизацию, боролся с адатами. Он даже подходящй псевдоним себе придумал: «Азада» по-гушански — «Свободный». В партию вступил. Так вот, нашей республике предоставили только одно место, писательская организация у нас тогда была куцая, и Нажмудинов, используя свой высокий пост, решил послать на съезд соплеменника. Местничество, товарищ генерал, и теперь — бич нашей республики. Но на бюро тавлары набрались храбрости, спросили: «А почему не Мусаиба Кагарского? Он бедняк, рабочий, а Хаким Азадаев — бывший мулла». Ну, позвонили в Москву, объяс-

нили обстановку — у нас два народа, там поняли нас, и на съезд поехали оба.

— Выходит, еще до речи Горького знали в ваших краях о Мусаибе?

— Его стихи по всем тавларским аулам переходили из уст в уста. Был такой случай, — и Амирханов, предвкушая удовольствие, которое сейчас доставит высокому гостю, да и себе, расхохотался. Расхохотался и Темир, ловко управляя рулем на зигзагах горной дороги, извивающейся над пропастями. Темир знал, о чем сейчас расскажет Амирханов. — Один тавлар решил в горах открыть харчевню. Как раз накануне первой мировой войны. А у нас тогда натуральное хозяйство преобладало. Феодално-родовой строй. Вот и сложил Мусаиб про эту харчевню сатиру.

Дальше Амирханов говорить не мог. Он захлебывался от того смеха, который воспел другой Гомер, не двадцатого века. Его круглое, всегда загорелое лицо стало похожим на лицо фавна. Чудный восторг овладел секретарем райкома.

— Захожу, говорит, в харчевню, а мне, говорит, подают суп холодный и несоленый. Две-три ложки съел, противно, говорит, стало, прошу стакан чаю, а чай мне подают холодный и несладкий. С трудом, говорит, сделал два-три глотка, проклиная, говорит, хозяина, хочу уйти, а он меня за бешмет хватает, уйти не дает, мол, сперва заплати. Я, говорит, отвечаю, где это слыхано, чтобы тавлар тавлару платил за угощение, да еще за такое?

Амирханов в сладостном изнеможении всем своим квадратным телом растянулся на заднем сиденье машины. Задыхаясь от смеха, он дополнил рассказ эпилогом: хозяин харчевни вынужден был покинуть родной аул, уехать за тридевять земель от насмешек. Темир, видимо, мысленно вспоминая строки о харчевне, испытывал высшее, духовное наслаждение. Возникла возможность, понял Амирханов, поведать генералу, какой хороший, уважаемый народ тавлары, рассеять гушанские наговоры. А может быть, ничего такого гушаны не говорили, Темир не понял генерала? Но история с белым иноходцем, якобы подаренным Клейсту тавларами, беспокоила Амирханова. Времена такие — и от пустого слова бывает большая беда. Он поближе наклонился к Семисотову, сутулившему свои узкие плечи рядом с шофером, и продолжил рассказ, поучительный рассказ, необходимый его народу:

— Наш Мусаиб не только несравненный поэт. Он очень находчивый. Когда в Кремле был прием передовиков сельского хозяйства, к Мусаибу подошла супруга товарища Кагановича. Конечно, мы старика приодели — папаха из коричневой мерлушки, бешмет синий, черкеска с газырницей, сапоги хромовые, все новенькое, по мерке. Скажите, уважаемый Мусаиб, спрашивает у него супруга товарища Кагановича, сколько у вас дочерей? А у Мусаиба две дочери, они и сейчас здесь живут, мужья у них на фронте. Старик, пусть будут долгими его годы, не растерялся. У меня, говорит, три дочери, самая красивая — за Кагановичем. Супруге, конечно, приятно такое остроумие, женщина, она Лазарю Мойсеевичу пересказала, он тоже подошел к Мусаибу, руку ему пожал, спросил, про успехи нашего овцеводства. Но Мусаиба не проведешь, овцеводство овцеводством, а свой народ каждый любит, вот он и отвечает:

«Знающие люди мне сказали, что у людей твоего племени есть великий ашуг, а зовут его Салям-Алейкум. Хорошее имя».

Лазарь Мойсеевич, конечно, догадался, что Салям-Алейкум — это Шолом-Алейхем, классик еврейской литературы, и поцеловал нашего гениального старика

— Поцеловал?

— Поцеловал, товарищ генерал-майор. Все видели. Фото есть. Разве я позволю себе вас неправильно информировать? У тавларов

бытует поговорка: «Пусть наше лицо увидят таким, какое оно есть».

Семисотов нахмурился. В маленьком движущемся домике машины стало тихо, тягостно. Семисотов сам это почувствовал. А посторонним не надлежит проникать в его заботы. Он улыбнулся во весь свой длинный тонкогубый рот и по-дружески спросил:

— Как случилось так, что Горький на съезде писателей отметил именно Мусаиба Кагарского, а не его, так сказать, конкурента, того, другого...

— Азадаева?

— Да, Азадаева.

— Сам я, конечно, на съезде не присутствовал, но Сулейман Нажмуддинов собрал нас, работников обкома, больших и малых, чтобы рассказать об огромном успехе республики в области культуры. В Колонном зале, где происходил съезд, было очень жарко, в августе проводилось мероприятие, участники обливались потом, обтирали лицо платочками, а члены президиума все время пили минеральную воду. Вот и видит Алексей Максимович: сидит в президиуме старик, и не как другие, в рубашке без пиджака и галстука, а в черкеске и в папахе из целой овцы, сидит и не шелохнется, сидит важно, сидит достойно, слушает ораторов, будто понимает их, и ни капельки пота под папахой. Алексей Максимович заинтересовался удивительным стариком. Ему объяснили, кто он и откуда. Во время перерыва Алексей Максимович в сопровождении ближайших соратников подошел к Мусаибу и задал вопрос в художественной форме: «Кто ты, многоуважаемый собрат?»

А Мусаиб спокойно, не волнуясь, как будто крестьянина на горной тропе повстречал, ответил через переводчика (мы обоим нашим делегатам за счет республики по переводчику дали), да, так и отвечает через переводчика:

«Я такой же старик, как и ты».

Мы, тавлары, открытый народ, заискивать не умеем. Горький это сразу понял, недаром он основоположник пролетарской литературы, прозорливо смотрел на мир, и ему очень понравился ответ, посоветовал предоставить Мусаибу слово. Вы подумайте, республика наша маленькая, писателей у нас тогда меньше дюжины, а нам такой почет, дают слово на съезде, как будто мы Украина или Грузия. Мусаиб тут же, в один миг сложил в стихах приветствие съезду и пропел его на тавларском языке.

— Как же Горький мог судить о качестве стихов на незнакомом языке?

— Сердце сердцу весть подает.

— Я следил по газетам и журналам. По-русски стихи читаются легко.

— Перевод качественный. Московский поэт переводил, Станислав Бодорский.

— Он знает ваш язык?

— Нет. Так. несколько слов Моя-твоя. Он по-гушански лучше понимает. Ему подстрочники подготавливают, а он их стихотворно обрабатывает.

— Этот Бодорский — не русский? Еврей? Почему у него такая фамилия? Я знаю, у вас есть селение Бодор. Может быть, псевдоним?

— Он русский. А на равнине, вы правы, есть такое гушанское селение. Были князья Бодорские, треть земли нашей республики им принадлежала, гушаны по национальности. За границу бежали.

— Переводчик из этих князей?

— Не могу сказать. Я как то, когда работал в обкоме инструктором по торговле, получил задание — сопровождать его в поездке. Он совсем молодой, ему и сейчас тридцать с чем-то, сам высокий, стройный, красивый, очень на гушана похож. Вот проезжаем через Бодор,

а Станислав уже в настроении был, здорово нас угостили в предыдущем районе, и высунул он голову из машины, крикнул: «Приветствую тебя, мой добрый народ!» Остроумный он. Теперь Станислав на фронте, говорят, в армейской газете. Веселый человек, милый.

— Звучное название — Бодор, — похвалил Семисотов. Но Амирханов был неусыпно на страже тавларских интересов:

— Золотом режу ваши слова, товарищ генерал. У нас тоже названия аулов имеют ценность. Например, тот же Куруш, о котором вы меня как-то спрашивали. Куруш — имя древнего персидского царя.

— Я вижу, что вы знаете историю. Какое у вас образование?

— Плехановский институт в Москве окончил. Коммерсант по профессии. Но люблю читать всякие книги. Когда я еще в Гутирде работал, у нас весь актив, бывало, на футбольный матч выезжает, а я книгу читаю, по мне, хоть бы этого футбола и вовсе не было.

— Напрасно. Игра народная. Но, кстати, о Куруше. — Семисотов проявлял любопытство. — Неужели аул всю зиму отрезан от остального мира напрочь? Много ли у вас таких аулов? Как добираются туда партийные и советские работники, как проводят колхозные собрания, не пускают же все на самотек, наконец, как жители аула спускаются вниз, если есть важное дело, например, участие в выборах?

— Туда зимой на машине добраться нельзя и верхом нельзя. Когда ситуация плохая, тавлары говорят: «На небо взлететь — крыльев нет, в землю зарыться — когтей нет» Но тут положение не такое безвыходное, как кажется. Пешком по крутой тропе добраться можно. Трудно, но можно. Наверх подняться и вниз спуститься.

— А вы, Магомед Амирханович, могли бы?

— Пацаном был, бегал туда. Да и недавно, когда скот в Грузию перегоняли, поднимался в Куруш, — соврал Амирханов. — Правда, весна была, но реки и родники так разлились, что, клянусь всемогущим Аллахом, нелегко мне было. Надо будет, поднимусь.

— А в другие два высокогорных аула вашего района — в Сурхай и в Жилгин?

— И туда попадем. Вы, товарищ генерал-майор, уже хорошо изучили наши горы.

Амирханов увидел, что Семисотову безыскусная похвала пришлась по душе. Дорога между тем, извиваясь над бездной, уходила вдоль скал и, сужаясь, приближалась к альпийским пастбищам. Виднелись чинарники, сосновый лес. Вот промелькнул круторогий тур, промчавшийся по скользкому камнепаду Скалы напоминали крепостные башни Кто их воздвиг? Титаны? Полубоги? Они молчат, скалы, но они помнят, а значит, мыслят. Мысль есть память о том, что было. Когда ничего не было, не было и мысли на земле. Скалы помнят, как здесь все было залито бушующей, бесконечной, тяжелой водой, а неподалеку плыл ковчег, и вода упала, и земля обнажилась, и вышли из ковчега люди, звери и отвыкшие летать птицы. Скалы помнят и тех людей, которые были предками нынешних обитателей, и те люди здесь жили совсем недавно, вчера или позавчера по каменному счету. Да, в сущности, счет один у камня, у реки, у человека, у облака, и мысль одна, у всех одна, только людям кажется, что у них особая, человеческая мысль, а особой мысли нет, и нет камня, и реки нет, и птицы нет, и зверя нет, и человека нет, есть только видимость, есть только мысль в непрочном виде камня, зверя, птицы, человека, реки, и эта мысль есть не что иное, как память о том, что было.

Знал ли Амирханов об этом? Может быть, и знал, но другим, не в плехановском институте полученным знанием, ему самому неизвестным, которое и не знание вовсе в обычном значении затасканного слова, а нечто другое. А что?

Приблизились к водопадам. Машина остановилась, дальше проехать нельзя было. Спутники вышли, ступая по мокрой, не густо заснеженной земле. Водопады застыли. Движение воды оледенело, была только видимость движения, белая видимость былого падения воды. Но вода не умерла, она просто затихла, чтобы спокойно подумать, а думать — значит, вспоминать. И ты, Амирханов, подумай, тебе надо подумать, надо вспомнить. Онемей и думай.

Через два дня генерал-майор покинул дом Амирханова, тепло попрощавшись с приютившей его семьей. Темир выражением глаз, понятным только тавлару, подтверждал, что генерал благодарит от души, что в тавларском ауле ему было хорошо.

А еще через два дня Девяткин вызвал Амирханова в Гугирд, на заседание бюро обкома.

3

глава

Гугирд — железнодорожный тупик, в который упирается недлинная ветка от станции Тепловской. Близлежащие населенные пункты — это либо горячие, пыльные станицы в два-три порядка, поименованные, как правило, в честь казачьих генералов, героев войны с Наполеоном, либо топонимика такова, что заворачивает воображение историков. А у большинства людей нет исторического воображения, потому что они живут в том кажущемся, что сами называют временем, а время у людей человеческое, призрачное, мгновенное, и то, что было всего лишь мгновение назад, скажем, в первом тысячелетии условной, кажущейся эры, людям неизвестно или мало известно, или, что еще хуже, люди самоуверенно думают, что это было давно, а это было вчера и пыль на предметах нынешнего обихода поднята вчера конями гуннов, хеттов, аланов, сарматов, скифов или сегодня утром — конями монгольской орды. Для русского Калуга, например, или Тула — обычные города, губернские до революции, областные по сегодняшней терминологии, а всего лишь мгновение назад названия этих городов обозначали для всадников Чингиза и Батыя заставу и место, где куется оружие. На русский, по крайней мере, дореволюционный слух Бердичев или Балта — это черта оседлости, пейсы и лапсердаки, чеснок да жидовский борщ, но всего лишь мгновение назад это были места восточных рыцарских сражений, в Бердичеве слышен бердыш, Балта по-турецки — топор. А Гугирд? Знают, что есть такая небольшая столица небольшой автономной республики в курортных краях, но кому приходит в голову, что «гирд» — слово древнеиранское, что на языке Авесты означает оно ограду, город и по звукам оно похоже на эти славянские слова. Но что такое приставка «гу»? О, как много важного, значительного в этом коротком «гу», которым начинаются и Гугирд, и Гуниб — родина Шамиля, и гушаны — название народа. Может быть, нам кое-что объяснит то, что загадочное «гу» — одно из самых древних земных слов, оно слышится в персидском «гушт» — мясо, в русском «говядина», и не только то, что человек ест, но и то, что он испражняет, содержит в себе этот древний звук. И то место, которое топчут быки, когда молотят хлеб, начинается звуком «гу» — гумно. А на санскрите «гу» — бык Гугирд — город быков? Или — поэтичнее — город туров? Люди, жившие здесь, сравнивали себя с горными турами, и полтора тысячелетия назад в летописях засвидетельствовано это наименование, полтора тысячелетия назад, то есть вчера, да, да, вчера, это подтверждают камни, они помнят, потому что знают, потому что не меняются, да и люди не меняются, но люди, имея неполное, прерывистое знание, чванливо думают, что они теперь другие, не такие, как вчера, потому что летают на самолете, а не ездят на арбе,

но ведь иные и сейчас ездят на арбе, а самолеты, можно предположить, летали над этими горами в былые, отошедшие времена — как будто на самом деле есть времена отошедшие или грядущие. Больше или меньше был древний Гугирд нынешнего, сохранившего черты казачьей станицы с одноэтажными домами или даже с мазанками и только кое-где безвкусно возведенными новыми, сравнительно высокими зданиями, где расположены важнейшие (и страшнейшие) учреждения и жилища правящих? Но в воздухе Гугирда чувствуется нечто иное, миф парит в этом воздухе, почти зримый, осязаемый миф. Незадолго до войны начали строить самое главное правительственное здание, война, слава Богу, пощадила эллинское полукружие незавершенных стен, и, видимо, архитекторы почувствовали, не отдавая себе в этом отчета, дыхание мифа, и вот от стен, от широкой площади перед ними веет воспоминаниями об ионическом полисе, ибо греки доходили и до этих мест, а впрочем, и греки, и гушаны — родичи, потомки одного и того же племени; вчера все это жило, волновалось, надеялось, пело, вчера, вчера, а завтра, которое наступит через другие полтора кажущихся тысячелетия, изменится только видимость, а сущность останется неизменной: камень, река, человек и небо над ними.

В городе любили пересказывать слова Мусаиба Кагарского: когда он был еще не столь знатен, понадобилось ему съездить — на ослике, как Гомеру — в столицу республики за какой-то справкой. С тех пор, говорил Мусаиб, как в аулах появились люди с портфелями, крестьянам не стало житья без справки. И вот, повествовал Мусаиб, из райисполкома меня погнали в горисполком, из горисполкома в Совнарком, из Совнаркома в обком, а при белом царе всем городом заправлял один становой пристав, и у него был один писарь, и этот писарь все, что надо крестьянину, делал за десять минут, и стоило это десять копеек.

Поскольку новое здание обкома не успели достроить до войны, а прежнее разрушила война, обком занял трехэтажное помещение этнографического музея. Кабинет Девяткина был расположен на третьем этаже, на который вела лестница, устланная ковровой дорожкой. Приемная сохранила следы музея, на ее стенах остались висеть чучела туров и оленей. Над рыжей курносой Алевтиной, над ее столом с тремя телефонами рядом с дверью, ведущей в кабинет Девяткина, красовалась на полке серебряная чаша с арамейской надписью, попавшая сюда во втором веке из ахеменидского Ирана. Музейный экспонат. Вчера эта чаша выкована, вчера.

Алевтина была человек нужный, Амирханов ей кое-что из аула привез, но огляделся — в приемной сидели три человека, и все трое секретари райкомов. Пока Амирханов с ними весело здоровался, он не сразу, но с тем большей остротой внезапно напрягшегося зрения увидел, что все три секретаря — тавлары, ни одного гушана. Что за странность!

Те трое тоже ощутили эту странность, их испуганное недоумение передалось Амирханову, сердце его сжалось. В республике было четыре тавларских района и семь гушанских, почему же в приемной нет ни одного гушанского секретаря? Амирханов уже кое-что начинал понимать и не хотел, боялся понимать, испуганное недоумение надо было спрятать от себя и от других. Они расспрашивали на родном языке, на таком сладком и уже тревожном родном языке, о том, какая у кого погода, о женах и детишках, хотя знали, чувствовали, что совсем другие вопросы следует задавать друг другу. Под столом у Алевтины загорелась крохотная лампочка — ее вызывали в кабинет. Она быстро оттуда вернулась и пригласила войти четырех секретарей райкомов. Девяткин сидел не на своем обычном месте, на его месте под портретом Сталина сидел Семисотов.

Когда четверо вошли в кабинет, генерал поднялся и, приветливо глядя сквозь очки с золотыми ободками и сутуля плечи, пожал каждому руку, пригласил, как радушный хозяин, поудобней усесться, выделил Амирханова, спросил его о здоровье жены и детей, всех перечислил по имени, запомнил. Да, он был теперь хозяином, он, а не глава республиканского правительства Акбашев, подпиравший стену кабинета долговязый тавлар с длинной узкой головой и ничего уже не выдающими, обезумевшими глазами потерявшей след борзой, он, а не Девяткин, усадивший Амирханова рядом с собой на диване, Девяткин, чья карьера сегодня рухнула, он, а не гушан Парвизов, секретарь обкома по пропаганде, кандидат исторических наук, кудрявый до такой степени, что напоминал Семисотову еврея из экстернов. Сегодня или завтра Парвизов станет первым секретарем обкома, первым человеком в республике, он это знал, но он знал и то, что он слуга, навечно слуга, а хозяин — Семисотов, навечно хозяин.

— Дорогие товарищи, — обратился Семисотов к четырем вызванным, — прежде всего разрешите зачитать вам важный государственный, партийный документ, — и негромким, невыразительным голосом прочел указ Советского правительства о массовом поголовном выселении лиц тавларской национальности из пределов республики в Казахстан. Причина выселения — предательское сотрудничество тавларов с немецкими оккупантами.

Голос генерала на мгновение окреп, когда он прочел под указом подпись Молотова, потом опять стал негромким, невыразительным:

— Операция нелегкая, особенно в условиях горной местности, она поручена солдатам государственной безопасности, и мы с честью и бесстрашием ее выполним, но нам, как всегда и везде в нашей стране, нужна помощь тружеников-коммунистов, и в первую очередь коммунистов тавларской национальности, и особенно партийных вожаков, то есть ваша помощь, товарищи. Вы должны помнить, что вы прежде всего коммунисты и коммунистами останетесь впредь, — на этом обнадеживающем месте своей речи Семисотов остановился, как бы ожидая рукоплескания, — да, прежде всего коммунисты, а потом уже тавлары. Вы должны нацелить всех жителей тавларских районов на четкое, быстрое, без излишней суеты и эмоций, неукоснительное выполнение указа Советского правительства. Операция будет проведена 21 января, в день годовщины смерти Владимира Ильича, когда люди будут свободны от работы. Каждой семье дается один час на сборы, разрешается взять по одному чемодану или другому виду тары (рюкзак, мешок, небольшой сундучок) на каждого члена семьи, включая грудных детей. В каждом селении будут ожидать жителей исправные грузовые машины под брезентом. Из труднодоступных горных аулов жители отправятся пешком или на ослах и мулах до того места, где переседают в грузовые машины. Мы вам поможем, но вы, дорогие товарищи, не смотрите на себя как на скопище обреченных жертв, вы должны действовать активно, потому что вы отвечаете за то, чтобы все жители ваших районов были посажены в грузовые машины. Ни одного тавлара, вне зависимости от возраста, пола, состояния здоровья, занимаемой должности, прежних заслуг, ни одного воина Красной Армии, демобилизованного по инвалидности или по другим причинам, не должно остаться ни в одном селении, поселке, городе. Если глава семьи русский, или гушан, или представитель другой, не подлежащей выселению национальности, а жена — тавларка, то вся семья, включая жену и детей, не выселяется. Если же глава семьи — тавлар, а жена другой национальности, не подлежащей выселению, то семья, включая детей, должна быть выселена, но жена по своему усмотрению может остаться в республике. Документы на такого рода семьи уже подготовлены, но и вы проследите за их правильностью. Все ли ясно, товарищи, есть ли у кого-нибудь вопросы?

Какие могут быть вопросы, когда все так ясно, как снежная вершина Эльбавенда, освещенная утренним солнцем? Но у Семисотова было еще одно важное сообщение:

— Грузовые машины с населением доедут до станции Тепловской. Там люди будут погружены в вагоны. На всем пути следования их обеспечат питанием. Будет и санитарный вагон. Партийному и советскому руководству, выдающимся деятелям науки, литературы и искусства предоставят один мягкий, два купейных вагона. И два плацкартных. Свое имущество эти товарищи могут взять с собой без всяких ограничений. В дороге они получат питание повышенной калорийности. По прибытии в Казахстан они будут хорошо трудоустроены, главным образом, на хозяйственной работе, но в отдельных случаях на советской и даже на партийной. Я понимаю ваше настроение, дорогие товарищи, по-человечески вам сочувствую, нелегко покинуть места, где родился и вырос, но еще раз напоминаю: прежде всего мы коммунисты и слово партии, любое указание партии для нас — святая святых.

Секретари тавларских райкомов поняли, что совещание закончено, и вышли из кабинета. Девяткин и Акбашев хотели было задержаться, но, когда Семисотов спросил: «Вы не очень торопитесь, товарищ Парвизов?» — они, остро ощутив свою уже ненужность, удалились вслед за четырьмя. Ночной Гугирд темно молчал — электричество даже и в не столь позднее время плохо действовало, — вчера целый день шел дождь со снегом, на уликах был гололед.

Вместе с ночью молчали и люди, четверо впереди, двое позади. Четыре районные машины старчески медленно следовали за своими хозяевами по булыжнику мостовой. Водители знали, что ночью по домам не разъедутся, будет, как всегда, пьянка до утра в доме одного из городских тавларов. Вот идут они по своей ночной столице, будущие спецпереселенцы и их старший брат. О чем они думают? О чем они думают в эту беззвездную, безглагольную ночь? Не о том, о чем надо думать.

Девяткин прикидывает: когда он проморгал свою судьбу? Ему доверили воспитывать целый народ, а он.. Хорош воспитатель! Не оправдал он доверия. Он родился на станции Тепловской в бедной казачьей семье. Во время коллективизации назначенный председателем колхоза, он расправлялся со станичниками с такой опыняющей жестокостью, что заметил его и отметил Сулейман Нажмудинов, сделал его, малограмотного, наскоро закончившего какие-то трехмесячные курсы, заведующим сельскохозяйственным отделом обкома. Вскоре Девяткину предложили сообщать о Сулеймане Нажмудинове куда надо. Девяткин прилежно сообщал. Вот Нажмудинов хвастался тем, что имел беседу с товарищем Сталиным на Пленуме Цека, во время перерыва. Товарищ Сталин будто бы спросил у него: «Сулейман, ты «Войну и мир» читал?» — «Ей-богу, читал, товарищ Сталин», — ответил Нажмудинов. «Тогда скажи: ты выше меня или длиннее меня?» — «Я сталинец!» — догадался воскликнуть богатырь гушан, трепеща перед низкорослым повелителем, и тот одобрительно посоветовал ему: «Иди в буфет кушать». Вот Нажмудинов через одного из своих холуев дал указание писателю Хакиму Азадаеву воспеть его, и стихи в русском переводе через спецкора «Правды» были отправлены в центральный орган партии и там напечатаны. А спецкор — тоже гушан по национальности. Вот Нажмудинов переспал с сестрой-хозяйкой на республиканской правительственной даче, и такая деталь: сестра-хозяйка попросила у своей подруги, завскладом (Девяткин умно не умолчал, что он спал с той завскладом) раздобыть ей шелковую комбинацию на ленточках, мол, теперь ей уже неудобно носить рубашку из простого мадаполама. Вот Нажмудинов, рассердившись на председателя Совнаркома Акбашева, крикнул ему в присутствии Девяткина: «Тавларский ишак!» — оскорбил националь-

ное чувство скромного главы республиканского правительства. Все мелочи вроде, а складывается из таких мелочей малопривлекательный облик зазнавшегося партбюрократа. А вот уже не мелочь: приезжал на охоту в горы республики Бухарин, еще не до конца разоблаченный, тогда редактор «Известий», и Нажмудинов сопровождал его, рабски лебезил перед ним, никого из обкомовцев с собой не брал. И, хотя Нажмудинов сообщал туда же, куда и Девяткин, о каждом слове и поступке Бухарина и его секретаря, неразлучного с ним Ляндера, сообщения Девяткина оказались более важным, чем сообщения Нажмудинова, и, когда Нажмудинова расстреляли, Девяткина избрали первым секретарем обкома. И он неплохо как будто работал, республика из года в год перевыполняла план по кукурузе и бахчевым, увеличивались производственные мощности консервных заводов, росли поголовье скота и культура — на весь Советский Союз, можно сказать, на весь мир прозвучал голос Гомера двадцатого века Мусаиба Кагарского (то, что слава Мусаиба загорелась при Нажмудинове, малосущественно), и во время войны Девяткин оказался на высоте, спас скот без больших потерь, а когда строился оборонительный укрепленный пояс, в его доме ночевал несколько суток Лаврентий Павлович Берия, руководивший этим строительством, обаятельный человек, высокообразованный. Как-то Лаврентий Павлович сказал ему: «Переходи, Девяткин, работать ко мне, здесь — тупик, и не только железнодорожный». Девяткину понять бы намек, все знал, все предвидел Лаврентий Павлович, хотел ему добра, да проморгал Девяткин, не маячили ему органы, партийная работа, что ни говори, почетней, шутка сказать, первый секретарь обкома, член Центральной ревизионной комиссии, но проморгал ты, Девяткин, член Центральной ревизионной комиссии, свое счастье, попал в тупик, и уже тебе приготовлена малагабаритная квартирка в Москве, жалкая должность, а квартиру и должность пообещал тебе три месяца назад товарищ Маленков, когда вызвал в Москву и предупредил о предстоящем выселении тавларов...

Рядом с Девяткиным осторожно ступает по обледеневшему тротуару худой, долговязый Акбашев. Они соседи, их секции — друг против друга. Нехороший совет дал ему Девяткин три месяца назад, а дал ему Девяткин совет: когда поедет Акбашев в Москву (подходящий предлог для этого найдем), пусть добьется личного свидания с товарищем Маленковым и вручит ему список тавларов — предателей родины числом, скажем, в пять тысяч. Так, мол, предотвратишь поголовное выселение всего своего народа, ста тысяч человек. И Акбашев сам, не доверяя подчиненным, составил список, в который вошли пропавшие без вести воины Красной Армии (и их семьи, разумеется), личные недруги Акбашева, предполагаемые или действительные, дальние родственники репрессированных (близкие родственники давно были отправлены в лагеря или ссылку), несколько сот семей, оставшихся при немцах в Гугирде. И добился Акбашев личного свидания с Маленковым, и вручил ему отпечатанный на мелованной бумаге список, и угрюмое бабье лицо Маленкова вроде бы помягло, но нет, не помог список, плохой совет дал Девяткин, копию списка отправят в Казахстан, и Акбашева — в Казахстан, Акбашева, такого же спецпереселенца, как и весь его народ, только в мягком вагоне он поедет Или в купейном?

А в это время в сплошном мраке беззвездной, безглагольной ночи светились только окна того кабинета, где беседовали Семисотов и Парвизов.

— Как вы расцениваете, Даниял Заурович, указ Советского правительства? — по-чеккистски прямо спросил Семисотов. И Парвизов быстро сообразил, что ответ его должен быть искренним, честным.

— Указ, по-моему, своевременный. Иного выхода нет и быть не может. Но мне жаль тавларов, большая трагедия народа.

— Вы говорите о трагедии народа. Но любой ли народ заслуживает названия социалистической нации? Мне доподлинно известны гениально простые слова товарища Сталина по этому поводу. «В народной песне,— сказал Иосиф Виссарионович,— поется: «За столом никто у нас не лишний» Песня хорошая, патриотическая, но, к сожалению, мы оказались доверчивыми, оказалось, что есть лишние за нашим столом. Мы их — за стол, а они, неблагодарные,— ноги на стол». Мысль вождя надо понимать расширительно.

Парвизов встревожился, но встревожился в глубине своей сути, кожа у него была из камня, из горного камня, он нашел нужные слова:

— Мне доверили высокий, ответственной пост. Опыта у меня мало. Научите меня, как понимать мысль вождя расширительно.

Парвизова рекомендовали в первые секретари не без участия Семисотова, изучавшего материалы о нем и на него, и Семисотов увидел, что не ошибся в этом сравнительно молодом человеке, который до войны был заместителем наркома по просвещению, полтора года провоял на передовой, был ранен, награжден орденом и отозван в распоряжение обкома партии, стал секретарем по пропаганде, а теперь будет первым. Семисотов уже говорил с ним, как со своим воспитанником:

— Мы ликвидировали ряд республик, чье население избрало путь предательства, сотрудничества с немцами, не сумело сидеть за нашим дружным советским столом. Ваша республика очищается от тавларов. Но дело не в таких мелких разбойничьих народностях. По всему Советскому Союзу расплодилось, как саранча, одна нация, которую преступно называть социалистической.

— Какая нация, Виктор Николаевич?

Семисотов встал, сутуля узкие плечи в генеральском кителе, близко наклонился над продолжавшим сидеть Парвизовым и уколол его взглядом сквозь стекла очков:

— Много ли таких, как вы, кудрявых, среди гушанов?

— Редко, но попадаются,— смешался Парвизов. Он не ожидал подобного вопроса. Семисотов пожал ему руку.

— Спокойной ночи, Даниял Заурович. Желаю вам успеха на новом ответственном и трудном посту. Завтра увидимся.

Он вышел, и вскоре до слуха Парвизова донесся гул его машины. Парвизов отпустил Алевтину домой.

— Я сам запрю,— сказал он. Ему хотелось остаться одному в главной комнате республики. Теперь на родной земле нет человека выше его, выше только Москва. Он, Парвизов, спас свой народ.

Уже несколько месяцев знали секретари обкома о намечаемой операции. Должны были выслать всех — и тавларов, и гушанов. У Парвизова созрел отчаянный план действий. Впрочем, сама идея была простой, сложно было ее осуществить. Необходимо было приехать в Москву. Секретарь обкома может приехать в Москву только тогда, когда столица его позовет. У Парвизова был приятель — инструктор Цека: вместе учились, закончили исторический факультет пединститута имени Бубнова (теперь — Ленина). Его-то Даниял Заурович (отныне вся республика будет называть Парвизова только по имени-отчеству: Даниял Заурович) попросил устроить ему вызов в Москву. Предлог был подходящий: ожидалось разрешение Цека на издание в республике комсомольских газет на двух родных языках, по такому вопросу, как правило, докладывает секретарь обкома по пропаганде Великая трудность заключалась в том, что помимо этого проекта решения о газетах имелось сверхсекретное сверхрешение о выселении обеих национальностей, о ликвидации республики и о разделе ее территории между соседними русскими областями и Грузией. К чему тогда комсомольские газеты на языках, которые будут считаться несуществующими?

У Парвизова был природный дар, он владел тем искусством, которое необходимо у нас каждому человеку на любом уровне — искусством актера. Между прочим, может быть, потому-то наш театр влачит жалкое существование, что все население страны гораздо больше актеры, чем деятели сцены. Парвизов вел себя в Москве так, как будто речь шла не о судьбе целого народа, а об обыденном, хотя и серьезном партийном деле. К тому же молодому секретарю помогали внешние данные. У него было открытое, всегда веселое лицо смелого горца, но достаточно культурного. Возможно, в его жилах текло немного калмыцкой крови, и монгольская миловидность в сочетании с арийской, гушанской мужественностью и стройностью плясуна, с необычной для гушана кудрявой головой делали его привлекательным не только для женщин, но, что важно, и для мужчин. К тому же он умел пить, не пьянея, отлично, без акцента говорил по-русски, его отец был школьным учителем, значит, был Парвизов, как теперь говорят, интеллигентом во втором поколении, тосты он произносил великолепные, остроумные, он сознавал свое очарование и умело приспособился им пользоваться, и вот, преодолев сотни преград, с помощью друзей и друзей своих друзей он сделал так, что его допустили не к какому-нибудь завотделом, а к самому Маленкову. Властительный центурион Сталина, Маланья, как его презрительно-ласково называл вождь, выслушал Парвизова с безразлично-внимательным выражением бабьего лица, но внезапно оживился, когда Парвизов сказал:

— Разворот первого номера обеих газет хотим украсить заголовком — цитатой из высказывания товарища Сталина: «Гушанский народ вышел на дорогу свободы и счастья».

Безразличие Маленкова исчезло мгновенно, лицо стало жестким, властным, даже молодым.

— Откуда цитата?

Этого вопроса и ждал Парвизов, это и был его отчаянный план.

— Из приветствия гушанским коммунистам в июле 1921 года.

— Почему только гушанским, а не тавларским?

— Тогда еще не было нынешнего размежевания, не было и Гушано-Тавларской АССР, у нас, у гушанов, была своя автономная область, нас потом соединили с тавларами. Товарищ Сталин находился на кратком отдыхе в Гугирде, в санаторной местности Заозерье. В это время гушанские коммунисты собрались на свой партийный съезд, товарищ Сталин по состоянию здоровья не мог на нем присутствовать, прислал приветствие.

— В трудах оно помещено? Год издания? Страница?

Парвизов дал точные сведения. Добавил:

— Во всех изданиях напечатано Мы цитируем по книге: «Ленин и Сталин о Средней Азии, Северном Кавказе и Закавказье».

— Книга у вас с собой?

Маленков, конечно, понял, в чем была истинная причина того, что Парвизов, минуя нижестоящие инстанции, добился приема у него, почему заговорил о заголовке в газетах. Значит, и книгу принес.

Парвизов достал из портфеля драгоценный фолиант, подал Маленкову, раскрыв книгу на нужном месте. Маленков всем своим бабьим лицом, даже, казалось, всем рыхлым телом своим впился в священные буквы («Как наш сельский мулла в суры Корана», — подумал Парвизов). Он читал эти полстраницы долго, видимо, несколько раз перечитывал, обдумывал. Помолчал, глядя не на Парвизова, а куда-то в запредельную даль кабинета, потом сказал — не сказал, а промолвил, изрек:

— Полиграфическая база у вас слабая, две газеты для комсомольцев выпускать пока не сможете, издавайте только одну, на гушанском языке.

В этот миг Парвизов понял, что победил, что народ его спасен. Изречение вождя — великая сила, но только тогда, когда это изречение напомнишь вовремя, тактично. А недалекий Акбашев послушался совета недалекого Девяткина — и проиграл. Все они умные, пока у них есть власть. А отними власть даже у этого Маленкова — и что от него останется? Не выше мула он по уму, даром, что, наверно, холощенный. А что останется от Семисотова, если отнять у него власть? Но власть у него, вторую революцию не сделаешь, и не случайно сравнил Семисотов некую нацию с саранчой. Будет еще одна беда. А ведь дети Парвизова наполовину принадлежат к этой нации, его жена Надежда Григорьевна — по паспорту Надежда Гиршевна Спрячься, Парвизов, спрячься внутри своей сути, пусть видят только твою кожу, будь веселым, открытым, энергичным, властным, жестоким, ты теперь как царь Ирод. и пусть зависишь ты от назначенного Москвой прокуратора, а все-таки царь, и твоя Надежда Гиршевна — царица этой горной маленькой державы, и дети твои будут расти, как принцы, только спрячь свою суть, играй, Парвизов, играй с блеском.

4

глава

Амирханов объяснял генералу правильно: аул Куруш действительно получил свое имя от древнего персидского царя, которого в русских учебниках ошибочно называют Киром, что у ученых персов, слушающих на симпозиумах русских историков, вызывает веселое недоумение, так как персидское «кир» соответствует и по звучанию и по смыслу нашей самой краткой брани. Кто, однако, дал аулу это название? Территория нынешней Гушано-Тавларской АССР находилась в вассальной зависимости от царя Куруша. Но сам ли могущественный завоеватель побывал в этой горной глуши и, пораженный одиноко и венценосно возвышавшимся над вершинами селением, нарек его в свою честь? Или это сделали его потомки? Слуги? Пишущий эти строки всего лишь любитель чтения исторических книг, дилетант и ответить на этот вопрос не в состоянии. Когда совсем недавно, в восемнадцатом веке, на землю тавларов нагрянул выскочка — шах Надир, человек, подобно Гитлеру наглый и не шибко грамотный, он доказывал принадлежность Персии захваченного куска земли, основываясь на том, что здесь самый высокий аул носит персидское имя. Но это такая же чушь, как та, которую совсем уже недавно распространяли немцы, окружившие Ленинград: земля, мол, здесь немецкая, а доказательство — названия городов: Петербург, Петергоф, Ораниенбаум. Что мы знаем о прошлых веках? Что мы знаем о прошлых годах? Врут учебники, врут газеты, только миф — правда.

Могли бы назвать этот аул Курушем гушаны, родственники персов по языку, у которых были сложные отношения с ахеменидской династией, но точно известно что гушаны в этих местах никогда не селились, так высоко в горы не забирались. А высота умопомрачительная. Сразу же за районным центром почти вертикально устремляется над бугристым колхозным пастбищем узкая тропа, шириною в метр, кое-где в полтора метра, вышиною в километр. Пишущий эти строки однажды, будучи молодым, взобрался по этой тропе в аул, и сердце у него тогда замирало от ужаса перед пропастями невыносимой глубины по обе стороны каменной тропы. Пишущий эти строки снова приблизился по бугристому пастбищу к тропе через двадцать лет, но уже не решился подняться в аул, даже не верил себе, что когда-то осмелился на это решиться, и до чего же стыдно стало ему, когда он увидел, как школьники, смеясь и подпрыгивая, сбегали по страшной тропе, к тому же и скользкой, ибо дело происходило поздней осенью.

Эта почти вертикальная узкая тропа посреди горной бездны связывала жителей Куруша с остальным миром, который они называли нижним. Земля у них была скудная, наделы, как говорится, буркой накроешь, мужчины на целых полгода уходили на заработки, одни — в ближние места, добирались до Дона, другие — подальше, шли в Турцию, Сирию и даже в Египет, где, есть слух, один курушанин стал везирем. Занимались курушане разными ремеслами: ремеслом кузнецов, ремеслом золотоковачей, ремеслом нищих, а некоторых очень боялись дети в окрестных селениях — они боялись тех, кто занимался ремеслом мусульманского обрезания, издали угадывали их каким-то чутьем.

Кузнеца Исмаила увела судьба на север дальше, чем других: он строил канал Волга — Москва. Как-то, в 1932 году, он резко оборвал придиравшегося к нему фининспектора, тот, даром, что такой же тавлар, пришел ему политическое дело — злостный забой собственников овец, и Исмаилу дали пять лет. Уже сама краткость срока показывала, что дело пустяковое. К тому времени, когда случилась великая беда с его народом, Исмаилу стукнуло шестьдесят. Он видел много, он знал много. Он читал по-русски и по-арабски, он исходил казачьи станицы Дона и Кубани, он работал в кузнях Дамаска, где родилась лучшая в мире сталь. Но такого, как на строительстве канала, он не видел никогда. «Страшный суд! Даджалъ (мусульманский антихрист) пришел!» — восклицали односельчане, когда, вернувшись домой, Исмаил рассказывал им о пливших между плотинами трупах. Вернулся Исмаил хромым, ему камнем отдалило ногу, а срок ему скостили до трех лет — не потому, что он охромел, он и хромым оставался на каторжных работах, а потому, что у него были зачеты, немало дней выработывал он по 151 проценту нормы.

Ох, и пировали же в Куруше! В русской деревне, наверно, побоялись бы встретить так душевно, даже восторженно бывшего зэка, но все жители Куруша были одного рода, одной крови, а, по их понятиям, общность рода выше государства, важнее государства, прочнее государства, да и здешние скалы, облака над скалами, кустарники между скалами были с людьми одного рода-племени и тоже принимали участие во всеобщем деревенском пире.

А как хорошо было на душе у Исмаила, когда после канала, тяжелого, как кандалная заклепка, он вновь увидел свою постаревшую исхудавшую Айшу, своего сына Мурада, помощника в кузнечном деле, стройного подростка, горбоносого, как коршун, увидел своих друзей, свои камни, свои облака, свои деревья, свои сакли с навесами — продолжениями плоских крыш, свой аул, со всех сторон окруженный головокружительной бездной и только тропой, тонкой, как сират, господеь мост в рай, соединенный с остальной тавларской землей.

Исмаил опять стал колхозным кузнецом. Первые послекаторжные годы ему помогал Мурад, потом Мурада забрали в армию. Из близких родственников у него в живых осталась лишь одна сестра Фатима, некогда выданная замуж в нижний аул. Секретарь райкома Амирханов, конечно, знал о прошлом ее старшего брата, но другого выбора у него не было, мужчин взяла война, а Фатима из бедняков, в колхоз они вступили с мужем одними из первых, Исмаил обучил сестру русской грамоте, что в ту пору было большой редкостью среди горянок, а Фатима была женщина работающая, смышленная, передовик сельского хозяйства, исполнительная, правда, чего скрывать, отсталая — религиозная, но, с другой стороны, именно поэтому ее уважали колхозники, верили ей.

Когда накануне ленинского дня Исмаил, пропахший дымом, с покрытой копотью, аккуратно и округло подстриженной бородой, с покрасневшими от кузнечного огня веками дохромал до своей сакли, его сердце налилось радостью: к нему в гости, чтобы в праздник быть вместе, поднялся из нижнего мира Алим, тринадцатилетний любимый

племянник, сын Фатимы. Мальчик уже успел расставить вдоль стены за очагом на дощатом топчане, укрепленном на глиняных ножках, свои картины в грубо сколоченных рамах. Старая Айша ухитрилась испечь для племянника в золе очага несколько пресных лепешек из остатков ячменя. Она припасла и орехи на зиму (ореховое дерево росло перед саклей), они золотились на маленьком трехногом круглом столике. Исмаил и Алим обнялись, но, как полагается правоверным, губами друг друга не коснулись. Большеглазое, породистое, удлиненное лицо мальчика еще не научилось по-восточному скрывать свое волнение, а волновался он потому, что его дядя, как мастер работу мастера, стал осматривать картины. Это были копии — портреты вождей и портреты более близких лиц. Карл Маркс был похож на тавларского муллу, только чалмы не хватало. Понравился Исмаилу портрет Айши во весь рост. Племянник приукрасил жену кузнеца, изобразил ее в большой, богатой шали, которой у нее не было, а ноги обул в короткие чулочки из сафьяна и того же цвета туфли, которых у нее тоже не было. С одобрением взглянул Исмаил и на себя. Алим нарисовал карандашом его лицо и часть туловища, оборвав его на газырницах бешмета Исмаил удивлялся сходству, не понимая, что юный живописец не уловил выражения его пронизательных голубых глаз.

— Зачем плохого человека рисуешь, — укоризненно спросил дядя, указывая опаловым, потемневшим от копоти пальцем на портрет Сталина. Мальчик раскрыл рот в священном ужасе. Айша, неодобрительно покачав головой в черной повязке, напомнила:

— Пророк запрещает рисовать.

— Пророк запрещает рисовать Аллаха, — уверенно возразил кузнец, — ибо от Аллаха никто не сокрыт и ничего не сокрыто, сам же он сокрыт ото всех и от всего. А хромого кузнеца Исмаила и его старуху Айшу ни одна сура, ни один аят Корана рисовать не запрещает.

В Куруше появление нового человека, поднявшегося из нижнего мира, даже будь этот человек ребенком, всегда событие. В саклю кузнеца одна за другой приходили соседки, они выражали свое восхищение картинами Алима, щелкали пальцами и, издавая языком и губами звук, каким понукают в России лошадей, нехотя удалялись. Пришел и одноногий, одорукий Бабраков с медалью и желтой ленточкой раненого на гимнастерке, видная личность — завклубом. Он, как взрослого, обнял уцелевшей рукой Алима и, опираясь на стожил и на мальчика, вздохнул по-мусульмански, то есть придавая всему определенный смысл, устроился на топчане и наставительно сказал:

— Никогда не забывай, Алим, что по матери ты родом из Куруша, здесь твоя родина. Так подари нашему клубу портреты вождей. И твоя мать обрадуется за своего сына, за свой род, когда весь Куруш, этот минарет горской земли, будет смотреть на твои картины.

Так сказав, Бабраков снова вздохнул со значением. Исмаил понял, что завклубом хочет ему сообщить нечто важное, но ждал, чтобы начал Бабраков. И Бабраков как будто начал:

— Языки наших женщин, как жернова. Но мельница шумит, а мела нет. Ты ничего не слышал, Исмаил?

— А что услышишь в кузне? Мехи надуваются, огонь скачет, железо гремит.

— Ты мудр, Исмаил. Но сегодня гром кузни тебе уже не помешает и завтра не помешает — выходной день, напряги свой слух, нужен твой совет. А что касается тебя, Алим, то я передумал. Картины твои не в подарок возьмем, а купим. Оформим как следует, может, удастся, продуктами заплатим, не бумажками.

— Продуктами лучше, — ответил за племянника Исмаил. — Ты что-то сказал о всяких разговорах. Известно, что репейник растет на скале, а слух — на площади. Когда пойдем в клуб, услышим, узнаем.

Аульный клуб стоял посреди широко и неровно разбежавшейся площади на пологом склоне горы. Он прежде был мечетью, и ничего

в постройке не изменилось, если не считать двух квадратных окошечек, прорубленных для показа фильмов. Эти окошечки разрушили замысловатый орнамент стен. Никто в Куруше не знал, даже читавший по-арабски Исмаил, что орнамент в действительности является сложенными в слова буквами старинного арабского алфавита, называемого куфическим, а слова складывались в изречение из Корана, и под русским лозунгом «Дело Ленина — Сталина победит!» ученые арабисты прочли бы вечные слова о Боге и о его посланнике, и о том, что надо бояться огня, уготованного всем неверным, огня, чье топливо — люди и камни. Но, хотя горские крестьяне не разумели ни старинной, ни поздней арабской азбуки, они твердо знали, что война пощадил клуб, беспощадно уничтожив соседние дома, потому что прежде клуб был святой мечетью.

На площади уже собирались жители. Им было известно, что после доклада покажут фильм «Ленин в Октябре», и, хотя все его не раз видели, приятно было ожидание развлечения в этой голодной, скудной, скучной жизни. Женщины постарше прятали волосы под повязкой, сверху были наброшены на них ветхие большие черные шали, сложенные треугольником, с закинутыми на спину концами, девушки и девочки были одеты более по-теперешнему, по-городскому, одежда была нищенская, но кое у кого сохранились цилиндрические высокие шапочки, украшенные вышивкой и посеребренным шариком. Инвалиды войны, несмотря на зиму, были в гимнастерках, без бурок, ноги — в изношенных чувыках, но зато головы — в огромных папахах, ибо горец может быть разут и в рваном бешмете, но обязательно в хорошей папахе (лучшее в человеке — голова) и при кинжале. Увы, кинжалы были запрещены... Мальчики тоже были в папахах и в изодранных, не по росту куртках с капюшонами из войлока. Как седые орлы на горных скалах, восседали на корточках восьмидесятилетние старики.

Исмаил поздоровался за руку со всеми мужчинами. К нему — что не полагалось по обычаю — подошла Сарият Бабракова, колхозный чабан. Это была статная женщина лет за тридцать, брови ее над переносицей соединялись полоской черной краски, высокоскулое лицо было обветрено. От нее пахло снегом и овечьей мочой. Первый муж ее погиб на фронте, оставив ее с двумя детьми, она вышла замуж во второй раз за однорукого, одноногого завклубом Бабракова, вернувшегося с войны более полугода назад, но брак они оформили недавно, соседки, сначала не одобрявшие ее, теперь успокоились. Месяцев прошло как будто немного, но уже было заметно, что Сарият ждет третьего ребенка. Однажды на нее напал волк, когда она повела свою отару на пастбище повыше, где трава была гуще, волкодав не мог справиться с разбойником, и Сарият убила волка пастушьей ярлыгой, но серый перед смертью успел изорвать бурку ее покойного первого мужа, в которую была одета Сарият, и она кое-как залатала ее кусками войлока. До войны женщины никогда не были чабанами. Голос у Сарият стал хриплым, неженским:

— Хочу тебя спросить, Исмаил, хочу, чтобы ты дал мне правильный ответ, ты ведь горец грамотный, бывалый, около самой Москвы, хоть и не по своей воле, три года провел, знаешь низины и вершины. Скажи нам, Исмаил, почему сегодня другой человек у нас о Ленине докладывать будет?

— Какой другой человек?

— Кто у нас все годы войны докладывает доклады? Фазилеву, редактора районной газеты, к нам наверх посылают. А сегодня у председателя уже пьет и закусывает другой человек, сейчас и здесь появится. А знаешь, кто этот другой человек? Биев.

— Биев? Начальник районного НКВД? «Надо лучше?»

— Начальник НКВД будет нам про Ильича и текущий момент рассказывать. Мальчишки видели, как он входил в дом председателя, живот здоровый, больше моего, на каждом боку — по револьверу.

Исмаил вспомнил тревожные, непонятные слова мужа Сарият, завклубом Бабракова. Да, надо своему уму дать отстояться. Начальнику районного НКВД не положено доклад об Ильиче докладывать, идеология — не его поле, другое поле у начальника НКВД.

Сарият как будто прочла его мысли, добавила хрипло:

— Есть хабар, что нас хотят выгнать из Куруша в нижний аул. Исправят разрушенные дома и нас в них поселят. А то большому начальству трудно до нас добираться. Вот и прислали Биева, чтобы нас заранее подготовил к переселению, а заодно он и ленинский вечер проведет.

— Аллах Акбар, владыка миров, что же будет с Курушем? Что будет с могилами наших предков? Разве живые могут навсегда покинуть своих мертвых?

Так спрашивал Исмаил, у самого себя спрашивал, у собравшихся вокруг него односельчан спрашивал. В коляске подкатил, зло улыбаясь, красавец — истинный черкес, как бы спрыгнувший со страниц кавказских поэм Пушкина или Лермонтова. Впрочем, спрыгнуть он не мог даже со страниц, за сталинградскую медаль он заплатил обеими ногами.

— Салам алейкум, Исмаил.

— Ваалейкум салам, Ахмед. На коляску не жалуешься?

Коляска Ахмеда была сработана Исмаилом. Кузнец сделал и удобный руль, сам придумал его конструкцию.

— Спасибо тебе, танк в исправности. Значит, получим сегодня от Биева указание, в каком порядке спуститься вниз. Приготовь свой вещмешок, Исмаил. А наш Куруш...

Ахмед не договорил — появился Биев в сопровождении Бабракова. Все мысленно отметили, что с ними нет председателя колхоза. Почему это? Ленина, что ли, не уважает? Две кобуры чернели на двух мягких боках Биева, два портрета Ленина и Сталина, два портрета кисти мальчика Алима держал он под мышками.

Население втиснулось в клуб, уселось в помещении бывшей мечети. Биев, чтобы все видели, поставил портреты вождей прямо на сцене перед столом и присел к сидевшему за столом Бабракову, прислонившему к спинке стула кость. Еще один портрет Сталина висел в михрабе — в нише, когда-то указывавшей молящимся направление в сторону Мекки. По давно немывтым деревянным ступенькам поднялась на сцену Кучиева, однофамилица Исмаила, секретарь парторганизации. Бабраков после кратких вступительных слов, соответствующих печальному, но насыщенному оптимизмом событию, объявил, что доклад сделает наш уважаемый товарищ Биев.

Начальник НКВД Кагарского района был высок, мордаст, брюхат. Голова его устроилась на плечах, как бы не нуждаясь в шее. Узкие глаза запылились плотным светло-розовым мясом. В Куруше сохранилась очень чистая тюркская речь с большим, правда, количеством слов арабского происхождения, но приобретших тюркское звучание с ударением на последнем слоге, а Биев, хотя и читал по бумажке, говорил по-таварски дурно, если же отрывался от бумажки, то соединял тавларские слова искаженными русскими, вроде «туда-суда», «так ска-зат», «в общем-целом». Он привык заканчивать свои выступления призывным выкриком: «Надо лучше!» Однажды он провозгласил: «Да здравствуют солдаты Дзержинского, наши органы безопасности, которые хорошо служат Советскому Союзу, надо лучше!» — с тех пор его прозвали «Надо лучше».

О Ленине он говорил мало, больше о Сталине, о близкой победе, требующей напряжения и жертв, бумажка привычно увязывала великие дела всей страны с колхозными заботами и задачами Куруша. Выкрикнув с неподдельным подъемом все необходимые, ставшие уже безъязыкими здравицы и дождавшись, пока смолкли все необходи-

мые аплодисменты, Биев, окончательно оторвавшись от бумажки, объявил:

— Портреты величайших вождей всех народов нарисовал присутствующий здесь ученик пятого класса Алим Сафаров. Хорошо нарисовал, надо лучше!

Опять раздались аплодисменты, на этот раз от всей души, действительно одобрительные. Алим застеснялся, все это заметили, аплодисменты усилились, но Биев вздетой рукой показал, что у него есть еще одно объявление. Жители уселись, стали слушать.

— Давно уже колхозники жалуются на трудности жизни в Куруше. Справедливо жалуются. У вас нет врача — ни один медработник, так скажут, не хочет наверх подняться. У вас нет школы — ни один педагог не хочет, туда-суда, жить в таких условиях. В общем и целом, обком партии, правительство республики учли жалобы колхозников и решили, несмотря на военное время, улучшить вашу жизнь, предоставить вам благоустроенные дома в одном из нижних аулов. Теперь и детишкам будет хорошо — там школа имеется, в Куруше немало инвалидов войны, больных стариков и старух, все нуждаются в медицинской помощи. Скоро Сарият нам подарит смелого джигита, и не надо будет ей с ее вьюком спускаться по тропе, чуть что — больница рядом. Дорогие горцы и горянки, поздравляю вас, готовьтесь к новой жизни, надо лучше!

Шутливыми словами о беременной Сарият начальник районного НКВД хотел вызвать веселое оживление в зале, показать понимание обычных человеческих тревог и радостей, что всегда сближает с народом, но вызвал страх, смятение, негодование, брань. Случилось непредвиденное: Алим поднялся на сцену, взял портреты Ленина и Сталина и, высоко держа их, спрыгнул, а не сошел по ступенькам. Население закричало:

— Никогда не покинем Куруш! Он лучше всех городов нижнего мира! Никогда не покинем город мертвых — могилы предков!

Ахмед, управляя рулем, выкатил свою коляску вперед. Опираясь на поручни, поднявшись на обрубках, безногий и красивый, он бросал в толстую морду Биева сильные и бессильные слова:

— Плохо говоришь, Биев, подло говоришь! Разве ты горец? Ты жирная свинья, пусть тебя съедят неверные!

Поднялась женщина Сарият, беременная будущим спецпереселенцем, поднялась, большая, как облако, в своей бурке чабана.

— Будь проклято чрево, в котором ты был зачат, свинорылый шайтан! Где председатель? Почему он прячется от нас?

Русская матерщина, смешанная с изысканной тавларской бранью и мусульманскими проклятиями, потрясала стены испоганенной мечети. Кино смотреть не стали, вышли на площадь. Биев и секретарь партийной организации незаметно, по-лиси скрылись. Никто не знал, что секретарь партийной организации, как и честно предупрежденный Биевым председатель колхоза, сейчас заняты укладкой вещей: им разрешили взять не по одной, а по три клади на каждого члена семьи. Биев беспокоился, нервничал, успеют ли у него дома уложиться как следует, ему было дано завидное право взять вещи и продукты без ограничений, да жена у него бестолковая, одна надежда на мать и тещу, хозяйственные старухи. Увы, сам он должен был остаться до завтрашнего утра в Куруше.

А Куруш не спал. Долго шумели на площади. Пусть хорошо грамотные по-русски Исмаил и другие вместе с мудрейшими стариками составят письмо в обком и Совнарком, на имя Девяткина и Акбашева, который хотя и не из Куруша, но тавлар, да еще из Кагарского ущелья, не могло же окаменеть на большом посту его тавларское сердце.

Крупно и низко горели звезды, заснули вершины гор, убаюканые музыкой их свечения, но в домах не спали. Как покинуть место, где жили испокон веков, жили еще тогда, когда московских хозяев

не было, Москвы не было, как покинуть минарет горской земли? Алим где-то прочел, что Куруш — самое высокое из населенных мест Европы. А когда начнут переселять? Видно, не раньше лета — надо сперва отремонтировать внизу разрушенные дома. Исмаил мысленно сочинял письмо, но понимал, что пустая это затея, строитель канала Волга — Москва хорошо знал хозяев.

Заснули перед самым рассветом, а на рассвете их разбудили: гул «дугласов» задрожал над вершинами гор, на полуавтоматических парашютах «ГД-41» выбросили на неровную землю Куруша авиадесантников. Молодые чекисты врывались в дома, требовали, чтобы жители в течение одного часа уложили вещи, по одной клади на человека, включая детей. Биев и начальник десантного отряда разбили отряд на группы, в каждой по два десантника, значит, рассчитали так, чтобы десантников было в два раза больше, чем домов: Семисотов умел считать. Среди десантников были и женщины, и не только потому, что мужчины нужнее на фронте: гуманное правительство понимало, что операция необычная, среди высылаемых большинство женщин, немало и дряхлых старух, немало больных, возможны и беременные, здесь хрупкая чекистка пригодится скорее, чем иной тяжелоатлет.

Ворвались десантники и в саклю Исмаила, парень и девушка, оба курносые, гладколицые, как бы безглазые, ибо в глазах не душа светилась, а тусклая, даже не звериная, а какая-то отчужденная от всего живого злоба.

Эти двое сперва кричали, матерились, потом поостыли, даже стали помогать, чтоб ускорить дело, собирать вещи, но торопили, торопили. Наконец три клади были уложены. Алим приладил к плечам хурджин — горскую переметную суму, в одной руке у него были портреты Ленина и Сталина, в другой — Исмаила и Айши. Маркса, как видно, он решил оставить. Десантница возмутилась:

— Что ж ты, ешь твою двадцать, взяла пять кладей? Сказано ведь русским языком — по одной клади на человека. Глупый ты парень, чего взял — картинки. Тут, может, получше вещи есть, да оставить надо, приказ.

— Я сам нарисовал, не оставлю портреты, убейте меня, а не оставлю,— закричал Алим, и в его крике слышались и детский плач и детский гнев. Десантник сказал:

— Полина, хай хлопец визьме свои малюнки, а як дийдемо до машины, там и побачимо. А в машину малюнки покласты йому не буде дозволено.

Десантница смягчилась:

— Ладно, бери, ешь твою двадцать.

Собрали жителей, всех до единого, как приказал Семисотов. Плач детей, проклятия женщин, жуткое молчание старцев и еще более жуткое, трагическое молчание красивоглазых мулов. Начали спускаться по тропе. Через каждые пять человек — по десантнику. Впереди Биев, а замыкал высылаемых начальник отряда. На этой почти вертикально низвергнутой тропе чекисты утратили свою уверенность. Голова кружилась на тонкой нитке земли между безднами. Исмаил взял на свою долю самый тяжелый из трех хурджинов. Он, конечно, понял, уже перед рассветом понял, что речь идет не о переселении высокогорных аульчан вниз, иначе дождались бы весны, даже лета. Набрехал Биев, районный кум: весь Куруш, а может быть, весь народ, вся республика выселяется в дальние, уж не в сибирские ли края, поэтому и обманывал Биев, боялся сопротивления курушан, хотя чего бояться, всех давно, как подкову, согнули, поэтому и приказали взять всего по одной клади на человека, поэтому-то и чекистов-десантников в Куруше выбросили.

И не только Исмаил понял огромность беды. Не потому ли, достигнув середины тропы, все, как будто по уговору, отдышась, огля-

нулись на мгновение наверх. Домов уже не было видно, только минарет сельского клуба, как одинокий замечтавшийся паломник на пути к Мекке, застыл отрешенно и благоговейно. Заря свободно разгорелась, и глазам открылся двуглавый Эльбавенд. Одна голова горы, казалось, венчала туловище, распятое утренним солнцем, а на другой, повязанной снежной чалмой, были опущены тяжелые ледяные веки — не хотела гора, не могла видеть великое горе своих сородичей. Исход народа? Угон народа?

Долго еще продолжало жить это мгновение в сердцах людей там, на далекой чужбине. А здесь мгновение прошло, и снова спуск. Исмаилу показалось, что племяннику, шедшему перед ним, трудно тащить и хурджин, и по две картины в каждой руке. Он хотел облегчить ношу племянника, попытался взять у него хотя бы две картины, но его хромая нога подвернулась, Исмаил упал, дышавший ему в спину десантник не успел ему помочь, и старый кузнец Исмаил Кучиев сорвался и разбился на дне пропасти, упали в пропасть и портреты Ленина и Сталина, упал и безногий Ахмед в коляске, сработанной Исмаилом. Свалился в пропасть со своей кладью и костылем однорукий, одноногий Бабраков. Свалились несколько старух и детей. Муторно стало на сердце у начальника отряда: число высылаемых не будет соответствовать числу, обозначенному в списке. К тому же и один из десантников не удержался, свалился в пропасть, и все из-за этих предателей-чучмек, чернозадых гитлеровских наймитов.

А горы стояли, смотрели, вспоминали и плакали, плакали никогда не замерзающими слезами родников. И никогда не замерзнут эти слезы. Умрут десантники, и дети десантников, и внуки десантников, а горы будут стоять, думать, вспоминать, плакать, и веки не высохнут на их морщинистых лицах родники слез.

5

глава

Поезд вышел из Алма-Аты в конце марта. До Арыси он добрался по Турксибу в назначенное время. Там было тепло, уже начинала цвести джидда. Потом поезд замедлил свое движение, видно, не торопился из Азии на север, в Москву. Почти всю ночь он провел в Кызыл-Орде, часами простаивал на станциях и полустанках и даже посреди бестравной степи, словно посреди улицы больной, страдавший грудной жабой. На седьмые сутки он дотянулся до Рузаевки, долго и, казалось, бессмысленно маневрировал на этой узловой станции и устроился наконец где-то в тупике на дальнем пути.

Сквозь холодные сумерки светились огни Рузаевки, к первому пути, к зданию станции надо было пробираться по тамбурам других поездов, а то и под колесами, а длиннющий, наглухо закрытый госпитальный поезд пришлось обойти. Как водится, у многих пассажиров, военных и штатских, были в руках котелки и чайники. Состав был переполнен, пассажиров накопилось великое множество. В самой Алма-Ате во время посадки образовалась такая давка, что проводницы своего спокойствия ради закрыли двери вагонов перед пассажирами с билетами и без билетов, даже перед генералами и полковниками, но военные чином поменьше оказались хитрее, многие запаслись сделанными фронтowymi умельцами впрок такими ручками, которыми легко отпирались задние двери вагонов.

В Рузаевке военные устремились к коменданту, чтобы получить какое ужо будет продовольствие по продаттестату. И только один военный пошел разыскивать почту. Отступали телеграмму: из-за большого опоздания поезда он задерживается. Командировка предписывала ему прибыть в часть как раз в тот день, когда поезд доплелся до Рузаевки,

и военный, конечно, не знал, когда закончится его путешествие, тем более что рассчитывал денька два-три прожить дома, в Москве. Из почтового отделения он направился к коменданту. Когда поезд приближался к станции, то чудилось, будто светится много огней, но оказалось, что станция погружена в темень, снег и грязь, всюду в почти безнадежном ожидании кучились люди, слышалась русская, украинская и даже польская речь. Военный стал в очередь, и, когда минут через сорок приник к окошечку, он принялся убеждать помощника коменданта, что аттестата с собой не взял, а есть хочется, просит талон на буханку хлеба.

— Без аттестата не полагается, товарищ капитан,— скучно сказал помощник коменданта, но капитан, перенявший опыт у других, знал, как надо ответить:

— Виноват, товарищ старший лейтенант. Всего пять суток дали мне на свидание с семьей, не успел оформить, хотелось на фронт скорее попасть, а поезд еле тащится, живот подвело.

Он не мог получить продукты по аттестату, все — на месяц вперед — получил в Алма-Ате и оставил отцу. Помощник коменданта, сидя в своей тыловой глубине, сердито-обиженно выдал капитану талоны на хлеб и пачку концентрата. Капитан узнал, что идти за ними надо довольно далеко, в самый конец станции, потом, выйдя в город, пересечь площадь. А на станции уже развернулась натуральная форма торговли. Военные меняли добытые в Алма-Ате орехи и сушеный виноград, а также кое-что из одёжи, рукавицы, например, на самогон, торговались с мордовскими бабами, ссорились с ними, требуя дегустации. Там, где обрывался разбитый грязный асфальт и не горел последний фонарь, стоял скотский поезд. Трое солдат и сержант в полушубках и валенках, всажённых в галоши, указывали военным, имеющим талоны: после третьего вагона следует свернуть налево, там выход на площадь. Внезапно половина стенки второго вагона отодвинулась, возник лаз и капитан увидел молодую женщину в белом халате. Сержант помог ей спрыгнуть на землю, спросил:

— Что там, Зинка?

— Погоди, воздуху наберу. Преждевременные роды. Нашла чучмечка время. Но ведь они здоровые, как суки. Даром, что до восьми месяцев не дождалась, а мальчик в порядке. Не помрет, так жить будет.

— Кто эти люди? — спросил капитан, не надеясь получить ответ, понимая, какого рода войск эти солдаты. Но сержант, видимо, считал, что таинственность ни к чему.

— Не люди, товарищ капитан, а предатели, семьи власовцев. Можно сказать, оголтелые отщепенцы. С Кавказа вроде.

— Разрешите посмотреть?

— А чего, смотрите. Только недолго. Вам самому противно станет, дикие ведь, воши по ним бегают.

Капитан заглянул в лаз. Вагон, предназначенный для перевозки скота, был переоборудован для перевозки людей, но так, что людям было хуже, чем скоту. По обе стороны от узкого прохода были сделаны нары. Ни внизу, ни наверху люди не могли выпрямиться. Они скорчились в этом гноище, в грязи и вони. Былые пастухи стали отарами, гуртами. Беззубый старик в папахе, сидя на заплеванном, загаженном, с застывшими испражнениями полу скотского вагона, жадно дышал воздухом, сыро и мглисто врывавшимся сквозь лаз. В углу слева кричал новорожденный. Женщины окружили роженицу. Давно небритые мужчины молча, недвижно и грозно сидели на нарах. Их босые ноги были восковыми, как у мертвецов. «Подумать, на руках у матерей все это были розовые дети», — невпопад вспомнил капитан Анненского. Черты этих несчастных показались капитану странно знакомыми. Он сказал, наклоняясь к лазу:

— Салям алейкум. Хардан сиз? Ким сиз? Тавларлар?

— Тавларлар, тавларлар,— подтвердили мужчины, обнажая белые десны, и то была улыбка.

Для дальнейшего разговора капитану не хватало тавларских слов. Он перешел на русский:

— Почему вы здесь? В скотском вагоне?

В ответ закричали женскими, мальчишечьими, старческими голосами:

— Мы и есть скот! Мы пища для русских! Нас высылают! В Сибирь высылают! Наш народ высылают! Сам ты кто, из наших мест?

— В своем ли вы уме? Разве целый народ высылают?

— Целый народ высылают! Гурджистанская собака Сталин высылает!

— И Мусаиб Кагарский среди вас? И даже Акбашев? И все, все? А гушаны?

— Гушанов оставили. Их и наших мертвых оставили. Здесь и Мусаиб, здесь и Акбашев, только они в хороших вагонах едут. А мы, сам видишь, хуже скота. Бывало, овечка в отаре ягненочка родит, так мы нежим и мать, и ребенка, а у нас женщина Сарият родила, дыхание Аллаха в ней и в ее мальчике, а воды нет для нее.

— Ведро есть?

— Найдется. Нас не выпускают.

— Дайте, принесу воды.

Капитан подумал было, что сержант-чекист на него рассердится, но тот отвернулся. Может, нарочно отвернулся. В русском человеке злоба вспыхивает, но доброту сжечь не в силах, доброта не дрова, не уголь, не керосин, а дух Божий. Капитан еще раньше заметил кран с кипятком. Он поспешил к нему, смешал горячую воду с холодной и вернулся к лазу. Какой-то мальчик — одни глаза на бескровном лице — принял у него ведро без благодарности. Капитан пошел получать продукты по талонам. Ему выдали буханку хлеба с довеском, концентрат — пшенную кашу. Довесок капитан съел, хлеб оказался кислым. Когда он приблизился к вагону, лаз был уже задвинут. Капитан обратился к сержанту с просьбой отодвинуть стенку на минуточку, он только хлеб и крупу им даст, но сержант отказал:

— Не положено.

И тихо добавил:

— Приказ. И мне влетело.

Капитан в растерянности направился к своему составу, он был не уверен, что выбрал правильное направление, карабкался по тамбурам пассажирских и товарных вагонов, обходил молчащие паровозы. Звали капитана Станислав Юрьевич Бодорский. Он был поэтом-переводчиком, с начала войны служил в армейской газете «Сыны Отчизны». Когда фронт двинулся на запад, а их армию почему-то оставили в резерве под Проскуровым, для реформирования, что ли, Бодорский получил из Алма-Аты, куда его родители были эвакуированы, телеграмму: скончалась мама. Редактор, подполковник Эммануил Абрамович Прилуцкий, отказал ему в просьбе выехать на похороны: солдат, сказал он, должен пересилить личную скорбь. Но член Военного совета, хорошо к нему относившийся, вручивший ему недавно орден Красной Звезды, посочувствовал своему армейскому писателю, разрешил убыть в Алма-Ату на пять суток, а на дороге дал десять суток.

Теперь Бодорский возвращался в редакцию. Он опаздывал из-за того, что поезд еле плелся, но надеялся, что его армия еще стоит под Проскуровым, а нет — найдет: добраться до передовой всегда нетрудно. Его поразила высылка тавларов. Как обычно в тяжелых случаях, он прежде всего подумал о себе. Даже когда узнал, что умерла мама, он прежде всего подумал о себе. Однако никого не надо поспешно судить. Тургенев, подробно описавший казнь Тропмана, в последний момент отворачивается. Прочтя статью Тургенева, Достоев-

ский зло заметил: «Ужасная забота, до последней щепетильности, о себе, о своей целости и о своем спокойствии и это в виду отрубленной головы!» И все же пишущий эти строки считает Тургенева не только великим писателем, но и добрым человеком.

Имя Бодорского как бы слилось, по крайней мере, в глазах литературной администрации с именем Мусаиба Кагарского. Отец Бодорского, невысокого роста, с низко посаженной на плечи атлета кудлатой головой, с ярко-синими глазами под пеплом нависших бровей, седоусый поляк, был в прошлом жандармским офицером. Наверно, именно это и толкнуло двух старших братьев Станислава записаться в коммунисты. Они участвовали в гражданской войне, один из них погиб в бою под Синельниковым, другой исчез в тридцать седьмом году. Станислав был в мать, елисаветградскую армянку: высок, чернобров, строен, смугл, сухощав. В отличие от братьев он к власти не прикасался, даже в пионеры не определился.

Его стихи были далеки от всех направлений советской поэзии. Кумирами Станислава были символисты, в особенности Сологуб и Вячеслав Иванов. Они обладали, по его понятиям, всем, к чему он стремился: духовной огненной напряженностью, изяществом, небесной музыкой, тайной. Советские стихотворцы, пролетарские и формалисты, левые и правые, отвращали его от себя своей прагматичностью, зависимостью от текущих обстоятельств, словесным нищенством, исканием опоры вне поэзии. Окончив в 1926 году среднюю школу в родном южном городе, он поехал в Москву почти без денег, преследуя две цели: попытаться напечатать в столице свои стихи и устроиться где-нибудь на заводе рабочим, чтобы, заработав стаж и скрыв, разумеется, жандармское прошлое отца, попасть в университет. Стихи в редакциях не брали — мол, старомодно унылые. посещай литкружок, учись у Демьяна Бедного, Жарова, Безыменского, Уткина, Молчанова, а на завод он поступил, несмотря на безработицу, на Дербеневский, химический, вредный для здоровья, гнал метаниловую кислоту для азокрасителей.

Станислав снял угол в деревянном доме в районе Малой Татарской, хозяйка двухкомнатной квартиры с низкими потолками (уборная и колонка водоразборная — на дворе) работала с ним на заводе, муж ее служил сторожем, сутки дежурил, двое суток отдыхал, и, когда мужа не было, Станислав спал с хозяйкой. Некрасивая, полногрудая, с толстой косою, она ненавидела мужа и говорила Станиславу нараспев (она была из Пошехонья):

— Он мне свойственник, его первая жена доводилась мне двоюродной теткой, списалась я с ними, приехала, поступила на завод, а тетка возьми и помри, опухоль у нее в животе завелась. Справили поминки, а он поманил меня к себе в постель А и то, куда мне деться? Расписались, не обманул. Противный он мне, лежу с ним как колода, а от тебя вся горю, люблю тебя, чернобровенький мой черкесик.

Черкесик? Отец его хвастался своим старинным шляхетским родом, утверждал, что их семья — младшая ветвь князей Бодорских, владевших чуть ли не половиной Черкесии. Станислав обложился книгами (у него было два увлечения — музыка и история), узнал, что в долинах и предгорьях Эльбавенда живет племя гушанов, что один из их князей перешел при внуке Гедимины Ягелло в католичество и так появились в Литве и Польше князья Бодорские. фамилия произошла от названия стольного места гушанских владетелей.

Станислав понимал, что он к этим Бодорским никакого отношения не имеет, отец врал, в его жилах текла шляхетская спесь, а не шляхетская кровь, дворянство он получил, дослужившись в жандармерии до офицерского чина; что же, слабость протестительная, она и великим людям присуща, например, Бальзаку. Между тем Станислав, глядя на себя с насмешкой, так приветствовал по утрам свое отражение в зеркале:

— Дзень добры, его мосч, яшнегельмужны пане Станиславе!

Получив на заводе положенный отпуск, Станислав поехал в Ленинград, чтобы увидеть пушкинскую, достоевскую, блоковскую Северную Пальмиру. Он остановился у знакомых отца и в один прекрасный день осмелился явиться к Сологубу, еще не зная, что то был последний год жизни обожаемого поэта. Двери ему открыл сам Федор Кузьмич, лысый, лицо нездоровое, осунувшееся, на щеке большая бородавка, ноги босые. Станислав от страха не мог вымолвить ни слова. Так они и стояли друг перед другом, пока Сологуб не обратился к нему с вежливым вопросом:

— С кем имею честь молчать?

Квартира была большая, безлюдная, холодная. В полутемном кабинете висела икона Божьей Матери. Станислав прочел с десятка мысленно отобранных стихотворений. Сологуб во время чтения одобрительно кивал лысой головой, но когда заговорил, то едко, не повышая голоса, упрекнул юного стихотворца в южных оборотах («Люблю искажения северные, не терплю южных»), в эпигонстве, вялости, отметив некоторые отличные — так и сказал: отличные — строки.

Станислав всю жизнь помнил об этом свидании. Теперь ему уже тридцать пять, но он так и не опубликовал ни одного собственного стихотворения. Однако не был же он, черт возьми, совсем уж неудачником. Он сумел, заработав рабочий стаж, поступить на исторический факультет пединститута. Он ответил на вопрос анкеты о социальном положении отца: «Служащий», — что не противоречило истине: его отец к тому времени занимал маленькую должность в горкомхозе.

В институте Станислав завязал студенческую дружбу с Даниялом Парвизовым — он впервые увидел гушана во плоти. Особенно они сблизились, когда Станислав выразил желание учиться у него гушанскому языку, это польстило Парвизову, растрогало будущего секретаря обкома. Тот был проффоргом курса, устроил так, что в общежитии на Стромынке, бывшем когда-то богадельней, Станислава перевели из комнаты, где почти вплоты стояло шестнадцать узких кроватей и восемь тумбочек, в просторную комнату Парвизова, в которой жили всего четыре студента, все, кроме Станислава, парттысячники. Вот и пошло: Станислав приобщал способного гушана к русской речи, к русской литературе, к интеллигентной, так сказать, воспитанности, а Парвизов радовался тому, что этот русский студент интересуется языком, историей, народной поэзией гушанов. Оба они были неглупы, но оба, хотя и прожили в одной комнате четыре года, почти не разлучаясь, считали друг друга простодушными до чрезвычайности, наивными парнями. Оба ошибались.

Станислав как-то прочел Парвизову несколько своих стихотворений. Парвизов их плохо понял, странен был их язык, так русские теперь не говорили, но само занятие Станислава умилило гушана с детства привыкшего уважать мужей науки и шайров (поэтов). С этих пор Парвизов превратился как бы в опекуна Станислава, щедро снабжал его в качестве проффорга ордерами на обувь, кальсоны и даже однажды на пальто. Он чувствовал, что Станислав не относится к нему свысока, как, например, секретарь комсомольской ячейки курса, который, пусть благожелательно, всегда подчеркивал нацменьство Парвизова. А Станислав дружил с ним, как с равным, без превосходства, и Парвизов, может быть, сам того не сознавая был за это ему благодарен. Он рассказывал однокурснику о своем народе, о его древнем, загадочном происхождении, о его судьбе и однажды пропел речитативом небольшое народное сказание и устно перевел его, пользуясь современным безлично-газетным языком. Станислава удивило, что сказание гушанов напоминало греческое — о том, как Одиссей (у гушанов герой носил другое имя) хитро обманул циклопа, ослепил его и выбрался из пещеры, облачившись в овечью шкуру и смешавшись с овцами. Чутким природным слухом Станислав уловил необычный ритм сказа-

ния, голос из глубины веков и гор и понял, что способен воспроизвести по-русски этот ритм так, что ритм будет звучать ново, звонко. Станислав переложил русскими стихами это сказание, нашел благодаря приблизительному знанию языка подлинника такие синтаксические обороты, которые, будучи по-русски правильными, свежо воссоздавали гушанскую речь. По настоянию Парвизова, восхищенного и торжествующего, Станислав отнес гушанское сказание в толстый журнал, и через несколько месяцев перевод напечатали. Более того, Горький в одной из своих статей о необходимости учить многонациональный характер советской литературы похвалил (правда, походя, в скобках, не называя фамилии русского стихотворца) перевод гушанского сказания.

Это был успех, небывалый успех! Даниял Парвизов сиял: Станислав в краткой вступительной заметке «От переводчика» упомянул Данияла Парвизова как автора подстрочного перевода. Имена двух друзей одновременно и впервые появились в печати. Студент Станислав Бодорский становился советским поэтом, хотя и низшего — переводческого — ранга. И, когда возникло новое сказание — о Мусаибе Кагарском, неграмотном, но мудром, Горький вспомнил о Бодорском и по рекомендации основоположника безвестному начинающему поэту поручил важное государственное дело — переводить сложные изустно четверостишия Гомера двадцатого века, воспевающего родину, Сталина, бичующего врагов народа, которые сожгли колхозное сено.

В тот август, когда Станислав и Даниял, окончив институт, гуляли по Москве перед разлукой, Станислава пригласили в Гутирд, и оба друга поехали в столицу Гушано-Тавларской АССР: Парвизов навсегда, Бодорский — в командировку. На станции Тепловской гутирдский вагон отцепляли от скорого, следовавшего в Баку, и ставили в конец рабочего поезда, упиравшегося после проделанного пути в тупик — в гутирдский вокзал. Отцепление и прицепление длилось обыкновенно часа два.

В Тепловской в их плацкартный вагон (другого прямого не было) вошел молодой гушан, стал кого-то разыскивать. Увидев Данияла, заговорил с ним на родном языке, и Даниял показал на Бодорского. Молодой гушан обеими руками пожал руку московского поэта, пригласил его в другой вагон, стал помогать смущенному Станиславу укладывать вещи. Станислав попросил, чтобы в этом другом вагоне (как странно, ведь другого не было) поехал и его товарищ по институту. Молодой гушан согласился, взял у сопротивляющегося Станислава два его чемодана, один очень тяжелый, с книгами. Предназначенный им вагон стоял в конце рабочего поезда, плацкартный еще не успели прицепить. Даниял обомлел: то был салон-вагон Сулеймана Нажмудинова, первого секретаря гушано-тавларского обкома партии. Обомлел и Станислав, когда они втроем вошли в вагон. Здесь была кухня, столовая-гостиная, где пожилая приветливая русская женщина накрывала на стол: сухое вино, коньяк «Двин», водка, нарзан, закуски — осетрина, икра, холодная курица. Станислав заглянул за тяжелую портьеру, там была спальня, два усталых парчой ложа.

В одну из бутылок была налита странная серая жидкость, наклейки на бутылке не было, Даниял объяснил: «Буза». Так впервые Станислав увидел дозволенный мусульманам напиток, упоминаемый Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Бестужевым-Марлинским. Встречавший его гушан пошел в уборную. Бодорский немедленно захотел испробовать бузу, Даниялу Парвизову понравилось влечение русского к национальному напитку, они выпили по стакану, некрепкий хмель мягко ударил Станиславу в голову, поэт-переводчик предложил повторить, но друг остановил его:

— Неудобно. Дождемся представителя обкома. Жаматов его фамилия. Сначала коньяк втроем выпьем. Тебя потому так здорово встре-

чают, что слух дошел — сам Горький тебя рекомендовал, беспартийный член Политбюро.

В Гугирде друзья расстались. Бодорского в машине (он впервые ехал в автомобиле) отвезли в гостиницу. Жаматов, инструктор обкома по культуре, извинился перед Станиславом за скромность номера, но тот возражал — и совершенно искренно: давно, с детских лет у него не было такого обиталища. Номер состоял из двух комнат, спальни и кабинета, с тяжелым — чуть ли не гранитным — многопредметным чернильным прибором на письменном столе, рядом телефон. На обеденном столе на глиняном блюде круглился огромный арбуз, обвитый увесистыми кистями винограда, стояли три бутылки — опять же коньяк, водка и нарзан. В углу, как в детстве в их южном доме, желтел деревом и белел мрамором дореволюционный умывальник. Уборная и душ, пояснил Жаматов, в конце коридора. Окна смотрели на густой, видимо, длинный парк, посаженный когда-то князем Измаил-Беем, прототипом, как говорят, лермонтовского героя.

Жаматов попросил позволения позвонить, заговорил — Станислав его понял: он кому-то докладывал о прибытии гостя, — услышал ответ, положил трубку и сказал:

— Станислав Юрьевич, вас приглашает к себе Сулейман Нажмудинович. Отдохните, через час я за вами заеду.

Станислав умылся — воды в умывальнике не хватило, — разложил вещи и книги, надел новые брюки и единственную хорошую шелковую рубашку, спустился с третьего этажа на улицу, решил, что дождется Жаматова у входа в гостиницу. Эльбавенда не было видно, позднее Станислав узнал, что двуглавая вершина горы открывается только рано утром, если нет тумана. Влево уныло уходили вдаль одноэтажные дома и мазанки, справа был пустырь. Несмотря на жару, дышать было легко — от парка исходило пахучее дуновение. Спиной к входу в гостиницу сидели каменные Ленин и Сталин — мраморный вариант известной сомнительной фотографии. Описав мимо изваяния полукруг, машины изредка подъезжали к гостинице. Подъехал и Жаматов, вышел, широко улыбаясь, пригласил Станислава в машину. Путь их продолжался бы, как потом оказалось, всего лишь несколько минут пешком, Станислав не понимал, зачем нужна была машина, потом понял, как понял и многое другое в повадках руководства маленькой республики с маленькой столицей: надо было создавать у приезжего впечатление, что город большой. Обком партии помещался в трехэтажном здании постройки девятнадцатого века, принадлежавшем до Советской власти местному богачу каракулеводу. В коридоре против дверей у столика с телефоном стоял красноармеец. Жаматов сказал ему: к товарищу Нажмудинову. Красноармеец кивнул головой в фуражке, мол, поставлен в известность. Они медленно и молча поднимались на третий этаж. Боже мой, он, Станислав Бодорский, еще вчера студент, рифмач без имени, без надежды на имя, чуждый всему новому, как бы застрявший на задворках серебряного века, разъезжает в салон-вагонах и автомобилях, занимает в гостиницах двухкомнатные номера, а сейчас будет принят кандидатом в члены Цека, первым секретарем обкома партии!

Жаматов привычно постучал в белые двери кабинета, гостя пропустил вперед. Сулейман Нажмудинов, легендарный герой гражданской войны, поднялся им навстречу. Он был непомерно высокого роста, синие брюки-галифе топырились над длинными сапогами, защитного цвета френч был отменного сукна. Лысая голова казалась как бы не лысой, а по-мусульмански бритой, нуждающейся в тюрбане. Острый желто-красный глаз хищника высматривал гостя, как добычу. И, даже когда Нажмудинов, по обычаю, спросил Станислава о том, как поживают его жена и дети (которых у Станислава еще не было), он оставался похожим на гигантскую хищную птицу, ласкающую своего птенца. Исполинская фигура Нажмудинова, черные петровские

усики, орден на френче, редкий в ту пору, ошеломили Бодорского и тревожно приобщили к власти. Позвонил телефон, Нажмуддинов приложил трубку к большому, слишком толстому для его лица уху, стал слушать. Собеседник ему явно не нравился.

— Товарищ профессор, кто вам сказал, что в высокогорных условиях нельзя вывести в массовом масштабе тонкорунную овцу, в среднем по два ягненка от каждой овцематки? Что, наука утверждает? Когда вы в ваши семилетки ходили, я пошел в чабаны, с восьмью лет ярыгу в руках держал, пас чужую отару, под самыми облаками пас, меня не проведешь! Какие там единичные случаи! Слушай, профессор, ты у меня завтра, дрён-матыр, будешь бывший профессор!

Нажмуддинов, как видно, очень довольный своей телефонной отповедью, повернулся к Станиславу. Так, наверно, был бы доволен актер, удачно сыгравший краткую сцену. Он сказал:

— Еще остались у нас предельщики. Мы против мелочной опеки, но что с ними поделаешь... Вы, слыхал, по-гушански говорить умеете?

Станислав ответил по-гушански:

— У меня произношение плохое. Никак не научусь выговаривать ваше «ц», три ваших «к». И запас слов у меня невелик.

Жаматов восторженно вмешался в беседу господ:

— Как чисто произносит! Настоящий гушанский джигит!

Нажмуддинов одобрил:

— Постоянное внимание к культуре малых национальностей — этому нас учит отец. Вы замечательно перевели наше народное сказание. Когда читал, детство вспомнил, бабушка пела. У нас много таких сказаний. Считаются греческими, а они наши, мы древнее греков, заставим и буржуазную науку это признать. Заставим. Отец любит народные сказания. Я читал «Давида Сасунского», «Манас» киргизов. Откровенно говоря, наши сказания лучше, доходчивей. Вы по-тавларски тоже знаете?

— Нет, не знаю, переводил Мусаиба по подстрочнику.

— Тавларский язык другой, тюркский. Наш, гушанский, древнее, самобытнее. Надо, чтобы вы перевели все гушанские сказания полностью, большая книга получится. У нас в Москве есть кое-какой авторитет, с вами издательство заключит договор.

— Я буду счастлив.

Станислав действительно был счастлив. Он мечтал о такой работе. Она была для него почти как собственные стихи. Он уже видел себя вторым Гнедичем, нет, больше, чем Гнедичем — первооткрывателем. Тем старательней, думал он, буду переводить муру Мусаиба, она в «Правде» печатается, надо заслужить благоволение, даже любовь руководства республики. Он оглядел кабинет быстрым, профессиональным взглядом литератора. Мебель сборная, прекрасный книжный шкаф, гнутые стулья, удобные кресла могли бы, скажем, стоять в доме Чехова, а вот письменный стол — уродливый, нынешний, внушительный.

Нажмуддинову пришелся по душе этот молодой русский поэт, рекомендованный Горьким и знавший, хотя и плохо, по-гушански. Он сказал:

— Мы договорились с Союзом писателей, с Щербаковым. Вам поручается переводить поэму, которую сложил за нашему заданию Мусаиб. Название «Моя Гушано-Тавлария». Хотим ко дню принятия сталинской конституции в «Правде» опубликовать. Это поэма о счастливой жизни трудящихся республики под сталинским солнцем, но сначала идут картины далекого и недавнего прошлого, наши битвы против иноземных захватчиков, наше добровольное присоединение к России.

— Добровольное? А как же долгие, жестокие сражения? Энгельс о Шамиле писал, что народы Европы должны с него брать пример, как воевать с деспотизмом...

Станислав еще не научился вести себя, как советский придворный. Научится. А пока Нажмудинов резко его оборвал:

— Марксизм, дрён-матыр, не догма. Гушаны с царем воевали, а не с Россией. Тавлары были отсталые, не воевали с царем. Старший брат, великий русский народ, спас нашу землю от алчных персов и турков. Вы член партии? Ну что же, беспартийный большевик. Местные историки, наши люди, помогли Мусаибу, но он не все понял, вы должны довести поэму до кондиции. Вы будете жить у старика сколько понадобится, условия создадим. Там, в Кагаре воздух хороший, красиво. Правда, не очень чисто, не так, как в гушанских селениях, но мы обо всем позаботимся. Мусаиб — интересный человек, необыкновенный человек. Я как-то поехал его навестить, я не кабинетный руководитель, я, откровенно говоря, всегда с народом. Старика предупредили о моем приезде. Это была ошибка. Он спрятал свою одежду в сундук, надел рваный бешмет, рваные чуйяки, рваную папаху. Приезжаем, а нас, дрён-матыр, дивана встречает — юродивый, значит, нищий. Я вскипел, но сдерживаю себя. Темное царство. Я в Добролюбова влюблен. Уселись на дырявый палас, старуха Мусаиба выносит яичницу, мацони с чесноком, и все. Ни хинкала, ни вина. Стал я кричать на референтов, что со мной приехали, на секретаря Кагарского райкома партии. Поэт, которого знает весь мир, знает товарищ Сталин, живет в такой бедности. Я приказал одеть его как следует, давать ему продуктов столько, сколько пожелает, мне через две недели доложить. Вернулся я в Гугирд, а мне сообщают: все исполнено, как вы приказали, только у Мусаиба полный сундук хорошей одежды и обуви, он и обновку туда спрятал. Увидели мои референты, крышка сундука снизу оклеена картинками, старыми, какие были до Великого Октября: реклама чая Высоцкого, цыганка с папиросной коробки. Крестьянская психология. А поэт, конечно, гениальный. У гушанов тоже есть неплохой классик, не хуже Мусаиба, только очень скромный. Хаким Азадаев, я вас познакомлю с ним.

Сулейман Нажмудинов дал знак Жаматову, чтобы он оставил кабинет. Секретарь обкома обошел стол, сел на гнутый стул напротив Станислава и возил в него хинный, с красноватыми прожилками взгляд хищной птицы.

— Скажите мне, кто такой Гóмер?

Ударение сперва обмануло Станислава, он решил было, что Нажмудинов спрашивает его о каком-то немце или о московском еврее, но быстро сообразил, что речь идет о слепом азде, с которым Горький сравнил Мусаиба, ответил. Нажмудинов рассердился — не на него:

— Проклятые референты! Говорят, дрён-матыр, что Гóмер — классик марксизма-ленинизма. Я им возражаю. четыре! — и он растопырил большие пальцы чабана и абрека. — Четыре! Маркс — Энгельс — Ленин — Сталин! Четыре!

Все существо Нажмудинова возмутилось в огромном теле. Его высокие сапоги топтали длинный ахтынский ковер. Он тяжело дышал и, как заклятие, повторял, растопырив пальцы правой руки:

— Четыре! Четыре! Проклятые референты, дармоеды, дрён-матыр! Четыре классика марксизма-ленинизма, четыре, говорю я им! Откуда пятый — Гóмер? Четыре!

Он долго не мог успокоиться. Станислав заметил сквозь стекло книжного шкафа разрозненные тома энциклопедии «Гранат», видимо, принадлежавшие прежнему владельцу дома — каракулеводу. Тома стояли вразброс, и среди них один как раз на букву «Г». Указывая рукой на шкаф, Станислав пояснил:

— Здесь есть о Гомере более подробно, чем я вам рассказал.

— Руки не доходят, дорогой, руки не доходят. Да, тавларский народ нам дал гениального поэта. А вам за перевод нашего сказания горское спасибо. Читал, вспоминал, как бабушка мне пела, того одноглазого великана вспоминал.

Станиславу не надо было быть гениальным, чтобы сразу понять, что гушану Нажмуддинову не по душе слава тавлара, что он вынужден ее признать и склониться перед нею. Вот и поехал Станислав в Кагар, он еще, Бог даст, расскажет сдержанной пушкинской прозой, непременно после войны расскажет о том, как прожил два месяца у действительно талантливого самоучки, как превратил в чудную игрушку его поэму, где прелестные идиомы и поговорки были как бы задвинуты трюизмами, как «Правда» напечатала перевод и сам Сталин выразил одобрение, а его, Станислава Бодорского, приняли в Союз писателей. Потом он перевел и другую поэму великого Мусаиба — «Песнь о вожде», и все то, что Мусаиба заставляли воспевать: юбилей Пушкина, бойцов интернациональных бригад в Испании. Но была и радость: в переложении Станислава была издана книга старинных гушанских сказаний, можно сказать, частичка сердца, блеск версификации, археологические словесные раскопки, подарившие золото украшений. Книга имела успех, и не только государственный, но и у читателей, о ней много писали, даже университетские ученые за рубежом. У Станислава завелись деньги.

Поэмы и стихи Мусаиба в переводе Станислава Бодорского изучались в школах, их декламировали дети на праздничных вечерах, о них сочинялись кандидатские диссертации, о них на съезде партии говорил Шолохов как о крупнейшем достижении советской гражданской лирики, и вот теперь Мусаиб, и все его односельчане, и весь его народ выслаются в скотском поезде в Сибирь. Нет, так нельзя, надо сделать еще одну попытку. С коричневой буханкой и пачкой концентрата Станислав начал снова пробираться по тамбурам и под колесами, вот и первый путь, но скотского поезда уже не было. Отправили его дальше или загнали на другой путь? Среди всеобщей сырой мглы мирно мерцали тыловые огни Рузаевки, едва поблескивали рельсы, чтобы скоро исчезнуть во мгле. Все молчало: станция, паровозы, вагоны, люди. Как эта мглистая сырая ночь, была темна и тяжело набухала печаль Станислава. Он влез на узкий тамбур товарного вагона, состав неожиданно тронулся. Станислав спрыгнул на ходу.

6

глава

Справедливость есть деяние правды, а правда есть предание предков. Что же нам повествует предание?

Вначале было Бескрайнее Время. От него произошли два близнеца — Ахура-Мазда и Ангра-Манью. Ахура-Мазда создал вечную Троицу — Добрую Мысль, Доброе Слово, Доброе Дело. От Доброй Мысли произошли печаль и радость, величие и падение. Еще произошли от Доброй Мысли светлокрылые ангелы. От Доброго Слова произошел человек, единственная из тварей с прямым станом. От Доброго Дела произошли огонь и вода, от огня и воды произошла любовь. Еще произошли от огня и воды овца и корова, поэтому они священны.

Таковы творения Ахура-Мазды, Многоведающего. А каковы творения Ангра-Манью, Теснителя? Он сотворил другую Троицу — Коварную Мысль, Лживое Слово, Жестокое Дело. От Коварной Мысли произошли бесы. Сотворил Ангра-Манью и змея — врага человека, сотворил волка и тигра — врагов коровы и овцы. Хотел Ангра-Манью, чтобы земля обезлюдела, обезводела, обестравела, чтобы не было полей и пастбищ, а только солончаки и пески. Два близнеца, Ахура-Мазда и Ангра-Манью, были бы равноможны, если бы не было на земле человека, огня и любви. Вот почему Ангра-Манью изо всех сил стремится уничтожить человека и утвердить на земле власть змея,

уничтожить любовь и утвердить ненависть, погасить огонь и утвердить мрак.

Об этом впервые поведал людям пророк Зардушт, называемый дальними племенами Заратустрой. Над челом Зардушта всегда горела звезда. И вот что еще поведал Зардушт.

Был царь в Иране по имени Светлый Йима. Он научил людей прясть лен и шелк, ткать шерсть, шить одежду. Он принудил и бесов работать на людей, обжигать кирпич, возводить дома. Светлый Йима возгордился, подумал: «Мир таков, как я его благоустроил». И то была коварная мысль: еще сам того не сознавая, он стал слугой Ангра-Манью, стал Темным, и Многоведающий, Ахура-Мазда, лишил его своей благодати.

Среди стран была Пустыня Всадников. Сами себя всадники называли арабами. Страной правил благочестивый царь Мардас. У него был сын Заххак. Однажды Ангра-Манью предстал перед Заххаком в обличии добродетельного странника и сказал ему:

— Ты силен, а отец твой слаб, ты молод, а отец твой стар, ты, а не он должен царствовать.

— Как это сделать? — спросил Заххак, и тогда Коварная Мысль, облачившись в Живое Слово, сделалась Жестоким Делом. Царь Мардас, готовясь перед наступлением утра к молитве, обычно направлялся к роднику, где совершал омовение. Ангра-Манью вырыл на пути царя глубокую яму. Пришла ночь, и царь во мраке направился к роднику, но упал в яму и разбился насмерть. Царем Пустыни Всадников стал Заххак. Снова предстал перед Заххаком Теснитель Ангра-Манью, на этот раз в обличии повара, и Заххак приказал ему:

— Начни мне служить.

Не знал еще Заххак, что он сам был слугой Теснителя. В ту пору люди не ели убоины, питались только молоком коровы и произрастаниями земли. Ангра-Манью заколол молодого бычка, сварил живое существо, одобрил блюдо мускусом, розой и шафраном. Заххак съел дитя коровы, священного животного, отвратился навсегда от Многоведающего. Он ласково посмотрел на повара, спросил:

— Искусник, скажи, какой ты желаешь награды?

— Я хочу, царь, припасть губами к твоим плечам, — ответил лжеповар.

Царь даровал ему эту милость. Ангра-Манью поцеловал царя в плечи и исчез. А из плеч Заххака внезапно выросли две черные змеи, подобные двум извивающимся ветвям дерева. Царь приказал срезать их с плеч, но змеи вырастали снова. Царь был в отчаянии. И тогда в третий раз перед царем предстал Ангра-Манью, предстал в длинном одеянии лекаря и сказал:

— Напрасно срезаешь змей, срезанные, они вырастают опять. Корми их человеческими мозгами, и они успокоятся, перестанут тебя терзать.

В эту пору в Иране, в царстве Светлого Йимы, из-за его гордыни настала смута. Знатные военачальники бились друг с другом, военные кони топтали посевы. Пришли вельможи Светлого Йимы к царю Пустыни Всадников, сказали ему:

— Наш царь плох, наш царь спесив, нет порядка в стране, приди и царствуй над нами.

Заххак пришел, настиг Светлого Йиму, распилил его на две части, стал царствовать в Иране, и длилось его царствование тысячу лет. Мир под его ярмом обратился вспять, деяния мудрецов оделись тьмой, воля безумца правила державой. Каждую ночь приводили на царскую кухню двух сильных юношей или двух красивых девушек, и повар добывал из них для царя-змея лекарство: убивая юношей и девушек, он их мозгами кормил змей, выраставших из плеч Заххака.

Народ возмущался, роптал, но терпел, боясь царя-змея. Не захотели терпеть два богобоязненных человека. Их имена сокрыты от нас,

ибо эти люди были скромны. Они обучились поварскому искусству, их приняли на службу в царскую поварню. Они поступали так: из двух юношей убивали одного, а другого отпускали в ночном мраке на волю — пусть уносит ноги подале. Точно так же поступали с девушками. Смешав человеческий мозг с бараньим мозгом, они с помощью приправ обманывали змей. Так эти двое богобоязненных спасали каждый месяц по тридцать юношей или по тридцать девушек, давали им на развод овец и коров и отправляли в недоступные высокие горы.

Но Заххака постепенно объял страх. Он ложился спать, боясь, что змеям захочется испробовать и его мозг. А когда под утро он засыпал, ему каждый раз являлся во сне его отец и говорил ему:

— Моя смерть — из-за тебя, моя смерть — в яме, а твоя смерть — из-за твоих злодеяний, твоя смерть в горах Эльбавенда. Видишь ли ты свою смерть?

И Заххак видел свою смерть. Чтобы спасти себя, он призвал вельмож и жрецов, и, сидя на алмазном престоле, желтый от страха и дурного сна, сказал:

— У меня есть тайный враг. Он опасен. Подпишите грамоту о том, что я всегда сеял семена добра, что мои законы справедливы, что под моей рукой Иран благоденствует, а люди дышат волюно.

Жрецы и вельможи, привыкшие трепетать перед царем-змеем, подписали лживую грамоту. Но был в стране человек, не терпевший лжи. Он был кузнецом, ковал железо, поэтому и звали его Кова. Он говорил:

— Тот кто подписывает лживую грамоту, боится злодея, но не боится Ахура-Мазды, Многоведающего. Но и тот, кто спасает одну из двух жертв, одного из двух людей, обреченных на смерть, еще не истинный слуга Ахура-Мазды. А тот, кто терпит зло, еще не истинный враг зла. Восемнадцать сыновей у меня было, восемнадцать силенороких, восемнадцать широкоплечих, восемнадцать проворных и смышленных, и только девять из них спаслись, а мозгами других девяти насытились царские змеи. Чем дольше мы терпим зло, тем ревностнее служим ему. Перестанем, братья, служить злу!

Кова взметнул на древко, как знамя, свой кожаный передник, вышел на площадь, крикнул:

— Эй, люди добрые, слуги правды, все, кто поклоняется святому огню! Страна обезлюдела, поля не возделаны — так Ангра-Манью, Теснитель, борется с Многоведающим, а Заххак — его орудие и обличье, его жертва и его слуга. А мы, слуги огня, пойдем на битву с властителями мрака!

Во главе людских толп кузнец ворвался во дворец Заххака, схватил перепуганного, дрожащего царя-змея и на быстром коне помчался далеко-далеко, к двуглавному Эльбавенду, и приковал навеки царя-змея к высокой скале. Слетелись вороны, пожрали Заххака, но не по силам было им пожрать железные цепи и змей, и поныне змеи выползают из высокой скалы, и людям кажется, будто это дым. А кузнец стал править Ираном и правил справедливо, и знаменем страны стал кожаный передник кузнеца.

Среди тех юношей и девушек, которых спасли два богобоязненных человека от царя-змея, были два брата: Гу и Юнан. Сначала был спасен Гу, потом убежал в горы и Юнан. Несколько тысяч людей, бежавших из царской поварни, поселились в тех горах. Нынешние люди называют высочайшие горы Памиром, Подножием Бога-эмира, но правильное их название — Горы Сынов Божьих. Беглецы образовали целое племя, а потом разделились на два племени.

Гу был пастухом, Юнан — охотником и звероловом. Они взяли в жены девушек, таких же беглых, как сами, родили детей. Братя-близнецы были так похожи друг на друга, что сама мать-земля не могла их различить, пока не приняла одного из них в свои мягкие объятия.

Зверолов был острословом. Однажды он стал добродушно посмеиваться над молчаливым братом-пастухом:

— Только зверолов и охотник может считаться истинным мужчиной. А ты, дорогой братец, проводишь свои молодые дни на пастбище, единственные твои собеседники — овцы и бараны. Ухом ты не ловишь рычание зверя, глазами не ищешь добычу, ослабели у тебя слух и зрение. Дождешься того, что не заметишь, не услышишь, как украдут твоих лучших ягнят.

Гу не обиделся на слова брата, он знал, что Юнан его любит. И он ответил спокойно, неторопливо, как принято у пастухов:

— Ты прав, Юнан, велика твоя охотничья сила. Как я могу, слабый и робкий, сравняться с тобой в зоркости и меткости? А что до твоих слов, будто украдут у меня лучших ягнят, то разве среди нас, изгнанных, есть воры? К тому же на лугах зимой и летом тишина, ночью мои собеседники — звезды, днем — трава, кругом одни скалы, да высокие деревья, да изгороди для загона скота, да овцы и бараны, а возле стада — собака да я.

Настала ночь. Гу пошел на пастбище, прилег на траву, укрылся шубой из овцы. Юнан-острослов встал с постели, оделся, поднялся на высокогорное пастбище и осторожно, как змея, подкрался к стаду. Вот он ползет, как змея, стебелька не заденет, веточки не сдвинет, а сам думает, беззвучно смеясь:

«Ох, и потешусь я завтра утром над братом. «Где ты был, неусыпный страж, — спрошу у него, — когда украли у тебя баранов? А вора ты не приметил, беспечный пастух. Выходит, что попусту болтал, когда говорил, что воров среди нас нет!»

Но Гу не спал. Он лежал у потухшего костра, напрягая слух. Он знал, что насмешник Юнан и ночь за ночь не сочтет. Пастуху почудился шорох. Трава дрожит? Деревья шумят? Молчалив был Гу, не боек, не остер на язык, но умен, смекалист. «Нет, — сказал он себе, — то не деревья шумят, не трава дрожит, то мой братец Юнан ползет к отаре, чтобы посмеяться надо мной, потешиться. А я сам подшучу над ним: и его напугаю, и себя позабавлю».

Так подумав, Гу крикнул. Три крика было у мужчин в горах: охотничий, военный и пастуший. От пастушьего крика скалы рассыпались, как песок. Гу натянул свой лук — у пастухов в горах всегда были луки, — пустил стрелу, пустил во мрак ночи, пустил, не целясь, пустил забавы ради. Протяжный стон ответил загудевшей стреле, ответил из-за изгороди для загона скота. Стрела устремилась без прицела, но, безрассудная, пронзила цель: она впиалась в сердце Юнана, она убила его. Светло-алая кровь, кипя, вылилась из сердца Юнана. Уже предчувствуя горе, в смятении Гу бросился к брату, но только тело брата нашел он во тьме ночи. Он приник широкой грудью к бездыханному телу брата, и окрасилась его грудь светло-алой кровью убитого Юнана.

Торжествовал Ангра-Манью, Теснитель: брат убил брата! Но Мнуговедающий, Ахура-Мазда, пожалел пастуха: он превратил Гу в красногрудую чайку, ибо кровью брата была залита грудь неповинного братоубийцы. И поныне реет чайка над морями — и там, где живут потомки Юнана, и там, где жили потомки Гу — и рыдает об убитом брате, рыдает и просит у мира прощения и милости.

Старшим сыном Гу был Сан: это имя означает «Сын». Сан шепелявил, произносил свое имя «Шан»: «Шан, сын Гу». От него пошло племя гушанов. А от Юнана пошло племя юнанов. Не пожелали юнаны жить в соседстве с детьми Гу, убийцы основателя их племени, покинули высочайшие горы и поселились на островах среди моря, названного по имени несчастного Эгея, о котором сложили сказание и гушаны, и юнаны, Эгейским. Юнаны стали большим славным народом. Дальние люди, сказав на свой лад их название, именовали их ионийцами. А гушаны тоже спустились с вершин, построили селения

в горах пониже, над городом Маракандой, нынешним Самаркандом. Их стали называть согдами. Как только их не называли соседские племена: и согдами, и скифами, и сарматами, и керкетами (по-теперешнему — черкесами), но сами-то они знали свое происхождение, они всегда себя называли гушанами. И долго они еще помнили, что их племя — живая, давняя связь между иранцами и юнанами, говорившими по-гречески. Когда над Ираном стал царем Дара, что означает «Имеющий», и повел войну с юнанами — так в Иране называли не только племя ионийцев, а всех греков, — гушаны не захотели воевать со своими сородичами и покинули Иран. Долго скитались они по земным дорогам, пока не дошли до Каспийского моря и через Врата — через Дербент — дошли до гор Кавказа. Их преследовали неисчислимые, как пески, воины Дары, гушаны с ними бились, отступая, бились, хотя они, как и иранцы, поклонялись священному огню. Много веков они прожили на Кавказе и даже начали порой забывать, что они и юнаны происходят от одного корня, помнили об этом только гушанские мудрецы и красногрудая чайка, которая реяла над Эгейским морем и окликала сородичей, но никто не понимал ее птичьего наречия. На Кавказе гушаны отпали от веры Зардушта и приняли веру Христа. Дворец их царя был украшен росписями, и воины-гушаны были нарисованы в кольчугах, на которых был изображен крест. Сказывали гушаны, что их крестил сам святой Георгий, и, даже став мусульманами, они клялись его именем. В честь матери Христа они наименовали один из дней недели «мариам» и поныне в этот день отдыхают. Но и юнанской богине Афродите поклонялись гушаны, называли ее Апатурой, простирающей свою власть на землю, море и небо.

Сначала жили гушаны по обе стороны Кавказа, на их языке вода — псе, имя города Туапсе означает Междуречье. На Черном море гушаны снова стали соседствовать с юнанами, которые основали там город Диоскурию, приплыв издалека. Потом более сильные племена отбросили гушанов за Кавказский хребет.

Постепенно смешивались гушаны с другими племенами, и слова тех племен вошли в их язык. Но самые древние их слова те же, что у юнанов-греков. У юнанов огонь — пюр, и у гушанов огонь — пюр, у юнанов хлеб — артос, у гушанов — арт. И слова древних персов сохранились в гушанском языке. И у гушанов, и у персов мать — мадар, отец — падар, жена — зан, лошадь — асп. А по-гречески лошадь — гиппос. Похоже.

Когда гушанов стали называть сарматами, они покорили синдов, колхов и меотов. Их оружием были не луки и стрелы, а длинные мечи и огромные тяжелые копья. Их царство простерлось от Прикубанья до Дагестана. У них были богатые города, самые большие — Аборака, славный город, называемый теперь Анапой, а по другую сторону Кавказа гушаны построили Гугирд. Торговали гушаны с Хиосом, Аттикой, Фасосом, Гераклеей, Синопом, Херсонесом, Афинами. Когда из Крыма хлынули готы и оттеснили их на Восток, гушаны раздробились на множество племен, одно из них называлось ахеи — не того ли же корня наименование ахеян в Греции? И все же не умерло старинное имя гушанов — так продолжало себя называть небольшое племя, поселившееся у подножия Эльбавенда, той двуглавой горы, где когда-то кузнец Кова приковал к скале царя-змея. Платили гушаны дань Руму и позднее хазарскому кагану, но голову держали высоко, гордились своим происхождением. Христианскую веру принес им Рум, но продолжали гушаны поклоняться огню, как заповедал Зардушт. Забыли гушаны, правда, что огонь создал Ахура-Мазда, Многоведающий, и, хотя отвергли двойность Ахура-Мазды и Ангра-Манью, познав благодать святой Троицы, трепетали они перед богом огня. Они утверждали: огонь очага соединяет людей, он есть союз.

Однажды, повествует предание, погас огонь в стране гушанов. Серая мгла низко нависла на плоские крыши домов. Ни одной звезды не было на небе ночи. Могло показаться, что гушанскими селениями овладела та первоначальная немота, которая была до Бескрайнего Времени, если бы не слышался то в одном, то в другом доме плач ребенка. Ни одно огниво, как ни старались люди, не способно было высечь огонь, ни один котел не кипел, ни один светильник не пылал, ни один очаг не грел жилье, остывший очажный пепел серел, как мгла.

Был среди гушанов отважный юноша по имени Метей. Он часто видел, как из-за двуглавой вершины Эльбавенда загорался по утрам ослепительный свет: то на рассвете бог огня разжигал свой светильник. Он видел, как ярко озарялась вершина Эльбавенда на закате: то бог огня разводил перед наступлением ночи свой костер. От прочих гушанов Метей отличался не только отвагой, но и великой силой да еще тем, что у него был конь Альп, тяжелокопытный богатырский конь рыжей масти. Метей надел высокий шлем, прикрыл грудь кольчугой, составленной из железных колец, вооружился мечом и копьем, оседлал Альпа, вскочил в седло и погнал верного коня на вершину Эльбавенда.

Нелегко был подъем. Пришлось всаднику преодолеть пропасти и кручи, туманы и чащобы, град, вьюгу и камнепад. Но Альп двигался сквозь лесные дебри, как буря, перелетал через пропасти, как птица. На долине, согретой солнцем, захотелось коню отдохнуть. Но Метей спешил, он в гневе огрел коня плетью. Разгневался и Альп, ударил землю копытом, и вода, одетая в голубизну, поднялась из глубины земли. Вы, внимающие преданию, видели ли Голубое Озеро на пути к вершине Эльбавенда? Да будет вам ведомо, что озеро возникло, когда Альп ударил копытом землю.

Так доскакал Метей до двуглавой вершины Эльбавенда. Змеи вырвались из скалы — те самые, что некогда вырастали из плеч Заххака. На горе возвышалась другая исполинская гора, и была та гора алого цвета: то пылал костер, разведенный богом огня. Метей поднял голос:

— С просьбой я к тебе, всемогущий бог. Говорят, что ты добр, ибо только доброта светится, а ведь ты свет наших светильников. Говорят, что ты отзывчив, ибо только отзывчивость греет, а ведь ты тепло наших очагов. Почему же ты отнял у нас огонь? Погасли наши очаги, не кипят котлы, темные светильники наши. Дай огня людям, дай огня!

Слова Метей привели бога огня в ярость. Речь-молния упала с высоты:

— Вы, люди, серая зола, забыли обо мне. Когда ваши треногие столы уставлены яствами и напитками, когда вы поднимаете задравную чашу, когда собираете обильное просо, когда побеждаете в ратном бою, кого благодарите вы? Иисуса Назарянина. Кому вы молитесь? Сыну Марии из дома Давидова. А мною вы пренебрегаете, мною, без которого не может жить живущее. Так ступай прочь, развейся, пепел серый, пыль земная!

— Дай огня, бог, дай огня людям! — не отступал Метей. — Не хочешь дать добром, так вступим в поединок. Если победа будет моя, то и огонь будет моим.

— Хорошо, вступим в поединок, — захохотал бог огня. И смех его был громом, и громом загремели железные цепи, которые сами упали с вершины Эльбавенда и сами обхватили тело Метей. Бог огня спустился с горы, вырвал Метей из седла и привязал его железными цепями к скале. Решил бог огня: «Пусть погибает этот человек, но, не погибнув, останется. Пусть не будет он в числе живых, но пусть и не числится мертвым».

А Метей, прикованный к скале, приказал Альпу:

— Беги, мой верный конь, вниз, пусть узнают братья-воины о моей участи.

Дни и ночи протекали над скалой, к которой прикован был Метей. Выли над ним ураганы, обрушивался на него снегопад, змеи вырывались из соседней скалы, пытаясь его ужалить. Но смерть боялась подступиться к нему, ибо ее страшила гора огня. И стало так, что и не умер Метей, и в числе живых его не было. Орел, прислужник бога огня, клевал кольчугу Метей, хотел добраться до сердца юноши, и Метей иногда жалел, что смерть боится приблизиться к нему, чтобы избавить его от мук. Он спросил орла:

— Кто сильнее, ты или я?

— Глуп ты, Метей,— ответил орел.— У меня крылья, а ты в цепях. Я лечу над горами, а ты прикован к скале. Я сильнее тебя.

— Равен ли ты, орел, каждому орлу?

— Есть орлы послабее меня, а есть и такие, чьи крылья мощнее моих.

— У всех ли орлов есть господа?

— Нет, один только я изо всего орлиного рода служу богу огня.

— Значит, не каждому орлу ты равен, ибо и те, кто слабее тебя, и те, кто сильнее тебя, ничьей власти над собой не признают. А я человек и, даже прикованный к скале, терзаемый тобою, равен любому человеку, и ничьей власти нет надо мной. Тебе, глупцу, кажется, что ты сильнее меня, но твоя сила — видимость силы, призрак силы, твоя сила — насилие. Только Время — истинная сила. А Время не сегодня началось и не завтра кончится. Смотри, как безнадежно движется твое Время, орел! Оно движется в рабстве. Только свободный обладает Временем. У тебя есть Сегодня, у тебя, может быть, есть и Завтра, а что у тебя за завтрашним днем? Ничего у тебя нет за завтрашним днем, ибо у тебя нет силы Времени. А у меня есть сила Времени. Пусть я в твоей власти Сегодня, пусть ты будешь клевать мою грудь Завтра, но придет Время, мое Время и я буду, а тебя не будет, потому что ты живешь для господина, а я живу для равных, для людей. Время — это и судья, и воин, Время — это слезы людей и торжество людей. Сила Времени не знает видимости или краткости существования. Глупец думает, что он силен насилием, ибо слабость перед ним трепещет, а мудрый знает, что он силен мощью Времени, ибо тот, кто слаб Сегодня, слаб кажущейся слабостью, видимостью слабости, но могуч истинной силой, силой Времени.

Между тем, преодолев сотни преград, Альп достиг селений гушанов. Мучились люди без огня, темно и холодно было в каждом доме, в каждом сердце. Увидев Альпа без всадника, ужаснулись люди. Значит, погиб отважный юноша? Собрались на совет и решили:

— Пойдем на битву с богом огня. Вызволим Метей, если он жив. Добудем огонь.

Всадники вооружились мечами, чьи рукоятки являли собой кресты. Достигли всадники обители бога огня. Змеи вырывались из скалы, чтобы ужалить смертельным ядом первого всадника, добравшегося до них, но этот всадник взмахнул мечом и уничтожил черных змей. Никто не мог срезать черных змей с плеч Заххака, и только тот меч уничтожил их, чьей рукояткой был святой крест. На помощь змеям слетел орел, клевавший грудь Метей, но и его сразил меч. А еще один всадник с неслыханной быстротой поднялся к скале, к которой был прикован Метей железными цепями, обнажил меч, рукояткой которого был крест, и разбил цепи. Устрашился крестарукоты и бог огня, спрятался за вершиной. Метей спрыгнул на землю. Сила Времени была у Метей, и не стал юноша, познавший волю, тратить свое Время даром. Он вырвал из земли дерево, вскочил на Альпа, ожидавшего его среди верховых, поднялся к горе огня, погрузил дерево в пламя и с горящей головней помчался вниз, к лю-

дям. Огонь — цвет его коня, огонь в его руке, огонь в его душе. Вслед за ним поскакали другие всадники из селения в селение.

— Есть огонь! Есть огонь! — говорил очаг очагу, светильник светильнику.

Другие, например, юнаны рассказывают это сказание по-иному, но гушаны считают, что только они рассказывают его правильно, так, как было на самом деле.

Нередко буря ломает и валит большие, многоветвистые деревья, а не в силах уничтожить маленький кустарник. Так было и с гушанами. Как буря, опрокинулись на них сперва орды Темучина Чингиза, а потом Хромца Тимура, а потом их косила чума, а потом нагрянули арабы из Пустыни Всадников, они обратили гушанов в свою веру, и уже не Иисусу Назарейнину, а пророку Мухаммеду, сыну Абдаллаха, стали поклоняться гушаны, но выстояли, ибо огонь соединил и сплотил их — огонь очага, огонь светильника, огонь языка. Они пошли за аварцем Шамилем на битву с белым царем, и царь одолел их, взял их землю, но не отнял у них огонь. А огонь есть не только тепло очага, сияние светильника и язык человека, огонь есть неугасимая память о прошлом. И еще огонь — память о родстве. Нередко такая память превращается в золу, и зола тлеет, но не гаснет. Тлела, но не гасла память гушанов о родстве с иранцами и юнанами. И не гасла память о том, что они, гушаны, не просто жители, они народ.

Пишущий эти строки рассказал о гушанах так, как умел. Кое-что он почерпнул из книг, больше — из устных преданий, но гораздо больше — из бесед с Хакимом Азадаевым, речь о котором впереди.

7

глава

При форсировании Днепра командир минометного орудия сержант Мурад Кучиев был ранен осколком в ногу и награжден званием Героя Советского Союза. В госпитале в прифронтовом Чернигове ногу сначала решили ампутировать, боясь гангрены, но вмешалась капитан медицинской службы Калерия Васильевна, еще не старая, как показалось Мураду, лет тридцати пяти женщина-хирург, пожалела смутлого, с голубыми глазами, горбоносого, немногословного кавказца, спасла ему ногу. Он не знал, как благодарить ее. Однажды, смахнув с него одеяло, она ощупала раненую ногу и обнадежила: «Скоро ходить будем», — и провела рукой по шее и подбородку Мурада. С того дня, когда она появлялась в палате, их глаза вступали в оживленный разговор.

Когда Мурад стал ходячим, он, прихрамывая точно так же, как Исмаил, его отец, навещал каждую ночь ту квартиру, где стояла на постое Калерия Васильевна.

Из своей минометной батареи Мурад получил извещение, что его комиссовали, как негодного к строевой службе. Замполит тепло пожелал ему скорейшего выздоровления и намекнул, что ему, Герою Советского Союза, не пристало быть беспартийным, найдется для него подходящее место если не в батарее, так еще где-нибудь. Калерия Васильевна, однако, продлевала его пребывание в госпитале, она была впервые по-женски счастлива, забыла стыд, договорилась с полковником, начальником госпиталя, о том, чтобы оформить Мурада как шофера — он в армии научился водить машину. Дело как будто шло на лад, начальник госпиталя понимал Калерию Васильевну, да и не помешал бы в госпитале еще один шофер. Мураду хотелось домой, в Куруш, покрутиться перед земляками, наверно, думал он, не так уж много Героев Советского Союза среди тавларов, такого знатного человека могут назначить председателем колхоза, а то и

повыше. Мурад беспокоился — три месяца назад он послал родителям треугольник, а ответа все не было. Он мог бы поехать домой, на это тоже намекал в своей записке замполит, но жалко ему было покинуть Калерию, и, видимо, покинуть навсегда. Она забеременела и не знала, как поступить, хотела оставить ребенка, но в ее возрасте трудно рожать в первый раз, а Мурад не останется с ней, он моложе на двенадцать лет, нет на это надежды и все же есть надежда, он так ласков с ней, она чувствует, что Мурад растроган ее признанием, и Мурада вправду трогало то, что женщина родит ему ребенка, может быть, сына.

Пришел в госпиталь приказ из армии — а шел приказ два месяца — о присвоении сержанту Кучиеву звания младшего лейтенанта. Эта приятная весть была полна горечи — офицеру не полагалось быть простым водителем.

Кончалась украинская весна, голодная, примиренно затихшая среди пустых полей и развалин, любовники обдумывали, как быть дальше. Калерия могла бы, демобилизовавшись по беременности, поехать вместе с Мурадом на его родину и там ждать, если его опять возьмут в армию, она высказала это предложение то ли вопросительно, то ли как бессмысленное, Мурад молчал, улыбаясь, как старший, и вдруг он получил предписание убыть во Фрунзе, Киргизская ССР, в распоряжение военкома города.

Мурад недоумевал. При чем тут Фрунзе? Ведь их столица — Гутирд. Кроме того, из записки замполита, присланной вместе с приказом о присвоении офицерского звания, было ясно, что Мураду разрешается съездить, скажем, на месяц домой, а потом уже начать нестроевую службу в армии в качестве младшего лейтенанта. Калерия Васильевна была уверена, что не сработала бестолковая армейская бюрократическая машина, и, сильная этой уверенностью, пошла к начальнику госпиталя, и тот сказал ей правду: тавларов, всех до единого, увольняют из армии, потому что весь этот народ выслан в Среднюю Азию. Он предупредил Калерию Васильевну, что доверил ей военную тайну, Мурад ни в коем случае не должен знать о судьбе своего народа: кавказец, да еще Герой Советского Союза, мало ли что сторяча натворит, им обоим тогда не позавидуешь — ни ей, ни ему.

Мурада удивляло, что Калерия, всегда откликавшаяся на его ласку, как горы на его голос в Кагарском ущелье, была в последнюю ночь какая-то скучная, унылая, ее печаль и раздражала, и радовала его, он сказал ей, что во Фрунзе не поедет, что это за Фрунзе, наверно, ошибка вышла, он поедет в Гутирд, а оттуда в свой Куруш. Голая русская женщина уткнулась мокрыми глазами и слабыми раскрытыми губами в его широкую волосатую грудь. Она не думала о его народе, она думала о нем и о себе. Да и он не думал о своем народе, он ничего еще не знал, он только знал, что расстается с этой женщиной, и он пожелал ее, но почувствовал, что ей не так хорошо, как всегда. Но, хотя ей было не так хорошо, как всегда, его ласка придала ей силу, заронила в нее семя надежды:

— Мурад, напиши мне, я демобилизуюсь и к тебе приеду, я рожу тебе сына, захочешь, бросишь меня, никогда не буду в обиде, ничего у тебя не попрошу, не потребую, ты будешь моим единственным, моим любимым. Возьмешь меня в жены — буду счастлива, не возьмешь — научу нашего сына тебя любить и гордиться тобой.

От этих слов сердце его дрогнуло и тело дрогнуло, он опять пожелал ее и опять почувствовал, что сейчас она любит его для него, а не для себя.

Он проснулся поздно, солнце полдня ударило ему в глаза. Калерия была в госпитале. На стульях висели вытуженные брюки и новая офицерская гимнастерка (где ее Калерия добыла?) с геройской Звездой и орденом Ленина, с полевыми офицерскими погонями. Меж-

ду стульями стояли начищенные сапоги, отражавшие лучи солнца, а на одном из стульев лежали бумазейные портянки.

Уже в плацкартном вагоне на рассвете, разбуженный внезапным толчком, Мурад вспомнил, как весело и уважительно провожали его сестры, и врачи, и те раненые, с которыми он лежал в госпитале давно, таких осталось мало, ведь он провел здесь всю зиму и весну, прибыли новые, которые не видели, как ему вручил награды специально для этого приехавший член Военного совета. Пили много, он больше всех, медицинский спирт заглушал боль разлуки с Калерией, неясный страх перед этим неясным Фрунзе, он с высокопарной восточной сердечностью благодарил врачей и сестер, всех звал к себе в гости после победы, конечно, в Куруш — мол, моими кунаками будете.

Под головой у него скаталась шинель, прижатая к большому чемодану, он вспомнил, то был чемодан Калерии, да, Калерия провожала его, пьяного, тащила чемодан, «золотко мое» говорила Мураду.

Вагон заполнили одни военные, много искалеченных. Счастливицы занимали целиком верхнюю полку или третью, некогда предназначенную для поклажи. Нижние полки считались сидячими, на них теснились по четыре пассажира. Наверно, это Калерия устроила его на верхней полке. Подогнув хромую ногу, Мурад вытащил из-под головы чемодан, раскрыл его с помощью торчавшего в замке ключика. Все было аккуратно уложено: нательное белье, подворотнички, вторая гимнастерка, что-то крупное помещалось в госпитальной наволочке. Мурад развязал тесемки, заглянул, увидел две бутылки чистого спирта, два кирпичика хлеба, четыре банки с тушенкой. Все Калерия, Калерия. А предписание не забыла? Он нащупал карман гимнастерки, почувствовал что-то плотное — оказалось, то был конверт, а в конверте фотокарточка Калерии. Она была молодая, в открытой блузке, косы коронкой. На обратной стороне фотокарточки Калерия Васильевна написала свой московский довоенный адрес. Предписание было в другом кармане, там же удостоверение Героя.

Вытянув вдоль полки здоровую ногу, он опустил вниз изогнутую хромую, кто-то ее попытался отодвинуть над своей головой, он ударил искалеченной ногой эту голову и протянул бутылку со спиртом красноармейцу, сжавшемуся на нижней полке напротив, у окна, но тот не взял ее, глядел безжизненными глазами. «Давай мне, он же слепой», — крикнул, даже взвизгнул от радости сидевший рядом с красноармейцем лейтенант. Мурад, опираясь здоровой ногой на промзюток на полке между сидящими внизу, слез на пол.

Дальнейшее он помнил смутно. Помнит, с каким почтением к его геройской Звезде и к двум бутылкам спирта отнеслись пассажиры-фронтовики, помнит развалины станций в окне вагона, помнит, как прижимала к его хромой ноге свою толстую теплую ногу рыхлотая медсестра, сопровождавшая слепого красноармейца, помнит, как ему в это мгновение стало противно, и помнит, как ему вспомнилась Калерия и ее тихие горячие ласки...

В Ростове была пересадка. Здесь Мурад ощутил силу своего геройского звания. Билет ему закомпостировали без очереди, дали место в мягком вагоне. В купе было пусто, он растянулся на нижней полке, давно не лежалось ему так мягко, но потом вошли трое, двое русских, одетых по-военному, но без знаков различия, в третьем Мурад узнал азербайджанца. Один из русских приказал ему убраться, здесь не его место. Мурад обругал его на родном языке, и тогда азербайджанец, маленький, стройный, с девичьими губами, с девичьими глазами, по-мусульмански пресек длинным указательным пальцем недовольство русского, тот сразу же замолчал. Усевшись, азербайджанец спросил у Мурада:

— Товарищ Герой Советского Союза, из какого ты ущелья? Ты Наурузов? Кучиев? Мисостов?

— Кучиев я,— удивился Мурад.

— Мурад Кучиев? Из Куруша?

— Мурад Кучиев из Куруша. А ты кто?

— Я Везиров, нарком внутренних дел Гушанистана.

— Эй, нарком, почему Тавларию забываешь назвать?

— Сейчас узнаешь, почему забываю,— на сладчайшем из тюркских наречий успокоил его Везиров. Один из русских поставил на столик коньяк, постелил газету, ножом с множественным лезвием разрезал лимон, выложил две белые булки, домашний сыр, завернутый в марлю. Такую же бутылку и закуску он протянул наверх своему товарищу. Русские устроились на верхних полках, ели и пили молча и на Мурада поглядывали молча, а Везиров и Мурад уселись за вагонным столиком, и Везиров, окинув Мурада влажным взглядом, торжественно произнес, поднимая граненый железнодорожный стакан:

— За тебя, Мурад, за Героя Советского Союза Мурада Кучиева, славного сына Гушанистана.

— Спасибо, товарищ нарком. Опять Тавларию забываешь назвать. Меня обижаешь.

Чекист оказался спутником задушевым, доверчивым:

— Неприятности у нас, Мурад. Большой чести мы удостоились, семь Героев Советского Союза у нашей небольшой республики, это очень много в процентном отношении, гордиться можно было бы законной гордостью, но что получается?

Везиров вопрошал, как бы ища сочувствия к тому затруднительному положению, в которое попало руководство республики, как бы понимая, что Мурад не может не сочувствовать:

— Что получается? Один из героев — русский, Варлыгин, это хорошо: старший брат, но воспитанник гушанистанского комсомола. Двое — гушаны, это замечательно. Один — горский еврей, тат Авшалумов, ну что же, представитель малой народности, даже красиво, и целых три тавлара. Понимаешь?

Мурад вспыхнул:

— Плохой разговор говоришь, нарком. Не как брат говоришь. Мой народ оскорбляешь.

— Нет больше твоего народа, Мурад,— ласково сообщил Везиров.— Ты куда направляешься? Покажи предписание.

Мурад смутился:

— В какое-то Фрунзе мне приказано прибыть. Но я туда не поехал. Я домой поехал. Есть у меня народ, а ты из рода лжецов.

— Я твой род не оскорбляю, и ты мой род не оскорбляй,— беззлобно, но грозно ответил Везиров.— Твой народ, как состоящий из предателей, сотрудничавших с немецкими оккупантами, сослан в Казахстан. Можно сказать, ликвидирован как социалистическая нация. И только девять-десять семейств заслуженных в прошлом работников отправлены на поселение в Киргизию, где материально-бытовые условия лучше, чем в Казахстане. И тебе, как Герою, твое командование, видно, решило предоставить возможность устроиться во Фрунзе, может быть, договоришься с тамошним начальством, разрешат тебе перевезти туда и родителей. Нет больше Гушано-Тавларской АССР, есть автономная республика Гушанистан. Но, должен тебя порадовать, ты правильно сделал, что вместо Фрунзе поехал в Гугирд. Мы, когда получили известие о том, что ты стал Героем Советского Союза, изучили твою биографию. Твоя бабушка была гушанкой. Заанкетим тебя как гушана, останешься у нас.

— Так я же ни слова по-гушански не знаю.

— А что такое гушанский язык? Дальше Тепловской на нем не доедешь. По-русски, дорогой, будешь говорить, русский язык для

всех нас родной, язык Ленина и Пушкина. Большое место получишь, в партию тебя примем, на красавице женим, заметным человеком станешь.

— Я тавлар, и корень мой тавларский. А ты, ширванец-торгаш, плохие слова говоришь, нечистые слова говоришь, не советские слова говоришь.

Везиров наконец вышел из себя. Его девичьи глаза утратили цвет и свет. Двое русских угрожающе свесили с верхних полок ноги в шерстяных горских чулках. Везиров поднял руку и вытянул длинный указательный палец. Двое наверху снова улеглись. Тихие капельки отравы потекли со сладкого языка Везирова:

— Мы не у таких, как ты, вырывали вместе с мясом звезды из гимнастерки. Пока с тобой говорю я, ты человек, ты даже еще Герой Советского Союза, а когда с тобой заговорят те ребята, что на верхних полках, ты и кониной не будешь, ты лошадиной требухой на мясокомбинате будешь.

На Тепловской сошли. Нарком внутренних дел пригласил Мурада в «газик», стоявший на площади перед уцелевшей стеной вокзала.

— Герою,— сказал Везиров,— полагается машина получше, но другой у меня нет. Так что ты меня извини. Я как раз по этому вопросу ездил в Ростов, там наши побогаче, договорился с ними, чтобы они выделили две-три машины. Расширяемся, штаты растут.

— Я доберусь рабочим поездом,— угромо отказался Мурад. Везиров добродушно рассмеялся.

— Считаю себя арестованным. Мы тебя не отпустим. Герой должен въехать в столицу своей республики в машине.

Уселись так: впереди Везиров, позади между двумя ребятами Мурад. Он чувствовал себя зажатым двумя волками, сквозь их человеческие личины проглядывали волчьи морды. Дорога была ровная, гор долго не было видно. Везиров повернул голову к Мураду.

— Ты не знал Темира, моего прежнего шофера? Он тоже тавлар.

— Не знал. Из какого он ущелья?

— Он теперь живет в городе Канте, недалеко от Фрунзе. Хорошую должность получил. Пишет мне.

— Передать ему от тебя салам, что ли?

— Я же сказал тебе: твоя бабушка по матери гушанка. Никуда не поедешь, останешься на родине.

— Моя родина Тавлария.

— Сволочь,— сказал один из ребяток. Везиров покачал головой, прикрыв глаза девичьими ресницами.

— Эй, Мурад, нельзя быть таким злым. Главное в человеке — человечность.

Въехали в город. Гугирд был наполовину разрушен. Мазанки кое-как отремонтировали, а большинство новопостроенных зданий зияло обгоревшей пустотой. Зато еще гуще разрослись тополя и каштаны. Много женщин и детей. Люди двигались, как будто не замечая зияющих стен. А замечают ли они, что тавларов нет, целого народа нет?

Остановились у этнографического музея. Везиров приказал шоферу:

— Заедешь за мной через час. А ты, Мурад, пойдешь со мной в обком партии. Чемодан и шинель оставишь у охранника. Общий вам, ребята.

— До свидания, товарищ нарком.

Везиров повел Мурада на третий этаж.

— Подожди меня,— сказал он не властно, по-дружески и вошел в кабинет Парвизова, первого секретаря обкома.

Мурад никогда раньше не был в обкоме партии, не был и в этнографическом музее, чучела оленей и туров удивляли его — так пола-

гается, что ли? Из-за стола с тремя телефонами рыжая Алевтина расспрашивала красивого молоденького Героя Советского Союза, как его зовут, откуда он родом, осталась ли у него девушка здесь или завелась на фронте, смеялась женским смехом. Узнав, что он из Куруша, она замолчала, ее пороссячи глаза одушевились участием. Из кабинета в приемную вышел Везиров, пожал Мураду руку неожиданно сильной рукой, попрощался:

— Помни мой совет, Мурад. Еще увидимся. А теперь тебя ждет Даниял Заурович.

Курчавый белозубый Парвизов обнял Мурада по-горски, усадил на диван и сам сел рядом, задал обычные вопросы — как доехал, как нога, обворожительно улыбался.

— Хорошо, что ты к нам приехал. Мы тебе рады. Слух о тебе прошел по всей Руси великой. Гордимся тобой. Я понимаю, тебе тяжело, твой народ выслан, большая трагедия, но будем верить, что тавларов вернут обратно. Оставайся здесь и жди. Сколько у тебя классов?

— Семь. Я в армии на водителя выучился.

— Тебе водителем быть мало, ты народным слугой станешь. Вот Авшалумова, тоже Героя, он без ноги пришел, мы сделали начальником станции Гугирд. И тебя сделаем начальником. У Авшалумова положение на первый взгляд хуже твоего, у тебя, хоть хромая, нога сохранилась, а с другой стороны — Авшалумов вернулся к своим, а ты... Знаешь, как мы спасли горских евреев? Когда немцы приближались к Гугирду, мы всем горским евреям заменили паспорта, они стали гушанами. Немцы их не тронули. Заметь, никто не выдал, а ведь среди гушанов и русских, чего скрывать, всякие бывают. И тебя гушаном запишем.

— Чтобы советские меня не тронули?

— Мурад, я по-человечески тебя жалею. Воевал с честью, заслужил звание Героя, пришел домой, а дома, в сущности, нет. Да, тяжело жить без родного народа. Но разве мы тебе чужие? Я не говорю о том, что твоя бабушка была гушанкой. У нас, у тавларов и гушанов, только языки разные, но обычаи одинаковые, лица одинаковые. Я не знал до войны, кто в Гугирде гушан, кто тавлар, узнавал только тогда, когда заговаривал с человеком. Все мы, горцы, одна семья. Не покидай нашу семью, Мурад. Мы тебя хорошо устроим, доля спецпереселенца не для тебя.

— Навестить мою семью вы мне разрешите?

— Нечего тебе туда ездить. Будь мужчиной, Мурад. Не надо причинять боль и себе, и своим близким.

Парвизов достал из верхнего ящика в шкафу початую бутылку коньяка, две рюмки, тарелку с куском крутой каши. Выпили, повторили. Мураду понравился Парвизов: большой человек, а простой. Душа есть в его теле. Он сказал после третьей:

— Я подумаю, Даниял. Помоги мне добраться до Куруша. Хочу взглянуть на дом, где мать меня в люльке качала.

Парвизов положил ему руку на плечо.

— Сделаем, Мурад. Дам тебе свою машину, поедешь в Кагар, а до Куруша на своих полутора доберешься. Жить будешь на турбазе, в гостинице теперь военный госпиталь. И на турбазе живут военные, подполковники и выше. Мы сами, как видишь, заняли этнографический музей, прежнее здание обкома разрушено. Но дай срок, построим новое здание. И твои вернуться, дай срок. Когда приедешь с гор, придется тебе потрудиться, ты не обижайся, Герою Советского Союза надо встречаться с трудящимися. Мы и Авшалумова так загружаем.

Парвизов сдержал слово. И поместил на турбазе Мурада с ежедневным бесплатным питанием трехразовым, в отдельной комнате, где стояли четыре кровати, хоть спи каждую ночь на другой, и свою машину секретарскую дал. Шофер оказался пожилым, невысоким,

жилистым. Он говорил по-русски не по-здешнему. Звали его Михал Михалыч.

Проехали мимо серных источников. Там, где вода падала со скалы тяжелой широкой струей, под нею стояли искалеченные войною, а на земле, желто-серой от соли и мокрой, валялись их костыли. Мурад подумал, что, если останется, то подлечит здесь больную ногу, он еще в детстве слышал от стариков об этой целебной воде.

Кукурузные поля поднимали свои острия. Между ними вилась речка Лапсе, впадающая в Кагар. Одно за другим мелькали селения гушанов, белые одноэтажные домики, плетни, закрытые на засов лавки сельпо. Дорога медленно взбиралась вверх, иногда она опускалась, но ее движение вверх было неуклонным. Из-за скалы предупредительно загудела и появилась машина, Михал Михалыч ловко прижался к отвесному горному камню, пропустил грузовую.

— Заключенные,— пояснил он,— наверху вольфрам добывают. Дело секретное.

Среди зелени буков, чинар и платанов розовым пламенем пылали кизилловые ветви. Вот и Кагарское ущелье. Сейчас, за вторым поворотом, открывается Голубое Озеро. Здесь для Мурада начинался его мир, и этот мир взглянул на него ясным, но каким-то настороженным, выжидающим взглядом. Было тихо, травяные ресницы не шевелились. Он и Михал Михалыч вышли из машины, спустились к берегу. Озеро было таким же, как тысячу лет назад, как десять тысяч лет назад. Оно, как сказывают гушаны, видело Метея, скакавшего с горящей головней, оно многое видело, многое узнало в те мгновения, которые люди называют тысячелетиями. А сколько лет здесь жили тавлары? Теперь он, Мурад, единственный тавлар, открытый голубому оку мира, и никакой другой тавлар не видит, как мир смотрит на него голубым выжидающим глазом.

— Перекусим, Мурад? — спросил Михал Михалыч. — Надежда Григорьевна курицу нам зажарила. Евреи, они хорошо курицу жарят. А про нее и не скажешь, что еврейка, внимательная к рабочему классу, со свекровью душа в душу живет, а с такой свекровью и не каждая гушанка поладит, капризная старуха, все ей не так. Слава Богу, сын не в нее. Я Данияла Зауровича с фронта знаю, он инструктором политотдела работал, а я там шофером, я его, раненого, в госпиталь повез, он не забыл про меня, как стал здесь первым, договорился с командованием, вызвал к себе, квартиру дал, семья ко мне из-под Череповца перебралась, изголодалась, а здесь у вас благодать. Для Данияла Зауровича, как поедом, первое дело — накормить водителя. Все обкомовцы теперь по выходным дням в горы едут, их жены и детишки в ваших тавларских саклях устроились — на дачах, значит, чего домам пустовать. А Даниял Заурович отказался — что за отдых, говорит, на земле угнанных соседей.

В детстве, когда Мурад учился в кагарской школе, он часто взбирался по пяти ярусам старинной сторожевой башни. Между бойницами, если смотреть вниз, были широко видны Кагарское ущелье, шумная река, давшая название ущелью, дома тавларов, а пониже — дома предгорных гушанов, если же смотреть вверх, то, как седые шейхи в чалмах, виднелись вершины гор, собравшиеся на совет, и они вместе со сторожевой башней защищали народ от набегов чужеземцев. Кого теперь защищать, если нет народа? Что вы скажете своему сыну-герою, вы, седые каменные шейхи? Где ваш опыт, где ваша мудрость? Или, может быть, этих болтливых женщин вы защищаете, этих бездельниц, поселившихся на лето вместе с детьми в домах, не ими возведенных, их, которым привозят снизу жирное городское питание, их, которые развесили для просушки свое белье на террасах чужих домов, их, осквернивших своим присутствием даже дом Мусайба Кагарского, величайшего поэта гор. Сок этой земли, заря этой земли — в крови

Мурада, бешенство горных вихрей скачет по его жилам, он задыхается, он хочет сорвать это вонючее бельё.

Чтобы скрыть свою боль, он не решался заговорить и взглядом приказал Михал Михалычу остановить машину посреди бугристого пастбища, заросшего всякими травами, фиалками, ромашками, мятой. Здесь начиналась тропа, взметнувшаяся в Куруш. Михал Михалыч понял его взгляд, сказал:

— Я пойду с тобой. Сейчас лето, можно подняться, хоть я и непривычный. А когда твоих зимой по тропе сгоняли, многие, говорят, свалились в пропасть.

— Я поднимусь один.

Не замечая бездны с обеих сторон тропы, Мурад, прихрамывая, взобрался на отчужденную землю. Куруш был пуст. Почему селение кажется человеку пустым, если оно безлюдно? Жаворонок прилетит — и услышит птиц, значит, есть свойственники, тающий лед сбежит — и услышит воду родников и реки, листок, занесенный ветром, услышит родной язык травы. Есть сородичи у жаворонка, у тающего снега, у листка, нет в Куруше сородичей у человека, в дорогом горскому сердцу обезлюдевшем Куруше. Но разве птица, трава, горы, вода не сородичи Мурада? Он и они — единый народ. Душа этой земли — его душа, и повсюду, куда ни занесет его судьба, в нем будет душа его земли.

Он пошел по краю обрыва — здесь в детстве он косил сено. Колокольчики висели на скалах. Он обошел сквозь высокую траву бывшую мечеть — колхозный клуб. Как в детстве, высоко-высоко поднимался минарет. Колючая зелень выползала из орнамента стен, из того орнамента, который был непонятным для Мурада стихом Корана: «Бойтесь огня, уготованного всем неверным, огня, чье топливо — люди и камни».

Мурад приблизился к родному дому. Ореховое дерево перед саклей высохло, оголилось, только один сухой листок висел на ветке. Двери были выломаны. Очажная зола застыла. Под родительской кроватью, покрытой изъеденной циновкой, слышалось копошенье подпольных существ. Против дверного проема стоял шест. На него Айша и Исмаил вешали свою праздничную одежду.

Мурад мерз в окопах, выползал из засыпанного землей бруствера, выходил, голодный и обоживший, из окружения, плутал по лесу, плыл в ледяной воде, чтобы занять плацдарм на правом берегу, смерть дышала ему в лицо пулеметными точками, фугасками, огнем и металлом — и все вынес терпеливый солдат, но ужасней ледяной воды, и бомб, и пуль, и прицельного огня была эта застывшая очажная зола родного дома, этот шест для одежды, и солдат упал на земляной пол и заплакал беззвучным плачем, и то был великий плач, ибо человек плакал плачем всего народа.

Мурад почувствовал чье-то дыхание. Кому он нужен, последний сухой листок оголенного дерева? Над ним склонился Михал Михалыч.

— Чего ты, Мурад? Ну чего ты? Мы же не женщины. Ну чего ты?

Он тоже плакал. Они вышли вместе. Михал Михалыч спускался по тропе, держась за Мурада. У него кружилась голова.

В машине они молчали. Это было молчание обезлюдевшего Куруша. За поворотом показался давешний грузовик. Теперь уже он прижался к скале, пропуская легковую машину. Рядом с шофером сидел конвойный. Другой конвойный сидел у заднего борта кузова. Странны были мертвенно-серые лица заключенных, покрытые красными пятнами.

— Прикурить дашь? — безнадежно крикнул один из заключенных, но Мурад не успел ответить, что не курит, грузовик поднялся наверх.

— Что у них за красные пятна? — спросил Мурад.

— Высоко работают, кровь давит. Непривычные к климату.

Доехали до турбазы.

— Подожди меня,— попросил Мурад и быстро вернулся с шинелью и чемоданом.— Поедем на вокзал.

— Ну чего ты, Мурад? Ну чего ты? Оставайся. Или, по крайности, проститься тебе надо с Даниялом Зауровичем. По-людски надо. А то оставайся.

Мурад молчал, и то было молчание безлюдного Куруша. Когда показалась единственная уцелевшая стена вокзала, Мурад сказал:

— Ты правильный человек, Михал Михалыч. Душа есть в твоём теле.

Они вышли из машины первого секретаря обкома партии и троекратно по-русски поцеловались.

Так как вокзал был почти весь разрушен, то начальник станции временно, покуда еще длилось лето, устроился в бывшем павильоне «Пиво-воды». У Авшалумова сидели двое подчиненных, как и он, в железнодорожной форме. Эти двое с уважительным любопытством посмотрели на геройскую Звезду вошедшего. На столе рядом с графиком лежал костыль Авшалумова.

— Здравствуй, начальник,— сказал Мурад.— У меня к тебе дело. Я Мурад Кучиев. Я тавлар.

Двое заторопились, вышли. Авшалумов пригласил Мурада сесть. Семитское лицо начальника станции заросло полуседой щетиной. Евфратская печаль была в его глазах. Он выдвинул толстую нижнюю губу, покачал головой в форменной фуражке. Русские слова он произносил так же, как их произносили гушаны и тавлары:

— Я слышал хабар о твоём приезде. Жаль мне тебя, Мурад. Мой народ гушаны спасли, а твой не спасли.

— Нас не надо было спасать. Мы сами за себя постоим. За нами вины нет. Мы столько лет здесь живем, сколько горы стоят.— Мурад говорил с самому себе непонятным озлоблением.— Мы не в лавчонках сидели, не по базарам шатались. Не о тебе моя речь, ты честный солдат. Мы в орлиных гнездах сидели, мы были народом орлов. А где теперь мой народ? Горы стоят, народа нет.

— А мы старше этих гор,— спокойно ответил Авшалумов.— Твой народ еще имени своего не имел, когда мой народ владел виноградниками и садами, у нас был храм, у нас были дворцы и не имевшие себе равных цари — Шаул, Дауд и Сулейман. Здесь нас горсточка на ладони земли, но, хотя мы горсточка, мы всегда знали, что мы народ. Наши предков пригнало сюда войско царя Куруша, мы разговариваем по-татски, но наши старики молятся на языке, на котором пророк Моше беседовал с Богом. В рассеянии мы остались народом. Теперь судьба испытает, останется ли народом твой народ, изгнанный на чужбину. Будет он множеством песка или горстью жемчужин? Не говори глупых слов, Мурад, а говори, какое у тебя ко мне дело.

Мурад смутился. Он и не думал, что у начальника станции есть такие слова. Не совсем понятные, немного, кажется, обидные, но глубокие слова.

— Литер был у меня до города Фрунзе, а в Ростове я переписал его на Гугирд. Как теперь доберусь до Фрунзе? Там горстка моего народа. И денег у меня нет.

— Денег и у меня нет. А билет тебе выправим до Фрунзе и сухой паек дадим, да так, чтобы ты кое-что своим привез. Не обидим фронтовика. Только глупых слов не говори. Кто может тебя понять лучше, чем я?

8

глава

Недалеко от Фрунзе, столицы Киргизии, среди свекловичных полей разбросан городок Кант, что на тюркских языках означает «сахар». Высланные тавлары прозвали городок «Туз» — «соль». Но

нельзя сказать, что им пришлось в Канте особенно солоно, над ними не было, как над их сородичами в Казахстане, комендатуры, им разрешалось выезжать без права ночевки во Фрунзе, а подростки ожесточенно пели, переиначивая известную песню: «Хороша страна Тавлария!»

Грех было им жаловаться. Не в пустыне их поселили, как большинство сородичей, а на плодородной земле. Они попали в среду, близкую им по языку, по вере: киргизы — мусульмане, хотя и не такие ревностные, как тавлары. Понимали киргизы, что и их, не приведи Аллах, может постичь такая же участь, и жалели несчастных. Конечно, случались и распри между хозяевами и спецпереселенцами. без этого нельзя.

В Кант попали избранные, тавларская советская знать. Бывшая знать. Председатель Совнаркома Акбашев стал председателем райпотребсоюза, он с семьей занимал половину глиняной кибитки с небольшим участком, в другой половине поселился Амирханов, который неплохо устроился в райпищеторге — занятие прибыльное, ибо он стоял у истоков распределения пищи, а пища в военное — и в невоенное — время была не для всех, карточки в тех местах отоваривались отворительно.

О чем думали Акбашев и Амирханов? Думали ли они о том, что половина их народа погибла в пути? Никто не знал их дум, даже их жены и дети, даже Темир, бывший шофер наркома Везирова, который в звании лейтенанта продолжал свою службу в органах и жил тоже в Канте, в восьмиквартирном доме работников НКВД.

В городке можно было увидеть не только киргизов в белых шапках-колпаках, но и узбеков в тюбетейках, и дунган — китайцев мусульманского вероисповедания. Они привыкли к нескольким десяткам новоприбывших тавларских семей. Все было похожим на родную землю — и снежная вершина Алатау, напоминающая Эльбавенд, и поля, и пастбища, и бычья соседей, но знали тавлары: и горы не те, и поля не те, и не те пастбища.

Мусаиб Кагарский сильно одряхлел. Он перестал в изгнании заниматься по утрам гимнастикой. Старик подолгу сиживал на азиатском солнышке у того дома, половину которого хозяйка, вдова погибшего на фронте учителя Джумабаева и сама учительница, отвела семье Гомера двадцатого века, депутата Верховного Совета СССР. Мусаиб получал положенные депутатам деньги и, что важнее, паек, то был хороший, большой паек, с Гулаим Джумабаевой жили одной семьей, она подружилась с двумя дочерьми Мусаиба, тоже военными вдовами, их сиротки дети играли вместе, и внуки Мусаиба уже произносили слова на характерный киргизский лад, джоякая там, где по-тавларски требовалось «и краткое».

Жена Мусаиба, всегда одетая в черное, всегда на кого-то сердитая Разият, была недовольна тем, что киргизке достается часть депутатского пайка, ходила по дому, бормоча ругательства, но мужу не смела прекословить. Она была намного моложе Мусаиба, но выглядела совсем старухой, беззубая, худая, с трясущейся головой. Ей уже и в молодости не доставало многих зубов, что среди горянок было редкостью и считалось происшедшим от злого заклятия, поэтому и выдали ее за бедняка, не потребовав с него калыма.

Сердце у него к Разият не лежало, да и сыновей она ему не родила, дочери были в мать, скупые, некрасивые, а все же с помощью Разият он завел хозяйство, получил крохотный надел земли, построил дом. Какая длинная жизнь прожита! С детских лет он пас чужое стадо, ходил по чужой земле за чужим плугом и нефть добывал в большом городе Баку, где научился говорить по-персидски, курить анашу и спать с дурными женщинами. Потом он вернулся в родной аул, женился, начал слагать песни, Аллах Акбар, правильные песни, строки в четверостишии, как четыре палочки шашлыка, но тре-

тя без мяса, а первые две и четвертую он связывал рифмой, будто крепким, но нежным жгутом, и той же рифмой он скреплял столько четверок, сколько палочек, сколько надо было, слова были мясом, а струны саза — огнем, горячие получались песни, бедняки пробовали их на вкус, говорили: «Хорошо». Аульский мулла презирал его: «Неграмотный!» Это было увидено справедливо, но не глубоким взглядом. Что правда, то правда, рука его была неграмотная, темная, зато глаза — светлые, им открывалось безумие мира. Когда запылала гражданская война, Мусаиб сложил песню о том, что его родная земля, как чаша с хмельной бузой, ходит по кругу — от деникинцев к англичанам, от англичан к туркам, от турок к большевикам, — где же правда времени? Горские евреи внизу, в предгорьях, проливая семь потоков, выращивали упрямый виноград, они давили вино, запретное для мусульман, и мусульмане, пропив свои жалкие деньги, грабили виноградарей, насиловали их жен и дочерей — разве это правда времени? Но вот укрепилась Советская власть, пора бы и отдышаться, так нет же, вместо прежних богатеев, судей-кадиев, князей-таубиев, стали всем распоряжаться люди с портфелями, жадные, как вольноотпущенники, — и разве это правда времени?

Так вопрошал он в своих четверостишиях, нанизанных на одну хлесткую рифму с повтором, и его народ подхватил эти четверостишия и запел, как свои.

Началась коллективизация. Крестьяне резали своих овец, чтобы не сдать их в колхоз, ели днем и ночью, обливая обильную пищу слезами. Разве это правда времени? Он сложил горькие стихи об этих безумцах, гневные стихи. И вот к нему пришел один из начальников и сказал:

— Сладкие это стихи, для родной Советской власти сладкие. Нужные это стихи, ты великий поэт, Мусаиб. Ты правильно назвал безумцами тех, кто не хочет идти в колхоз, кто режет свой скот. Ты сам бедняк и поэтому понимаешь сердце бедняка. На слезах была замешана твоя ячменная лепешка. Наш отец, товарищ Юсуф Сталин, который родился по соседству, в Гурджистане, хорошо знает долю бесправного горца. Он хочет нас вывести из ущелья нищеты на долину зажиточной жизни, а этот путь лежит через колхозы. Другого пути для нас нет. Те, кто режет скот, чтобы не отдавать его колхозам, слепцы, они идут по тропинке, по которой их толкает в пропасть коварный враг-миroeд. Будь поводырем для слепцов, Мусаиб, пусть твоя песня вернет им зрение. На той неделе открывается в Гугирде первый республиканский съезд колхозников. Возьми в руки саз, сложи для участников съезда песню, твердую и острую, как горский кинжал, мягкую и пахучую, как горский хлеб. Нам нужен хлеб твоей песни, Мусаиб. Отвезем тебя в Гугирд на машине...

Папаха у вас на голове или городская шляпа, бьется ваше сердце под черкесской или под модным вельветовым пиджаком, трогают ваши пальцы клавиши пишущей машинки или струны саза и лиры, но если вы слагаете стихи, то ваш разум и сердце вдыхают лесть, как запах утреннего сада. И лестно было Мусаибу слушать слова районного начальника, человека с портфелем, лестно было впервые въехать в Гугирд не на крестьянской арбе, а в машине. Иные когда-то смеялись над тем, что он слагает песни, не мужское, мол, занятие, а оказывается, что его песня — хлеб для Советской власти. И вот Мусаиб, в новой папаше, в новом бешмете, ашуг державы, сел на сцене перед переполненным залом, взял в руки саз и спел песню о счастливой зажиточной жизни, к которой нас ведет тот, кто сам — весь движение в будущее, кто есть райский источник мудрости и утренняя звезда счастья. Он пел от души, по крайней мере, так ему тогда казалось. И потом лицо Мусаиба, голубоглазое умное лицо землепашца, было размножено в газетах, печатавшихся на трех языках, да, даже в русской газете, он поднялся по узкому ущелью своих дней к вершине всена-

родной славы. Но, когда достигаешь вершины, за ней открывается новая. Так, после встречи с Максимом Горьким он взобрался на новую, недостижимую вершину, его темную руку пожимали Юсуф-пророк теперешнего мира — Сталин и верные сталинские халифы Молотов и Каганович, приезжие знатные русские ашуги. Правда, не всегда ему было легко, ему приходилось петь о том, к чему не был приспособлен его горский саз, петь о том, чего он не знал, петь, зажмурив глаза, чтобы не видеть бед своего народа, и он говорил с детской хитрецей переводчику Станиславу:

— На дне моего хурджина есть хорошие, богатые слова, но мне трудно нагибаться, ломота одолела меня в старые годы, нагнись ты за меня и достань нужные слова.

Когда он в последний раз так говорил, была весна, они сидели на траве перед его саклей в Кагаре, пили домодельное вино, внизу цвели фиолетовые персиковые сады, прямо над головою плыли розовые от закатного света облака, и Мусаиб, почувствовав благодарность к молодому русскому ашугу, который переводил его, доставая со дна хурджина нужные слова, сказал Станиславу:

— Товарищ Сталин — чистый, как этот стакан. Возьми сравнение для своих стихов. Мой подарок.

Где эти фиолетовые сады, эти кагарские розовые облака? Какой шайтан обманул нашего отца, наговорил бесовские наговоры на тавларский народ, и весь народ погнажи, как гонят с гор отару на зимние пастбища, и внезапно выпал снег, ударил град, и половина отары погибла в пути от холода и бескормицы. Где же правда времени, какой хребрец откроет ее великому Сталину, могучему, но доверчивому, как все великодушные богатыри?

Учительница Гулаим Джумабаева считала большой честью для себя пребывание в ее вдовьем доме прославленного Мусаиба Кагарского. Еще до войны она разучивала его стихи по-русски со своими учениками. Мусаиб зорко следил за тем, чтобы скупая Разият не обделяла продуктами из депутатского пайка хозяйку и ее сироток, он видел, что Гулаим — женщина уважительная и добронравная, даром, что, входя к нему, не прикрывала лицо краешком платка. Однажды она сообщила ему, глотая слезы, что районо запретило ей учить детей стихам Мусаиба. И добавила с гневом:

— О чем думают ваши люди? Про кавказцев говорили, что они как волки, а вы овечки. Надо письмо написать товарищу Сталину. Он мудрый, он знает, что виновен бывает человек, а весь народ — никогда.

Гулаим напоила Мусаиба из кувшина горечи, а тут судьба преподнесла ему второй кувшин, еще более горький. Торжественно, с одобрения кантского начальства навестил его Соронбай, сказитель древней народной поэмы «Манас», насчитывающей чуть ли не полмиллиона стихов, и все их знал Соронбай наизусть. Слава его гремела в Киргизии, но иссякала, добежав до пределов республики, а для славы Мусаиба раньше не было границ, и вот теперь Мусаиб — изгнанник, спецпереселенец, депутат Верховного Совета СССР, который вне маленького Канта нигде не смеет переночевать. Большие люди до войны не раз убеждали Соронбая складывать песни на современные темы — о родине, о Сталине, о героизме советского народа, ведь Соронбай не хуже, а даже лучше кавказца Мусаиба, и Соронбай старался, пробовал, но у него ничего не получалось, слова он выбирал красивые, как чирах-светильник, но в светильниках не было огня. Соронбай давно мечтал о знакомстве со знаменитым Мусаибом, и его мечта сбылась. Сказитель приехал в Кант верхом на куцехвостой лошадке, его черный костюм-тройка был запылен, равнобедренная белая шапка из войлока чуждалась городской одежды. Соронбай был еще не стар, лет под пятьдесят, невысокого роста, коренаст, узкоглаз, щечки — как два румяных яблочка. Церемония встречи двух аэдов была величаво

проста. Они обнялись, касаясь друг друга щеками и поглаживая друг другу плечи, придавая этому объятию важное значение в глазах присутствующих. Пригласили с десятков соседей — тавларов, киргизов, узбеков. Был среди гостей и инструктор райкома партии — нельзя же такую встречу пускать на самотек, по его приказу привели из колхозного стада барана. Гости уселись, поджав ноги, неполным кругом на паласе посреди дворика Гулаим, счастливой от посещения сказителя, от возможности угостить соседей за счет государства.

Где-то в дальнем, невидимом углу дворика разожгли огонь. Барана повели за поводок по кругу, вдоль глаз и ног гостей, и гости, по обычаю, не смотрели на него, один Мусаиб посмотрел. Баран был не очень упитанный, курчавый, его большие темные глаза стали задумчивыми, женственными, как у шакирда, изучающего богословие. Понимал ли он, что сейчас умрет, станет кушаньем, которое называлось бешбармак, «пять пальцев», ибо пятью пальцами черпали из миски это перемешанное с лапшой мясное вариво — пищу полукочевников, полуседлых. И Мусаибу показалось, что он и его народ тоже предназначены для варева. Но разве нет разницы между человеком и бараном, между народом и отарой? Разве не выпрямил Аллах стан человека, не отличил его от животного, даровав ему чудо и счастье речи? Разве не сказал Аллах: «О вы, которые уверовали! Ешьте блага, которыми мы вас наделили!»

В этих краях водку называли «Белый мулла», здешние мусульмане ее пили не таясь. Щечки-яблочки Соронбая еще больше раскраснелись от водки, он почувствовал в своем теле чудо речи, и гости поняли, что он это чудо почувствовал, поднесли ему комуз, он взял его в руки и запел. Сначала он воздал хвалу Мусаибу, потом всем тавларам, пришедшим издалека, потом узбекам, давним соседям, потом киргизам-соплеменникам. На одно или два мгновения он остановился, обвел всех невидящим взглядом, и у всех замерли сердца. Лицо Соронбая преобразилось, стало властным, царственным. Он приступил к исполнению одного из эпизодов древней поэмы. Сам взволнованный ее содержанием, ощущая, как по его жилам пробегает нездешний огонь, он, сохраняя канву, часто сочинял новые строки. Первые стихи он произнес нераздельно, быстрым речитативом и с мощной внезапностью перешел на мерную речь, запел, начиная каждую строку с одного и того же ударного аллитерирующего звука. Он пел о величии и силе Китая, чье войско было гуще муравьев, в чьем войске были и меченосцы, и копьеносцы, и секироносцы, и кинжалорукые, и железноголовые с длинными косами, и полулюди-полутигры, и драконы, и оборотни, и колдуны, и такие широкозадые великаны, что сидели сразу на двух конях, скрепленных драгоценными седлами и сбруями. А за этим войском стоял весь многоплеменный, многобашенный, сорокадержавный Китай, чья казна была несметна, чьи дворцы сияли, как планеты, весь Китай, поклонявшийся золотым бурханам с сапфировыми глазами. Этот веропоганый Китай рассеял кочевников киргизов, отобрал у них скот четырех родов, поселил на бестравных солончаках, превратил их, и детей их, и детей их детей в рабов. Но Манас и его кыркчоро, сорок всадников, держа имя Аллаха на губах, отважно выступили против неисчислимого войска сорока ханств.

Когда слова собираются вместе так, что между ними волоска не просунешь, слова становятся стихом. Когда стихи собираются вместе так, что их не может разять лезвие ножа, стихи становятся песней. Когда люди собираются вместе так, что превращаются в единое тело, а в теле живет Бог, люди становятся народом. Когда люди становятся народом, они обретают бессмертие. Потому-то Манас и его сорок всадников и победили неисчислимое вражеское войско: он, Манас, людей из разных семейств, рассеянных и отчужденных друг от друга, превратил в единое тело, в теле поселился Бог, и оно стало народом.

Вот Манас вступает в битву с китайским полководцем Ма-Ды, чьи толстые ноги в пестрых шароварах подобны двум слонам. Сказитель встает, опуская комуз на стул. Стихи, дотоле ограниченные приблизительным четырехстопным размером, растягиваются на длину копья. Уже не только горло Соронбая поет — поют его узкие, как ножи, глаза, поют его руки, они обхватывают врага, валят его. Вместе с Соронбаем поднимаются с мест его слушатели. Покоряясь его песне, они тоже участвуют в поединке.

Киргизский и тавларский языки настолько родственны, что Мусаиб понимал почти каждое слово. Вот, значит, где правда времени! Горсточка способна победить врагов, многочисленных, как песок, если эта горсточка — народ. Что из того, что в народе есть богатые и бедные, белая кость и черная кость? Народ есть единое тело, это понимает и Сталин, раз он угнал весь тавларский народ — и начальников, и рядовых колхозников, и людей с портфелями, говоривших свободно по-русски, и чабанов. Оказывается, пустые слова слагал Мусаиб, жалел бедных, хлестал богатых, но не в этом суть жизни, нет бедных и нет богатых, а есть народ: сын Бескрайнего Времени, народ старше, всегда старше текущего времени.

Тавлары, восхищенные искусством Соронбая, хотели, чтобы и Мусаиб открыл во всем блеске киргизам и узбекам свой словесный дар.

— Возьми в руки саз,— просили они,— спой «Песнь о вожде». Нет, лучше о харчевне!

О харчевне им спеть? Что этим чужим людям до таких мелких дел, давно забытых! О вожде им спеть? Но разве Сталин — вождь? Разве собрал он, как Манас, людей из разных родов и превратил их в единое тело? Наоборот, он без жалости отсекает части единого тела, не он истинный вождь, а этот киргизский всадник, чье имя — Манас, чье племя — Манас.

— У каждого соловья — своя песня,— сказал Мусаиб разочарованным почитателям,— у каждого ашуга — свой день для песни. Сегодня день нашего Соронбая.

На другое утро проводили с почетом киргизского сказителя. Он был навеселе, обнимал Гулаим, хвастливо, по-мальчишески подмигивал собравшимся, как бы рассеивая легкомысленным поведением волшебное марево своего словесного величия, но не рассеивались после отъезда Соронбая тяжелые думы старого Мусаиба. За чужим деревянным плутом ходил он в молодости, чужие деревянные слова складывал в годы старости, чужую жизнь прожил он, чужой почет окружал его. Он трогал струны саза, не видя своего народа, зажмурил глаза. Напрасно, оказывается, прожита его долгая жизнь!

Не прикрыв, как всегда, круглое лицо краешком платка, вошла в его крохотную, низенькую комнатку Гулаим и сказала с трепетом:

— К вам еще один гость, дядюшка Мусаике, знатный гость!

Так появился в киргизском городке Мурад Кучиев. Он остановился у Мусаиба. Военком города Фрунзе предписал ему жить в Канте, обещал помочь получить жилье, устроиться на работу. Тавларские подростки, юноши и девушки, толпились возле дома Гулаим, всем хотелось увидеть Героя Советского Союза — тавлара. Вечером пришли старшие: долговязый, постоянно чем-то озабоченный Акбашев, борзая, потерявшая хозяина, низкорослый, не унывающий Амирханов с блаженной улыбкой на лице, Темир, немногословный, подтянутый в своей чекистской форме, их жены и другие семьи тавларов. Амирханов, благодаря которому были раздобыты мясо, закуска, водка, по праву стал тамадой пира. Он ликовал: во всем Канте был только один депутат Верховного Совета СССР, только один Герой Советского Союза, и оба они тавлары, высанные, и не какие-нибудь, а из Кагарского района, где он был секретарем, воспитывал людей!

Это ликование придало Амирханову силы сообщить и тяжкие ве-

сти: погиб кузнец Исмаил, отец Мурада, упал в пропасть, когда людей погнали из Куруша, скончалась в дороге Айша, мать Мурада. В подробности Амирханов не вдавался: не мог же он сказать, что Айша находилась в скотском вагоне, что поезд шел в Казахстан более трех месяцев, что людей не кормили, что начались повальные болезни, а сам он, и Темир, и их семьи совершали свой изгнаннический путь в купейном вагоне, а Мусаиб и Акбашев даже в мягком, и голода они не знали. Пал на фронте смертью храбрых и дядя Мурада, муж Фатимы. Тут Амирханов получил возможность перейти к менее горестным известиям: тетка Мурада и ее дети живы, их поселили в Казахстане, Фатима, по слухам, работает звеньевой в колхозе. И Темир обнадежил: можно будет договориться с кем следует, дадут Мураду разрешение поехать в соседний Казахстан, свидеться с родственниками.

У Амирханова стало тепло на сердце, он разнежился, опять он тамада в своей тавларской компании, как будто ничего не изменилось, как будто они все у себя дома, на родине. Он с ликованием называл имена тавларских девочек, достигших в изгнании возраста невест, одну уподоблял дикой розе у обрыва, которую никто, кроме ветра и солнца, ни разу не тронул, находил не менее красноречивое сравнение для другой, родители этих девушек, здесь присутствовавшие, потупляли глаза, Герой Советского Союза был завидным женихом, Амирханов и выгодное место для него нашел, вкусное место заместителя директора сахарного завода — ни о чем не беспокойся, Мурад, договоримся в райкоме, тавлары нигде не пропадут.

Провозглашались тосты, много тостов — водки было в изобилии. Мурад молчал, известие о смерти родителей вызывало слезы, но мужчине плакать нельзя, он подавлял слезы, и перед его глазами хромой отец валился в пропасть, Айша с пересохшими от жажды губами умирала в вагоне. Кто-то нерешительно и не очень связно произнес здравицу в честь товарища Сталина, но люди на здравицу не отозвались, один лишь Мурад, ни с кем не чокаясь, осушил стакан и сказал:

— В чем мы, тавлары, провинились? Разве мы хуже других народов? Оклеветали нас. Напишем письмо товарищу Сталину. Откроем ему правду. Здесь знатные люди собрались — председатель Совнаркома республики, секретарь Кагарского райкома, Темир, который и в Киргизии оказался нужным для органов, да и у меня такое звание, которое на земле не валяется, и другие подпишут письмо, все подпишут. Мы дети Сталина, разве он оставит своих детей в беде?

— Все подпишем,— подтвердил захмелевший Акбашев, даже во хмелю удивляясь своей смелости, а Темир, который пил много и не пьянел, дал неожиданный совет:

— Пусть Мусаиб составит письмо в стихах. Вождь одобрит.

Эта мысль понравилась всем.

— Правильно, в стихах! — воскликнула Гулаим.— Все народы Сталину пишут письма в стихах. И вы напишите. Я уверена, дядюшка Мусаике сложит слова так, что сердце отца повернется к вам.

— Сталин по-тавларски не понимает,— протрезвел Акбашев.— Надо по-русски стихами изложить.

Амирханов был полон уверенности — дело правое:

— Запишем слова Мусаиба, подстрочный перевод своими силами сделаем, пошлем на обработку Станиславу Бодорскому, может быть, он в Москве окажется. А нет, отправим стихи по-тавларски, а подстрочный перевод приложим.

— Либретто надо сначала старику составить. Документ ответственный. Обдумаем его произведение, дополним и все как один подпишем,— предложил осторожный, опытный Акбашев. Он распалился: — Я первый подпишу, как бывший глава республиканского правительства. Вот мое верное слово. Честь и достоинство превыше всего.

Амирханов возразил:

— Золотом режу твои слова. Либретто ни к чему. В таких делах старик умнее нас. Пусть сначала Мусаиб сложит песню, примем ее за основу, а потом скажем ему, что надо выбросить, а что дополнить.

Так и порешили. На другое утро Мусаиб впервые за год изгнания взял в руки саз. Он обращался к Сталину, уже не любя его, но Восток давно был приучен, сам себя обманывая, восхвалять властителей в пышных одах, а здесь речь шла не о благе виршеплета, речь шла о судьбе народа. «Единое тело — народ», — нашел Мусаиб первую строку, или навееяна она была сказителем древней поэмы? Далее он повествовал о том, как это единое тело раздирали в прошлом чужеземцы, рвали его на куски, как белый царь мучил тавларов и подобно раненому туру умирал горец, окрашивая своей кровью камень, который служил ему ложем, но вот пришел Сталин, исцелил раненого тура, единым телом стали горцы, зачем же теперь злые люди с помощью клеветы и навета подвергли мучениям не только тело, но и душу тавларского народа? А душа эта чистая, верная партии и родине, ни разу она не шаталась ни вправо, ни влево. Затем шли картины угона, гибели половины народа в пути, перечислялись заслуги тавларов, довоенные имена героев колхозных полей, имена трех Героев Советского Союза. Заканчивалось рифмованное письмо исторгнутым из сердца призывом: «О Сталин, верни нам родную землю, верни нам наши горы и реки, верни нам наши очаги и могилы предков, твою любовь к нам, нашу любовь к тебе верни нам, о Сталин!»

Тавлары плакали не стыдись. И Гулаим плакала. И Мурад плакал со всеми. И Темир был взволнован.

— Ни прибавить, ни убавить.

Амирханов покачал головой.

— Не годится выражение: «Любовь к тебе нам верни». Мы не переставали любить Сталина. Пусть Мусаиб выправит. А в остальном — ни убавить, ни прибавить, как сказал Темир. Великие стихи сложил Мусаиб. Надо их записать. Мы все подпишем. Сталин любит Мусаиба. Хорошее дело для нашего народа сделал старик.

— Я не подпишу, — внятно выговорил Акбашев. Низкорослый Амирханов чуть ли не подпрыгнул до головы долговязого Акбашева.

— Чего ты боишься, чего осторожничаешь? Стихи марксистско-ленинские. Ты же дал слово, что подпишешь первым...

Акбашев, опустив длинную узкую голову, стоял на своем:

— Человек имеет право один раз в жизни нарушить свое слово.

Темира испугала трусость Акбашева. Действительно, кто знает, как посмотрят на тавларское письмо наверху. А ведь не кто иной, как он, Темир, предложил, чтобы Мусаиб составил в стихах письмо Сталину. Однако мысль о письме подал не он, а Мурад Кучиев, все подтвердят. И Темир быстро сообразил:

— Переведем письмо, запишем по-русски, я покажу товарищам, посоветуемся.

— Ты сам и запиши, — рассердился Амирханов. — Твоя идея.

Запомнил, значит! Нет, он записывать не станет, доложит о факте Самаганову.

Его начальник Самаганов был всегда полупьян, всегда о чем-то бессвязно болтал, но всегда и все помнил. Говорил он, главным образом, о себе, о своих заслугах, о своих обидах, о своих зложелателях, позволял себе критиковать стоявших над ним, но слушателей при этом бросало в дрожь — а вдруг Самаганов потом скажет, что не он, а слушатель, клеветца, критиковал.

Работникам кантских органов было известно, что жена Самаганова, крепенькая, кругленькая, румянькая, занимается, как они остро выражались, передовыми вопросами. Однажды Самаганов застукал ее среди бела дня на ковре с командировочным из Москвы, рядом валялась его гимнастерка с ромбом в петлице. Жена, в комбинации до колен, растрепанная, воззвала: «Не трогай гостя, Касымкул!»

Какая дура, разве тронешь такого гостя, с ромбом. Самаганов был повышен в должности. С тех пор он с женой не спал, бил ее по ночам и грозил: «Пожалуешься — всю твою родню сгною в лагере!»

Была Самаганову польза и от другого командировочного: он перенял у столичного приезжего привычку носить темные очки. И вот в таинственных темных очках, с жесткими волосами, которые кленовыми черными клиньями торчали на его голове, длиннорукий, кривоногий, потомок всадников-кочевников, он предстал перед Темиром. Хотя рабочий день только начинался, Касымкул успел уже принять сто или все двести. Выслушав сообщение Темира, он забежал по комнате, сердито разорвал какую-то бумагу и бросил обрывки в корзину, закурил папиросу «Боомское ущелье» и непослушным языком стал что-то плести о своем фрунзенском начальнике, о кознях и глупости этого выскочки, который только тем и держится, что его родственник — член бюро Цека республики, и о зорком, неподкупном уме его, Самаганова, и неожиданно сам себя прервал распоряжением:

— Бери Мусаиба Кагарского. Выпишем ордер.

Темир опешил, напомнил:

— Старик не нашей номенклатуры. Он депутат Верховного Совета СССР. Надо связаться с наркомом.

— Хрен с ним, с вашим вонючим поэтом. Возьмешь Кучиева.

— Героя Советского Союза?

— Слушай, Темир, я тебя считал честным чекистом, а выходит, что для тебя твои местнические тавларские интересы выше интересов родины. Не нравится мне это. Чекист знает: у нас любой становится героем и любого мы берем.

— Может быть, другому поручишь? Я все-таки тавлар. У нас, как и у вас, есть еще пережитки.

— Ладно, останешься здесь.

Мурада привели через полчаса. Он был без ремня. В его голубых глазах дрожали ужас и гнев. Увидев Темира, он немного успокоился, горячо заговорил с ним по-тавларски. Самаганов приказал по-русски:

— Заткнись. Мы люди занятые. Расскажи, кто тебя научил заниматься антисоветской агитацией, писать письма во вред государству.

— Письмо Сталину — антисоветская агитация? Сын суки, пока ты здесь в тылу жрал бешбармак и пил водку, я за тебя, внук потаскухи и ублюдка, воевал, защищал тебя, ногу мне из-за тебя, вора, покалечили.

И Мурад со всей оскорбленной, обезумевшей силой опустил тяжелый кулак на стекло письменного стола. Стекло разбилось, рука окровавилась. Самаганов ударил его в пах. Мурад упал. Придя в себя, сказал, задыхаясь, по-тавларски:

— Темир, мы одной крови. Расскажи ему, как было на самом деле. Мы хорошее задумали, ты и я, мы Сталину решили написать правду о нашем бедном народе.

— Не смей произносить имя вождя, предатель! — крикнул Самаганов. — Темир, он что, и тебя втягивает в дело?

Темир разозлился сначала на себя, потом на Мурада, поднял Мурада, и тот посмотрел на него с такой болью, с таким древним, прародительским укором, что Темир озлобился еще больше, вырвал из гимнастерки Мурада Звезду Героя и орден Ленина.

Вдвоем с Самагановым они еще долго били Мурада, сломали его больную ногу. Мурада поместили в тюремный госпиталь во Фрунзе. Через месяц, когда нога кое-как поправилась, состоялся суд. Мурада судили по тяжелой статье — групповые контрреволюционные действия. Учитывая военные заслуги преступника, ему дали только восемь лет. Он был отправлен в концлагерь, добывать в Норильске никель.

Альмис Грибаускас

*...Где незримые
глазом плоды*



*С литовского.
Перевод
Виталия Асовского*

Романс

Вновь стихов бестелесный огонь...
Пишмашинка дождя проливная
отпечатала часть тебя вновь.
И украдкой впиталась другая
в глубь зимы, в глубь земли, сделав знак,
что наш род сохранится для роста.
Вновь бесплотное пламя стихов —
и прохожие на перекрестках
превращаются в титры, чья речь,
как дорожные знаки, любезна.
Мел незримого профиля чертит
круг, за коим скрывается бездна.
Очертить не сумели б такого
ни колдун, ни ракеты полет:
нет за ним притяженья земного
и отсутствует времени ход,
нет ни мне, ни созвучиям места.
Подавилась машинка дождя
плотью речи своей бестелесной,
в запятых разобрать нельзя
там, где хаос стихии готов
рухнуть на городские страницы...
Лишь бесплотное пламя стихов
все сожжет — чтоб всему проясниться...

Silva rerum¹

Вереница всадников вылетевшая галопом из литографий доре
достигла угла книги
Настольная лампа боязливо съежилась в магическом круге
света
Чернила густели словно туманность рождающая систему
планет
Напряжение становилось непереносимым
вдруг из глубины выпорхнула в освещенный круг
столь изящная моль айседора
(она может станцевать для вас этот стоа этих всадников)
с есенинской петлей на шее
мчась в допотопном автомобиле

¹ Лес вещей (латин.).

Всегда какие-то спицы
 все какой-нибудь покончивший с собою поэт
 в разметающейся античной тунике —
 заговор случайностей
 грубая шутка реальности

Но прегрешения века не отпускаются оптом
 А мысль — невидимая основа свободы —
 я защищался подручными сентенциями
 Тень канула в иное соответствие

Всадники пересекшие лес символов приближались ко мне
 вспомнил:

То был какой-то дом с химерами
 фонарь сражаясь с темнотою
 путь воспевал сродни гомеру
 прикованному слепотою

остановку где сходят поэты романтики
 их речи с ленцою
 выцветшие улыбки
 Камень баррикады
 становился краеугольным камнем нового учреждения

Говорю уитмен не верю
 что списки вещей в стихотворении
 воспроизведут полноту мира
 сочные улыбки арбузов
 складки уцененных платьев
 надувные выпуклости матрасов
 Там намедни покончил с собой рафал воячек ¹
 Он с жизнью как с кроликом
 экспериментировал в выгрезвителях и вендиспансерах

Всадники в буйных автомобилях
 ныряют в лес вещей

Бедный волшебник —
 не удалось накликать дождь —
 стоя под терпкими потоками
 вызванными коварным учеником
 смотрит на
 цветок распускающийся в ладони

Сомнамбулический романс

Плавню
 словно слепой в нескончаемом фильме беззвучья —
 так мы в памяти видим себя —
 так пугливая рыбка венеры
 плеснется почувяв зарю —
 в лунном свете плывет человек

Ах налейте в светильники масла
 и вина в угасание песни
 только чаши луны не касайтесь

¹ Польский поэт.

вожделенья вспотевшей ладонью
сон ступающего по кромке
не спугните окликом правды

И пускай песня лжет
и реальность погасшая слышит
что в садах фосфорических разлило полнолуние
где незримые глазами плоды
упадают в ладони уснувших
в лунном свете плавает человек

Ах налейте в светильники масла
чашу тайны в угасшую душу
и в песню
Ах долейте гибели в песню
сон ступающего по кромке
не спугнув

Р а с с к а з ы



Как это началось

Как это началось? В какой из зимних дней изменился ветер и все стало слишком страшным? Осенью мы еще рабо...

Как это началось? Бригаду Клюева задержали на работе. Неслыханный случай. Забой был оцеплен конвоем. Забой — это разрез, яма, огромная, по краю которой и встал конвой. А внутри копошились люди, торопясь, подгоняя друг друга. Одни — с затаенной тревогой, другие — с твердой верой, что этот день — случайность, этот вечер — случайность. Придет рассвет, утро, и все развеется, все выяснится, и жизнь пойдет хотя и по-лагерному, но по-прежнему. Задержка на работе. Зачем? Пока не выполнят дневного задания. Тонко визжала метель, мелкий сухой снег бил по щекам, как песок. В треугольных лучах юпитеров, подсвечивающих ночные забои, снег крутился, как пылинки в солнечном луче, был похож на пылинки в солнечном луче у дверей отцовского сарая. Только в детстве все было маленькое, теплое, живое. Здесь все было огромное, холодное и злобное. Скрипели деревянные короба, в которых вывозили грунт к отвалам. Четыре человека хватали короб, толкали, тащили, катили, пихали, волокли короб к краю отвала, разворачивали и опрокидывали, высыпая мерзлый камень на обрыв. Камни негромко катились вниз... Вон Крупянский, вон Нейман, вон сам бригадир Клюев. Все спешат, но нет конца работе. Уже было около одиннадцати часов вечера — а гудок был в пять, присковая сирена прогудела в пять, провизжала в пять, — когда бригаду отпустили «домой» Домой — в барак. А завтра в пять утра — подъем и новый рабочий день и новый дневной план. Наша бригада сменяла клюевскую в этом забое. Сегодня нас поставили на работу в соседний забой и только в двенадцать ночи мы сменили бригаду Клюева.

Как это началось? На прииск вдруг приехало много, очень много «бойцов». Два новых барака, рубленых барака, которые строили заключенные для себя, были отданы охране. Мы остались зимовать в палатках — рваных брезентовых палатках, пробитых камнями от взрывов в забое. Палатки были утеплены — в землю были врыты столбы и на рейки натянут толь. Между палаткой и толем — слой воздуха. Зимой, говорят, снегом забьете. Но все это было после. Наши бараки были отданы охране — вот суть события. Охране бараки не понравились, ведь это были бараки из сырого леса — лиственница дерево коварное, людей не любит, стены, полы и потолки за целую зиму не высохнут. Это все понимали заранее — и те, чьими боками предполагалось сушить бараки, и те, кому бараки достались случайно. Охрана приняла свое бедствие как должную северную трудность.

Зачем на прииске «Партизан» охрана? Прииск небольшой — всего две-три тысячи заключенных в 1937 году. Соседи «Партизана» — прииск Штурмовой и Берзино (будущий Верхний Ат-Урях) — были городами с населением двенадцать—четырнадцать тысяч человек заключенных. Разумеется, смертные вихри 1938 года существенно эти цифры изменили. Но все это было после. А сейчас зачем «Партизану» охрана? В 1937 году на прииске «Партизан» был единственный бессменный дежурный «боец», вооруженный наганом, легко наводивший порядок в смиренном царстве «троцкистов». Благари? Дежурный смотрел сквозь пальцы на милые проделки блатарей, на их грабитель-

ские экспедиции и гастроли и дипломатически отсутствовал в особенно острых случаях. Все было «тихо». А теперь вдруг видимо-невидимо конвоиров. Зачем?

Вдруг увезли куда-то целую бригаду отказчиков от работы — «троцкистов», которые в те времена, впрочем, не назывались отказчиками, а гораздо мягче — «неработающими». Они жили в отдельном бараке посреди поселка, неогороженного поселка заключенных, который тогда и не назывался так страшно, как в будущем, в очень скором будущем — «зоной» «Троцкисты» на законном основании получали шестьсот граммов хлеба в день и приварок, какой положено, и не работали вполне официально. Любой арестант мог присоединиться к ним, перейти в неработающий барак. Осенью тридцать седьмого года в этом бараке жили семьдесят пять человек. Все они внезапно исчезли, ветер ворочал незакрытой дверью, а внутри была нежилая черная пустота.

Вдруг оказалось, что казенного пайка, «пайки» не хватает, что очень хочется есть, а купить ничего нельзя, а попросить у товарища — нельзя. Сеledку, кусок сеledки еще можно попросить у товарища, но хлеб? Внезапно стало так, что никто никого не угощал ничем, все стали есть, что-то жевать украдкой, наскоро, в темноте нащупывали в собственном кармане хлебные крошки. Поиски этих крошек стали почти автоматическим занятием человека в любую свободную его минуту. Но свободных минут становилось все меньше и меньше. В сапожной мастерской вечно стояла огромная бочка с рыбьим жиром. Бочка была ростом с полчеловека, и все желающие совали в эту бочку грязные тряпки и мазали свои ботинки. Не сразу я догадался, что рыбий жир — это жир, масло, питание, что эту сапожную смазку можно есть. Озарение было подобно Архимедовой зврике. Я бросился, то есть поплелся в мастерскую. Увы, бочки в мастерской давно уже не было, другие люди уже шли той же дорогой, на которую я только-только вступал.

На прииск были привезены собаки, немецкие овчарки. Собаки?

Как это началось? За ноябрь забойщикам не заплатили денег. Я помню, как в первые дни работы на прииске, в августе и сентябре около нас, работяг, останавливался горный смотритель — название это уцелело, должно быть, с некрасовских времен — и говорил: плохо, ребята, плохо. Так будете работать — и домой посылать будет нечего. Прошел месяц, и выяснилось, что у каждого был какой-то заработок. Одни послали деньги домой почтовым переводом, успокаивая свои семьи. Другие покупали на эти деньги в лагерном магазинчике, в «ларьке» папиросы, молочные консервы, белый хлеб... Все это внезапно, вдруг кончилось. Порывом ветра пронесся слух, «параша», что больше денег платить не будут. Эта «параша», как и все лагерные «параша», полностью подтвердилась. Расчет будет только питанием. Наблюдать за выполнением плана кроме лагерных работников, им же имя легион, и кроме производственного начальства, умноженного в достаточное количество раз, будет вооруженная лагерная охрана, «бойцы».

Как это началось? Несколько дней дула пурга, автомобильные дороги были забиты снегом, горный перевал был закрыт. В первый же день, как прекратился снегопад — во время метели мы сидели дома. — после работы нас повели не «домой». Окруженные конвоем, мы шли не спеша нестройным арестантским шагом, шли не один час по каким-то неведомым тропам, двигаясь к перевалу, все вверх вверх. Усталость, крутизна подъема, разреженность воздуха, голод, злоба — все останавливало нас. Крики конвоиров подбодряли нас, как плети. Уже наступила полная темнота, беззвездная ночь, когда мы увидели огни многочисленных костров на дорогах близ перевала. Чем глубже становилась ночь, тем ярче горели костры, горели пламенем надежды, надежды на отдых и еду. Нет, эти костры были зажжены не для нас. Это были костры конвоиров. Множество костров в сорокаградусном, пятидесятиградусном морозе. На три десятка верст змеились костры. И где-то внизу в снеговых ямах стояли люди с лопатами и расчищали дорогу. Снеговые борта узкой граншей поднимались на пять метров. Снег кидали снизу вверх по террасам, перекидывая дважды, гризды. Когда все люди были расставлены и оцеплены конвоем — змейкой костровых огней, — рабочие были предоставлены сами себе. Две тысячи людей могли не работать, могли работать плохо или работать отчаянно — никому до этого не было дела. Перевал должен быть очищен, и, пока он не будет очищен, никто не тронется с места. Мы стояли в этой снеговой яме много часов, махая лопатами, чтобы не замерзнуть. В эту ночь я понял одну странную вещь, сделал наблюдение, много раз потом подтвержденное. Труден, мучительно труден и тяжел десятый, одиннадцатый час такой «добавочной» работы, а пос-

ле перестаете замечать время — и Великое Безразличие овладевает тобой, — часы идут как минуты, еще скорее минут. Мы вернулись «домой» после двадцати трех часов работы — есть вовсе не хотелось и соединенный суточный «приварок» все ели необычно лениво. С трудом удалось заснуть.

Три смертных вихря скрестились и клочкотали в снежных забоях золотых приисков Колымы в зиму тридцать седьмого—тридцать восьмого года. Первым вихрем было берзинское дело. Директор Дальстроя, открыватель лагерной Колымы Эдуард Берзин был расстрелян как японский шпион в конце тридцать седьмого года. Вызван в Москву и расстрелян. С ним вместе погибли его ближайшие помощники — Филиппов, Майсурадзе, Егоров, Васьков, Цвирко, — вся гвардия «вишерцев», приехавшая вместе с Берзиным для колонизации Колымского края в 1932 году. Иван Гаврилович Филиппов был начальником УСВИТА, заместителем Берзина по лагерю. Старый чекист, член коллегии ОГПУ, Филиппов был когда-то председателем «разгрузочной тройки» на Соловецких островах. Есть документальный кинофильм двадцатых годов «Соловки». Вот в этой картине и снят Иван Гаврилович в своей тогдашней главной роли. Филиппов умер в Магаданской тюрьме — сердце не выдержало.

«Дом Васькова», так назывался и называется по сей день Магаданская тюрьма, которую строил в начале тридцатых годов — потом из деревянной тюрьмы превратилась в каменную, сохранив свое выразительное название — начальник по фамилии Васьков. На Вишере Васьков — человек одинокий — проводил выходные дни всегда одинаково: садился на скамейку в саду или в лесочке, заменявшем сад, и стрелял целый день по листьям из мелкокалиберной винтовки. Алексей Егоров — «рыжий Лешка» как его звали на Вишере, был на Колыме начальником производственного управления, объединяющего несколько золотых приисков, кажется, Южного управления. Цвирко был начальником Северного управления, куда входил и прииск «Партизан». В 1929 году Цвирко был начальником погранзаставы и приехал в отпуск в Москву. Здесь после ресторанного кутежа Цвирко открыл стрельбу по колеснице Аполлона над входом в Большой театр — и очнулся в тюремной камере. С его одежды были спороты пелтицы, пуговицы. Среди арестантского этапа Цвирко весной 1929 года прибыл на Вишеру и отбыл там положенный трехлетний срок. С приездом на Вишеру Берзина в конце 1929 года карьера Цвирко быстро пошла вверх. Цвирко еще заключенным стал начальником «командировки» «Парма». Берзин не чаял в нем души и взял его с собой на Колыму. Расстрелян Цвирко, говорят, в Магадане. Майсурадзе — начальник УРО, отбывший когда-то срок «за разжигание национальной розни», освободившийся еще на Вишере, тоже был одним из любимцев Берзина. Арестован он был в Москве, во время отпуска, и тогда же расстрелян.

Все эти мертвые — люди из ближайшего берзинского окружения. По берзинскому делу арестованы и расстреляны или награждены «сроками» многие тысячи людей, вольнонаемных и заключенных — начальники приисков и лагерных отделений, лагпунктов, воспитатели и секретари парткомов, десятники и проробы, старосты и бригадиры... Сколько тысячелетий выдано «срока» лагерного и тюремного? Кто знает...

В удушливом дыму провокаций колымское издание сенсационных московских процессов, берзинское дело выглядело вполне rispettable.

Вторым вихрем, потрясшим колымскую землю, были нескончаемые лагерные расстрелы, так называемая гаранинщина. Расправа с «врагами народа», расправа с «троцкистами».

Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключенные музыканты из «бытовиков» играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензинные факелы не разрывали тьму, привлекая сотни глаз к заиндевелым листочкам тонкой бумаги, на которых были отпечатаны такие страшные слова. И в то же время — будто и не о нас шла речь. Все было как бы чужое, слишком страшное, чтобы быть реальностью. Но туш существовал, гремел. Музыканты обмораживали губы, прижаты к горловинам флейт, серебряных геликонов, корнет-а-пистонов. Папиросная бумага покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного. Каждый список кончался одинаково: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТА полковник Гаранин».

Я видел Гаранина раз пятьдесят. Лет сорока пяти, широкоплечий, брюхатый, лысоватый, с темными бойкими глазами, он носился по северным приискам день и ночь на своей черной машине «ЗИС-110». После говорили, что он лично расстреливал людей. Никого он не расстреливал «лично» — а только подписывал приказы. Гаранин был председателем расстрельной тройки. Приказы читались день и ночь: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин». По сталинской традиции тех лет Гаранин должен был скоро умереть. Действительно, он был схвачен, арестован, осужден как японский шпион и расстрелян в Магадане.

Ни один из многочисленных приговоров гаранинских времен не был никогда и никем отменен. Гаранин — один из многочисленных сталинских палачей, убитый другим палачом в нужное время.

«Прикрывающая» легенда была выпущена в свет, чтобы объяснить его арест и смерть. Настоящий Гаранин якобы был убит японским шпионом на пути к месту служения, а разоблачила его сестра Гаранина, приехавшая к брату в гости.

Легенда — одна из сотен тысяч сказок, которыми сталинское время забивало уши и мозг обывателей.

За что же расстреливал полковник Гаранин? За что убивал? «За контрреволюционную агитацию» — так назывался один из разделов гаранинских приказов. Что такое «контрреволюционная агитация» на воле в 1937 году, рассказывать никому не надо. Похвалил русский заграничный роман — десять лет «аса». Сказал, что очереди за жидким мылом чересчур велики — пять лет «аса». И по русскому обычаю, по свойству русского характера каждый, получивший пять лет, радуется, что не десять. Десять получит — радуется, что не двадцать пять, а двадцать пять получит — пляшет от радости, что не расстреляли.

В лагере этой лестницы — пять, десять, пятнадцать — нет. Сказать вслух, что работа тяжела, — достаточно для расстрела. За любое, самое невинное замечание в адрес Сталина — расстрел. Промолчать, когда кричат «ура» Сталину, — тоже достаточно для расстрела. Молчание — это агитация, это известно давно. Списки будущих, завтрашних мертвецов составлялись на каждом прииске следователями из доносов, из сообщений своих стукачей, осведомителей и многочисленных добровольцев, оркестрантов известного лагерного оркестра, октета — семь дуют, один стучит — пословицы блатного мира афористичны. А самого «дела» не существовало вовсе. И следствия никакого не велось. К смерти приводили протоколы «тройки» — известного учреждения сталинских лет.

И хотя перфокарты еще не были тогда известны, лагерные статистики пытались облегчить себе труд, выпуская в свет «формуляры» с особыми метками. «Формуляр» с синей полосой по диагонали имели личные дела «троцкистов». Зеленые (или лиловые?) полосы у «рецидивистов» — разумеется, рецидивистов политических. Учет есть учет. Собственной кровью каждого его формуляр не закрасишь.

Еще за что расстреливали? «За оскорбление лагерного конвоя». Это что такое? Тут речь шла о словесном оскорблении, о недостаточно почтительном ответе, любом «разговоре» — в ответ на побои, удары, толчки. Всякий излишне развязный жест заключенного в разговоре с конвоиром трактовался как «нападение на конвой».

«За отказ от работы». Очень много людей погибло, так и не поняв смертельной опасности своего поступка. Бессильные старики, голодные измученные люди не в силах были сделать шаг в сторону от ворот при утреннем разводе на работу. Отказ оформляли актами «Обут, одет по сезону». Бланки таких актов печатались на стеклографе, на богатых приисках даже в типографии заказывали бланки, куда достаточно было вставить только фамилию и «данные»: год рождения, статью, срок... Три отказа — и расстрел. По закону Много людей не могли понять главного лагерного закона — ведь для него и лагеря выдуманы, — что нельзя в лагере отказываться от работы, что отказ трактуется как самое чудовищное преступление, хуже всякого саботажа. Надо хоть из последних сил, но доползти до места работы. Десятник распишется за «единицу», за «трудовую единицу», и производство даст «акцепт». И ты спасен. На сегодняшний день от расстрела. А на работе можешь вовсе не работать, да ты и не можешь работать. Выдержи муку этого дня до конца. На производстве ты сделаешь очень немного, но ты не «отказчик». Расстрелять тебя не могут. «Прав», говорят, у начальства в этом случае нет. Есть ли такое «право», я не знаю, но много раз, много лет я боролся с собой, чтобы не отказаться от работы, стоя в воротах «зоны» на лагерном разводе.

«За кражу металла». Всех, у кого находили «металл», расстреливали. Позднее щадили жизнь, давали только срок дополнительный — пять, десять лет. Множество самородков прошло через мои руки — прииск «Партизан» был очень «самородным», но никакого другого чувства, кроме глубочайшего отвращения, золото во мне не вызывало. Самородки ведь надо уметь видеть, учиться отличать от камня. Опытные рабочие обучали этому важному умению новичков — чтобы не бросали в тачку золото, чтоб не орал смотритель бутары: «Эй, вы, раззявы! Опять самородки на промыску загнали». За самородки платили заключенным премию — по рублю с грамма, начиная с пятидесяти одного грамма. Весов в забое нет. Решить — сорок или шестьдесят граммов найденный тобой самородок, может только смотритель. Дальше бригадира мы ни к кому не обращались. «Забракованных» самородков я находил много, а к оплате был представлен два раза. Один самородок весил шестьдесят граммов, а другой — восемьдесят. Никаких денег я, разумеется, на руки не получил. Получил только карточку «стахановскую» на декаду да по щепотке махорки от десятника и от бригадира. И на том спасибо.

Последняя, самая многочисленная «рубрика», по которой расстреляно множество людей: «За невыполнение нормы». За это лагерное преступление расстреливали целыми бригадами. Была подведена и теоретическая база. По всей стране в это время государственный план «доводили» до станка — на фабриках и заводах. На арестантской Колыме план доводили до забоя, до тачки, до кайла. Государственный план — это закон! Невыполнение государственного плана — контрреволюционное преступление. Не выполнивших норму — на луны!

Третий смертный вихрь, уносивший больше арестантских жизней, чем первые два, вместе взятые, была повальная смертность — от голода, от побоев, от болезней. В этом третьем вихре огромную роль сыграли блатары, уголовники, «друзья народа».

За весь 1937 год на прииске «Партизан» со списочным составом две-три тысячи человек умерли два человека — один вольнонаемный, другой заключенный. Они были похоронены рядом под сопкой. На обеих могилах было нечто вроде обелиска — у вольного повыше, у заключенного пониже. В 1938 году на рытье могил стояла целая бригада. Камень и вечная мерзлота не хотят принимать мертвецов. Надо бурить, взрывать, выбрасывать породу. Рытье могил и битье разведочных шурфов очень похожи по приемам работы, по инструменту, материалу и исполнителям. Целая бригада стояла только на рытье могил, только общих, только братских с безымянными мертвецами. Впрочем, не совсем безымянными. По инструкции перед «захоронением» нарядчик, как представитель лагерной власти, привязывал фанерную бирку с номером личного дела к левой лодыжке голого мертвеца. Закапывали всех голыми — еще бы! Выломанные опять-таки по инструкции золотые зубы вписывались в специальный акт захоронения. Яму с трупами заваливали камнями, но земля не принимала мертвецов, им суждена была нетленность — в вечной мерзлоте Крайнего Севера.

Врачи боялись написать в диагнозах истинную причину смерти. Появились «полиаминозозы», «пеллагра», «дизентерия», «Р. Ф. И.» — почти «Загадка Н. Ф. И.», как у Андроникова. Здесь РФИ — «резкое физическое истощение», шаг к правде. Но такие диагнозы ставили только смелые врачи, не заключенные. Формула «алиментарная дистрофия» произнесена колымскими врачами много позже — уже после ленинградской блокады, во время войны, когда сочли возможным хоть и по латыни, но назвать истинную причину смерти. «Горение истаявшей свечи, все признаки и перечни сухие того, что по-ученому врачи зовут алиментарной дистрофией. И что не латинист и не филолог определяет русским словом «голод». Эти строки Веры Инбер я повторял неоднократно. Вокруг меня давно не было тех людей, которые любили стихи. Но эти строки звучали для каждого колымчанина.

Работяг били все: дневальные, парикмахер, бригадир, воспитатель, надзиратель, конвоир, староста, завхоз, нарядчик, любой. Безнаказанность побоев — как и безнаказанность убийств — развращает, растлевает души людей — всех, кто это делал, видел, знал. Конвой отвечал тогда по мудрой мысли какого-то высшего начальства — за выполнение плана. Поэтому конвоиры побойчей выбивали прикладами план. Другие конвоиры поступали еще хуже — возлагали эту важную обязанность на блатарей, которых всегда вливали в бригады пятьдесят восьмой статьи. Блатары не работали. Они обеспечивали выполнение плана. Ходили с палкой по забою — эта палка называлась «термометром» — и избивали безответных «фраеров». Забивали и до смерти. Бригадиры

из своих же товарищей, всеми способами стараясь доказать начальству, что они, бригады, — с начальством, не с арестантами. Бригады старались забыть, что они политические. Да они и не были никогда политическими. Как, впрочем, и вся пятьдесят восьмая статья тогдашняя. Безнаказанная расправа над миллионами людей потому-то и удалась, что это были невинные люди.

Это были мученики, а не герои.

Ягоды

Фадеев сказал:

— Подожди-ка, я с ним сам поговорю, — подошел ко мне и поставил приклад винтовки около моей головы. Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое место в цепочке людей, спускающихся с горы, — у каждого на плече было бревно, «палка дров», у кого побольше, у кого поменьше; все торопились домой — и конвоиры, и заключенные, — всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день. А я — лежал в снегу.

Фадеев всегда говорил с заключенными на «вы».

— Слушайте, старик, — сказал он, — быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный симулянт. Вы фашист. В час, когда наша родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса.

— Я не фашист, — сказал я, — я больной и голодный человек. Это ты фашист. Ты читаешь в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей невесте, что ты делал на Колыме.

Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых, я не боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным движением — я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру — тем лучше.

— Послушайте, — сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих сапог. — Не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата.

Подошел другой конвойр — Серошاپка.

— Ну-ка, покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой да некрасивый. Завтра я тебя пристрелю собственноручно. Понял?

— Понял, — сказал я, поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну. Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей — они замерли, пока меня били.

На следующее утро Серошاپка вывел нас на работу — в вырубленный еще прошлой зимой лес собирать все, что можно сжечь зимой в железных печках. Лес валили зимой — пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагами-рычагами, пилили и складывали в штабеля.

На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Серошاپка развесил «вешки», связанные из желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками «запретную зону».

Наш бригадир развел на пригорке костер для Серошاپки — костер на работе полагался только конвою, — натаскал дров в запас.

Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндевшая трава скользила в руках и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел невысокий горный шиповник, темно-лиловые замороженные ягоды были аромата необычайного. Еще вкуснее шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сизая... На коротеньких прямых веточках висели ягоды голубицы — яркого синего цвета, сморщенные, как пустой кожаный кошелек, но хранившие в себе темный, иссиня-черный сок неизреченного вкуса.

Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе не похожи на ягоды зрелости, ягоды сочной поры. Вкус их гораздо тоньше.

Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш «перекур» и даже в те минуты, когда Серошاپка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков набе-

рет полную банку, ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным делом.

У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая языком к нёбу каждую ягоду — сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманял меня на секунду

Я не думал о помощи Рыбакову в сборе, да и он не захотел бы такой помощи — хлебом пришлось бы делиться.

Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно, ягоды становились все реже и реже, и незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам «зоны» — вешки повисли над нашей головой.

— Смотри-ка, — сказал я Рыбакову, — вернемся.

А впереди были кочки с ягодами шиповника и голубики, и брусники.. Мы видели эти кочки давно. Дереву, на котором висела вешка, надо было стоять на два метра подалее.

Рыбаков показал на банку, еще не полную, и на спускающееся к горизонту солнце и медленно стал подходить к очарованным ягодам.

Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, размахивая винтовкой, кричал:

— Оставьте на месте, не подходите!

Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два — первый бывает предупредительным.

Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были огромными, и бог весть сколько людей можно уложить в этих горах на тропинках между кочками.

Баночка Рыбакова откатилась далеко, я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может быть, мне дадут хлеба за эти ягоды — я ведь знаю, для кого их собирал Рыбаков.

Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и повел нас домой.

Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся.

— Тебя хотел, — сказал Серошапка, — да ведь не сунулся, сволочь!..

Ма и

Днище деревянной бочки было выбито и заделано решеткой из полосового железа. В бочке сидел пес Казбек. Сотников кормил Казбека сырым мясом и просил всех прохожих тыкать в собаку палкой. Казбек рычал и грыз палку в щепы. Прораб Сотников воспитывал злобу в будущем цепном псе.

Золото всю войну мыли лотками и старательской добычей, ранее запрещенной на приисках. Раньше лотком мог мыть только промывальщик из службы разведки. Суточный план давался до войны в кубометрах грунта, а во время войны — в граммах металла.

Однорукий лотошник ловко нагребал грунт на лоток скребком и, намыв воды, осторожно встряхивал лоток над ручьем, сбывая в ручей размытый в лотке камень. На дне лотка, когда сбежала вода, оставалась золотая крупинка, и, положив лоток на землю, рабочий ногтем поддевал крупинку и переносил ее на клочок бумаги. Бумага складывалась, как аптечный порошок. Целая бригада одноруких саморубов зимой и летом «мыла» золото. И сдавала крупинки металла, зернышки золота в приисковую кассу. За это одноруких кормили.

Следователь Иван Васильевич Ефремов поймал гаинственного убийцу, которого искали больше недели. Неделю назад в избушке геологоразведчиков, километрах в восьми от поселка были зарублены топором четыре взрывника. Украдены были хлеб и махорка, деньги не найдены. Прошла неделя, и в рабочей столовой татарин из плотничьей бригады Русланова выменял вареную рыбу на щепотку махорки. Махорки на прииске не было с начала войны, привозили «аммонал» — зеленый самосад невероятной

крепости, пытались выращивать табак. Махорка была только у вольняшек. Татарин был арестован и во всем признался и даже показал место в лесу, куда он закинул в снег окровавленный топор. Ивану Васильевичу Ефремову выходила большая награда.

Случилось так, что Андреев был соседом по нарам этого татарина — самого обыкновенного голодного парнишки, «фитиля». Арестовали и Андреева. Через две недели его выпустили, за это время было много новостей — Колька Жуков зарубил ненавистного бригадира Королева. Этот бригадир бил Андреева ежедневно на глазах у всей бригады, бил беззлбно, не спеша, и Андреев боялся его.

Андреев ощущал в кармане бушлата обломок пайки белого американского хлеба, оставшийся от обеда. Были тысячи способов продлить наслаждение пищей. Можно было лизать этот хлеб пока он не исчезнет с ладони; можно было отщипывать от него крошки, мельчайшие крошки и сосать каждую крошку, ворочая ее во рту языком. Можно было поджарить на печке, всегда топящейся, подсушить этот хлеб и есть темно-коричневые, обожженные кусочки хлеба — еще не сухари, но и не хлеб. Можно было резать хлеб ножом на гончайшие пластины и только тогда подсушивать их. Можно было заварить хлеб горячей водой, вскипятить его, размешать и превратить в горячий суп, в мучную болтушку. Можно было крошить кусочки в холодную воду и солить их — получалось нечто вроде тюри. Все это надо было успеть сделать за те четверть часа, что оставались у Андреева из обеденного перерыва. Андреев доедал хлеб по-своему. В маленькой консервной банке кипятилась вода, пресная снеговая вода, грязная от попавших в банку мельчайших углей или стланиковой хвои. В белый крутой кипяток Андреев совал свой хлеб и ждал. Хлеб раздувался, как губка, белая губка. Палочкой, щепкой Андреев отрывал горячие кусочки губки и вкладывал их в рот. Размокший хлеб исчезал во рту мгновенно.

Никто не обращал внимания на андреевские затеи. Он был одним из сотен тысяч колымских «фитилей», «доходяг», чей разум давно уже пошатнулся.

Каша была тоже по ленд-лизу — американская овсянка с сахаром. И хлеб был по ленд-лизу из канадской муки с примесью костей и риса. Хлеб выпекали необыкновенно пышный, и ни один раздатчик не рисковал готовить «пайки» с вечера — каждая «двухсотка» теряла за ночь в весе десять—пятнадцать граммов и самый честный хлебо-рез мог оказаться жуликом помимо воли. У белого хлеба почти не было отбросов — человеческий организм выкидывал лишнее лишь раз в несколько дней.

Суп — первое блюдо — тоже было по ленд-лизу — запах свиной тушенки, мясные волокна, похожие на туберкулезные палочки под микроскопом, попадались в обеденных мисках каждому

Была, говорят, еще колбаса, консервированная колбаса, но для Андреева она оставалась легендой, как и сгущенное молоко «Альфа», которое многие помнили еще по детству по посылкам «Ара». Фирма «Альфа» все еще существовала.

По ленд-лизу были и красные кожаные ботинки на толстой клеевой подошве. Эти кожаные ботинки выдавали только начальству — даже не всякий горный мастер мог приобрести импортную обувь. Приисковому начальству шли и «гарнитуры» в коробках — костюмы, пиджаки и рубашки с галстуками.

Говорят, выдавали и шерстяные вещи, собранные среди населения Америки, но до заключенных они не доходили — жены начальства прекрасно разбирались в качестве материала.

Зато до заключенных хорошо доходил инструмент. Инструмент был тоже по ленд-лизу — гнутые американские лопаты с короткими крашеными ручками. Лопаты были «подбористы» — над самой формой лопаты кто-то думал. Лопатами все были довольны. Крашенные черенки от лопат поотбивали и сделали новые, прямые и длинные, каждому по мерке — конец черенка должен был доставать до подбородка.

Кузнецы чуть-чуть развернули носы лопат, подточили их — и вышел славный инструмент.

Топоры американские были очень плохи. Это были не топоры, а топорики, вроде майридовских индейских томагавков, и для серьезной плотничьей работы не годились. На плотников наших топоры по ленд-лизу произвели сильное впечатление — тысячетлетний инструмент, очевидно, отмирал.

Поперечные пилы были тяжелыми, толстыми и неудобными в работе.

Зато великолепен был солидол, белый, как сливочное масло, без запаха. Блатари сделали попытку продавать солидол вместо сливочного масла, но на прииске уже никому было сливочное масло покупать.

«Студебеккеры», полученные по ленд-лизу, носились взад и вперед по кручам Колымы. Это была единственная машина на Дальнем Севере, которую не затрудняли подъемы.

Огромные «Даймонды», полученные тоже по ленд-лизу, тащили девяностотонный груз.

Мы лечились по ленд-лизу — медикаменты были американские и впервые появился чудодейственный на первых порах сульфидин. Лабораторная посуда была подарком Америки. Рентгеновские аппараты, резиновые грелки и пузыри...

О том, что белому американскому хлебу скоро конец, говорили еще в прошлом году после Курской дуги, но Андреев не прислушивался к этим лагерным «парашам». Что будет, то будет. Прошла еще одна зима, а он все еще жив, он, не загадывавший никогда дальше сегодняшнего вечера

— Черняшка будет скоро, черняшка Черный хлеб. Наши к Берлину идут.

— Черный здоровее, врачи говорили.

— Американцы-то дураки, верно.

На будущем этом прииске не было ни одного радиоприемника.

«Инфекция убийства» — как говорил Воронов», — вспомнил Андреев. Убийство заразительно. Если убивают где-либо бригадира — сразу же находятся подражатели, и бригадиры находят людей которые дежурят, пока бригадир спит, охраняют бригадирский сон. Но все напрасно. Одного зарубили, второму разбили голову ломом, третьему перепилили шею двуручной пилой...

Всего месяц назад Андреев сидел у костра — была его очередь греться. Смена кончалась, костер затухал, и четверо очередных арестантов сидели по четырем сторонам, окружая костер, согнувшись и протянув руки к угасающему пламени, к уходящему теплу. Каждый голыми руками почти касался радеющих углей, отмороженными, нечувствительными пальцами Белая мгла наваливалась на плечи, плечи и спину знобило, и тем сильнее было желание прижаться к огню костра, и страшно было разогнуться, взглянуть в сторону, и не было сил встать и уйти на свое место, каждому в свой шурф, где они бурили, бурили... Не было сил встать и уйти от бригадира, который уже подходил к ним.

Андреев лениво соображал, чем будет бить бригадир, если полезет драться. Головей, очевидно, или камнем... скорей всего, головней...

Бригадир был уже шагах в десять от костра. Вдруг из шурфа близ тропы, где шел бригадир, выполз человек с ломом в руках. Человек этот догнал бригадира и замахнулся ломом. Бригадир упал лицом вперед. Человек бросил лом в снег и пошел мимо костра, где сидел Андреев с тремя другими рабочими. Он пошел к большому костру, около которого гредись конвойные.

Андреев не переменял позы во время убийства. Никто из четырех не двинулся с места, не был в силах отойти от костра, от ускользающего гепла. Каждый хотел сидеть до самого конца, до той минуты, когда прогонят. Но гнать было некому — бригадира убили — и Андреев был счастлив, как и его сегодняшние товарищи.

Последним усилием своего бедного голодного мозга, искушенного мозга Андреев понимал, что надо искать какой-то выход. Разделить судьбу одноруких лотошников Андреев не хотел. Он, давший когда-то себе клятву не быть бригадиром не искал спасения в опасных лагерных должностях. Его путь иной — ни воровать, ни бить товарищей, ни доносить на них он не будет. Андреев терпеливо ждал.

Этим утром новый бригадир послал Андреева за аммонитом — желтым порошком, который взрывник рассыпал в бумажные пакеты. На большом аммонитном заводе, где шла перевалка и расфасовка взрывчатки, прибывшей с «материка», работали женщины-заклученные — работа считалась легкой. На своих работниц аммонитный завод ставил свое клеймо — волосы их будто после пергидроля делались золотистыми.

Железная печурка в избушке взрывников гопилась желтыми кусками аммонита.

Андреев показал записку зрителя, расстегнул бушлат и размотал свой дырявый шарф.

— Портянки мне надо, ребята. — сказал он. — мешок.

— Да разве наши мешки, — начал молодой взрывник, но тот, что был постарше, толкнул товарища локтем и гот замолчал.

— Дадим тебе мешок, — сказал взрывник постарше, — вот.

Андреев снял шарф и отдал его взрывнику. Потом разорвал мешок на портянки

и завернул в них ноги — по-крестьянски, ибо на свете существует три способа «увертки» портянок: «по-крестьянски», «по-армейски» и «по-городскому».

Андреев заматывал по-крестьянски, накидывая портянку на ступни сверху. Андреев с трудом втиснул ноги в бурки, встал и, взяв ящик с аммонитом, вышел. Ногам было жарко, горлу — холодно. Андреев знал, что и то, и другое — не надолго. Он сдал аммонит смотрителю и вернулся к костру. Нужно было дожидаться смотрителя.

Смотритель наконец подошел к костру.

— Покурим.— торопливо сказала несколько голосов

— Кто-то покурит, а кто-то и нет.— и смотритель, завернув тяжелую полу полушубка, достал жестяную баночку с махоркой.

Только теперь Андреев развязал тряпочки, на которых держались бурки, и стащил бурки с ног.

— Хороши портяночки.— без зависти сказал кто-то, заматанный в тряпки, показывая на андреевские ноги, обернутые кусками плотной блестящей мешковины.

Андреев устроился поудобней, двинул ногами и закричал. Вспыхнуло желтое пламя. Пропитанные аммонитом портянки горели ярко и медленно. Охваченные огнем брюки и телогрейка тлели. Соседи шарахнулись в стороны. Смотритель повалил Андреева навзничь и засыпал его снегом.

— Как же ты, гад!

— Посылай за лошадью. Да пиши карту о несчастном случае.

— Скоро обед, может, дождешься...

— Нет, не дождусь,— солгал Андреев и закрыл глаза.

В больнице ноги Андреева залили теплым раствором марганцовки и положили без повязки на койку. Одеяло было укреплено на каркасе — получилось нечто вроде палатки. Андреев был надолго обеспечен больницей.

К вечеру в палату вошел врач.

— Слышь вы, господа каторжане,— сказал он,— война кончилась. Неделю назад кончилась. Второй курьер из Управления пришел. А первого курьера, говорят, беглецы убили.

Но Андреев не слушал врача. У него поднималась температура.

Публикация И. П. СИРОТИНСКОЙ

Владимир Адмони

Стихи многих лет



Памяти Тамары Сильман

* * *

Жизнь наклонилась надо мной —
Вот за плечом услышу голос,
Коснется лапою тяжелой.
Я с детства знал ее такой.

И мальчик поднимал глаза
И видел онемевший город,
Почти недвижимый, который,
Казалось, оживить нельзя.

И лошадь сдохшая легла
На площади, у пьедестала,
1928

И все открытыми держала
Глаза из тусклого стекла.

И смерть была накоротке
С людьми. И травы зеленели
Меж плит изломанных панели.
И баржи гнили на реке.

Так строгости и тишине
Душа училась поневоле.
И сердце, приобщившись к боли,
Бесстрашным сделалось во мне.

* * *

Какая странная свобода
Приходит к нам, когда вокруг
Защиты нет от непогоды
И от недружественных рук.

Когда, совсем уже измучась
От дум, стараний и тревог,
1937

Ты вдруг поймешь, что только
случай
Тебя пока что уберег.

И, распознав, что дом твой мечен,
Перечеркнув твой прежний путь,
Все, что осталось человечьим,
К тебе, теснясь, нахлынет в грудь.

* * *

Нет ничего тише,
Чем наши тайные души.

Если ты их услышишь,
Ты их покой нарушишь.
1938

Если ты им ответишь,
Ты их тишину обидишь.

А если ты их заметишь,
Ты все-таки их не увидишь.

* * *

Не жизнь прошла, а мы ее
прошли.
Дорогами нелегкими земли —
Все ближе, ближе к ночи
одиночеств.

Не книга кончилась, а мы ее
прочли:
Большую книгу неба и земли.
И рядом то, что виделось вдали.
И сделалось бескрайное короче.

1981

Виктор Некрасов

Маленькая
печальная
повесть



1

— Нет, ребята, Канада, конечно, не ахти что, но все же...

Ашот не закончил фразы, просто сделал знак рукой, означавший, что Канада как никак капиталистическая страна, в которой кроме сверхприбылей и безработных есть круглосуточные продуктовые магазины, свободная любовь, демократические выборы, ну и, что ни говори, Клондайк — нельзя о нем забывать, — река Святого Лаврентия и трапперы авось еще сохранились.

Его поняли, но не согласились. Предпочтение отдавалось Европе и, конечно, Парижу.

— Ну что вы со своим Парижем! Подавай им Париж. Париж это завершение. А Канада — разминка. Проба сил. Проверка на прочность. С такой Канады и надо начинать.

Было уже три часа ночи, вещи не собраны, а самолет в восемь утра, то есть в шесть надо уже быть в театре. И не очень пьяным.

— Отставить, Саша, сухой чай — ерунда, попробуй мою травку тибетскую или бурят-монгольскую, черт его знает, отбивает начисто.

Сашка пососал травку.

— А ну дыхни.

— Сказка. Чистый ландыш...

Заговорили о Тибете. Роман когда-то был с гастролями в тех краях, откуда ее, травку, и знаменитое мумие привез. У бывших лам достал.

Пить начали сразу после спектакля, он кончился рано, до одиннадцати. Ашот заранее запасся водкой, пивом, мать приготовила винегрет, где-то достали экспортные сардинки. Пили у Романа — с женой он разошелся, жил холостяком.

Ашот был пьянее остальных, потому и болтливее. Впрочем, пьяным никто не был, просто в приподнятом настроении — Сашку впервые включили в заграничную поездку.

— Хватит о Тибете, Бог с ней, с крышей мира, — Ашот перебил склонного к экзотическим подробностям Романа и разлил остатки водки. — Посопок! Потом опять пососешь. Так вот, главное, не заводись. Не увлекайся вином и женщинами. Не потому, что шпионки...

— Ох, Аркадий, не говори красиво. Сами все знаем, — Сашка поднял свой стакан. — Пошли. За дружбу! Народов и развивающихся стран!

— Бхай-бхай!

Выпили. Доели винегрет. Сашка опять принялся разминать свои икры. Было жарко, и все сидели в трусах.

— Да что ты все их массируешь, — не утерпел Ашот и тут же кольнул: — Длинные не станут.

— У Нижинского тоже были короткие ноги, — парировал за Сашку Роман, он знал все обо всех. — Кстати, знаете, как он объяснял, почему у него такой феноменальный прыжок? Очень просто, говорит, подпрыгиваю и на минуту задерживаюсь в воздухе, вот и все...

— Ладно, — перебил Сашка, — надо двигать. Натягиваем портки.

Стали одеваться.

— Вам сколько валюты дали? — спросил Роман.

— Нисколько. На месте, сказали, дадут. Гроши, о чем говорить.

— Забери сардины, пригодятся.

— И заберу,— Сашка сунул две плоскенькие нераскупоренные коробочки в карман.— Сволочь! — Это относилось уже к власти.

Его поддержали, каждый добавил свой эпитет в адрес любимой.

— А Анриетт я все же позвоню, хочешь ты или не хочешь,— сказал Ашот.— Лишние башли никогда не помешают. На каком аэродроме у вас посадка?

— На Орли, сказали...

— Вот и разыщет тебя на Орли.

— Первый козырь для Кривулина.

— А ты держись независимо. Это главное, они моментально теряются. Думают, что за спиной кто-то есть.

Анриетт стажировала в Ленинградском университете. Сейчас была в отпуску. Ашот собирался на ней жениться. Как ни странно, просто по любви, без всякой задней мысли.

— Тебя поймешь,— ворчал Сашка.— То не зарывайся, то иностранку советскому гражданину подсовываешь.

— Все равно позвоню.

— Ну и мудило.

На этом дискуссия закончилась. Вышли на улицу, было уже совсем светло. Начались белые ночи. Зори по всем астрономическим законам спешили сменить друг друга, дав ночи не более часа. По набережным лепились парочки. На Литейном мосту Сашка вдруг остановился и, схватившись за перила, продекламировал ужасно громко:

— Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, гордый вид...

— Не гордый, а стройный,— поправил Ромка.— Надо все же...

— Надо, надо, знаю... Кстати, вас, гадов, тоже люблю! — Сашка обхватил обоих за плечи и крепко прижал к себе.— Ну, что поделаешь, люблю, и все...

— А мы? — Ашот глянул на Ромку, высвобождаясь из объятий.

— Просто завидуем, элементарно завидуем...

— Теперь принято говорить — «по-хорошему» завидуете. Ладно, так и быть, привезу по паре джинсов.

— Глоток свободы привези. И «Лолиту» не забудь.

Ашот бредил Набоковым, хотя, кроме «Дара», ничего не читал. За одну ночь прочел все четыреста страниц.

Сашка чмокнул обоих в шершавые подбородки.

— Любовью брата, любовью брата! — запел он.

— В баню!

— Бездушные псевдоинтеллектуалы. Привезу тебе «Лолиту», не волнуйся. Рискуя всем.

Дома выяснилось, что Сашкина мама все уложила. Выклянула у Коровиных — он часто бывает за границей — роскошный чемодан на молниях, чтоб Сашка не срамился, и аккуратно все уложила. Пиджак тоже достала заграничный, с золотыми пуговицами. Сашка померил, на его балетно-спортивной фигуре все хорошо сидело.

— Ну, а это зачем? — он выудил из чемодана свитер.— Лето же...

— Лето летом, а Канада Канадой,— мама перехватила свитер и опять сунула в чемодан.— Та же Сибирь...

— Летом в Сибири жарче, чем в Москве, дорогая Вера Павловна,— пояснил Роман.— Климат-то континентальный.

Тем не менее свитер остался в чемодане. Сашка махнул рукой, была уже половина шестого.

Мама сказала:

— Ну, что ж, сели перед дорогой?

Присели кто на чем, Сашка — на чемодан.

— Ну?... — он обнял и поцеловал маму. Мама его перекрестила.

— В Канаде, говорят, много украинцев,— ни с того ни с сего сказала она, очевидно, чтобы скрыть волнение,— больше, чем в Киеве...

— Возможно... — Сашка подошел к письменному столу, вынул из-под толстого стекла фотографию, где они втроем, и сунул в боковой карман пиджака.

— Взгляну где-нибудь в Виннипеге и разрыдаюсь... Пошли.

В театре уже волновались.

— Небось пьянствовали всю ночь, Куницын? — подозрительно приглядываясь, сказал парторг Зуев. — Знаю я вас.

— Упаси Бог, за кого вы нас считаете? Всю ночь зубрил про Канаду. Кто премьер-министр, сколько жителей, сколько безработных...

— Ох, не острил бы уж. — Зуев был помрежем и ненавидел всех артистов. — В кабинет директора бегом, все уже собрались.

— Бегом так бегом, — Сашка повернулся к ребятам. — Ну смотрите без меня тут... Подставляйте уста.

Они ткнулись носами, похлопали друг друга по спинам.

— Привет Трюдо, — сказал Ромка.

— И Владимир Владимировичу, — подразумевался Набоков.

— Ладно. Бывайте! — Сашка сделал пируэт и весело побежал по коридору. В конце его остановился и поднял руку, а-ля Медный всадник:

— Невы державное теченье, береговой ее гранит... Так джинсов, значит, не надо?

— Иди ты...

— Иду!

И скрылся за дверью.

2

Конечно же, их прозвали Тремя мушкетерами. Хотя по внешности подходил только Сашка Куницын, стройный, изящный балерун. Ашот был мелковат, но пластичен и обладал южным армянско-гасконским темпераментом. Роман тоже не удался ростом, к тому же был лопух, зато лукав, как Арамис. Портоса среди них не было. С Атосом тоже неясно — не хватало загадочности.

По очереди каждый из них отращивал бородку и усики, но Сашке, танцевавшему юных красавцев, велели сбрить, Ашоту — с буйной растительностью, — надоело пробривать ежедневно усики, а у Романа просто-напросто мушкетерская эта деталь оказалась ярко-рыжей.

Кроме неразлучности было еще нечто мушкетерское в их дружбе — однажды они, правда, с синяками и ссадинами, выиграли баталию с лиговским хулиганьем, что окончательно закрепило их общую кличку.

Кто-то прозвал их Кукрыниксами — Ку-приянов, Кры-лов, Ник. С-околов у тех художников, а тут — Куницын, Крымов, Никогосян, тоже «Ку», «Кры», «Ник», — но это как-то не приводилось.

Все трое были молоды — до тридцати, Сашка моложе всех — двадцать три, возраст прекрасный, когда дружба еще ценится и слову верят.

Все трое были лицедеями. Сашка преуспевал в Кировском, Роман на «Ленфильме», киноактером, Ашот же то тут, то там, но больше на эстраде. В шутку его называли «Синтетическим мальчиком» — пел, играл на гитаре, ловко подражал Марселю Марсо. В свободное время они всегда были вместе.

Как ни странно, но пили мало. То есть пили, конечно, без этого у нас нельзя, но на фоне повального, нарушавшего все статистические нормы злоупотребления в стране алкоголем выглядели они скорее трезвенниками. Роман, правда, иногда загуливал дня на три, не больше, и называл это «творческой разрядкой».

— Нельзя же все о высоком и вечном. Надо и о земном иногда подумать. Для контраста, так сказать.

С ним не спорили, его любили и прощали даже существование жены, красивой, но глупой. Впрочем, он с ней вскоре разошелся, и это еще больше сплотило мушкетерский коллектив.

Читали книжки. Разные. Вкусы не всегда совпадали. Ашот любил длинные романы, вроде Фолкнера, «Форсайтов». «Будденброков». Сашка больше фантастику — Стругацких, Лема, кумиром Романа был Кнут Гамсун. Кроме того, делал вид, что влюблен в Пруста. Объединял же их Хемингуэй — он был тогда в моде. Ремарка начали забывать.

Но главное, что их сближало, было совсем другое. Нет, они не вдавались в дебри философии, великих там учений (одно время, недолго правда, увлекались Фрейдом, потом йогой), советскую систему поносили не больше других (в этом вопросе некая беспечность и веселое молодости заслоняли собой большинство пакостей, не терпимых

людьми постарше), и все же проклятый вопрос — как противостоять давящим на тебя со всех сторон догмам, тупости, однолинейности — требовал какого-то ответа. Борцами и строителями нового они тоже не были, перестраивать разваливающеся здание не собирались, но пытались найти какую-то лазейку в руинах, тропинку в засасывающем болоте все же надо было. И добиться успеха. Об этом вслух не говорилось, не принято было, но отсутствием честолюбия никто из них троих не страдал.

Короче говоря, объединял их и сблизил некий поиск своего пути. Пути, на котором, добившись чего-то, желательно было оставаться на высоте. Язвительный и любивший точные, краткие определения Ашот сводил все к элементарному: самое главное — не замарать собственные трусы! Лозунг был подхвачен, и, хотя злые языки, переставив ударение, называли это «дипломатией трусов», ребята нисколько не обижались, но от общественной работы отлынивали и на собрания, где кого-нибудь прорабатывали, не ходили.

Они были разными и в то же время очень похожими друг на друга. Каждый чем-то выделялся. Золотоволосый кудрявый Сашка покорял всех девочек с четырнадцати лет — не только вихрями своего танца, белозубой улыбкой, томным взглядом и вдруг вспыхивавшими глазами, но и всей своей ладностью, изяществом, умением быть обворожительным. Недруги считали его самонадеянным, самовлюбленным павлином — но где вы видали красивого двадцатилетнего юнца с развитым чувством самокритики? — он действительно, развалясь в трусах в кресле, принимал грациозные позы и поглаживал свои ноги, очень обижаясь, когда ему говорили, что они могли бы быть и подлиннее. Ему иной раз становилось скучно, когда разговор о ком-то затягивался дольше, чем человек этот, на его взгляд, заслуживал, о себе же мог слушать, отнюдь не скучая. Но, если надо, был тут как тут. Когда Роман как-то свалился в тяжелейшем гриппе, Сашка обслуживал его и варил ему маняные кашки, как родная мать. Короче, он был одним из тех, о ком принято говорить «отдал бы последнюю рубаху», хотя рубахи любил и носил только от Сен-Лорена или Кардена.

Ашот красотой и дивным сложением не отличался — он был невысок, длиннорук, излишне широкоплеч, — но, когда начинал с увлечением что-то рассказывать, попрыгивая своей трубочкой, или изображать, врожденная артистичность, пластика делали его вдруг красивым. Речь его, а поговорить он любил, состояла из ловкого сочетания слов и жестов, и, глядя на него, слушая его, не хотелось перебивать, как не перебивают арию в хорошем исполнении. Но он умел, кроме того, и слушать, что обыкновенно не свойственно златоустам. К тому же никто не мог сравниться с ним как с выдумщиком, заводилой всех капустников, автором колких эпиграмм, забавных, безжалостных карикатур, оживлявших обычную унылость стенгазет. И, наконец, он и никто другой был родоначальником всех далеко идущих и далеко не всегда выполнимых планов. Рубашку тоже мог отдать, хотя его советского производства ковбойки ни в какое сравнение не шли с Сашкиными.

Роман греческим эфебом тоже не был. Полурусских, полуеврейских кровей, он был горбонос, лопоух, ростом даже чуть пониже Ашота. Язвитель и остер на язык. Нет, он не был хохмачом, но остроты его, роняемые как бы невзначай, без нажима, могли сразить наповал. Чью-нибудь затянувшуюся тираду он мог пресечь двумя-тремя ловко вставленными словами. И его поэтому малость побаивались. На экране он был смешон, часто и трагичен. В нем было нечто чаплинское, мирно сосуществовавшее с Бестером Китонем и всеми забытым Максом Линдером. Мечтой же его был, как ни странно, не Гамлет, не Сирано, не так же всеми забытый стринберговский Эрик XIV, которого когда-то блестяще играл Михаил Чехов, а полубезумный Минута из «Мистерий» Гамсуна. Но кому, даже Висконти или Феллини, придет в голову экранизировать этот роман? «А я этой ролью вошел бы в энциклопедию, ручаюсь».

Насчет рубахи не совсем ясно, так как ходил всегда в свитерах, а что было под ними, неизвестно. Но свитеров было много, потому и расставаться не жалко.

Вот так они и жили. С утра до вечера репетиции, спектакли, съемки, концерты, а потом встречались и облегчали души, о чем-то споря или слушая битлов, которых боготворили. Вот это да! Бездвестные ливерпульские ребята, а покорили весь мир. Даже английскую королеву, которая вручила им по Ордену Подвязки или чего-то там другого. Молодцы! Настоящее искусство.

В живописи малость терялись. Дальше Пикассо не шли, да и он иногда отпугивал. Одно время увлекались Сальвадором Дали. Сашка даже повесил у себя где-то раздобытую репродукцию знаменитого слона, шагающего на длинных тонких ножках.

Были в их жизни и женщины, но их держали в стороне, в коллектив допускались только в исключительных случаях — праздники, дни рождения. У Ашота была его французская Анриетт, до этого жена, с которой по не ведомым никому причинам разошелся уже давно. Роман, слава Богу, недавно. Сашка был убежденным холостяком. И, если сходился с девочками, то не надолго. Постоянной у него не было.

Мамы друзей любили. Сашкина, Вера Павловна, работала в библиотеке Дома Красной Армии, Ашотова, Рануш Акоповна, — бухгалтером на радио. Доходов особых это не приносило, жили скромно, в основном, на заработок детей. Дети, слава Богу, не пили (по советским понятиям) и жмотами не были. Нет денег у Ашота с мамой, Сашка тут же предлагал, а нет, у кого-то доставал и приносил — «Ладно, ладно, Рануш Акоповна, о процентах потом поговорим». Ромка, тот был мастер на все руки и, когда в Сашкиной кухне чуть не рухнул потолок (верхние жители уехали и забыли закрутить края), в три дня все отремонтировал — оштукатурил и покрасил. Ашот обслуживал все три дома по части электропроводки, радио, телевизоров. Словом, «один за всех, все за одного», главный девиз дореволюционных скаутов и наших советских мушкетеров.

К работе своей все трое относились серьезно. Сашка репетировал принца в «Спящей красавице», его хвалили, даже, может быть, слишком, так считал, во всяком случае, Ашот. Роману поручили если не главную, то вторую после главной роль этакого неврастеничного отца, полуфилософа, полуалкоголика. Ашот готовил им самим придуманную вокально-музыкально-поэтическую композицию из стихов Гарсии Лорки вперемежку с мотивами испанской войны.

Однако работа работой, а надо же о ней и поговорить. И вообще.

На Западе все значительно проще. Жилищной проблемы фактически не существует. Есть, на худой конец, комнатенка в мансарде, где можно и дам принимать, и просто собираться. Для второго и кафе годятся, а их миллион. В России дело похуже.

Происходит обычно так.

— Ты когда сегодня освобождаешься?

— В восемь, полдевятого.

— А ты?

— Часам к одиннадцати уже разгримируюсь.

— Ясно. Тогда в подвенадцатого у меня. Можете ничего не приносить. Что надо — есть.

Под «что надо» подразумевается все-таки пол-литра. Иногда пара бутылочек вина, но реже.

Лучше всего сидеть у Романа, он живет один. У тех двоих есть мамы. Обе довольно милые старушки, называются они только так, хотя обеим далеко еще до пенсионного возраста, обе работают. Но одна любит всякие выдочки, тарелочки и всегда волнуется, что нет глаженной скатерти, другая скатертям особого значения не придает, зато не прочь вставить фразу-другую в общий спор: «А в наше время считалось дурным тоном поминутно перебивать друг друга. Надо уметь слушать. В этом большое искусство». — «Вот и следуй этому искусству», — поучает не слишком любезный сынок, и мать, обидевшись, умолкает. Но не надолго, она тоже любит о высоком: «Ну как можно сравнивать Мура, Миро или как их там с нашим Антокольским, сколько в его «Спинозе» грусти, сколько мысли». С тех пор ашотовская комнатенка стала называться «У Спинозы». Сашкина прозвана была «Максимом» — в честь парижского ресторана, по мнению всех, самого шикарного в мире. Ромкино убежище на седьмом этаже, с окном, выходящим в глубокий двор-колодец, иные называли «берлогой», но ребята предпочитали называть ее «башней», как у Вячеслава Иванова, где собирались когда-то слявки русской литературы.

Итак, в подвенадцатого, допустим, у Романа, в его «башне». Посередине круглый черный стол. Ни скатерти, ни даже газетки, пролитое тут же вытирается, Ромка человек аккуратный. Вокруг стола — венский стул, табуретка и старинное, с высокой спинкой и рваной кожей, но с львиными мордами на подлокотниках кресло. В шутку сначала разыгрывается, кому на нем сидеть, всем хочется в кресле, но потом в пылу спора забывается и усаживаются даже на полу.

На столе — хрустальный графин, благодаря которому Роман слывет эстетом, в нем мило звенят камешки, когда разливают водку. Другая посуда — вульгарные граненые стаканы, в простонародье «гранчаки» — в этом тоже усматривается эстетство. Закуска — в основном, бычки в томате. Иногда холодец (когда он появляется в гастрономе).

Спор идет вокруг процесса Синяевского и Даниэля. Он как-то отодвинул все на задний план. Все трое им, конечно, сочувствуют, даже гордятся — не перевелась еще, значит, русская интеллигенция,— но Ашот все же обвиняет Синяевского в двуличии:

— Если ты Абрам Терц, а я за Абрама Терца, то не будь Синяевским, который пишет какие-то там статейки в советской энциклопедии. Или — или...

— А жить на что?

— На книжку о Пикассо Написал же...

— Написал, а дальше? Кстат, там тоже полно советских словечек. Даже целые фразы.

— Тогда не будь Терцем.

— А он хочет им быть. И стал. Честь и слава ему за это!

— Нет, не за это. За то, что не отрекается.

— Постой, постой, не об этом ведь речь. Вопрос в том, можно ли быть одновременно...

— Можно!

— Нельзя!

— А я говорю — можно! И докажу тебе...

— Тише,— вступает третий,— давайте разберемся. Без темперамента, спокойненько.

Делается попытка разобраться без темперамента, спокойненько. Но длится это недолго. Проводя параллели и обращаясь к прошлому, спотыкаются на Бухарине.

— А вы знаете, что до ареста он был в Париже? И знал же, что его арестуют, и все же вернулся. Что это значит?

Это завелся Ашот, главный полемист. Сашка пренебрежительно машет рукой.

— Политика, политика... Я ею не интересуюсь. Провались она в тартарары...

— Такой уж век, милостивый государь. Хочешь не хочешь, замараешься. Твой любимый Пикассо «Гернику» написал. И «Голубя мира». Члены партии, мать его за ногу. И Матисс тоже...

— А я вот нет! И ты тоже. И ты... Почему?

— Мы живем в другом государстве, мы все знаем.

— А они читают все газеты, могли б и побольше нашего знать...

— Ладно. Умолкните. Послушайте лучше, что сказал по поводу всего этого знавший в этом толк, небезызвестный Оскар Уайльд.

— Чего этого?

— Искусства.

— Я знаю, что сказал по поводу искусства Ленин. Самое массовое из искусств..

— Это кино. Поэтому я в нем и работаю.— Исчезнув на минутку на кухню, Роман возвращается с четвертинкой — Выпьем-ка за Оскара Уайльда.

— А я предлагаю за Дориана Грея,— Сашка плеснул в стаканы.— Жутко роскошный парень. Завидую.

— А ты элементарный, советский, зажатый в тиски развратник. Поэтому и завидуешь. Тихий, потенциальный развратник.

— Мудило.. И в отличие от меня не потенциальное.

— Сволочь ты после этого. Я ему свою опохмельную чекушку не пожалел...

— Все! — вскакивает Ашот,— Слово предоставляется мне. Поговорим об элементарном экзистенцо-эгоцентризме.

И начинается новый заход.

Бестолковость разговора, перескакивание с темы на тему, желание состричь, винные пары — все это ничуть не мешает им вполне серьезно относиться и к поведению обоих подсудимых — в основном, гордость — за них, и к тому, что самые великие художники мира так легко купились красивыми словами... Для них это не пустые понятия — Честь, Долг, Совесть, Достоинство...

Как-то они весь вечер провели, усталые после спектаклей и концертов, разбираясь в том, как в нынешнем русском языке обычные понятия приобрели прямо противоположное значение. Честь и совесть, оказывается, не что иное, как олицетворение партии. Труд — только благородный, хотя все знают что это сплошное отлынивание и воровство. Слово «клевета» воспринимается только иронически — «Слушал вчера по «Голосу». Клеветают, что мы опять хлеб в Канаде покупаем. А про водку в народе иначе, как «Колос Америки», не говорят». А энтузиазм? Мальчик спросил у отца, что это такое. Тот объяснил. «Почему же тогда говорят — все с энтузиазмом проголосовали? Я думал,

что это значит «так надо, велели». И все такие скучные...» А общественность? Что под этим подразумевается? Монгольская общественность протестует, советская возмущена... Где она, как она выглядит? Этого понятия просто нет, исчезло, растворилось.

Но осточертевшая политика — всюду, паскуда, сует свой вонючий нос, вызывая, может быть, самые ожесточенные споры — все же для них была не главным. Главное — разобраться, что и как ты делаешь в искусстве твоём родном, которому, что ни говори, собираешься посвятить всю жизнь. В двадцать пять лет влюбленность не только в кого-то, но и во что-то необходима.

Все трое считали друг друга талантливыми. Даже очень. И со свойственной молодости безапелляционностью и бесцеремонностью брались решать не всегда даже разрешимые проблемы.

С особой рьяностью предавался этому занятию Ашот. Роман часто отрывался от компании, уезжая на несколько дней, а то, бывало, и на месяц со своей киногруппой в экспедицию. Ашот с Сашкой оставались вдвоем, и тут-то начиналось то, что Сашка называл «педагогикой». Вечно должен кого-то учить, Песталоцци советский. Дело в том, что Ашот считал Сашку не просто талантливым, с прекрасными данными танцором, но и актером. Хорошим драматическим актером.

— Пойми, мудило, ты можешь делать куда больше, чем делаешь, — он вынимал свою трубку, закуривал и начинал поучения: — Батманы и все эти па-де-де и падекатры прекрасно у тебя получаются, может быть, даже лучше, чем у других, но ты молод и глуп. Главное, глуп. Не понимаешь, что балет — это не только ваша фуйня-мушня и балерия за сиськи хватать. Балет — это театр. В первую очередь театр.

— Аркадий, не говори красиво. — Эта тургеневская фраза пускалась в ход, когда Ашот излишне увлеклся.

— Не перебивай... Балет — это театр. Иными словами. образ, перевоплощение, влезание вовнутрь. Ну хорошо, оторвал принца в «Спящей красавице», девчонки будут по тебе вздыхать, ах-ах, душенька, а кто-то умирать от зависти, но, прости, что там играть, в твоём принце? Нет, тебе нужна роль. Настоящая роль. И надо ее искать. И найти. И ахнуть на весь мир. Как Нижинский Петрушкой.

— Ашотик, миленький, для Петрушки нужен Дягилев. А где его взять?

— Я твой Дягилев. И все! И слушаться меня надо.

Из всех своих талантов — а Ашот и впрямь был талантлив: у него и голос, что-то вроде баритона, очень приятного, и слух, и он пластичен, прекрасно копирует людей, неплохо рисует, пописывает, — но из всех этих талантов сам он выделяет режиссерский. Сценарии всех своих концертных программ пишет сам, сам же себя и режиссирует. Мечта его — создать собственную студию, собрать молодых ребят горящих, ищущих, и показать класс. Лавры Ефремова и «Современника» не давали ему покоя. Все на голом энтузиазме, в жэковских клубах, по ночам.

— Что-нибудь вроде «Вестсайдской истории», понимаешь? Ты видал у Юденича? Блеск! Ничуть не хуже фильма.

Сашка видал только фильм — на закрытом просмотре — и, конечно же, обалдел.

— Охмурием того же Володина, Рошина, Шпаликова или кого-нибудь из молодых, музыку закажем Литке, и напишут они нам балет, современный балет. А что? Начиная же Моисеев с «Футболиста». Ну, а мы — с «Аквалангиста». Подводное царство, Садко, русалки, аквалангисты в масках, с этими ружьями, атомные подлодки... Мир ахнет!

Так, не замечая времени (однажды это началось в десять вечера и закончилось, когда уже работало метро), могли они всю ночь вышагивать по бесконечным набережным по гранитным их плитам, бродить вокруг Медного всадника, туда и сюда по Марсову полю. В любую погоду в снег, гололедицу Скользили, падали, дохотали. И строили планы, строили, строили...

Может быть, это лучшие дни в жизни, ночные эти шатания. Все впереди. И планы, планы. Один другого заманчивее.

— Ну что, пошли попланируем?

— Пошли.

Господи, через много лет дни и ночи эти будут вспоминаться с легким, возможно, налетом юмора, но с нежностью и умилением, куда более безоблачными, чем воспоминания о первой ночи любви. Никаких стычек, ссор, обид, а если и были, то тут же забылись, немисливо легко, никакой угрюмости. И не надоедает, и ноги не устают от Лигейного до Дворцового, через мост, к Бирже — ну, дойдем до сфинксов и назад, — и

оказывались почему-то у памятника «Стерегающему». И забывались осточертевшие Брежнев и Косыгины, борьба за мир, прогрессивные круги и прочая мура.

С Володиным и Роциным ничего, конечно, не получилось, и Ашот решил сам взяться за дело. Как-то занесло их в повторный кинотеатр на «Шинель» с Роланом Быковым. Когда-то ее видели, но позабыли, а сейчас она вдруг вдохновила.

— Все! Ты Акакий Акакиевич! — выпалил Ашот. — Ты и только ты! Я пишу «Шинель»!

— Побойся Бога, — смеялся Сашка. — Акакий Акакиевич третий этаж с трудом одолевает...

— Если надо, я и старосветских помещиков заставлю скакать. Была бы музыка... И Ашот окунулся в Гоголя.

Сашке на какое-то время сперло в зобу дыхание, но витал он в облаках более низкого слоя. «Я не стратег, я тактик», — говорил он и, с трудом после ночной прогулки продрав утром глаза, бежал на репетицию.

И тем не менее он втягивался все же в эту придуманную Ашотом увлекательную игру. А в игре этой рождалось — для Ашота, во всяком случае, это было яснее ясного — новое слово, то самое, ничуть не уступающее русскому балету начала века в Париже. Никак не меньше. И, если б желание могло сдвинуть горы, Арарат возвышался бы над Адмиралтейской иглой.

3

В самый разгар работы над «Шинелью» свалилась на Сашку заграничная поездка.

— Ладно, катись покорять мир, — заявил Ашот, — а я к вашему приезду все закончу.

И Сашка улетел.

Гастроли, судя по доходившим сведениям — даже «Голос Америки» об этом сообщал, — проходили хорошо. Их продлили еще на две недели, поговаривают о Штатах.

Вернувшийся раньше остальных — то ли жена заболела, то ли мать умерла — заявил Пупков сообщил, что Куницын прошел отлично — вызовы, цветы, девчонки. И не пьет.

Потом наступила пауза. Никто из Канады не звонил, «Голос» переключился на более злободневное.

— Глубинку обслуживают, — заявлял Роман. — В Клондайк поехали к золотоискателям, «искусство — в массы».

И вдруг...

В час ночи, когда уже все легли спать, явился к Ашоту Роман. Встрепанный какой-то. Рануш Акоповна, мать Ашота, даже испугалась.

— Ты чего? — поразился Ашот. — Другого времени не мог найти?

— У тебя приемник есть?

— Не работает, батареи сели. А что?

— А то, что Сашка наш драпанул.

— То есть как драпанул?

— А вот так, драпанул, и все. Убежище попросил.

Ашот обомлел.

— Врешь! Не может быть.

— Мне лабух их, Гошка, флейтист, сказал. Он слышал.

— По «Голосу»?

— А хрен его знает, то ли «Голос», то ли Би-Би-Си.

— Врет твой лабух, напутал что-то...

— Может, и врет, за что купил, за то и продаю.

Долго молчали. Ашот стал искать трубку, первый признак волнения. Мать из соседней комнаты спросила:

— Что, какие-нибудь неприятности?

— Да нет, так, чепуха, выпил лишнего... — и, положив палец на губы: — Матери пока ни звука.

Что и говорить, оба были ошарашены. Роман домой не пошел, остался ночевать. Устроились вдвоем на продавленном диване, никак не могли заснуть.

— Не верю, ну вот не верю, — громким шепотом говорил Ашот. — Ну, честолюбив,

ну, тщеславен, упиался своим успехом, глаза и зубы разгорелись, кто-нибудь там написал, что он второй Нуреев, но он же не Нуреев, ему не только слава нужна...

— Нужна, всем им нужна.

— Без нас не нужна. Поверь мне. Я знаю Сашку как облупленного.

— Но ты к славе относишься по-другому. Не презираешь, отнюдь нет, но и цену ей знаешь. Она ослепляет, но ты у нас соколиный глаз.

— Пойми, Ромка, он же ленинградец, питерец, он не может без Адмиралтейской иглы и дома на Мойке, без Черной речки, без нас с тобой, без мамы. Не может!

— А вот и смог. Ты же сможешь, когда попрешься в загс со своей Ангуанеттой.

— С Анриеттой. Но это совсем другое. Я бы и здесь с ней остался, поверь мне, но она ни в какую. Пробовал уже. Ни в какую...

— В чем же разница? В предмете любви? Ты — в свою парижанку, а он в успех... Успех, успех, Ашотик, с ним не так легко бороться. Для этого другие мускулы нужны. Не икроножные.

— О Господи...— Ашот стал усердно выбивать трубку, опять закурил.— Как же жить будем?

Так и не заснули они в эту ночь. Ни свет ни заря помчались в Кировский, пронюхать. Театр был на гастролях — часть в Канаде, часть в Киеве,— и слонявшиеся по коридору одиночки, к которым подкатились, не пробалтываясь, озабочены были собственными материальными трудностями. Гошку-флейтиста обнаружить не удалось, другие лабухи, в основном, стреляли на пиво.

На третий или четвертый день Ромка дознался у секретарши Эльвиры, которая была к нему равнодушна, что слух подтвердился, продление гастролей в Канаде отменено и весь состав в начале будущего месяца вернется домой.

— Ну и отколос наш Сашка,— не очень осуждая, вздыхала рыжая Эльвира, поглядывая на Ромку.— Кто б мог подумать? Вы бы решились на такое? И у него ведь мама осталась...

Как-то все вдруг оборвалось, померкло. Ходили сумрачные, пытались узнать у владельцев «Спидол», кто что слышал. Но глушка остервенела, никто ничего не мог поймать. Кто-то приехавший из Комарова говорил, что чего-то там уловил, но толком понять ничего нельзя было. То ли через забор какой-то перепрыгнул, то ли из ресторана смылся, оставив чемоданы в номере. Мура какая-то.

Никак не могли примириться — ни Роман, ни Ашот,— что все от них было скрыто. Не мог же он просто так, глотнув тамошнего гнилого воздуха, взять да и решиться. Очевидно, готовился, заранее все продумал. И даже спьяну — ни полсловом.

— А последний вечер, все эти «любовью брата, любовью брата», что это? Хреновина какая-то,— Ашот кипятился, без конца прикуривал трубку, никак не мог понять, как открытый, душа нараспашку, никогда никакой задней мысли, весь наружу Сашка мог тайно к чему-то подготовиться.— Ну вот не может, не умеет, не получилось бы. Где-то, краешком каким-то, но проболтался бы... Ни хрена не пойму. А мама? Да она не переживет! А ведь любит же, гад, ее. Мне бы таким внимательным быть, заботливым... И эти слезинки в глазу, когда прощался. Ведь на всю жизнь! И с работы же прогонят Веру Павловну, как пить дать...

Роман эмоции свои скрывал.

— Будем реалистами. Мама там или не мама, но Сашка, ты же знаешь — «желаю славы я!» Желает. И будет она у него. Увидишь. Затмит Рудольфа, тому уже под сорок. К Сашке подкатились, не сомневаясь, он там прошел, это же факт, наговорил сорок бочек... Буду посылки, шмотки посылать, маму вызволю в конце концов, пройдет время, Брежнев закрутится, а новый... В общем, купила нашего Сашку. Жаль, конечно, но купили Сашку.— И с грустью: — И останусь я совсем один. Ты со своей парижанкой тоже ведь укаатишь.

Ашот мычал нечто невнятное. Анриетт вот-вот должна была приехать.

В начале июля возвратились «канадцы». Растерянные, подавленные. На таможене продержали часа три, не меньше. оставили только по одной паре джинсов (везли по пять), рылись во всех сумочках, отобрали даже футбольные и хоккейные журналы.

Сашка, как выяснилось — говорили об этом зло, с трудно скрываемой завистью,— действительно драпанул из ресторана. За час до отлета, до автобуса. Просто встал, не допив кофе, я сейчас, мол, все решили, что то ли в уборную, то ли к телефону, только его и видели. Все чемоданы с барахлом остались. Он жил с Тимофеевым, второй скрип-

кой, все они по двое жили, кроме начальства. Его с трудом удалось расколоть, Тимофеева, но на третий день уговорили, потащили в «Восточный» Понять его было трудно — возможно, велели не трепаться, а может, Сашка его ловко вокруг пальца обвел, но, по его рассказам, Сашка не очень-то отлучался, с бабами не водился, по этой части было очень строго, сказали, тут же домой отправят, работы было навалом, уставали, как черти.

— Ну, а он? Замечал ты что-нибудь? Волновался, нервничал?

— Да вроде нет. Последние день-два, может быть. Все, в общем-то, волновались, бегали по магазинам, подсчитывали деньги. Бабы к нему липли, что и говорить, но, кажется, никого не трахнул.

— Но, наверное ж, он с кем-то переговоры вел. Не мог же без этого. С кем-то встречался?

— А хрен его знает. По телефону с кем-то говорил то ли по-английски, то ли по-французски, я в этом деле ни бум-бум.

Так толком ничего и не удалось добиться у тупого этого скрипача, насмерть ушибленного всем происшедшим на границе, у него чуть не отобрали купленный смычок, все деньги на него ухлопал, не жрал почти. Помог Зуев, дерьмо дерьмом, но смычок не джинсы — заступился.

Ашот и Роман по очереди толклись в театре. Потом Роман уехал на съемки, остался один Ашот. Совсем затосковал. В театре, где его знали почти все — все же первый друг Куницына, — посматривали полуиронически, полузлорадно. «Что, распался коллективчик? — съязвил как-то, подхихикивая, Большухин, намеченный как замена Сашке. — Мушкетеры отечественной выпечки. Советское — значит, отличное!» Ашот послал его подальше, но брошенное словцо «выпечка» пошло по театру. А в общем, все завидовали. Прима Готовцева, никого не боящаяся, муж кегебист, прямо так и сказала: «Единственный среди нас не дурак. А мы быдло, серое, засранное быдло...»

Начальство — директора, зама, секретаря парторганизации — несколько раз таскали в Большой дом, поодиночке и вместе, потом все трое поехали в Москву. Вернувшись, созвали собрание. О нем рассказывал потом Гошка-флейтист. Вел собрание какой-то московский, из ЦК. Позор, мол, пятно. Где воспитательная работа? Все слушают заграничное радио, газет не читают. Коллектив разболтался. Гастроли, правда, прошли на уровне, газеты хвалили, но между репетициями и спектаклями чем занимались? Бегали по магазинам? И не стыдно? Орденоносный театр, лучшие традиции, ну и дальше в том же роде. А в общем, бдительность и еще раз бдительность, не поддадимся на провокации. Потом Зуев мямлил, не доглядели, упустили, товарищи не ходят на политзанятия. Директор, как обосранный, сидел — говорят, ему и Зуеву по строгому влепили, — что-то потом тоже о дисциплине говорил, о классиках марксизма, опять же о провокации, обещал от имени коллектива партии и правительству и лично Ленечке еще больше, еще выше... Тут перебил его московский хмырь: «Какое там ЕЩЕ больше. Штаны подтянуть надо, совсем свалились!» Николай Николаевич совсем растерялся — «Есть, говорит, подтянуть». Зад как грохнет. Умора.

— Ладно. Умора не умора, о Сашке что говорили?

— Как что? Продал родину. Страна на него столько потратила, а он такой номер выкинул.

— А кто выступал?

— Кто, кто? Кому велели, те и выступали. Большухин, конечно, Стрельцова. Ну-реева вспоминала. Кто еще? Не помню уже. Завкостюмерной, забыл его фамилию. Не вернул, заявил, какой-то камзол. Тут опять все грохнуло. В заключение опять цеховский взял слово. ЦК, мол, разработывает сейчас специальное решение о заграничных гастролях. Пресечь расхлябанность и разгильдяйство. Ну и пошел, пошел из передовицы «Правды»... Суровый дядька. Из сектора культуры, что ля, а может, и повыше. А в общем, как все..

— Ну, а Лилька Кашинцова выступала, последняя Сашкина дева?

— Выступала, а как же. Приказали, конечно. Слезу пустила. Верь, мол, человеку. Но помоями не поливала. как другие. В основном, редела.

Из ресторана ушли мрачнее тучи. Даже вино не помогло.

— Нет — сказал Ромка, прощаясь. — Правильно Сашка поступил. В этом мире жить нельзя. Растили! Всех растлили.

Как говорили потом, именно после этого собрания Готовцева и сказала про быдло, сопроводив метким эпитетом.

4

Прошло какое-то время. Вполне достаточное, чтоб Ашотова Анриетт приехала, уехала и опять приехала. Она была милостивая, с большими черными печальными глазами, очень молчаливая и, как многим казалось, всем немного испуганная. Но это был не страх, это было постоянное ожидание каких-то неожиданностей.

— Естественная неадаптированность, — определил Ромка. — Просто для твоей Антуанетты, — он упорно называл ее так, со временем окрестив Марией-Антуанеттой, — разница во времени между Парижем и Ленинградом не два часа, а два столетия.

В собрании друзей она всегда сидела в уголке молча, но, оставаясь с кем-нибудь вдвоем — по-русски она говорила совсем неплохо, но так и не преодолев твердого русского «л», — обнаруживала и ум, и познания, и умение на вещи смотреть по-своему, а главное, неистребимую любовь ко всему русскому.

— Вам бы только настоящего царя, — говорила она, улыбаясь и показывая мелкие, очень белые зубы. — Доброго. Вроде монашеского князя Ренья.

Монашеского Ренья никто не знал, но о выборе не спорили.

— А коммунистов у него там нет? — допытывался Роман.

— Да что ты...

— Тогда подходит. Вот только с рулеткой не знаю как. Все денежки просадим.

Еще какое-то время спустя отправились Ашот со своей Анриетт во Дворец бракосочетаний. Там строгая дежурщица в очках, с нелепой красной лентой через плечо прочитала им ровным, без всякой модуляции голосом нотацию о том, что муж, как истинный советский гражданин, должен приобщить свою жену к нашим обычаям, культуре, мировоззрению (самому передовому в мире), затем исполнен был марш Мендельсона, выпита бутылка шампанского, и советский гражданин повел под ручку свою жену, увы, не в белом, но все же в светлом платье (сам же он, не выдержав битвы с друзьями, вынужден был надеть галстук) к свадебному столу.

Рануш Акоповна оказалась на высоте. Составленные столы, под которые сунули картонки, чтоб не шатались, были накрыты белоснежными скатертями, сияло серебро и хрусталь (понятие вполне условное), розовели тонко нарезанные колбаса и ветчина, на блюдах красовались традиционные винегреты, зажарено было четыре курицы, с двух маленьких блюдец всем улыбалась настоящая черная икра. Выпивки тоже хватало.

Роман произнес тост. В нем говорилось о двух идеологиях, растленной и созидательной, о традиционной дружбе французского и русского народов, заложенной еще Наполеоном, продолженной его племянником Наполеоном III во время севастопольской обороны и закрепленной торжественным актом, на котором все сидящие за столом сегодня присутствовали. Есть основания предполагать, что героизм русских и французских воинов, проявленный на равнинах Бородина и склонах Малахова кургана, всегда будет достойным примером для наших молодоженов.

— Умейте сопротивляться! — закончил он свой, вызвавший бурю аплодисментов тост. — Враг будет разбит. Победа будет за нами!

Потом пили и ели. Разошлись где-то под утро. В самый разгар свадебного веселья, когда доставались дополнительные поллитровки, вспомнили о Сашке. Вспомнил Ашот.

— Мне очень жаль, что нет с нами сегодня нашего Сашки, — он сделал приветственный жест в сторону печальной, сдерживающей свое волнение Веры Павловны. — Мы знаем, что ему хорошо, что, простите за невольную банальность, звезда его взойшла и светит во всю силу. До нас он, этот свет, увы, не доходит, но тепло его согревает наши сердца. Выпьем же за Сашку!

Все дружно захлопали и с охотой выпили. Роман, конечно, не удержался и, чтоб как-то уравновесить высокопарность произнесенного тоста, выкрикнул, вызвав еще большие аплодисменты:

— Да здравствует ленинградский ордена Трудового Красного Знамени театр имени Кирова, поставляющий на мировые театральные подмостки лучших своих сынов! За это тоже было выпито.

Вообще о Сашке вспоминали долго. Со смешанным чувством досады и радости. В Америке он прошел. Прошел первым номером. О нем писали в самых восторженных тонах. Русское чудо! Феномен с берегов Невы! Заряд молодости! Торжество изящества и красоты! Талант, победивший тиранию! Мастерство и вдохновение! Проводились параллели с Фокиным, Лифарем, Васильевым, даже с божественным Нижинским. Одна статья так и называлась: «Его Величество Вацлав Второй».

Не радовался только Ашот. Он чувствовал за всей этой хвалой привкус сенсации. По тем отрывочным сведениям, которые пробивались по радио, из просачивающихся иногда заграничных журналов он видел, что успех действительно феноменальный, и не радоваться этому не мог, но как важно закрепить его, развить. Удастся ли это Сашке? Он не был уверен.

Часто бывал он у Веры Павловны. Поддержать как-то, а заодно в надежде услышать что-нибудь от нее вроде: «А от Сашки открытка!» О письме она уже и не мечтала. Но ни письма, ни открытки не было.

Вера Павловна очень осунулась за последнее время, как-то сникла, поблекла, но в руках умела себя держать. Не плакала, не жаловалась, во всяком случае, на людях. Когда Ашот заходил, он обычно заставлял ее возле Сашкиного стола, что-то перебирающей, перекладывающей. Ничего трогать на столе или ставить на него не полагалось, разложенные под стеклом фотографии лежали в идеальном порядке, а одна, где Сашка совсем еще маленький на руках отца (погиб в самом конце войны в Восточной Пруссии), вставлена была в специально куленную рамку и повешена над столом.

С работы Веру Павловну, как ни странно, не уволили, более того, она видела, что ей сочувствуют, замечала признаки трогательного внимания — то цветочек на столе, то в день Веры, Надежды, Любви преподнесли ей прекрасно изданный альбом на французском языке «В мире танца». Даже директорша Людмила Афанасьевна, человек, как всегда казалось, сухой, черствый, подошла однажды, когда никого не было в комнате, обняла за плечи и сказала: «Я все, все понимаю, Верочка, — она впервые назвала просто по имени, — но в обиду вас не дадим. Так и знайте...» И тут же вышла.

Примерно через год после отъезда Сашки — большинство говорило обычно «бегства», но Вера Павловна только «отъезда» — в Ленинграде объявился американский джаз. Попасть на его выступления было невозможно — только пробивной Роман всякими правдами и неправдами проник, Ашоту так и не удалось, — но гастроль эти ознаменовались неким неожиданным событием. В очередной визит к Вере Павловне Ашот застал ее неожиданно оживленной и чуть-чуть встревоженной. «А у меня кое-что есть! Догадайся что». — «Открытка!» — выпалил Ашот. «Угадал. Правда, не от него, но...» Она протянула обычную открытку с видом Петропавловской крепости. На ней корявым почерком было написано по-русски: «Глубокоуважаемая мадам Куницын, я приехал в Ленинград и имею вам маленькую посылочку. Отель «Астория» № 112. Джон Горовец».

Начали соображать. Решили, что лучше всего, чтоб пошел Ашот. И он пошел.

Открыл ему дверь очень подвижный, похожий на гнома человек

— Вы друг Александра? — спросил он по-английски.

Ашот, с трудом подобрал слова, сказал, что мадам Куницын больна и просила его поблагодарить гостя и взять посылочку.

Гном подошел к шкафу и вынул из него аккуратную, довольно большого размера картонную коробку. Ашот попытался на своем варварском английском что-то узнать о Сашке, но в ответ услышал только «О-о! Гуд, гуд! Экстра!». Больше выжать ничего не удалось. Он раскланялся и ушел.

Коробка со всеми предосторожностями была распакована. В ней оказалась яркая, что несколько озадачило Веру Павловну, шерстяная кофта крупной вязки, маникюрный наборчик в кожаном футляре, очень изящная, копенгагенского фарфора статуэтка танцора и танцовщицы, баночка варенья из неведомых фруктов с пестрой этикеткой и большой, чудо полиграфии, завернутый в целлофан альбом «Alexandre Kunitsyn». На обложке — делающий фуэте Александр Куницын, неизвестно в каком, но явно классическом балете. Целлофан самым бережным образом, перочинным ножиком вскрыли, развернули альбом и на первой, очень глянцевиной странице прочли: «Дорогой мамочке от недостойного сына. Целую тысячу раз! Саша». Вера Павловна тут же стала лихорадочно листать и трясти альбом, но никакого письма или записочки из него не вывалилось.

— М-да, — сказал Ашот, чеша за ухом. — Мог бы...

— Мог бы. — повторила упавшим голосом Вера Павловна и, уже не торопясь, страница за страницей стала рассматривать альбом

О! Как он был красив! Снятой, улыбающийся (хоть бы раз морду задумчивую для матери сделал, подумал Ашот), парящий в воздухе, с балеринами одна другой краше и знаменитей, раскланивающийся с гигантским букетом в руках, на репетиции, подписывающий автографы в толпе поклонниц. Ракурсы, освещение, композиции показывали, что автором альбома был не просто репортер, все было умело схвачено, подчерк-

нито, продумано. Фотографиям, их было штук двадцать, предшествовало вступление, написанное (на следующий же день перевела Рануш Акоповна, она знала английский) одним из крупнейших, как сообщили позднее знатоки, театральных критиков. Все в превосходных степенях.

Несколько портретов (один из самых удачных, на фоне Бруклинского моста, в развевающемся на ветру плаще — вот тут-то и мог быть позадумчивее) Вера Павловна не без некоторого сопротивления разрешила переснять, и вскоре предприимчивые ленинградские мальчики стали продавать их по три рубля за штуку (Элвис Пресли и битлсы шли всего по рублю).

Прошло еще какое-то время. И случилось то, что казалось маловероятным, в лучшем случае, канительным и мучительным — Никогосяны, все втроем, получили разрешение на выезд. Как всегда, это вызвало толки и кривые усмешки — «знаем, знаем, мол, почему так быстро дали», — но большинство радовались и, конечно же, завидовали. Рануш Акоповна тут же растерялась. Засуетилась, стала перебирать вещи, а их оказалось неожиданно много, и расстаться с какими-то тряпочками («Это же твоя детская распашонка»), с рамочкой или треснувшим блюдечком («Ведь это дедушкино, ни за что не брошу») казалось ей преступлением, неблагодарностью к прошлому. Но что-то, несмотря на сопротивление, удалось все же продать, что-то — мебель, холодильник, стиральную машину («Ты помнишь, сколько мы за ней стояли?»), ковер с лебедями — оставить друзьям. Главная баталня развернулась вокруг «Медицинской энциклопедии», которую Рануш Акоповна тайно штудировала, когда у нее начинала болеть печень или появлялось красное пятнышко на руке. Но постепенно, день за днем комната пустела, и, наконец, когда остался только стол и диван в окружении разнокалиберных чемоданов и узлов, была устроена отвальная.

За день до нее, вернее, в предшествующую ей ночь, Ашот с Романом совершили традиционный, на этот раз прощальный променады вдоль Невы.

Начали от Московского вокзала, прошли весь Невский, попрощались с кладовскими порывистыми юношами и конями на Аничковом мосту, с бронзовой царницей, окруженной фаворитами («Помнишь, как ее обнесли вдруг сеткой, чтоб голуби не садились, а они сквозь сетку все равно гадили?» — «А потом выкрасили черной краской, считали, что зеленая патина на бронзе — грязь»), с любимым кафе «Нора», ставшим в годы борьбы с низкопоклонством вдруг «Севером», помахали ручкой «Европейской» («Ох, пито, пито, пито!»), посидели в Александровском (Сашкином!) садике у Адмиралтейства и, перейдя Дворцовую площадь, вышли к Зимней канавке. Ну и дальше, по набережным, до Петропавловки.

— Итак, как писали в старину, еще одна страница перевернута, — резюмировал Ашот.

Да, нелегко было ее перевернуть, эту последнюю страницу. Скольких евреев проводил Ашот в Израиль? Десять, пятнадцать, двадцать? И каждый раз думал: правильно или неправильно они поступают? Убеждал себя, что правильно — у Исачка сына не принимали в университет, Борис Григорьевич тоже думает только о детях, хочет, чтоб росли свободными, старик Иссельсон говорит, что всегда чувствовал себя евреем и хочет умереть на земле предков, а всем вместе просто осточертело все, — но, что там ни говори, уезжали они из страны, в которой хорошо ли, плохо ли, но прожили всю жизнь, выросли корнями. И теперь эти корешки, старательно и злобно к тому же оборванные и обгаженные в каком-нибудь Чопе, надо бережно всадить в чужую почву и поливать, поливать...

Сколько дум передумал Ашот, ворочаясь на своем продавленном топчане, сколько мудрых советов выслушал после того, как собрал и подал все эти идиотские бумаги. Главным оппонентом был Роман. И не только потому, что липался еще одного друга, а потому, что трезво, как он утверждал, смотрит на будущее.

— Ну что ты, Ашот Туманыч, будешь там делать? Что? Без языка, чужой, воспитанный на нашем дерьме. Буд бы ты скрипачом, другое дело, им все там фартит, советская школа, ну и тэ дэ. А кому нужны там твои песенки, литературные композиции из русских поэтов, с подмигиванием, которое только нам понятно? Им и свои-то поэты не нужны.. И вообще, — решительно подводил итог Роман, — тут ты, скажем так, Брандо, а там говно... Ясно?

Все это Ашот и сам понимал. Брандо не Брандо, но пара пластиночек уже есть. Филармония все заявки принимает с ходу, публика вроде хлопает. А там-таки да, гов-

но! Язык он никогда не выучит, ясно. На скрипке не играет, а для шансонье важен не голос, а знание жизни, вкусов, последних увлечений Миму и то без этого нельзя.

Адриетт — вот кто толкнул его на этот шаг. Ей было трудно. Очень трудно. Она ничего никогда не требовала, ни на что не жаловалась, со всем, что говорит Ашот, соглашалась, но дышалось ей нелегко. Русские ей нравились очень, даже больше, чем французы. Правда, интересы их, увлечения не всегда были понятны, но сами по себе бесконечные ночные споры, заводиловки — ей очень нравились — даже неизменные поллитровки, неизменно утомлявшие ее, недостаточно тренированную француженку, ничуть не раздражали, напротив, в их, в заводилочках этих, самом образе жизни, бестолковом, суетливом, напряженном, никогда заранее ничего не знаешь, все опаздывают, забывают, надувают, было то, чего не было в ее Париже. Жизни! Пусть сложная, с преодолением бесчисленных препятствий, но и с товарищеской поддержкой, а иногда даже с маленькими, малюсенькими, но победами.

И все же...

— Ты понимаешь, Ашот,— говорила она, когда начиналось очередное взвешивание «за» и «против» отъезда,— полюбить, понять я могу, хотя ваш Гютчев говорил, что в Россию можно только верить. Но я не верю. Да и кто верит сейчас во что-нибудь? И все же главное другое — я не вписываюсь. Так вы, кажется, говорите? Я родилась в Латинском квартале, на рю Эшоде. Ты знаешь, что такое эшоде? Пышка, пирожок и еще одно понятие — «ошпариться». И поговорка есть у нас «Chat echaude craint l'eau froide», вроде вашей, только у нас это кошка делает — обожглась и дует на холодное. Вот я типичная кошка. Дую на холодное. Но обожглась. И очень даже.

Ашот хохотал.

— А у нас и пластыря не достанешь. Посему поедем за пластырем, там у вас, говорят, в каждой аптеке.

Пластырь решил все. Страница была перевернута.

Роман в эту ночь был мрачен. Ко всем переживаниям последних дней прибавилось еще одно — картина, в которой он снимался последние полгода, окончательно легла на полку.

— И эта страница тоже перевернута. Все псу под хвост! Деньги, время, бутафория, декорации, весь наш запал, а он был,— все под хвост. Нет, видишь ли, мажора, ярких красок, все принижено, приземлено, создается неверная, сознательно искаженная картина человеческих отношений, не свойственных нашим... Ну и так далее. На рвоту тянет, слушая всех этих перестраховщиков... Нет, Ашотик, правильно ты делаешь, другого выхода нет.

Ашоту не хотелось ни думать, ни говорить о том, к чему давно уже пора было привыкнуть. Грусть оттого, что он расстанется со всеми этими камнями, плитами, решетками, изогнутыми мостиками, с крыловскими зайчиками и лисичками в Летнем саду, заслоняла всю эту осточертевшую муру.

— Вот и мне, как Сашке тогда, хочется твердить и твердить: «Невы державное течение, береговой ее гранит...» Как-никак вся жизнь, с шести лет. И в школу, и в институт, и у того Петра, у Инженерного замка впервые девочку обнял... И не хочу я ни о каких Баскаковых и прочих там Ермашах сейчас думать. Не хочу, и все, пойми ты это, сухарь...

Сухарь все понимал. Но он оставался один.

— Один, вот так вот, один Затянувшаяся инфантильность, сентиментальность, никогда в себе не подозревал ее, черт его знает, но переворачивание этих страниц, одна за другой, как серпом по одному месту И наше мушкетерство, да, детское да наивное, было единственной отдушиной. И вот теперь один-одинешенек. Гвардейцы кардинала победили нас. И нет у меня ни Планше, ни Мушкетона. Один...

Ашот обнимал Романа.

— Встретишь хорошую девушку, полюбишь, женишься..

— Было уже. Знаю. Хватит.

— А детей вот не было. А появятся, сразу же...

— Я не люблю детей. Как Салазар, португальский диктатор. Единственный из них, кто не сюсюкал, не снимался со всякими Мамакат...

Так провели они полночи. Возвращаясь по Невскому, свернули к Русскому музею, и сквозь щель в заборе Ашот попрощался еще с одним царем, скучающим на своем коне-битюге,— Александром Третьим.

— Хороший был царь, — вздохнул он, — несмотря на всяких там Победоносцевых. Помнится, Марья Федоровна, царица, все удивлялась, когда и как он с начальником охраны успевал надраться, усевшись за свой бридж или покер. Она уйдет на минутку, вернется, а они уже тепленькие. Оказывается, у царя за голенищем плоская такая бутылочка всегда хранилась. «Ну так что? Голь на выдумки хитра?» — «Хитра, Ваше Величество!» — и опрокидывали. Ну, разве плохой царь?

— А наши и не стесняются. Попробуй Нина Петровна Никите помешать...

На отвальную пожаловало народу поменьше, чем на свадьбу. Но тише от этого не было. Сидя уже не за покрытыми скатертью столами, а на чемоданах, перевязанных веревками картонках, прямо на полу, шумели, смеялись, перебивали друг друга. Тосты произносились все бодрые, добрые, с паутствиями, в основном, определенного направления: «Главное, научи их пить! И мату рассейскому! И напролом, сквозь джунгли их капиталистические! Не тушуйся!»

Расставались где-то уже под утро. Рануш Акопова всплакнула. Единственная комната их оказалась ей не такой уж тесной, а чахлая березка в глубине двора даже стройной, кто ее теперь поливать будет?

Через день все трое, с трудом растыкав пожитки по полкам, отбыли с Финляндского вокзала прямым вагоном в Хельсинки. Оттуда пароходом до Гавра. Скрупулезные подсчеты показали, что так дешевле.

Моросил дождик, и это делало Ленинград еще более своим. Провожающие, цепляясь раскрытыми зонтиками, натужно улыбались. Как всегда, под конец не о чем было говорить, томлись, поминутно поглядывали на вокзальные часы.

В последнюю минуту — «Ненормальный, куда ты?» — Ашот выскочил из вагона и еще раз со всеми обнялся. Романа стиснул, крепко поцеловал в губы.

— А все-таки барали мы гвардейцев кардинала! Очередь за тобой...

Роман ничего не ответил. Печально улыбулся.

5

Ашот лежал на диване и смотрел через окно, как какой-то парень на крыше противоположного дома возился с телевизионной антенной. Тянул провода, бегал куда-то, что-то приносил, прыгал «Фанфан-тюльпан, — подумал Ашот. — Жерар Филип». Солнце заходило за бесчисленные трубы парижских домов, вдали виднелся купол Инвалидов — «Когда ж, наконец, соберусь поклониться праху Императора?» — и Ашоту все казалось, что это ненастоящее, что это открытка.

Он протянул руку, взял крохотный приемничек «Сони», начал крутить. Разные французы очень быстро говорили о чем-то непонятном. Вот болтуны... Иногда прорывалась музыка, дома от нее млели, а тут все эти роки уже раздражали. Просачивались сквозь синкопы английские, испанские, итальянские голоса. И вдруг — «Маяк». «Труженики полей Краснодарского края перекрыли взятые ими после июльского Пленума повышенные обязательства. Хлебобобы с энтузиазмом, с огоньком ответили на решение Пленума о дальнейшем...» С каким это огоньком, интересно? За бутылкой? А американский фермер — их там, кажется, всего три процента — всю страну кормит и за границу к тому же продает. Ашот не знал еще, что через два-три года главным покупателем будет страна строящегося коммунизма. Он встал, тихонько заглянул в соседнюю комнату. Мать спала, с позавчерашнего дня она неважно себя чувствовала и все время спала.

После двенадцати вернулась Анриетт, эту неделю у нее заняты были вечера, работала в агентстве «Франс-Пресс».

— Устала?

— Не очень. Как всегда.

Она вынула из сумки «Ле Монд» и бросила на стол.

— На последней странице, внизу, справа.

— Что внизу справа?

— А ты прочитай.

Он гкнулся в нижний правый угол. Присвистнул. Бросился в глаза «Kounitsyn».

— О Сашке? Твою мать...

В заметке сообщалось, что на открытии театрального фестиваля в Авиньоне выступит известный советский танцор, ныне живущий в Америке, Александр Куницын. Одно выступление состоится и в Париже 17 июня...

— Вот это да! — Ашот вскочил и натянул зачем-то штаны.

— Ты что, за билетами уже?

— Черт! Сашка в Париже! Подумать только. Ну, он у меня не выкрутится, па-люка, прижму к стенке. Пусть только попробует...

— Что попробует?

— Пусть только попробует.— Ашот заметался по комнате.— Я ему покажу, пусть только попробует. Сегодня какое число?

— Восьмое.

— Так, значит... Да куда она делась?

— Кто?

— Да грубка. Вечные твои уборки. Сколько раз говорил, что место ей здесь...

Как ни странно, но она оказалась именно здесь. Набил ее, старательно прижимая пальцем, закурил.

— Пусть только попробует... Мы ему покажем... Дадим дрозда.

Концерт состоялся в зале «Мюгюалитэ», не самом большом, «Пале де Конгрэ» побольше, но очень престижном. Когда-то с успехом выступал здесь Окуджава. Несмотря на язык, народу собралось тогда много, в проходах даже стояли.

Ашот ожидал афиш. Но их не было. Сашкино имя фигурировало только в общей концертной программе. Тумба с этими строгими, без выкрутас анонсами стояла на углу бульвара Сен-Жермен и рю дю Бак, и, сидя в угловом кафе «Эскуриал», Ашот всегда внимательно ее разглядывал. Штерн, Иегуди и Иеремия Менухины наши Ростропович, Гидон Кремер. Лучшие имена. И вот среди них — Куницын. Сашка Куницын! Гад Куницын! Они с Анриетт сидели в этом самом «Эскуриале», посасывая сквозь соломинку ледяной оранж-прессэ, и, нет-нет, Ашот кидал взгляд на афишу.

— Ты знаешь, о чем я думаю? Ахматова, встретившись с Солженицыным, а он ей очень понравился, сказала: «Одно у вас осталось испытание. Испытание славой». Или что-то в этом роде. И Солж не выдержал. Даже Солж, великий Солж...

— Ну почему? Человек защищает свою точку зрения, имеет же он право ее иметь и защищать?

— Да не о ней речь, не о точке зрения. Бог с ней. Речь о славе. Не знаю, может, и я, добившись ее... пока, правда, что-то не светит, о знаменитых звукооператорах я что-то не слышал, но, может, и я, добравшись до Олимпа, задеру нос, но вот Сашка... Наш Сашка, таскавший маме картошку, когда я ногу подвернула, ходивший в рваных джинсах... ты скажешь, что в этом и шик, но, в общем-то, не такой уж шмоточник.. Главное, что называется, бессребреник. Есть — есть, нет — нет... У кого трешку всегда можно было тизнуть, даже пятерку, червонец? У Сашки! И тут же забывает. «Разве ты мне должен? Ну давай тогда шиканем, в «Садко» двинем». Деньги считать не умеет. Любой импрессарио его обштопает. Лопух.

— Что это — «лопух»? — переспрашивала Анриетт.— Такой лист большой?

Всю ночь перед концертом Ашот проворочался. Вставал, набивал трубку, смотрел в окно.

На концерт пришел заранее, надо было еще пропуск взять у администратора. Пришел один, у Анриетт было вечернее дежурство, а мама что-то совсем раскисла. Народу собралось много, даже толпились у входа. Лишнего билетика, правда, не спрашивали.

Место оказалось хорошее, десятый ряд. Долго не получалось с освещением. Проектора вспыхивали и гасли. Потом пробовали звук. Ашот нервничал, без конца складывал и расправлял программку. В ней сообщалось, что в первом отделении — «Щелкунчик», «Раймонда», «Спящая красавица», во втором что-то неизвестное, английского или американского композитора и, ничего себе, «Полуденный отдых фавна», повеяло Нижинским.

Наконец все вспыхнуло и зазвучало. И на сцену вылетел, точно с облаков спустился — кто? — Сашка. Слетел и застыл, очевидно, ожидая аплодисментов. Они последовали, не очень бурные — бурным еще рано, — но хлопал весь зал. Он слегка, только головой сделал поклон и...

Дальнейшее было триумфом. Самым настоящим. Ашот пытался восстановить потом все в памяти и не мог. Полеты, взлеты, перелеты, казалось, даже и земли не успе-

вал коснуться и опять в воздухе. После каждого фуэте или особого, понятного только специалистам трюка зал раскалывался от аплодисментов. Красив, изящен, легок, горяч, порывист. никакого напряжения. И ноги вроде длиннее стали.

В антракте Ашот ходил один. Увидел двоих знакомых и одного хмыря со своего телевидения, но встречи избежал, прошел мимо, возможно, те даже и обиделись. Рассматривал большие фотографии, задержался у нью-йорской афиши «Карнеги-холл», очень лаконичной, легкими штрихами ноги в прыжке, голова откинута. Постояв в очереди в буфет, вышла стопку водки — для храбрости, что ли? Вернулся на свое место.

Второе отделение было уже не классика. Появился, крадучись, озираясь, долго ходил, ложился, потом вскидывался, пролетел через всю сцену и опять, не торопясь, начинал пятиться, точно чего-то опять испугался. Музыка обрывистая, однообразная. Принят был сдержаннее. Но вот «Фавн», почти совсем без трюков и полетов, оказался — Ашот с облегчением вздохнул — не тем и не другим, не классикой и не модерном. И Сашка был предельно артистичен. Ну, конечно же, Ашот всегда говорил, Сашка не только танцор, он артист.

К концу выступления зал устроил Сашке овацию. Никак иначе это не назовешь. Зал поднялся, стал неистово хлопать, отовсюду неслись крики «браво!», «бис!». После третьего или четвертого его выхода — раскланивался он спокойно, достойно, без всяких поделуев в зал, Ашоту стало еще радостнее — начали скандировать, ринулись к сцене. Во Франции это почему-то не принято, но полетели на сцену цветы, крохотные красные, оранжевые, голубые букетики. Ашот чувствовал, что сейчас разревется. С трудом сдерживался, глотал, глотал тот самый ком в горле.

«Случилось! — подумал Ашот. — Случилось-таки. Париж у ваших ног...»

Пробиться за кулисы оказалось почти невозможно. Один тип боксерского сложения не пускал никого в маленькую дверь, ведущую на лестницу, другой, тех же данных, с лестницы в само помещение гримерной. Но Ашот пробился.

Сашка Совершенно мокрый, пот с него катился в три, пять, шесть ручьев, стоял, окруженный плотной толпой, и сиял. Милая его курносовая морда источала счастье. Вертел головой, улыбался, смеялся, поминутно вытирал пот, слепивший глаза. Со всех сторон совали программки, открытки, фотографии, он, не глядя, расписывался, кому-то что-то оживленно отвечал, на каком языке — непонятно...

Ашот подошел и негромко сказал: «Аркадий!»

Сашка мгновенно застыл, улыбка исчезла с его лица.

— Аркадий, не говори красиво, — еще тише сказал Ашот.

И тут Сашка встрепенулся, растолкал всех к черту и ринулся к нему. Назвать объятиями это нельзя было, это был обрушившийся на Ашота вихрь, муссон, торнадо, мистраль, новороссийский норд-ост, только горячий и потный.

— Так твою мать! — естественное, что вырвалось из Сашки, и Ашот отвечал ему тем же, выражающим все на свете, кратким, русским, назовем это — выражением. И оба тискали, мяли друг друга, хлопали по спине. Отстранялись, впились глазами один в другого и опять обнимались, хохотали

Наконец, зашыхавшись, успокоились.

— Ну как? — спросил наконец Сашка. В голосе его звучала тревога.

— Как, как... — Ашот улыбнулся. — Терпимо.

— Гад! «Терпимо»!..

— А ты чего ждал от меня?

— Нег, серьезно, как Фавн?

— Как?

— Как! — почти крикнул Сашка.

Ашот сделал паузу. Сашка напрягся. Застыл в вопросе.

— Сашка, ты артист. Вот все, что я могу сказать.

И опять вихрь Сашка схватил маленького Ашотика, поднял в воздух и закрутил по крохотной комнате, расталкивая всех. И бухнулся на поставленный кем-то стул.

— Ну, спасибо, Ашотик... Спасибо... Я знал... Будто чувствовал... Господи... Ведь ты... Ведь мне... В общем, терпимо?

— Терпимо.

Толпа опять сомкнулась вокруг них. Подошел пожилой, с помятым, дряблым лицом, с бабочкой на шее субъект и дама, видом — постаревшая Софи Лорен. Что-то ему,

наверное, напоминали. Он кивнул головой, да-да, помню. Потом еще какой-то, тоже с напоминанием, гретий, очевидно, журналист, с блокнотом в руках.

«Ничуть не изменился,— подумал Ашот.— Ну, ни чуточки. Все такой же. Даже помолодел вроде».

Сашка, оторвавшись от наседавших со всех сторон, повернулся к Ашоту.

— Ну, как же нам быть? Видишь, что делается?

Ашот ничего не ответил. Ждал. Протиснувшись и овладела Сашкой группа молодых ребят, очевидно, балетных, засыпала вопросами. Опять потянулись руки с карандашами, ручками.

— Как же нам быть? — повторил Сашка, отстраняя рукой патлатого парня.— Сейчас у меня это самое, вроде как прием. В вашем «Максиме». Лифарь будет, сам Серж Лифарь, понимаешь? Кажется, он даже и организатор... Что ж делать? Телефон у тебя есть?

— Нету.

— Запиши тогда мой,— он протянул в пространство руку, и в ней сразу же оказались программка и авторучка-бик. Он записал номер.— Это отель «Монталамбер», в самом центре. Это портье, это номер комнаты, 245.

— Ясно. Когда позвонить?

Сашка почесал затылок.

— Когда, когда... Утром... Нет, утром не получится. Давай после обеда, по-вашему апра-миди... Нет, тоже не выходит... Давай все же утром! В восемь утра. Даже в полвосьмого. Идет?

— Идет.

— Значит, договорились. Завтра в полвосьмого... Господи, столько надо...

Верткий фотограф с тремя аппаратами на шее, тщетно пытавшийся пробиться к Сашке, завладел-таки им.

— Да... Как Ромка? — спохватился вдруг Сашка.— Что ты о нем знаешь? Жив, здоров?

— Жив, здоров...

— Ладно. До завтра. В полвосьмого, значит.

— Знаешь,— Ашот с трудом пробился к Сашке.— Запиши-ка мой адрес. На всякий случай.

Сашка замахал руками.

— Зачем он мне? Все равно потеряю, ты же знаешь. Жду звонка, и все...

На него опять набросились.

Ашот пошел домой. Возвращался с каким-то странным чувством. Радости, растерянности. Зашел в кафе, ахнул двойного коньячку... Да, ничуть не изменился. Глаза вот только... Впрочем, какие еще могли быть глаза... Сколько же это прошло? Год? Нет, больше. Полтора уже. Выехали в октябре... Год и семь месяцев. Бежит время. Ашот проехал свою остановку, пришлось возвращаться.

На следующий день ровно в семь тридцать он снял трубку автомата. Длинные гудки, никто не подошел. В восемь то же самое. В девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Глухо.

В обеденный перерыв поехал в этот самый «Монталамбер». В метро просмотрел газеты. В «Котидьен», «Либерасьон» небольшие, но очень хвалебные заметки, в «Фигаро» даже статейка побольше, где в приятном контексте вспоминали Дягилева, русские сезоны в Париже. Сашки в отеле не оказалось. Ашот оставил записку, просил, чтоб Сашка позвонил Анриетт на работу.

Она вернулась к шести, никто ей не звонил.

Поздно вечером, опять не дозвонившись, Ашот пошел еще раз в отель. Любезный портье сказал ему, что месье Куницзын совсем недавно, полчаса, не больше, уехал на вокзал. Поезд в 23.30, с гар Аустерлиц, на Авиньон...

— Записки он мне не оставил? — спросил Ашот.— Гляньте, пожалуйста.

Портье глянул в ящичек возле гвоздика с ключом.

— Нет, ничего нет, месье. Пусто.

— Ну, надо ж его понять,— говорила в тот вечер любящая «мир-дружбу» Анриетт.— Успех, голова кругом, растерялся, приемы, Лифарь, один день в Париже, со всех сторон дергают...

— Конечно, конечно,— соглашался Ашот, ему очень хотелось согласиться.— Но все же...

Закутанная в платок мама, ее все еще знобило, тоже защищала Сашку:

— Ведь это Сашка, наш Сашка, ты ж его знаешь. Горячий, импульсивный, увлекающийся. Сам говоришь, какие у него были глаза, когда тебя увидел.

— Глаза-то глаза, но...

— Что «но»?

— Да как-то все не то... Не так.

— Нет-нет, Ашот, не осуждай его. На обратном пути из Авиньона он обязательно...

— Та же суета, разрывание на части... Куда уж там... И адреса так и не взял.

— А ты почему не оставил сейчас у портье? Сходи завтра, занеси, он, вероятно, в том же отеле остановится.

Скрепя сердце на следующий день, возвращаясь с работы, занес. Портье успокоил, сказал, что номер зарезервирован.

Нет, Сашка есть Сашка, закрутился, завертелся, спохватился уже в поезде, стал казнить себя... Зайдет, не может на разыскать. Ну, вот не может! А внутри сосало, скребло, на работе был рассеян, отвечал невпопад.

— Да успокойся ты, наконец,— мать видела, как мается ее, ах, какой ранимый Ашотик.— Я понимаю, все понимаю, но и ты должен понять. Тебе хотелось бы, конечно, чтобы он...

— Да, хотелось бы...— пресекал Ашот.— Ладно. Хватит. Увидим.

«Нет, не могу, у меня свидание с другом... И все. Свидание с другом, которого не видел Бог знает сколько... Ясно?»— вот что сказал бы Ашот на его месте. Но Сашка не сказал, уехал в Авиньон.

Прошла неделя. Фестиваль закончился. В газетах о нем много писали. Писали и о Сашке. Расхваливали. Ашот ждал.

Статьи прекратились. Ашот продолжал ждать.

— Да ты сам зайди,— твердила мама.— Чего тянуть, Зайди в гостиницу, и все.

— И дай наконец ему дрозда,— подсмеивалась Анриетт.— Ты ж собирался.

И он зашел. Ему сказали, что да, останавливался, три дня прожил и в конце прошлой недели улетел в Нью-Йорк.

6

Шел третий год парижской жизни. Ашот с матерью получили гражданство. По французским законам для этого надо было бы прожить здесь пять лет, но помогли кое-какие связи Анриетт. Несколько идеализировавший на первых порах западные порядки Ашот, столкнувшись с французской канцелярщиной, был поражен ее сходством с родной, советской. Он утверждал даже, что она позакovskyристей и труднее объяснима.

— Советские анкеты ясны. Служил ли в белой армии, состоял ли в рядах какой-нибудь партии, есть ли родственники за границей, переписываешься ли, был ли судим, за что, сколько отсидел, как у тебя с пятым пунктом? Во всем железная логика. Если служил, состоял, переписываешься, сидел и на вопрос пятой графы, как в том анекдоте, отвечаешь «да» — значит, плохой, не годишься, проваливай. А у французов? Почему-то им обязательно надо знать, где и когда родились и умерли родители первой вшей жены. Зачем это им? А хрен его знает. И как докажешь? Бумаг-то никаких. Представь свидетелей. Каких, откуда? Умные французы подсказали — это не важно, формальность, желательно только, чтоб по возрасту подошли. И вот ищешь и наконец находишь троих стариков и старушек, и они, волнуясь и трепеща, врут напраую, что знали, мол, таких-то и родились они и умерли тогда-то. И этой липы, оказывается, достаточно. И так на каждом шагу Логика никакой. А у нас — железо.

Стали ли — обзаведясь «карт д'идентитэ» и паспортом в синей обложке, он нужен только для поездок за границу,— стали ли наши милые армяне-ленинградцы французами? Рануш Акоповна, нужно прямо сказать, нет. Не вписывалась, язык не давался, только к концу первого года стала справляться с продуктовыми магазинами и булочной, в больших магазинах «Лафайет», «Прэнтан», «Бомаршэ» терялась, в подземных переходах метро путалась, ехала не в ту сторону, в автобус влезала не в ту дверь, привыкла сзади входить, спереди выходить, а тут наоборот, в телевизоре ничего не понимала и все вздыхала: «Ну нет у нас мяса, к десяти кончаются молоко и яйца, но Кать-

ка-продащица сто лет тебя знает, на тебя не кричит, иной раз даже улыбнется и бумажку найдет завернуть, мясник Левка нет-нет, да и приличный кусочек подкиннет, а гут...» — «А тут все вежливы,— смеялся Ашот.— На каждом шагу «мерси». — «Нужно мне их «мерси»...— отмахивалась мама.— На все у них «мерси». Даже на объявлении (кое-какие она уже могла прочесть) — «Стоянка машин воспрещается, мерси». Да ну их...» Нет, не прижилась Рануш Акоповна.

О себе Ашот говорил. «Французом не стал. И не стану. А парижанином — да. Нравится мне этот городишко». С миром наживы и стяжательства свыкся относительно быстро, хотя не нажил и не стяжал ничего. С языком более или менее справился, первые полгода ходил на курсы. На работу не сразу, но устроился Сначала осветителем в театре «Одеон». Посмотрим, что у них за театр, думал он. Разочарование пришло почти сразу же. Смотрел на сцену из своей, под потолком ложи с прожекторами и злился. Потуги, потуги, не больше, опивки. Сходил в «Комеди Франсэз», в «Театр де Пари» — все то же, орут, прыгают, проваливаются, цирк какой-то, очевидно, думают, что так было у Мейерхольда. Классика — Расин, Мольер — туда-сюда еще, а вот посмотрел «Вишневы сад» («Питер Брук! Как, вы не были еще на Питер Бруке?») и просто растерялся, все действие — почему-то лежа. Раневская, Гаев — все на полу В фижах, рюшках, пышных юбках — и на полу. И Гаев в спортуке валяется. Поместье еще не продано, а мебели — нет. Что все это значит? Новаций? С «Трех сестер» со второго акта убежал. Тузенбах и Соленый в ярко-красных штанах хлещут коньяк «с горла». Нет, это не театр.

Ашот ушел из «Одеона» и устроился звукооператором на телевидении. С сослуживцами вроде бы поладил, даже привык, что ровно в двенадцать надо идти в кафе чего-то пожевать — никакая сила не заставит французов в эти часы работать, — привык и к тому, что не принято в этой стране стрелять друг у друга трешку. Исключено. Ничисто. Это и удивляло, и раздражало. Не принято забегать на огонек, о встречах улавливаются за месяц, водки не пьют, поллитра на троих для них смертельная доза, в метро места даме не уступают, и это галантные французы, где ж д'Артаньяны? Бывший мушкетер все выискивал — и обнаружил только бронзового, на памятнике Дюмаотцу. И вообще французы оказались куда замкнутее, куда прижимистее, чем он ожидал. И бесцеремоннее в то же время. Долго не мог привыкнуть к поцелуям на каждом шагу — в метро, в магазине, на улице останавливаются, обнимутся ни с того ни с сего и вззасос. Потом понял, что он сам ханжа советской выучки, и общая раскованность, безбоязненность, легкость и свобода поведения стала даже нравиться. Развалились в своих маечках, а летом и просто в трусах, на лестнице у Сакре-Кер, бренчат на гитарах, и никакой мент к ним не подойдет: «А ну, марш отсюда, чтоб духу вашего не было!»

В Париже, выполнив положенное — Лувр, Роден, Ар Модерн, Оранжери, Же де Помм, Эйфелева башня, — понял, что самое приятное — просто шататься, каждый раз открывая что-то новое. У Парижа свое лицо и в то же время разное. В районе парка Монсо, там, где они жили, на всех этих рю Мурильо, Рембрандт, Веласкес, тихие особнячки богатей, четырех-пятиэтажные, с лепными фасадами, с карнизидами «отели», что значит просто приличный доходный дом, тоже не для бедняков. А возле гар дю Лион подозрительные, полутемные, грязные переулки, полно арабов, чужая речь, что-то тревожное. На Сен-Дени, Пигаль цыпочки стоят в подъездах, крутят на пальце ключи, значит, все в машине будет происходить... А как хороша пляс де Вож — площадь Вогезов — с Людовиком XIII посередине, тем самым, нашим, родным, мушкетерским. А кругом — недавно посаженные липы. Старые вымерли от какой-то букашки, и устроен был референдум — сажать ли новые или обнажить фасады XVII века, розовые, с высокими трубами, черепичными крышами. Победили любители флоры. В одном из этих домов жил Виктор Гюго.

Пристрастился к книжным магазинам. В основном, побаивался их, все время хотелось что-нибудь купить, то Сальвадора Дали, то Моне или Рембрандта, то «Холодное оружие XVI—XIX веков» или «Замки Луары», то два толстых тома «Второй мировой войны» или тоже двухтомник «Улицы Парижа»... В русском, советском «Глобе» руки тянулись к Ахматовой, Мандельштаму, Цветаевой, Булгакову, Платонову — в Москве, Ленинграде только в подворотне, за пазухой у спекулянта найдешь, а здесь лежат себе, бери сколько хочешь. Ну, а у Каплана на рю д'Эперон или в магазине ИМКА — море разлитое антисоветчины. Первые месяцы Ашот просто не в силах был пере-

варить все это обилие, этот низвергавшийся на него водопад эмигрантской литературы. Набоковы, Алдановы, Мережковские, Зайцевы. И «ГУЛАГ», Андрей Синявский, неизданный Платонов или ахматовский «Реквием». Ну, как все это переварить?

С ныне живущими эмигрантами сблизился не очень. Писателей сторонился, все они между собой более или менее переругались, с художниками встречался, кое с кем из тех, кого знал еще в Ленинграде, актеров не было совсем. Сделал попытку организовать какой-то кружок, студию, ничего не вышло. На «голом энтузиазме», по ночам, в подвалах — в Париже это не прошло.

Жизнь вел, в общем, замкнутую — на работу, домой, что-то по хозяйству, книги, иногда телевизор.

Кино! Вот тут первое время просто безумствовал. Кроме новинков, боевиков, пересмотрел всех Феллини, Висконти, Антониони, Бергмапов — все время где-то мелькают то «Ночи Кабирии» (лучший, лучший из фильмов!), то «Рокко и его братья» с молодым еще Делоном, то «Римские каникулы» (подумать только, сейчас Одри Хепберн пятьдесят!), то фестиваль Хичкока Сойти с ума! Впервые увидел популярного до сих пор, увы, покойного уже Брюса Ли — короля карате, кунг-фу. Маленький, ловкий, всех избивает. Ринулся, конечно, и на порнофильмы. Ну их! Долго, обстоятельно, со всеми подробностями, во всех ракурсах, чудовищных размеров. Стенания, вздохи, чмоки, прерывистое дыхание. Все это, оказывается, записывается потом отдельно. И главное — скучно. Забавнее — вампиры, Дракула, но и тут после третьего уже не хочется ходить. Но вообще раздолье...

Квартирка их была маленькая, всего три комнаты, на третьем (по-русски — на четвертом) этаже, без лифта, это не очень устраивало Рануш Акоповну, зато район хороший, рядом парк Монсо. В хорошую погоду можно взять книжечку — Пьера Жильяра, например, воспитателя цесаревича Алексея, «Тринадцать лет при русском дворе» — и, устроившись в тени на аллейке Контесс де Сегюр, тихонько себе читать, а рядом мраморный усатый Ги де Мопассан, к которому тянется бронзовая дама в платье с турнюром, и детишки кругом, и их мамы, читающие книжки, и сторож со свистком во рту — не ленится и все свистит, высвистывая парочки, уютно устроившиеся на травке.

К концу второго года поднапряглись и обзавелись маленьким, подержанным «рено-5». Водила Анриетт. Ашот все собирался пойти на курсы, да как-то не получилось. В Париже машина не очень нужна — пробки, заторы, — но на «уик-энды», которыми французы, в основном, и живут, можно куда-нибудь прошвырнуться, в старинный живописный Прованс, в Фонтенлон, погулять по парку, заглянуть в замок, постоять на лестнице, где прощался Наполеон со своей гвардией. Строились планы, копились деньги, чтоб следующим летом поехать куда-нибудь на юг, очень хвалили маленький уютный Коллюр на берегу моря, возле испанской границы.

Вот так и жили. Не роскошествуя, не позволяя себе лишнего. Заработков хватало, хотя к концу месяца часто случалось, что в извещении из банка (да-да, «Креди Лионэ») цифра на правой колонке «Кредит» переключивалась в левую «Дебет», что значило — какие-нибудь 200—300 франков не банк тебе должен, а ты ему. Но это бывало не часто.

А чаще всего — это происходило по ночам, когда не спалось — Ашот ловил себя на том, что хотя он уже и француз, но плевать ему с десятого этажа на все их выборы, на бесконечные дискуссии с пеной у рта в парламенте, чего-то требует партия Ширака, а чего-то Жискара с Барром, и на то, что заваливается у них металлургия и автомобильная промышленность, он тоже плевал.

И эти вечно чем-то недовольные «агрикультёры», нашим бы колхозникам их заботы. Не интересует это его, ну вот нисколечко. А вот что там, в далеком Питере, как там Ромка с фильмом — затеял, полез-таки, несчастный, в режиссуру, — вот это волнует. И что в его, казалось бы, осточертевшем Ленинграде происходит? Писали, что новый директор студии вроде ничего. Все это свое, далекое, но свое. Мать с Эткой над ним смеются, он нет-нет да и купит в «Глобе» «Литературку» или «Советскую культуру». Вот и интересно. Какие новые фильмы, кто что сыграл на сцене, какое звание получил (подумать, Кирилл Лавров уже Герой Соцтруда!), а кто и концы отдал. В «Глобе» сдружился с директрисой Ольгой Михайловной, и она разрешала ему на субботу-воскресенье брать «Новый мир», «Юность», кое-что и там появлялось. В том же «Глобе» купил Шукшина, Распутина, Трифонова, прозу Окуджавы. Ну, а кроме того — живые москвичи, ленинградцы...

Чем хорош Париж? Не только тем, что он хорош, а тем, что все знают об этом и стремятся в него. Летом не пробиться сквозь толпы американцев, англичан, немцев (западных, в основном), не говоря уже о японцах. Они везде, всюду, и все с «Канонами», «Никонами». И среди этой массы — в шортах, джинсах, майках, свитерах, босножках и в тяжелых горных ботинках на толстой подошве — маленькие, но плотно сколоченные группки людей в серых пиджаках и болтающихся брюках. Это советские туристы. Встретить их можно иной раз и в Лувре, и в Бобуре, но, главным образом, в магазине «Тати». Оттуда их не выгонишь — там все дешево. Дрянь, но дешевая и все-таки парижская.

Но это туристы, у них маршруты, строгий распорядок, к одиннадцати, кровь из носу, быть в гостинице. А есть категории и повыше — приехавших по приглашению. На месяц, два, три. Эти живут у друзей, ходят больше по «Лафайетам», что не мешает — это уже в последние дни — и в «Тати» заглянуть. Эти держатся посвободнее. Первые дни еще озираются, от чего-то отказываются, куда-то не идут, с кем-то не встречаются, потом — парижский воздух, что ли? — срываются и — эх! была не была! — соглашаются, идут, встречаются...

Так разыскали Ашота актеры театра Ленинского Комсомола, гастролировавшего в Париже, встретился он кое с кем и из моисеевцев. Побродил по Монмартру, посидел в кафе с Вовкой Смакиным из Ленконцерта, приехал тот с какой-то делегацией. От него и узнал, что Роман ударился в режиссуру, задумал и даже запустил собственный фильм то ли про Пушкина, то ли про Лермонтова. Вовка точно не помнил, нет, про декабристов, кажется, но Пушкин и Лермонтов там появляются. Это ему уже Ветряк говорил, его пробовали на одного из них. Промелькнула Верка Архипчук, старая знакомая, гимнастка, приехала на соревнования в Страсбурге. Все они были ошарашенные, растерянные, все время боялись куда-то опоздать, что-то пропустить. Только хитроглазый Валя Брудер, из ТЮЗа, по прозвищу Тюлька, он приехал простым туристом, сказал: «А имел я их всех в виду, покажи мне что-нибудь про совокупление». И они пошли на полупедерастическую картину «Любовь вчетвером» Тюлька был в восторге. «А? В матушке Москве такое? Ходынка, проломленные черепа...» Прощаясь, Ашот преподнес Тюльке номер «Плэйбой» с большой расклаальвающей картинкой-портретом обнаженной девки не в самой пристойной позе. «Дай второй! Я таможеннику суну. Век будет благодарен. А этот проведу, будь спок!»

И вот на фоне всех этих событий — приездов, отъездов, сидений в кафе, ста граммов с оглядкой («А нельзя ли загнать фотоаппарат, а?»), хождений в «Тати», изредка даже в музеи, так вот, на фоне этих событий произошло еще одно, весьма знаменательное.

В один прекрасный день, как писали в старину, хоть день был серенький, дождливый, вечером, где-то уже после одиннадцати, в дверь раздался звонок, вещь в Париже необычная. Ашот даже спросил: «Кто там?» В ответ что-то промычало

Ашот открыл дверь и... О, Господи! Жискар д'Эстэн, президент республики. В пальто, в шляпе, с зонтиком в руках. Ашот даже попытался. И вдруг движение, раздва, Жискар исчез, и перед ним Роман... Ромка Крымов!

О! Это мгновение! Первая минута. О, эти исторгшиеся из уст — все те же, любимые и ненавидимые, не меняющиеся в веках, неистребимые, невозможные в приличном обществе и все же произносимые, крепкие, крутые, обозначающие все на свете, кроме того, что они обозначают, о, эти слова, без которых не обходится ни одна радостная встреча, они были произнесены. И повторены. И Ромка затащен, усажен на почетное место, иными словами — в кресло, которое без особых на то оснований называлось «вольтеровским».

— В память о тебе купил. А твое, твое, с вылезавшими пружинами, живо еще?
— Да живо, живо...

Не знали еще, о чем говорить.

Роман озирался по стенам, разглядывал обстановку — «Не очень-то буржуазно, где ж камин?» — увидел фотографию над письменным столиком, где они втроем в плащах и шляпах с перьями...

— Не забыл? Помнишь?

— Хо-хо!

Женщины замечались, вынимали что-то из холодильника.

— Чем же нам тебя угостить, Ромочка? Что это, Ашотик, бургундское?

Рануш Акоповна совсем растерялась — одна бутылка, и то начатая.

— Бутылка? А это что? — в руках у Романа блеснул такой знакомый сосуд с золотыми медалями.

— «Столичной» не побрезгуете? Прямо от Елисеева.— Он шикарным жестом поставил бутылку на стол.— Ну, так как тебе мой Жискар? Вернее, твой, ваш. Поверил, признайся?

— Да тут любого Брежнева можно купить, не удивись... Карнавальные маски. Женщины успели уже прихорошиться, Рануш Акоповна накинула даже оренбургский платок, свою гордость.

— Ладно, к столу.— Авриегт стала тащить Романа из кресла, он в шутку сопротивлялся.

— Не взъщи, Ромочка,— извинялась Рануш.— Как говорится, чем богаты, тем и рады. Чего нет, того нет.

— Нет? — Роман расхохотался.— Это у Елисеева нет... Сыр, правда, бывает, до десяти утра,— он ткнул пальцем в аппетитный кубик с дырочками.— Ветчина — как повезет, паштет такой вообще никогда, исключено.— Роман стал разливать водку по граненым стаканам.— Ладно. Так вот,— и Роман произнес пышный тост в честь исторического собрания общества Франция — СССР, нет, ну его в баню, Париж — Москва — Ленинград, и по этому случаю...— Короче, ахнули! И чтоб до два у меня.

Ахнули, крикнули, понюхали по русскому обычаю. Рануш Акоповна поперхнулась, замахала руками, Роман тут же потянулся опять за бутылкой.

— Последуем совету Антона Павловича. В каком-то рассказе у него, не помню каком, говорится: как хорошо, войдя с морозу в теплое помещение, выпить рюмочку водки и... сразу же за ней другую... Последуем же его совету.

И последовали. И стало совсем хорошо.

— Ну, посмотрите друг на друга, не таясь. Три года все же, не хрен собачий. Рануш Акоповна все молодеет, цветет...

— Да ну тебя, Ромка, скажешь еще...— она даже вроде смутилась.

— Мария-Антуанетта совсем расцвела, как алый цветочек. Слушай, слушай, а ты не беременная, а? А ну, встань. Да ты не красней, признавайся.

— Нет, Ромка, пока еще нет, не торопимся,— Ашот похлопал по поджарому, как у всех парижанок, животу своей жены.— Ну, а ты, Ромка, малость того, возмужал, что ли?

— Возмужал, возмужал. На почве успехов.

— А есть они?

— Есть.

— И такое бывает еще у нас?

— У нас? У вас? Ты ж, говорят, француз уже.

— Француз. И все равно — у нас. Так что, случается еще?

— У меня вот случилось. Нежданно-негаданно у нашего министра...

И начал рассказывать, как это произошло.

В этот счастливейший из вечеров — вернее, ночь — все были возбуждены. Но Роман особенно. Говорил, не умолкая, перебивая, задавая вопросы, сам тут же на них отвечая, опять задавал, делал вид, что слушает, ахал, охал, пересыпая речь — дамы ему сегодня прощали — все теми же обиходными словечками.

— Фильм как будто бы ни о чем,— начал он рассказывать.— Он, она, еще один он, еще одна она. Называется «Любовь вчетвером». Не пропустили.

— Тю-тю! — присвистнул Ашот.— Мы тут с одним кадром, ты его знаешь, из ТЮЗа, без зуба переднего, смотрели порно под таким же точно названием. «Л'амур ан катр» по-французски.

— Амур не амур,— отмахнулся Ромка,— но у меня что-то вроде любви. Чистейшей, разумеется, советской, без всяких этих ваших штучек. Но это только канва, внешний рисунок, отнюдь не главное. И все равно к этому, хоть и не главному, а придрались... Да, а ты знаешь, что у нас чуть-чуть не пустили «Агонию»?

— Климовскую?

— Именно. Почти на выходе уже была. Потом оказалось, что Николай II саишком красивый и добрый, а Распутин недостаточно развратен.

— И на полку, сволочи?

— Бесповоротно... Так вот, на последнем просмотре сказали мне... Нет, на пред-последнем. Что ж это вы, Роман Никитич, думаете, мы совсем безмозглые, ничего не понимаем? Нет, что вы, товарищи, говорю, наоборот, именно к вам апеллирую, как к

людям знающим и понимающим. И тут же, не дав им пикнуть, произнес в высшей степени патристическую речь. Расхвалил Бондарчука, он тут же сидел, не помню уже за что, за ум, талант, за «Войну и мир». «Они сражались за Родину», вспомнил Васю Шукшина, он у него там играл, теперь Вася у нас классик, пароходы его имени, библиотеки. Кстати, ты его знал?

— Нет... Видел только. На каком-то просмотре.

— Отличнейший парень, прямой, честный, бухарик, правда... Давайте-ка за помин его души. Нет уж таких...

«Столичную» благополучно закончили. За ней последовало то самое бургундское, начатое. Потом обнаружена была недопитая бутылка коньяка.

— Зажал, думал, перед сном. Без дам... Ты же у нас останешься?

— А куда мне деваться? Прикорну где-нибудь в уголке.

— Не боишься?

— Кого?

— А ты, собственно, по какой линии, как у нас говорят, приехал?

— Союза кинематографистов. На Каннский фестиваль. Нет, не член делегации, отнюдь, но разрешили за собственные шиши присоединиться, вроде член и не член, консультант не консультант, Бог его знает...

— Без стукача, что ли? Потому такой храбрый?

— Как так без стукача? Разве можно? Такого не бывает. Но он у нас безбидный, ты его должен знать, долговязый такой, Арнольдом зовут, фамилию забыл, с «Мосфильма»... Да, но вернемся к нашим баранам.

К баранам возвращались раз двадцать, опять от них уходили и возвращались, во в конце концов все же выяснилось, что картина после доделок, переделок, поправок, переозвучиваний, пересъемок получила наконец добро. Сейчас печатают. И даже приличное количество копий — сто двадцать. Называется теперь «Разрешите пометчать!». Название, конечно, говенное... А фильм, по сути, антисоветский. Ну, не то чтоб совсем антисоветский. Снаружи все гладко, а коннешь... Такой, например, эпизод...

У дам постепенно начали слипаться глаза. Их отправили спать. А сами устроились вдовое на диване. Было тесно, неудобно, да и вообще о сне не могло быть и речи.

— Да, слушай, а где ты работаешь? — спохватился вдруг Роман. — Треплюсь, треплюсь, а до сих пор не спросил, неловко даже как-то...

— На телевидении.

— На телевидении? А у нас знаешь, что произошло на нашем Центральном? Сенсация, — и рассказал облетевшую Москву историю про завкадрами московского телевидения, который, то ли спяну, то ли спятив, на каком-то собрании во всеулышание заявил, что хватит, мол, врать, давайте народу иногда и правду-матку преподносить. — Ничего себе кадровки? Ну, его сейчас же под белы ручки и в дурдом... Видимо, и впрямь тронулся голубчик. Да, так о чем мы говорили?

Так проговорили они всю ночь. Ашот даже на работу опоздал.

Расставаясь, Роман сказал, что у них на завтра намечена встреча с кем-то прогрессивным, но он на нее плевал, не пойдет, и надо обязательно опять встретиться. Остановились они, как выяснилось, в двух шагах от того самого злополучного «Монталамбера», в отеле «Капрэ», малость похуже, но, в общем, терпимо.

— Ну, на отель мы сегодня плевали, ты у меня. А завтра — Париж!

7

Ашот часто вспоминал со своей Анриетт сомнения и терзания, одолевавшие их в Ленинграде до того дня, когда он сказал ей наконец: «Все! Едем! С завтрашнего дня начинаю собирать бумаги...»

И началось.

Да, тогда все было в тумане. Сейчас он малость рассеялся. И все же — это уже наедине — он иногда спрашивал себя: стоило или не стоило? Нет, что стоило, это ясно, но насколько оправдались или не оправдались ожидания, как прошел процесс переселения из одной галактики в другую, одним словом, что такое эмиграция, понятие, которое всю жизнь пугало и казалось для нормального человека противоестественным? Шалагин, Рахманинов, Букин, Бенуа, Куприн, Михаил Чехов, всех и не перечислишь — все они, каждый по-своему, тосковали по дому, по прошлому. Правда, в основном, по

тому, что было «сметено могучим ураганом», даже по осуждаемому всеми приличными людьми самодержавию. Нынешние эмигранты в несколько другом положении. Мало кого тянет обратно. Уезжают — дети там или не дети, земля предков и всякое такое, а если в корень глянуть, от въевшегося во все поры... Осточертело все... А кому и кое-что прищемили.

Ну, а он, Ашот? Задохнулся? Да нет. Дышать, правда, трудновато было, иной раз и на луну завоешь, но, в общем-то, притерся как-то. Притерлись же остальные 260 миллионов. Преследовать не преследовали, топтуны за ним не ходили, обысков ни у него, ни у его друзей не делали, с работой более или менее благополучно. Ну «Лебединый стан» Цветаевой или мандельштамовское про кремлевского горца с эстрады не прочтешь, но иногда что-то, не самое просоветское, вет-вет да и втиснешь. И радуешься. Жванецкий, например. Иной раз просто оторопь берет — и ничего, сходит. Вот и Ромка.

Сейчас он сидит в «Эскуриале», сосет ледяной «хейнекен» и тоже счастлив. В Париже он впервые, и все ему интересно. «Нет, никакого метро, только автобус или пешком, обожаю пешком...» И они от парка Монсо — было воскресенье, на работу не надо — до бульвара Сен-Жермен шли пешком. По бульвару Осман, мимо оперы, зашли даже за 10 франков внутрь, поглядеть на шагаловских коз, летающих на потолке зрительного зала, потом по рю де ля Пэ, мимо Вандомской колонны, вышли на Конкорд, пересекли Сену и по бульвару Сен-Жермен дошли до «Эскуриала». Сначала Роман останавливался у каждой витрины, но так до своего кафе они никогда и не дошли бы, и Ашот, приняв руководство на себя, разрешил останавливаться только у антикварчиков и оружейных магазинов.

— Хочу кольт! Кольт хочу! — орал Роман так, что на него все оборачивались. — Вот тот, видишь? И «Смит и Вессон» тоже! Без них не вернусь домой, так и знай.

— На границе отберут.

— У меня? Пусть попробуют.

— Не только отберут, но и оштрафуют.

— Поспорим. Короче, перехожу на собачьи консервы, бросаю пить и курить, но этот кольт мой. Слышишь, кольты, ты мой!

(Забегая вперед — засунутый на дно чемодана, купленный и подаренный ему Ашотом кольт с двенадцатью патронами благополучно пересек все границы, и две вороны были убиты из него в Болшево...)

Зашли, понятно, и в книжный «Глоб». Романа нельзя было оторвать от полок и разложенных на столе Трифоновых, Шукшиных, Мандельштамов, Цветаевых, Сименона и Агаты Кристи... Глаза горели, щеки пылали, уста шептали нечто невразумительное. В результате, несмотря на его сопротивление («Не очень, правда, сталинградское», — острил потом Ашот), куплен был одностомник Булгакова и сборничек стихов Шпаликова...

— Ох, Генка, Генка, алкаш наш дорогой. — Ромка не раз пропускал с ним по маленькой. — Покупаю твою книжку в Париже, подумать только... В Париже...

Вечером Роман уехал в Канны.

— Вернусь, продолжим нашу работу. Подготовь Родена, импрессионистов и этот, как его, новый ваш центр...

— Помпиду?

— Вот-вот! Лувр отменяется. В следующий раз.

Вернулся он через неделю, не дождавшись конца фестиваля.

— А ну его, голова кругом идет. И ни черта не понятно. Отпросился в Париж. Покрытели, но пустили. Кулиджанов — неплохой все-таки парень.

За три дня они успели много. Ромка был неутомим. Ашот только радовался. Все пять этажей Бобура, он же Центр Помпиду (выставка «Три М» — Модильяни, Магрит, Мондриан), Роден, Жё де Помм, импрессионисты, Оранжерия, Эйфелева башня («Смеется? А я полезу!»), прогулка по Сене на «бато-муш», Версаль, Фонтенбло — и, в общем-то, все один, Ашот с Анриетт на работе, освобождались только к вечеру. Сходили и в «Фоли Бержер» («Утомительно, однообразно, и очень уж их много»), прошлись по значной Пигаль («Эх, деньги бы, — вздыхал Ромка. — И молодость, и молодость, и счастье вно-овь, как точно подметил товарищ Гремин...»). Посидели и в ресторане. Выбран был небольшой, в районе Бастилии, под названием «Галоша», кажется, овернский. Овернь — сердце Франции. Потолок и стены были увешаны разного вида сабо, по-овернски «галош». Ели устриц, улиток — Роман первый раз в жизни, — обжигались ду-

ковым супом, потом жиги и еще что-то, пили божоле, закончили мороженым и черным кофе в маленьких чашечках...

— Уф! — Роман украдкой расстегнул пояс. — Вот придут наши красноезвездные, кончатся все эти ваши улитки-эскарго, и перестанете вы гнить... Понюхаете нашего зрелого, развитого... Ох, не могу... Давай еще по коньячку ударим, на прощанье, так сказать...

Возвращались домой пешком, метро уже не ходило, а на такси не было денег, все проели и пропили.

Много в этот вечер говорили о Сашке. Не с завистью, не осуждали ни в чем, но, в общем-то, с грустью.

— Слава, слава... — вздыхал Роман. — Помнишь, я тогда еще, в первые же дни говорил тебе — не выдержит. И не в деньгах дело — деньги деньгами, но главное — простор, предложения, выбирай только. Ухватил жар-птицу за хвост, держи покрепче, не разжимай кулак... Ты в чем его видел, в «Спящей»?

— Нет, концерт, с бору по сосенке. А в телевизоре знаешь что? Не поверишь, в «Дон Кихоте».

— Дерьмо балет.

— Дерьмо. И при чем там Дон Кихот? Появляется два раза. И Сашка там какого-то влюбленного племянника изображает. Бред! И это после его Адама в «Сотворении мира». Помнишь, по Эйфелю?

— Помню ли... Сколько выпито было после этого.

— А здесь — тьфу! Больно смотреть. Хотя танцует, конечно, хорошо. И боюсь, что только ради денег. А их у него, судя по всему, куры не клюют.

— Куры, куры... Кстати, он не спрашивал у тебя, когда вы встретились?

— Нет, не спрашивал.

— Ты знаешь, о чем я?

— Знаю. Нет, не спрашивал.

Оба вздохнули. Так не похоже на их Сашку.

Роман повернулся вдруг к Анриетт, она, как всегда, помалкивала, слушала.

— А знаешь, мне твой муж нравится, нравится, как он держится. Ей-Богу. Ладно, жар-птица, как Сашке, не подвернулась. Ну и что? Телевидение? Не самое интересное в жизни? Ну и хрен с ним. На жизнь дает? Дает. Машину даже имеете...

— Все имеют.

— И квартиру, не перебивай, и не где-нибудь, а в Париже, в центре Парижа... И на все ты положил эту самую штуку.

— Ну, как сказать.

— На все! Настаиваю на этом. Парторганизации нет, раз, месткома нет, два. Самой прогрессивной общественности и собраний — три. Никто не стукнет, что пьешь, болтаешь лишнее или левые ходки от жены скрываешь, пардон, мадам... Это с этой стороны. А с той? С вашей... Не надо, как тому же Сашке, думать, соображать, подсчитывать, рассчитывать. С тем надо в ресторан сходить, того не забыть на премьеру пригласить, того к порогу не подпускать. Да-да, не думай, вовсе не легко ему. Птица птицей, но хвост-то горячий, обжигает. А ты? Свободный человек на свободной земле. Захотел на Мадагаскар, поехал на Мадагаскар...

— Десять тысяч туда и обратно!

— Умолки! Слышать не хочу. Ты знаешь, сколько я унижался, на брюхе перед гадами ползал, чтоб в эти Канны попасть? Плевал я на них, на все эти фестивали — тебя хотел увидеть. И увидел! Живым, здоровым, ворчливым, недовольным, но — свободным! Понял! Сво-бодным! Ну, давай за свободу... Мудило!..

Ашот часто вспоминал потом этот монолог слегка подвыпившего друга. И на вокзале, Гар-дю-Нор («Обязательно будь, проводи, плевал я на всех!»), в последнюю минуту, соскочив с подножки, как тогда Ашот на Финляндском вокзале, заключил его в объятия и, тыкаясь небритым подбородком, шепнул: «Завидую! Черной, грязной, мерзкой, завистью... Завидую...»

А он, дурак, завидовал Ромке. Тот долго махал ему из окна, пока вагон не скрылся за поворотом. Ашот постоял, постоял и пошел в буфет.

Вот так, три друга... «Модель и подруга», вылезло вдруг откуда-то и весь день вертелось в голове. «Три друга, модель и подруга...»

В этот день Ашот напился. Один. Начал с вокзального буфета, потом пересек пло-

щадь, зашел в кафе «Терминаль», посидел, попытался читать газету, не вышло, заказал еще...

Вокруг Ромки сустились какие-то люди, все с туго набитыми чемоданами, и не с одним, а с двумя, тремя. А у Ромки один, маленький, и авоська. И колет, и Булгаков со Шпаликовым, и ни одной рубашки, только джинсы, которые ему силком всучила Анриетт... Он спрашивал, между прочим, у Романа про Веру Павловну, присылает ли ей Сашка какое-нибудь барахлишко? Тот обругал себя последней сволочью — первое время заходил, потом все реже и реже, последний раз забегал с полгода тому назад. Нет, не очень балует ее Сашка. Толкового письма так и не написал. Раза три все же, а может, и четыре звонил. Прислал как-то шубу меховую и какие-то кофточки. А старушка держится, работает по-прежнему, грустит. Одинокая очень. Надо, надо, надо... Нельзя так бесчувственно относиться. Ромка опять стал себя поносить.

Может, это больше всего поражало в Сашке и Ашота, и Романа. Ведь так любили друг друга, он и мама, так дружили. И вот за три года три звонка, четыре. Шуба, кофточка... Не укладывалось в голове.

Закончил свое скитание по кафе Ашот где-то на Порт д'Орлеан и то лишь потому, что иссякли деньги. Взял «деми» — кружку пива и пару сосисок. Смотрел на прохожих, сосал свою трубочку.

То, что Роман уехал, это естественно. Приехал и уехал. Нет, не уехал, провалился в пропасть, в преисподнюю. С советскими всегда так. Наговоришься с ними до умопомрачения, а потом как ножом отрежет. Ни писем, ни звонков. «Ты уже забыл, какие мы, — говорил ему один из мойсеевцев, довольно часто бывавший в Париже. — За три года начисто забыл. Приезжаем сюда, глотнем вашего воздуха и размагничиваемся, иной раз даже стукача своего пошлешь подальше. А возвращаемся домой и сразу в свою скорлупку, всего боимся, лишнее слово сказать. Что поделаешь, так воспитали...»

Домой вернулся поздно. Ни мать, ни Анриетт бровью не повели, все поняли.

8

А жизнь текла по-прежнему. Работа, дом, телевизор (главным образом, для Рануш Акоповны), чтение, изредка — кино. Очень даже изредка. Анриетт удивлялась.

— В Ленинграде ни одной новой картины не пропускал, а тут даже на Феллини и Бергмана не затынешь. Пойдем мы наконец на «Механический апельсин» или нет?

Ашот сам сначала удивлялся собственной, появившейся за последнее время пассивности, потом понял, что там, дома, рвались на Габена или Анну Маньяни не только, чтоб на них посмотреть, но чтоб окунуться в чужую, незнакомую и, в общем-то, соблазнительную жизнь, посидеть в парижском кафе, мчаться с бешеной скоростью по автострадам и хайвэям, развалиться в кресле у камина, посасывая бургундское. А тут недосыгаемые эти соблазны под боком, разве что камина нет. К тому же и психологические извивы вокруг любей и измен перестали трогать и не все понятно, а когда субтитры — и вовсе путаешься. И если ходил он раз в три-четыре месяца в кино, то, главным образом, на вестерны или Бельмондо, где драки, погони, стрельба, очень ловко, даже красиво у него это получается.

И вообще, говорил Ашот, выяснилось вдруг, что я почти ничего не читал, преступно мало. Открыл вот Марка Адамова, замечательный писатель. А кто у нас его знает? Или Набоков. Слышал только, что есть какая-то очень неприличная «Лолита», а он, оказывается, наворотил Бог знает сколько. Я невеликий любитель стилистов, утомляют они меня, вот читаю сейчас «Другие берега», штука автобиографическая, оторваться нет сил. Великий писатель. А у нас считается порнографическим, запрещен.

Ашот записался в Тургеневскую библиотеку и раз в месяц приволакивал оттуда горы книг — читатель он был аккуратный, и ему разрешали брать по десять—пятнадцать зарас. В основном, русских. С французскими было хуже, без словаря не шло. У Анриетт была своя полочка — в основном, стариков, к нынешним новшествам и «новым романам» она относилась сдержанно.

Ну, а Мадагаскар? Тот самый, на который, по мнению Романа, Ашоту всегда можно поехать? Далековато... Но вот во Флоренцию взяли как-то да и двинули. «Черт знает что, — сказал по какому-то поводу, просто так, к слову Ашот. — Приехали в Париж и сидим как вкопанные, а рядом Швейцария, Италия, всякие там Шильонские замки, галерея Уффици...» Анриетт посмотрела на него и сказала: «Давай поедem в Уффици. А? И на Давида посмотрим». И они поехали смотреть Уффици и микеланджеловского Да-

вида. Подвернулся «мост» — уик-энд плюс какой-то праздник и два дня отгула, покупку нового холодильника отменили, сели в свой «рено-5» и покатали через леса и горы, туннель под Монбланом во Флоренцию. Ах, какая это была неделя! Потом такой же вольт сделали с Испанией, с Барселоной. Попали даже на бой быков. С тех пор все это называлось Мадагаскаром.

Но, в общем-то, жизнь текла тихо и спокойно — работа, дом, книги, вечерние чаепития по русскому обычаю.

И вдруг случилось чудо. Как-то посреди ночи зазвонил телефон. Вероятно, ошибка, подумал Ашот, но трубку все же снял.

— Ж'экут,— сказал он по-французски.

— А по-русски нельзя? — раздался знакомый голос.

— Ч-черт! Сашка!

— Он самый.

— Откуда?

— С де Голля вашего, аэропорта.

— Ясно,— Ашот рассмеялся.— Деваться некуда?

— Не будь сукой.

— Прости, но ты знаешь, который сейчас час?

— Повторяю, не будь. В твоем возрасте в этот час надо как раз у девок быть, а не дома валяться.

— Ладно, замнем для ясности. Что тебе надобно, старче?

— Свoločь, почему ты так со мной разговариваешь?

— Потому что заслужил. Я злопамятный.

Воцарилась пауза. Потом донесся Сашкин голос:

— Ну, виноват, виноват, виноват, знаю. Зачем топтать?

— Ладно. Давай, как коммунист с коммунистом. К девяти мне на работу. Позвони в 8.15, тогда условимся. Идет?

— Идет.— Сашка повесил трубку. Вроде обиделся.

— Почему ты не велел ему взять такси и приехать к нам? — спросила разбуженная звонком Анриетт.

— Чтоб знал... Ручаюсь тебе, летит в какой-нибудь Лондон или Лисабон, там туман, не приняли, вот и сели в Париже. И никто не встретил. Не привык к такому.

— Поэтому и надо было...

— Нет, не надо.

— Но это ж Сашка.

— Тем более.

На этом разговор кончился.

Ровно в 8.15 Сашка позвонил.

— Есть два предложения,— сказал Ашот.— От часу до двух, когда у меня перерыв, или после шести на целый вечер.

— Конечно, второе. Денег у меня вагон.

— А я думал, ты скажешь и... и... И днем, и вечером.

— Вот сука. Я валяюсь у тебя в ногах, в пыли, а ты...

— Ладно, отряхнись и к шести тридцати изволь пожаловать в кафе «Эскуриал». Это метро «Рю дю Бак», выйдешь, сразу увидишь, на углу бульвара Сен-Жермен.

— Ясно. В шесть тридцать.

Они провели вместе двенадцать часов кряду — с семи вечера до семи утра. Расстались, в последний раз обнялись и расцеловались на том же «Шарль де Голль», в аэропорту — Ашот не ошибся, не в Лондон, правда, и не в Лисабон летел Сашка, а на Цейлон, и из-за чего-то в Париже произошла задержка на целые сутки, даже больше.

Двенадцать часов кряду... Развалившись в креслах аэропортового кафе, усталые, обессиленные, потягивая кофе, пытались восстановить маршрут. Из одного кафе в другое. Похлопывание по спинам, сопровождаемое все теми же, достаточно известными выражениями, произошло в «Эскуриале», потом, без похлопывания, но с выражениями, из кафе в кафе (одна юная туристская парочка из Цинциннати задержалась у их столика, стоявшего прямо на улице, и произнесла — «Простите, мы так давно не слышали родного мата. Музыка...»). Итак, в порядке очередности «Флор», «Де Маго», «Липп», «Аполлинер», «Клюни» — это все на Сен-Жермен,— затем Муфтар, это за лицеем Анри Катр, что-то на острове Сен-Луи, греческие в районе Сен-Мишель и что-то еще ночное возле Гар-дю-Нор, оттуда, когда уж было совсем светло, электричкой в Ру-

асси, аэропорт «Шарль де Голль». В общей сложности то ли двенадцать, то ли тринадцать приземлений. Устали, но не опьянели, хотя пили не только пиво, как задумано было сначала, а нечто и покрепче, вплоть до очень дорогого, любимого Черчиллем коньячка. В промежутках, от кафе до кафе, набережные, мосты, пустынные площади, ступени Пантеона, переулки, закоулки, скверики, одну из бутылок распили на травке под иронически улыбающимся бронзовым Вольтером... О, знал бы великий энциклопедист, о чем говорили у его ног два эмигранта, два русских интеллигента, и взял бы свои книги, перечел бы и от многого отрежся, обомлев от того, что происходит сейчас на свете.

О чем же говорили эти два русских интеллигента, один — взошедшая и ярко сияющая звезда с вагоном денег, другой, ну что другой — средний французский трудящийся, как сам он себя окрестил. И оба — изгой, в большей или меньшей степени тоскующие по прошлому. И три года, даже больше, не видевшиеся. О чем же они говорили?

Для затравки, сидя в метро, Ашот придумал этакий шутивно-горький монолог, речь прокурора. Звучать она должна была так:

— Господа присяжные заседатели. Перед вами на скамье подсудимых человек, который никого не убил, не ограбил, не изнасиловал, ни одного из писанных законов не нарушил, как не нарушили великие его предшественники Герцен и Огарев, тоже покинувшие свою родину, человек, который, напротив, талант свой, талант своего народа подарил всему миру. И все же он сейчас на скамье подсудимых. Что же привело его на нее? Что он совершил? Что нарушил? Что преступил? За что ждет его кара, которую вы, господа присяжные заседатели, определите ему? И в чем я его обвиняю? Я обвиняю его в одном из тяжчайших преступлений перед человечеством. Он выключил свою память. Он забыл и попрал самое святое и возвышенное, что есть в жизни, — дружбу.

Прекрасный, как казалось Ашоту, монолог этот, к сожалению, произнесен не был. Во-первых, для соответствующего эффекта нужны были слушатели, которых не было, а во-вторых, после первой же рюмки Сашка перехватила инициативу, подняв кверху руки.

— Хенде хох! Сдаюсь. На милость победителя, — и тут же разлил по второй. — Пойми, несчастный, меня засосало, просто за-соса-ло... Я попал в какой-то вихрь, омут, быстрину, называй как хочешь. И завертелся, закружился, забарахтаюсь... Ведь я, уезжая, не думал бежать. Поверь мне. Все получилось как-то самой собой. Не знаю даже как. Вдруг понял — нельзя возвращаться. Увяну, скисну... А тут... сам понимаешь...

Ашот молчал, слушал, жевал омет с ветчиной. Сашка опять разлила.

— Легче всего обозвать меня говном. Зазнавшимся, возомнившимся, забывшим все на свете. Нет, Ашотик, ничего я не забыл... Боже, как часто я вас вспоминаю. Как мне вас не хватало. Не веришь? Понимаю, есть основания... И про маму мне тоже не говори. Очень прошу. Казнюсь! Ладно, пошли, ахаим...

Выпили.

Да, в том «казнюсь, пошли!» был весь Сашка. Перед ним сидел все тот же Сашка тех лет, вихрастый, возбужденный, малость растерянный, даже не малость, совсем не изменившийся, импульсивный, самовлюбленный, но, в общем, свой. И Ашот понял, что не может на него сердиться. За что? Так уж устроен человек. А в дружбе — пусть он даже изменил ей, а Ашот нет, до сих пор верит, — может быть, самое главное в дружбе — умение понять и прощать. Но было еще одно, чего он не прощал.

Уже третий или четвертый час шла их беседа. Нет, это не то слово. И вообще оно почему-то до сих пор не придумано. У Даля сказано: «Беседа — взаимный разговор, общительная речь между людьми, словесное их сообщение, обмен чувств и мыслей на словах». Ну что это за определение — да простит меня великий Даль? В нем нет главного — души. О каком размене чувств и мыслей может идти речь, когда перед тобой рычащий поток, Терек, Кура, камни, водовороты, вспышки, протуберанцы, дробь пулемета и трель соловья... Так вот, четвертый час они разменивали свои чувства и мысли, и, только когда устроились на ветхой лавчонке среди вздыбившихся корней столетнего платана на берегу Сены у Понт-Рояль, Ашот заговорил о том, что больше всего его тревожило.

Ашот был не только артистом, но немножко и поэтом. И всякого рода явления природы, как то прорывающаяся сквозь тучи луна, шуршащие под ногами листья, всплеск рыбы или такие сугубо урбанистические детали, как огонек в окне, качающийся фонарь, шепчущаяся у подъезда парочка — все это располагало его к возвышенному и, главное, серьезному. В их мушкетерской тройке он был самым серьезным.

Так и сейчас. Луны, правда, не было, но на противоположном берегу на самом верхнем этаже светилось большое окно, очевидно, мастерская художника, а на мосту тускло горели типично парижские фонари — молочный шар, а на нем шапочка. И не привычная, правда, Нева, а Сена катила у их ног свои черные, жирные от масла волны.

— Сашка,— начал он.— Хотя я и знаю: «Что наша жизнь? Игра»,— но именно поэтому и именно потому, что речь пойдет об игре, я хочу прочитать тебе маленькую нотацію.

— Песталоцци? — рассмеялся Сашка.

— И Поццо ди Борго заодно. Только тот, корсиканец, был русским послом в Париже после Наполеона, а ты просто Поццо, как был им, так и остался.

Подвыпивший Ашот был красноречив и убедителен сверх меры. Он оседлал своего конька. Сашка, мол не понимает, какая миссия ему выпала. Стоило ли дрпать, чтобы тратить время и силы на всяких минкусовских Дон Кихотов? Это ж забивание гвоздей микроскопом. Собачий бред, халоймес.

— И тебе же самому скучно, сознайся. Неужели для денег? Не верю! И неужели нет в вашем идиотском Нью-Йорке человека, который подошел бы к тебе и сказал: «Мистер Куницын, давайте перевернем мир! Пусть он ахнет и застынет изумленный, забыв о всяких там выборах, инфляции и нейтронных бомбах. Давайте поставим с вами не знаю что — «Божественную комедию», «Илиаду», Арт Бухвальда, на худой конец». Неужели ни разу никто не подошел? У вас же миллиардеров пруд пруди. И все они филантропы, не знают, куда деньги сунуть, чтоб поменьше налогов платить. Неужели среди них ни одного меломана, балетомана, в конце концов, которого можно охмурить? Ты ж у нас обаяшка по этой части.

Сашка слушал молча, не перебивая. Ломал какую-то веточку, бросал в воду.

Ашот вспомнил «Шинель», которой увлекся перед самым его отъездом... Акакий Акакиевич!

— А может, и не Акакия Акакиевича, а саму Шинель сыграть? Мягкую, уютную, обнимающую со всех сторон, пелеринки развеваются, ветер, ночь, пустынная площадь... И исчезает с грабителями. Так ее и вижу, сорванную с плеч старика, рвущуюся к нему. И старая шинель, капот — тоже ты. Жалкая, прохудившаяся, с дырками на плечах. Одетга и Дидалия... Ах, Сашка, Сашка, само ж просится...

— Ты кончил?

— Кончил.

— Дай-ка мне твою трубочку.

Ашот протянул свою старую, прокуренную пенковую трубку. Это был знак высшего расположения, высшего доверия. У знатоков-курильщиков есть даже такая заповедь — жену, коня и трубку не уступают никому. И только с Сашкой Ашот изменял этой заповеди. Ближайшему другу разрешалось.

Сашка прикурил, затянулся несколько раз.

— Видишь ли, Ашотик мой дорогой.

Ашот уже по этому «видишь ли» понял, что весь его заряд прошел мимо, не задев Сашку. Нет, может быть, и задев — кто не хочет быть Нижинским, особенно когда говорят, что он именно ты,— но в том, что говорил Сашка, было столько рационального, трезвого, взвешенного и так мало огня и задора, которые так отличали Сашку от всех других.

— Сашка, ты ли это? — не удержался он.

— Я... Нет, не я, Ашотик. Америка! Ты ее не знаешь, она прекрасна и ужасна, поверь мне. Миллионеров пруд пруди? Верно. И балетоманы среди них есть. Но Дягилевых нет. Нет у них ни Мамонтовых, ни Морозовых, есть дельцы. И от балета тоже. Да на кой хрен ему твоя «Шинель», которую он никогда и не читал, Гоголя с Гегелем путает, когда его устраивают мои антраша в любом проверенном дерьме. И на это он дает деньги и находит режиссера, сколачивает труппу, а на то, буду ли я танцевать Фавна или папу римского, ему глубоко наплевать. Был бы я! А я еще котируюсь. Все же как-никак Кировский, они считают его лучше Большого, и бежал, и относительно молод, и морда не самая отвратная, и сердце пока не подводит, верчусь, прыгаю, что еще надо? И не надо им никаких Дягилевых, Нижинских, Павловых...

— Но нам-то они нужны, нам, русским!

— Аркадий, не говори красиво.

— Отдай тогда трубку.

И разговор увял. Какое-то время сидели молча. Потом встали, перешли через мост, пошли вдоль набережной, в сторону Сен-Мишель. Потом уже Ашот с недоумением и горечью спрашивал сам себя, почему не выпалил он Сашке — Дягилев не Дягилев, но я-то рядом... Я друг, наставник, Песталоцци, знающий каждую твою черточку, каждое движение, всего тебя с головы до ног... Не выпалил. Почему? Постеснялся? Сашки? Бред. Но вот, поди ж ты, промолчал. А тому в голову не пришло. Чепуха! Пришло! Не захотел. Влип. Аме-ри-канизировался.

— А может, в отель ко мне зайдем? — спросил Сашка. — У меня еще бутылка там есть.

— Неохота что-то... Пойдем лучше на вокзал, Гар-дю-Нор. Оттуда и электричка. У тебя когда самолет?

— Надо ж вещи еще забрать. Самолет в восемь.

Пришлось зайти в отель, взять вещи — плащик и чемоданчик крокодиловой кожи — «Шикуешь, брат?» — «Шикую. Есть и другой, из кожи бегемота, а фулиж...» Бутылка оказалась коньяком, ее-то они и раздавили у ног Вольтера.

9

В этом есть, конечно, некоторое однообразие и отсутствие фантазии, но, проводив Сашку в аэропорт, Ашот не пошел ни на работу (туда позвонил и впервые в жизни сказал, что болен), ни домой, а продолжил прерванное турне по кафе. Деньги взял у Сашки, сказав просто — дай триста франков. Тот сейчас же дал, но — и это кольнуло, как и в прошлый раз — не предложил больше и вообще материальным благосостоянием не поинтересовался ни разу за всю ночь.

Ну вот, думал Ашот, шатаясь по Латинскому кварталу и присаживаясь то тут, то там в кафе, встретились, поговорили, расцеловались, на прощание Сашка дал ему свою роскошную, с золотым обрезом визитную карточку, но чего не произошло, так это того, что так ждалось и так нужно было. И, как казалось Ашоту, им обоим. Разговора по душам не получилось.

Встречаясь с приезжими москвичами и ленинградцами, Ашот давно уловил некую общую для всех (за очень малым исключением) черту — тары-бары о том о сем, как будто виделись совсем недавно, как будто не разделяет их никакой железный занавес, никакая берлинская стена, минимум вопросов — как ты, что ты, с чего живешь? В каждом слове осторожность, боязнь коснуться чего-то серьезного. Один Роман ничего не боялся да на все плевавший Тюлька, рвавшийся на порнофильмы.

Но то москвичи, ленинградцы — у них за спиной любимая родина, а в соседнем номере родной стукач, — вот и Сашка оказался таким же. Или почти таким же. Ему, правда, нечего было бояться, он не озирался и никакой занавес или стена их не разделяли, но он тоже избегал главного. Встреча друзей, которые давно не виделись, вот и все...

Роман, тот поминутно, впрочем, часто отвлекаясь в сторону, интересовался и работой Ашота, и сколько ему платят, и можно ли на это прожить, одним словом, ему небезразлична была жизнь друга, и его жены, и его матери — ну, как наша старушка, не скучает по своей коммуналке? А Сашка? Сашка все больше об Америке, американцах, которые вроде и хорошие ребята, простые, приветливые, но все у них вокруг денег, собственного бизнеса. А в коллективе — одно время он чем-то там руководил — с ними просто трудно, каждый только о себе думает. Непрочь был Сашка вставить и имена. Это, мол, когда мы с Фрэнком Синатрой на одном приеме встретились, а это после того, как с Ричардом Бартоном выпивали, вкальвает старик дай Бог, а вот Брандо, Марлон Брандо, совсем не пьет, завязал. К слову вставлялось и про прием в Белом доме, и про уик-энд на вилле у Лиз Тейлор, располнела старуха, килограммов сто, не меньше. С русскими почти не встречался, так, два-три наиболее известных, газет их тоже не читал, Брайтон Бич, Одессу на море, как прозвали то скопище одесситов, старательно обходил.

Сашке хотелось веселого, неутомительного трепы, забавных рассказов, анекдотов. Какие, кстати, Ромка из Москвы привез? Теперь все про чукчей, Василия Ивановича вовсе забыли. О самом Ромке тоже расспрашивал — говорят, режиссером стал, интересно, интересно, — но ответы слушал рассеянно и все порывался то к «Максиму», то в «Распутин». «Ну, что мы все по забегаловкам? Давай покажем им, парижанам, наши

русские загибонь. Деньги-то есть». Крайне был удивлен, что ни в одном из них Ашот никогда не был.

Нет, разговора по душам не получилось. Не произошло того, чего так ждал Ашот. Не сели они в первом же кабачке за столик, не посмотрели друг другу в глаза и не произнесли: «Ну как, Сашка? Ну как, Ашотик? Вот и драпанули мы с тобой, ты на свой манер, я на свой. И живем в чужой стране, ты в той, я в этой. И дом, в котором прожили всю жизнь, для нас теперь закрыт...» И стали бы вспоминать прошлое — а помнишь, а помнишь? Это, впрочем, было — для Ашота с болью оторванное, эх молодость беззаботность! — для Сашки же что-то, может, и уютное, но такое далекое, полузабытое. Тут же с невских набережных перескакивал на «знаешь ли, недавно праздновали столетний юбилей Бруклинского моста, выдали невиданный фейерверк, почище вашего, версальского...».

И ни разу за все двенадцать часов не задал Сашка такого естественного, такого естественного, такого само собою напрашивающегося вопроса — не нужны ли тебе деньги, Ашотик, хватает ли на жизнь?

Нет, Ашот не обиделся, не затаил ничего, при прощании у обоих навернулись слезы на глаза, но, когда вернулся домой, почему-то протрезвевший, молча плюхнулся на диван.

Авриетт спросила:

— Ну как?

— Грустно, лапонька... Очень грустно.

ЭПИЛОГ

Больше они не встречались, наши мушкетеры. И не переписываются, не звонят друг другу... Почему? Бог его знает, почему. То ли текучка заела — есть у нас такое выражение, то ли...

Фильм Романа не без успеха прошел по стране, но на очередном пленуме был все же раскритикован. Тем самым главным из Союза киношников, которого Роман считал «неплохим парнем». Впрочем, он таким и был, отнюдь не злобным, и перед своим выступлением взял Романа под локоток и сказал:

— Критикну тебя, что поделаешь. Там велели (он ткнул пальцем в потолок). Мне же фильм нравится, без дураков, и народу тоже, а на высокую трибуну, на которую я сейчас поднимусь, плюй. Признания ошибок от тебя сейчас никто не требует. Это главное. Давай заявку на новую картину. Поддержим.

Правда, поднявшись тут же на трибуну, на которую только что советовал плевать, он, как всегда, устало, даже сонно сказал, что зритель не принял картины Романа Крымова и талантливому режиссеру надо крепко об этом подумать. Этим и занялся Роман после выступления Кулиджанова, соображая, куда лучше пойти с друзьями, оператором и вторым режиссером — в ВТО или Дом литератора? Заявку на новую картину пока не подал, ищет сценариста.

По возвращении из Парижа было еще две-три неприятные минуты. Пригласили в гостиницу «Москва» на некое собеседование. Два типа с каменными лицами интересовались, почему он на два дня раньше уехал с фестиваля? Не встречался ли с диссидентами, с отщепенцами? Кто такой этот Никогосян, с которым он общался? Угрожать не угрожали, но дали понять, что вел себя он за рубежом не совсем так, как положено советскому гражданину... Господи, как портит кровь вся эта мура. Сидишь, как идиот, в этом специальном, для собеседований гостиничном номере, все время куришь, пальцы дрожат, они это видят... Тьфу! Хорошо Ашотику, никаких у него встреч в гостиницах, викаких мурлов, таможенников на границе, проверяющих каждый тубик с зубной пастой. У двоих из их группы отобрали джинсы, даже футбольный журнал про чемпионат Европы.

А Ашотик, в свою очередь, все еще завидует Роману. Да, говна там много — и того нет и того нет, и за глотку душат, — но вот пробил же он картину. В этом, может быть, главное. Силы будто и неравные, а победил, обхитрил, обвел вокруг пальца. И кого? Комитет, самого Ермаша. Ну, как тут не ликовать? А у него, Ашота? Все будто и спокойно, работа не утомительная, и на чтение остается время, но... Нет той остроты жизни, что у Ромки, борьбы, побед...

Правда, в установившейся его жизни, если не в темном, то все же в недостаточном озаренном царстве блеснул было луч света. Сыграл ни больше ни меньше как Сталина в многосерийном американском фильме. Совершенно случайно столкнулся с режиссером, как раз искавшим в Париже кого-нибудь кавказской внешности. После пробы дал ему этот, не акты какой большой, но запоминающийся эпизод. Судьбы Геловани он не разделил, не стал мелькать из фильма в фильм, но рецензии в американских газетах были хорошие, а в «Тайм» появилась даже его фотография.

Была и еще один лучик, не очень яркий, но теплящийся до сих пор, в Венеции, куда ездил с телевизионной группой на бьеннале, он познакомился с бежавшим из театра Ленинского комсомола молодым актером. Выпили в какой-то траттории, разговорились. И выяснилось, что оба они более или менее одинаково смотрят на театр. Оба достаточно критически относятся к тому, что происходит сейчас на Западе. Да и Москва, театральная Мекка, тоже не очень-то обоим радовала.

Коля Ветров, живой, востроглазый, неглупый паренек лет двадцати трех, драпувший совсем недавно, без особого энтузиазма говорил о последних московских премьерах. Молодость безапатетична, досталось от него и Любимову, и Эфросу, и Ефремову, даже лучшему, на его взгляд, среди всех — Товстогову, но, в общем-то, его взгляды показались Ашоту близкими. Оба сошлись на том, что с классикой просто беда. Режиссерам обязательно надо найти «своего» Чехова, «своего» Гоголя, все хотят быть Мейерхольдами, слова в простоте не скажут. Не пора ли пересмотреть все это? Не искать собственной трактовки «Трех сестер» или «Гамлета», а попытаться посмотреть на пьесу глазами самого автора. Пираделло пусть будет Пираделло, Ионеско — Ионеско, а Чехов останется Чеховым. За него они особенно «болели». И к концу вечера, превратившегося в ночь, вспыхнула вдруг идея поставить «Душечку», любимый рассказ Толстого, который он всем читал вслух. У Коли и актриса уже на главную роль имелась — живет в вашем Париже, русская, молодая, вылитая Душечка.

Венецианская траттория окрещена была «Славянским базаром», условлено было через месяц встретиться и к тому времени подумать, прикинуть, пошевелить мозгами. Оба друг другу очень понравились.

Из других событий в жизни Ашота произошло еще одно, довольно существенное — Анриетт ждет ребенка. Мечтает о девочке, Ашот — о мальчике. Рануш Акоповна — о любом живом существе. Тайно ото всех покупает распашонки, хотя, по русским правилам, это не полагается...

Ну, а третий? Сашка?

Только успела погаснуть надпись «Привязать ремни, не курить!», как Сашка направился в буфет. Летел он на «конкорде», самом быстром и комфортабельном самолете в мире — до Нью-Йорка три часа, и любой напиток в счет билета. Взял бутылку коньяка, полистал проспект, рекламирующий разные страны, бриллианты и японские телевизоры в виде ручных часов, потянулся за распутинским «Прощанием с Матерой», все так хвалит...

Прощание, прощание... Ашот, ох уж этот Ашотик, в бороде уже седина, а двадцатилетний рубеж никак не перешагнет, все о Дягилеве... Дягилев, Нижинский! Никак понять не может, Песталоцци наш дорогой, что сегодняшний Нью-Йорк — это не Париж начала века... Хорошо ему — отрубил полбленные ему часы и на диван с каким-нибудь Авторхановым или Гроссманом. А тут... Не успеешь слезть с самолета, как сразу же принимаешь решение. Хуже нет. Голливуд? Подписывать или не подписывать контракт с «XX век — Фокс»? На того же Нижинского? Ролька небольшая и условия дай Бог, но они же, гады, хотят сделать упор на всякие там поползновения Дягилева, чего он, Сашка, не допустит даже в намеке. Нижинский наша гордость, и ни одного пятнышка быть на нем не должно... Ну, а Япония? Ренье, принц Монакский? Все, как всегда, наползает друг на друга...

Поглатывая из бутылки и постепенно озлобляясь, Сашка пытался сообразить, как и где напоить япощку, чтоб перетащить гастроли на октябрь — за это время он как раз отправит Анжелку в Майами, пусть позагорает, — тогда в сентябре он сможет попасть в Монте-Карло на фестиваль. Ну, а «Раймонда» в Чикаго? Тоже сентябрь... А может, послать их всех подальше, всех принцев и япощек и...

«Шинель», «Шинель»! Далась ему эта шинель. Дягилев советского раздв...

И ни с того ни с сего всплыла вдруг откуда-то из глубины ночь на Неве... В тот год она замерзла чуть ли не до дна. Шли откуда-то, с какой-то веселой пьянки, спустились у сфинксов, перелись по льду. А до этого, до пьянки, занесло их почему-то на Бондарчуковскую «Войну и мир» — как ни странно, не так уж плохо. Аустерлицы, балы, люстры, может быть, и многовато, но Кторов — старик Болковский и Петя Ростов, совсем молоденький актерик с нехорошей фамилией Ермилов, запомнились, врезались в память.

И вот посреди Невы с небольшой поземочкой Сашка пустился в пляс. Ей-Богу, лучше в своей жизни он не танцевал. За двоих! Александр I на коне, молодой красивый самодержец всероссийский, и влюбленный, восторженный, потерявший голову Петя. И сразу же последняя ночь, заточка сабли — вжиг-вжиг! — и хор, высокое небо, звезды и гибель — замахал, замахал руками и свалился с лошади...

— Сашка, ты гений! — сказал ему тогда Ашот. — Такое станцевать можешь только ты! Все! — и, смеясь, добавил: — Как видишь, сочетание Бондарчука со ста грамм-ми дало прекрасный результат.

— А граф что, ни при чем?

— Граф издевался над балетом.

— Вот и расколол я его пополам... Таки гений!

Сашка вытянул ноги — в «конкорде» широко, просторно — и стал сквозь иллюминатор разглядывать клубящиеся под ним облака. Солнце заходило, и они были совсем розовые. Петя Ростов, Петя Ростов... Да кому он здесь нужен? Нам, нам! Нам, русским! Русским? Вот и Рудольф, и Мишка Барышников, и Годунов тоже русские, а что они... А ты не Нуреев, ты Кунитсин! Ашот безапелляционен, рубит с плеча. И знает же, негодяй, что умею! Нет, умел загораться... Все в прошлом... А теперь?.. «Раймонду» к черту, Бог с ней. Косоглазого завтра же, нет, послезавтра пригласить в «Плаза-отель», напоить и охмурить. В Монте-Карло телеграмму — «Буду!», такое нельзя пропускать... Анжелику в Майами... А маму? Ох, мама, мама, мама, черт знает что... Сегодня же сяду и напишу длинное, подробное письмо.

Сашка встал и опять пошел в буфет. Они летели уже над Канадой.

У стойки стоял багроволицый американец и сосал обычное их виски-сода. Он долго разглядывал Сашку, пока тот заказывал коньяк, потом спросил:

— Скьюз ми, ар ю Кунитсин?

— Да, а что?

— Вы очень хорошо танцуете, я вас видел по телевидению. В «Дон Кихоте».

— А что вы хорошо делаете? Я вас по телевидению не видел.

— Я? — багроволицый несколько растерялся, потом засмеялся. — Деньги! Я бизнесмен.

— И какой бизнес?

— Готовое платье.

— И шинели тоже делаете?

— Какие шинели?

— Для титулярных советников.

— Не понял...

— Дайте телефон. В Нью-Йорке я позвоню. Мне нужно платье для моей девушки, но такое, чтоб Каролин Монакская лопнула от зависти. Можете?

— Но у меня только готовое платье.

— Тогда торгуйте им на Гренаде. Мое почтение.

— А может, угостить вас виски? — осведомился тем не менее бизнесмен.

— Нет, я пью только водку. И только «Московскую».

— А не коньяк? У вас, вижу, в руках коньяк.

— Это для друзей. А я — только водку. И только «Московскую».

— Я думаю, тут есть.

Оказалось, что есть, и было заказано два полных «фужера», как они назывались в России, со льдом.

— И будьте любезны, одним глотком, — сказал Сашка.

— Как так? — удивился бизнесмен.

— А вот так, — и Сашка показал как.

Бизнесмен попытался повторить, поперхнулся и долго кашлял. Когда он откашлялся, Сашка спросил, что он знает о человеке по фамилии Гоголь.

— Это у которого часовой магазин на Сентрал-стейшен?

— Нет, он мертвыми душами торгует...

— Не понял...

— Ну, тогда возьмем по лобстеру, по-русски они называются омарами, и поговорим о Майкле Джексоне. Вы его поклонник?

В Нью-Йорке они очень мило попрощались. Бизнесмен еле держался на ногах, а Сашка, взяв такси, благополучно добрался до своего «апартамент» на Пятой авеню, с видом на Централ-парк, и завалился спать. Проспал часов двенадцать, не меньше.

Снилась Каролин Монокская, танцующая танго с Ашотиком, оба в шинелях, под басовые раскаты мужского хора и сабельные вжиг-вжиг-вжиг...

Вот так сложились, вернее, складываются их судьбы, судьбы трех неразлучных и разлучившихся, или разлученных, мушкетеров... Один в Нью-Йорке в шестикомнатной квартире с ониковой ванной на Пятой авеню и разными там Япониями и Цейлонами... Другой — в Париже в трех комнатах на рю, подумать, Рембрандт, возле парка Монсо, и не частые, но все же путешествия на стареньком «рено-5»: через Пиренеи и Андорру до самого Гибралтара и обратно... Ну, а третий исподволь готовит новую победу над Ермашом, тайно шущукаясь за столиками ВТО и ЦДА с поборниками настоящего искусства — опытными сценаристами, которым надоело врать, и молодыми писателями, еще не научившимися этому. Насчет поездок — не дальше Коктебеля, Дубуатов и Репино...

Перспективы?

Ах, как хочется подвести какой-то итог. Разобраться в том, кто из этой тройки выиграл, кто проиграл, кому посчастливилось, кто из них, в конце концов, оказался победителем в битве за жизнь, свободу, правду и т. д. Но нет, не мне, бесстрастному летописцу, судить об этом, делать прогнозы. Уклоняюсь. Подождем...

Да, но почему же — естественный вопрос — я позволил все же назвать свою маленькую повесть печальной? Все как будто не так уж плохо — живы, здоровы, работают, собираются даже рожать?

Прочитайте две первые фразы эпилога, и вы поймете. Не переписываются, не звонят...

Сегодня воскресенье, а в среду 12 сентября минет ровно десять лет с того дня, когда, обнявшись и слегка пустив слезу, мы — я, жена и собачка Джулька — сели в Борисполе в самолет и через три часа оказались в Цюрихе.

Так, на шестьдесят четвертом году у меня, шестьдесят первом у жены и четвертом у Джульки началась новая, совсем непохожая на прожитую жизнь.

Благословляю ли я этот день 12 сентября 1974 года? Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут я ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, скучаю. И очень.

Выяснилось, что самое важное в жизни — это друзья. Особенно когда их лишешься. Для кого-нибудь деньги, карьера, слава, для меня — друзья... Те, тех лет, сложных, тяжелых и возвышенных. Те, с кем столько прожито, пережито, пройдено по всяким Военно-Осетинским дорогам, ингурским тропам, донским степям в невеселые дни отступления, по Сивцевым Вражкам, Дворцовым набережным, киевским паркам, с кем столько часов проведено в накуренных чертежках, в окопах полного и неполного профиля, на кухнях и забегаловках и вышито Бог знает сколько бочек всякой драни. И их, друзей, все меньше и меньше, и о каждом из них, ушедшем и оставшемся, вспоминаешь с такой теплотой, с такой любовью. И так мне их не хватает.

Может быть, самое большое преступление за шестьдесят семь лет, совершенное в моей стране, это дьявольски задуманное и осуществленное разобщение людей. Возможно, это началось с коммуналок, не знаю, но, так или иначе, человеческое общение сведено к тому, что, втиснутые в прокрустово ложе запретов и страха, люди, даже любящие друг друга, боясь за свои конечности, пресекают это общение. Из трусости, из осторожности, из боязни за детей, причин миллион. Один из самых моих близких друзей, еще с юных, восторженных лет, не только не пришел проститься, но даже не позвонил. Ближайшая приятельница категорически запретила ей звонить, не то что заходить. Еще один друг, тоже близкий, хотя и послевоенных лет, прощаясь и глотая слезы, сказал:

— Не пиши, все равно отвечать не буду...

И это «отвечать не буду», эта рана до сих пор не заживает. Я внял его просьбе, не писал, но втайне ждал, надеялся, что он как-нибудь, надравшись в День Победы, возьмет открытку, напишет на ней левой подмышкой «Поздравляю!» и без обратного адреса опустит где-нибудь в Дарнице или на вокзале. За десять лет ни разу не надрался... Во всяком случае, не написал, не опустил... А все это соль, соль на мою рану...

И маленькая моя повесть печальна потому, что если между двумя из моих друзей воздвигнута берлинская стена, то двоих других из этой троицы разделяет только вода, только Атлантический океан... Нет, не только океан, а нечто куда более глубокое, значительное и серьезное, что и побудило меня назвать свою маленькую повесть печальной.

Аминь.

Колюр — Париж, июнь — октябрь, 1984

От издательства. Пока в типографии набирался текст повести, по дошедшим до нас сведениям, в Париже по адресу рю Рембрандт, 15 доставлена была телеграмма следующего содержания: «Срочно вылетай тчк расходы оплачиваются тчк телеграф 998 пятое авеню мне тчк целую жду тчк Сашка».

О Викторе Некрасове

1

«Маленькая печальная повесть» — последнее произведение Виктора Некрасова, написанное и напечатанное в Париже в 1984 году.

И хотя, по моим представлениям, он не думал о смерти, когда ее писал, а думал о жизни, но, как всегда, последняя вещь заставляет нас самих задуматься о конце, о трагическом пути к нему. В записках об Италии, которые он назвал «Первое знакомство», есть, как почти всегда бывает в его вещах, мгновенное возвращение к войне. В 1943 году на берегу замерзшей Волги, когда победой закончились бои под Сталинградом, Некрасов пошел на Тракторный завод, потом разыскал щель, в которой, не раздеваясь, прожил сорок два дня. И по дороге к штабу увидел пленных немцев, их вел командир роты. Некрасов рассказывает, как они выглядели, как несли за плечами рюкзаки. А один был без рюкзака.

«Говорит, что француз», — сказал ему командир роты. А Некрасов добавляет: «Это был первый в моей сознательной жизни француз... Француз оказался эльзасцем...»

И этот образ-символ возник, казалось бы, так нелогично, в момент победы, на фоне сгоревшего, разрушенного Сталинграда.

Первый в жизни Некрасова француз... Еще так длинен и тяжел путь от Сталинграда к Парижу.

Но книгу, которую он выпустил в эмиграции под названием «Сталинград», он открыл фотографией: «В. Некрасов на Мамаевом кургане. 1973 год». Это было прощание с городом во всех смыслах этого слова — ведь от старого Сталинграда ничего не осталось. Некрасов стоит один на фоне огромного подъемного крана, не понимая и не зная ничего вокруг.

Еще в «Окопах Сталинграда» он написал: «Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего».

И добавляет: «Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окуроч. Маленький, еще дымившийся окуроч...»

Этот дымившийся окуроч, прилипший к губам убитого бойца, после смерти Некрасова тоже совершил свой круговорот и приобрел для меня особый смысл. Я вижу его фотографию, которую он выбрал для журнала «Юность» — живое лицо с папиросой, зажатой в зубах. И вроде бы закончил путь.

Когда я позвонила ему в Париж в июле 1987 года и сказала, что веду переговоры с журналом «Юность» о публикации «Городских прогулок», он был доволен, но сначала

ла говорил сдержанно. А когда я сказала, что нужна фотография, то тут по голосу его поняла, как он рад.

Конечно, у меня много его фотографий, но хотелось, чтобы выбрал он сам, я знаю, как он относился к фотографиям.

И он спросил:

— А можно помоложе?

Я ответила, что в выборе фотографий ему предоставляется полная свобода. Тут мы посмеялись громко, и он прислал мне фотографию с письмом и обращением к читателям «Юности». Получила я все это из Парижа через три дня после разговора.

Я помчалась в «Юность» (это было в конце июля), уверенная, что он увидит будущий номер и себя в нем.

Но 3 сентября 1987 года Виктор Некрасов умер. А папироса, зажата в зубах, всегда будет дымиться, как у того убитого бойца.

Вспоминая начало его пути, ища определения и эпитеты, я прежде всего хотела бы сказать о том, с каким великим достоинством вступил он в литературу. В сталинские победоносные, послевоенные годы.

Повесть «В окопах Сталинграда» была напечатана в журнале «Знамя» в 1946 году.

Интересно, как начинается она: «Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно...» И встает перед нами Сталинград — черный город, красное от влamenti небо и Волга — красная, как кровь.

Так начинает он свою тему разрушенных городов — от Сталинграда — к Киеву...

Да, много говорили о том, что это первая, необыкновенно правдивая, честная, прекрасная книга. Что от нее пошла наша честная проза о войне. К этому хотелось бы добавить — и не только о войне. Огромно было ее влияние на сердца людей. Бесценный вклад гуманизма...

«Мы терялись, путались, путали друг их, никак не могли привыкнуть к бомбежке». «А где фронт?», «А где сейчас немцы?», «Не нравится мне эта тишина», «Немцы летят прямо на нас», «Танки идут прямо на нас».

Солдаты, солдаты, солдаты — их лица, их образы проходят вереницей в книге.

С каким пониманием каждого шага описывает их Виктор Некрасов — их командир, лейтенант.

Это книга о солдатах и их командире Некрасовский сталинградский окоп — это, может быть, и дом Грекова из романа Гроссмана «Жизнь и судьба» или батарея капитана Тушина у Толстого. Керженцев — Некрасов в окопах Сталинграда, его щель, его лопаты, его саперы и солдаты, мины, собственноручно заложенные им на Тракторном...

Благородство его воинского подвига надо уметь прочитать, понять и оценить в книге. На войне он был сначала лейтенантом, а потом капитаном и воинские свои представления, чувство чести передал с дворянско-декабристской простотой и прямоотой.

Характерно, что в этой своей повести он часто вместо «я» говорит «мы»: «Мы да же не слышали выстрела. Пуля попала прямо в лоб...»

Особая некрасовская интонация — сплав мужества и доверия.

Как он написал своего Валегу, ординарца...

И я вспомнила, что в конце 60-х годов, приехав в Москву Некрасов вдруг сказал:

— Знаете, нашелся Валега!

Это было чрезвычайным событием.

В «Окопах Сталинграда» Валега однажды сказал: «Когда кончится война, я поеду домой и построю себе дом в лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. А вы приедете ко мне и проживете три недели...»

Керженцев улыбается.

— Почему именно три недели?

— А сколько же? Вы больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете».

И оказалось, что все эти десятилетия дома, в Сибири, своим детям Валега рассказывал о своем «капитане».

А когда дети выросли, они стали повторять: «Что же ты, батя, все о каком-то капитане рассказываешь, взяв бы и разыскал его»,

И Валега стал разыскивать своего капитана. Через киевскую милицию... И нашел. И написал письмо по адресу, который дала ему милиция.

Надо ли к этому добавлять, что Валега не знал, что капитан Некрасов стал писателем, не знал, что сам он стал героем его книги, его фильма «Солдаты».

Связь восстановилась, и Некрасов вместе с актером Юрием Соловьевым — он играл в фильме роль Валеги — поехал на Алтай на встречу с Валегой («Живой, книжный, киношный» — так назвал он свой рассказ об этом).

И пишет, как теперь восхищают его милые, как он говорит, письма, написанные Валегой, которые неизменно начинались словами: «Дорогой и любящий друг Виктор Платонович!..»

Так завершилась эта история.

Книга Некрасова открыто и незащищенно противостояла всем законам и канонам тогдашней литературы. Вспоминая потом о ней, он говорил, что в его повести нет ни генерала, ни политработника. В ней нет фактически Сталина. Только солдаты и офицеры и его некрасовский сталинградский окоп.

Знаменательно, как появляется в этом окопе Сталин.

«У Валеги и Седых, в их углу, даже портрет Сталина и две открытки: одесский оперный театр и репродукция репинских «Запорожцев».

Моментальный некрасовский снимок — в углу Валеги — это надо увидеть и понять.

Смена фотографий, фотомонтаж — один из любимых приемов, выражающий некрасовский иронический взгляд на мир. В углу у Валеги (не у Керженцева — Некрасова), рядом с оперным театром и «Запорожцами».

В другой раз имя Сталина вмонтировано в текст листовки Гитлера о том, что Сталинград, город Сталина, должен пасть.

С этой книгой Некрасов вышел на острие ножа, тем более что читательский успех ее был необычайный, ни на что не похожий, объединяющий лучшие нравственные силы общества.

Против книги сразу же выступили критики — проработчики и Поликарпов — тогдашний идейный руководитель Союза писателей.

В самом Союзе было два резко критических обсуждения книги — на специальном заседании президиума и на совещании, организованном военной комиссией.

Главный редактор журнала «Знания» Всеволод Вишневский, отправляя Некрасову стенограмму одного из них, писал: «В стенограмме много ерунды. Иногда делается просто больно, что люди, удравшие от боев за 600—700 километров, ни черта не понимающие в военном деле, трясут своим жиром и чему-то обучают Вас и редакцию».

Если даже не погружаться в историю нашей журналистики, нельзя не сказать, что журнал «Знания» в военные и послевоенные годы был лучшим журналом и напечатал много хороших вещей. При Вишневском и его заместителе Тарасенкове.

Была тогда надежда, вздохнувшая силы в этот журнал, надежда на то, что после войны в литературе нельзя будет лицемерить и лгать.

Надежда эта была грубо затоптана в августе 1946 года постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград». А повесть Виктора Некрасова печаталась в том же 1946 году в номерах 8-9 (своенные номера) и 10. Значит, одновременно с постановлением. И, как видим, подверглась поношениям вполне закономерно.

Но длилось это недолго. И однажды ночью, когда решался вопрос о присвоении Сталинских премий, Сталин — лично — включил Некрасова в число лауреатов. Начались издания, переиздания.

Сейчас ясно, что присуждение Сталинских премий было для Сталина своеобразной дымовой завесой. Ведь он действовал как делец. Каждая премия имела свою цель — и сложную и примитивную. Вот этот 1946 год, еще очень связанный с подъемом душевных сил, отданных войне. Поэтому ему были нужны и Виктор Некрасов, и Твардовский с поэмой «Дом у дороги», и «Спутники» Веры Пановой. А рядом — пьеса Константина Симонова «Русский вопрос», пропитанная духом сталинизма. Этим же грубым расчетам служил и роман «Счастье» Павленко, не говоря уже о «Кавалере Золотой Звезды» Бабеевского.

Но Сталину нужны были крупные имена. Ведь был же у него такой послушный ему Толстой, почему бы не заполнить еще и Некрасова?

Прямая задача Сталинских премий, конечно, была и в отборе опричников для свершения всех настоящих и будущих заплочных дел — так были вытасканы лично Сталиным и Суров, и Бубеннов, и Первенцев — «диверсионная гвардия».

Но сам Сталин при этом еще хотел от писателей «сталинских чудес», мифов о «товарище Сталине». И добивался больших успехов. Не надо забывать, что только в книгах, а не на колхозных полях по его приказу колосились хлеба! Поэтому в отношении с писателями он, запутывая следы, спускал им мифы о себе.

Мы знаем на многих примерах из жизни даже очень хороших людей, что значил звонок «товарища Сталина» — простой звонок. А что такое премия! Как меняла она душу, как переключивала чувства, как часто ломала жизнь.

Все можно прочитать в нашей истории. Но пишу я это для того, чтобы сказать «во весь голос», что такого неблагогодарного лауреата, как Виктор Некрасов, у Сталина не было никогда. У Некрасова не шевельнулась бровь, не изменился голос, ни на секунду не дрогнуло перо в его руке. Он остался верен себе, своему будущему пути. Практически через год по указанию Сталина начался разгром журнала «Знамя». Стали тспгать повесть «Двое в степи» Казакевича, растерзали в клочья «порочную» повесть Мельникова «Редакция» — молодого, огаренного, живо пишущего писателя. Сделали его скопищем всех бег.

Были сняты с работы и Вишневский, и Тарасенков. С того времени (казалось, что навсегда) назначили Кожевникова главным редактором журнала. Так кончилась эта «сказка о товарище Сталине».

И мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что поведение Некрасова не могло не войти в глубины этой истории.

После получения премии он не оправдал надежд Сталина. Не создал, например, как Павленко и Чаурели, «Пагения Берлина». Все написанные в эти годы рассказы (например, «Сенька», «Рядовой Лютиков» и другие) он спокойно включал во все последующие свои сборники, в том числе и в изданный потом в Париже — «Сталинград».

2

Главным ответом Некрасова Сталину была повесть «В родном городе». Надо предсавить, что писалась она в годы подлинного успеха, особенной «моды» на него, настоящей славы.

«Трамваи ходили редко и были так переполнены, что Николай со своей раненой рукой предпочел идти пешком», — так герои войны, победители и инвалиды возвращаются в «родной город».

Николай Митясов отличается биографически от Виктора Некрасова, хотя оба они вернулись с войны капитанами, два раза ранены, с перебитой рукой. Некрасов не любил говорить о ранах, но в этом отделившемся от него Митясове передает боль неустроенности и просто физическую боль.

Он спит на чужом продавленном диване в огромной коммунальной квартире. У него нет вещей, нет семьи, нет квартиры. Очереди, очереди, очереди... И переполненные трамваи, пивные и толкучки.

«Он должен посыпать погоны нафталином и спрятать их в комод»; «К военной службе не годен. Подлежит переосвидетельствованию через шесть месяцев».

Эта нелепая формула сопровождала инвалидов войны почти всю их жизнь. Когда безногие люди должны были каждые шесть месяцев приходить на переосвидетельствование, чтобы выяснилось, не выросла ли у них за это время нога.

Некрасов запечатлел это горько и печально.

Он поведал в этой повести жестокую правду о том, как Сталин обошелся с победителями, вернувшимися с войны. Солдаты были так же не нужны ему, как и маршалы.

Их никто не устраивает на работу, никто не думает об их квартире, пайке, об их жизни. Они получают крошечную пенсию, на которую нельзя прожить честным трудом. Их не учат, не лечат, они не имеют протезов и инвалидных колясок.

На наших глазах они собираются в пивнушках и начинают пить. Этот страшный момент запечатлен Некрасовым. А другие идут на легкие заработки, торгуют пивом, воруют. И тоже пьют.

Митясов с трудом получает паспорт, но «временный», управдом выкидывает его из квартиры, как непрописанного. Но главное, что он не может жить честно. И с мизерной работы инспектора райжилотдела вынужден уйти, потому что там надо воровать. Потом он идет учиться в Строительный институт, где завязывается главный конфликт благородства и подлости.

Когда декан факультета Чекмень начинает выкидывать из института старого профессора (он, мол, в Киеве жил при немцах), Митясов выступает на защиту его и веляет Чекменю пощечину, которая в те годы потрясла своим мужеством читателей повести.

Перечитывая эту вещь сейчас, после всего, что предстояло пережить Некрасову, зная его жизнь, не могу спокойно думать об этих страницах. Персональное дело Николая Митясова... Будто Некрасов прочерчивал свою будущую жизнь. Как вызывали на бюро, как решили исключить из партии — все то, о чем, казалось, не подозревал тогда он сам. И речь Николая Митясова на общем собрании:

«— Я не буду оправдываться. И не хочу. Я ударил человека и за это понесу наказание. Я должен был сдержаться, но не смог».

И потом: «...Нужно быть последней сволочью, чтобы... Простите меня, товарищи, но я прямо скажу: я не знаю еще, как бы каждый из вас, сидящих здесь, поступил, если бы в его присутствии человек, да еще коммунист, — нет, не коммунист, он только билет в кармане носит, — словом, если бы такой человек сказал вам, что три четверти людей, попавших в плен, пошли туда добровольно, что все, кто под немцами были, — все без разбора, подлецы и мерзавцы... Не знаю, что бы вы сделали... Я ударил. Вот и все».

Николай через плечо взглянул на Алексея: «Теперь можешь ты говорить. Если у тебя совесть еще есть. Я все сказал».

Удивительно звучит и сейчас эта речь. А Чекмень стоит перед глазами как живой. Вплочение сталинского мира, его психологии и морали.

Влепив пощечину, Некрасов вместе с Николаем Митясовым по-своему побеждает его. И радуется этой победе. Такое впечатление от этой повести, напечатанной в журнале «Новый мир» в 1954 году.

Естественность мгновенных благородных человеческих реакций так характерна для творчества и жизни Виктора Некрасова. Не смолчать, не стерпеть, дать пощечину и вызвать на дуэль. Я бы могла привести целый список тех, кто подлежал «вызову».

Но характерно, что, рассказывая о том, как Николай Митясов дал пощечину, он добавляет, что герой испытал такую же боль, как тогда, когда его ранили. Удивительная подробность!

Так эти произведения Некрасова определяли пути будущего развития литературы.

К этому надо добавить, что и война, и Мамаев курган, и Волга, как и разрушенный Крепцатик, и Андреевский спуск, никогда не исчезнут из его книг. Они будут возникать опять в новом повороте — и в таком классическом рассказе как «Вторая ночь», и в такой лирической фантастике, как «Случай на Мамаевом кургане», и во многих других его вещах.

3

Я помню, как появилось «Первое знакомство» Виктора Некрасова — о трех неделях, проведенных в Италии в апреле 1957 года. Подзаголовок был неожиданный и непривычный и для нас и для Некрасова — «Из зарубежных впечатлений». Мы читаем:

«В одно прекрасное солнечное утро, в последних числах апреля 1957 года, трое полицейских, несших службу на набережной Сеңы неподалеку от дворца Шайо, обратили внимание на подозрительного субъекта, который, прохаживаясь вдоль устоев моста Иена, время от времени приседал на корточки и что-то фотографировал».

Полицейские окликнули его. Он не расслышал (или сделал вид, что не слышит), застегнул футляр фотоаппарата и быстро, через одну ступеньку, взбежал вверх по каменной лестнице. Старший из полицейских сделал знак своим товарищам и устремился за ним. Только у входа на мост удалось задержать незнакомца».

Так впервые появился Некрасов в Париже, преследуемый французскими полицейскими.

Все кончилось, как он рассказывает, «идиллией»: «Трое полицейских, расправив плечи выстроились в ряд, а иностранец, отойдя на несколько шагов, запечатлел их на пленке своей «Экзакты»».

В этот же день «иностранец» был в Москве (все произошло за два часа до вылета) и показывал друзьям и знакомым «свеженпечатанную фотографию трех парижских «ажанов» на фоне Эйфелевой башни».

Потом появится в книге и собственный его рисунок, забавный, с некрасовским юмором запечатлевший эту смешную сцену.

Что же главное в его отношении к Западу? И тут главное — правда: «...не надо глотать аршин... Надо быть самим собой» — и в Риме и в Неаполе...

При всей внешней легкости и шутовости его фраз в них выражена позиция. Твердая и неколебимая...

Грустно, что Некрасов не дожил до наших дней и не узнал, что его точка зрения победила и в этом.

Надо сказать, что зарубежные его впечатления опирались на исконную культуру чувств и широту интересов. В этом ясном определении — и на Западе быть самим собой, не врать, не притворяться, не льстить — заложена еще и четкая программа отрицания всех видов мещанского отношения к жизни, в том числе и западного пижонства, пустою погражательного звона, которых не выносил Некрасов.

Те немногие путешествия, которые ему удалось совершить на нашей земле, связаны еще и с особенной художественностью и артистичностью его личности.

И то, что он любил бродить по Киеву, Ленинграду и Москве, что был архитектором и отлично чувствовал живопись, скульптуру, архитектуру. Что любил знакомиться с людьми и узнавать их на улицах и бульварах. Ходить, бродить, смотреть...

И сам рисовал забавные картинки, пейзажи Рима и Парижа, был прекрасным фотографом — снимал, дарил и вешал на стены у своих грузей. (Например, дом Турбиных в Киеве, на Андреевском спуске, который он обнаружил сам, потом написал рассказ «Дом Турбиных» и сделал множество уникальных фотографий этого дома).

«Первое знакомство» еще сошло Некрасову с рук. Но со вторым и третьим знакомством началась мука. Пишу это по праву редактора этих вещей в «Новом мире».

Конечно, в те годы Некрасов было трудно найти на Западе не врага, а друга. Но он вообще и в жизни любил встречи с грузьями, а дружку считал высшим достижением человеческого духа. Читатели поймут это, прочитав его «Маленькую печальную повесть».

«По обе стороны океана» — так назвал Виктор Некрасов свои новые зарубежные впечатления. Первая часть — «В Италии» — была напечатана в «Новом мире» в номере 11 за 1962 год. «В Америке» — в следующем — 12 номере.

Некрасов непросто «проходил» через Твардовского, что приносило мне и ему большие огорчения.

Могу только добавить к этому, что сейчас как о чем-то горогом и безвозвратно ушедшем я вспоминаю страницу рукописи Некрасова и его фразу «Я побежал за свежим батоном», а на полях рукой Александра Трифоновича — уверенно и четко: «В твоём возрасте пора перестать бегать».

Я, грешная, становилась на сторону Некрасова, видя, как он обижен. И получала за это свое.

С того времени, как я свала в набор рукопись Некрасова, стоит перед глазами картина Паоло Учелло «Битва».

Как Некрасов описал ее, увидав во Флоренции, в Уффици. Как перевел на язык литературы...

«Первое, что тебе бросается в глаза, когда ты входишь в зал, это брыкающаяся обеими задними ногами лошадь в первой части картины. И еще две лошади — поверженные, голубого цвета. Почему они голубые? Не знаю, но они должны быть голубыми».

И дальше: «Первый план — сражающиеся рыцари. В центре на белом коне — падающий от удара копьём воин. Копьё невероятной длины, мощно пересекает картину по горизонтали. Слева и справа лес других копий, создающих редкой красоты, почти музыкальный ритм...»

И, прерывая свой рассказ, Некрасов спрашивает, прямо обращаясь к читателю: «Описал картину? Да разве опишешь?»

И эти то иронические, то шуточные, а иногда и сатирические сцены, диалоги и описания всегда перемежаются лирикой души: «Есть еще одно, что доставляет неизъяснимое наслаждение, — вторичные встречи».

А вторая часть записок Некрасова «По обе стороны океана» называется, как я уже говорила, «В Америке», куда он прилетел осенью 1960 года. Первый раз в жизни.

«Предвижу тысячу вопросов, — пишет он. — А правда, что Кулукс-клан всех терроризирует? А правда, что в Нью-Йорке каждые шесть минут совершается преступле-

ние? Что летом температура там поднимается до +45 в тени? Что на каждого американца приходится по четверти автомашины? Что... Нет, ни на один из этих и подобных им вопросов отвечать не буду. Буду говорить только о том, что видел собственными глазами. И по возможности никаких цифр, хотя в Америке их очень любят. А может, именно поэтому».

На этот раз декларация — даже с вызовом.

Некрасов едет в Америку с группой туристов. И тут возник и навис над жизнью Некрасова этот руководитель группы, «некто» — называет его Некрасов. И добавляет: «Назовем его для простоты Иван Иванович». Он трясся от волнения и «поминутно пересчитывал нас, как цыплят».

Не давал смотреть, не давал ходить, не давал гулять. «Просто погулять» по Бродвею — этого «он почему-то особенно страшился».

Образ вышел и конкретный и нарицательный.

И, говоря об улицах, людях и домах, Некрасов возвращается вдруг в Москву — к двум памятникам Гоголю или рассказывает с любовью о фильме Хуццева «Застава Ильича», прочерчивая внутреннюю, собственную, некрасовскую связь между странами и континентами.

Интересны и очень злободневны (и сейчас) его размышления об особенностях архитектуры небоскребов.

А в конце возникает и эта тема — тема эмиграции: «Русский за границей... В большинстве своем это трагедия...»

Потом опять: «Все это трагедия. А сколько их на белом свете... Людьми, помнящим свою родину, особенно тяжело».

Так важны были для нас эти вещи, так необходим его взгляд, его мир. После войны, после Сталина — пробивание железной стены.

Но при Хрущеве, при всех его великих заслугах в возвращении арестованных и сосланных, в разоблачении Сталина была мучительная нестабильность в жизни интеллигенции, в судьбах писателей и художников. Казалось, что к нему в заметники попали тяжкие и преступные завистники — неудачники.

«Дело Пастернака», «Дело Гроссмана», первый разгром «Нового мира» и первое снятие Твардовского, Манеж, уничтожение «Литературной Москвы»...

А сейчас ему на стол положили «Дело Некрасова». Мне в те годы сказали, что это «досье» — с доносами на Некрасова. Вероятно, доносчик был не один, может быть, в их число входил и человек, названный Некрасовым «Иван Иванович».

Хрущев вдруг стал ругать, кричать и поносить Некрасова. «Некрасов, да не тот!» — раздался его крик.

Почти сразу после выхода двенадцатого номера «Нового мира» за 1962 год в «Известиях», редактируемых А. Агжуебом, появился издевательский фельетон о Некрасове «Турист с тросточкой». Написал его М. Стурра.

Там были и такие слова:

«В. Некрасову понравились небоскребы на Золотом берегу в Чикаго. Но можно дать справку: один квадратный фут земли стоит что-то около 20 тысяч долларов. Естественно, что квартирная плата в этом районе по карману только миллионерам, поэтому противопоставлять их архитектуру московским Черемушкам по меньшей мере нелепо. И даже совсем непонятно, как умудрился советский писатель не увидеть социальных контрастов и классовых противоречий американской жизни, военного психоза, разжигаемого империалистическими кругами. Вот уж, действительно приехал турист с тросточкой».

Сейчас кажется, что это пародия. Но это подлинная статья. Наша беда, что всегда находились авторы для таких статей. А московские Черемушки, опасность которых с первой минуты отчетливо понял Некрасов (и боролся, как мог), далеко завели нашу архитектуру и жизнь городов.

Да, это было в «эпоху Манежа» — была у нас и такая эпоха, когда Никита Сергеевич кричал на художников, выставленных в Манеже.

Некрасов тут же в доме своих грузей Лунгиных, где он жил в Москве, нашел какую-то палку — трость и ходил по квартире только с ней, с ней и встречал гостей. А на книге, подаренной мне, он к своей фотографии пририсовал не только тросточку, но и цилиндр.

Юмор, конечно, не покидал его никогда.

Но статья эта и то, что стояло за ней, обрушилось на его жизнь и творчество.

Сразу же в Киеве было заведено первое персональное дело Некрасова — он должен был ходить на парткомиссии, собрания, терпеть разные проработки.

Считалось, что за низкокклонство его надо исключить из партии, дело тянулось долго. В тот раз не исключили.

И все-таки, как будто ничего не произошло, он пишет следующие вещи.

Мне в те годы казалось, что он дал пощечину своим критикам — изящную и победительно смешную — в рассказе «Из Касабланки в Дарницу». Маленький рассказ...

По дороге из Москвы в Киев Некрасов встречает разных людей — прежде всего двух солдат, с мгновенной нежностью показанных им. И вместе с ними едет и писатель, он возвращается домой из Касабланки. Писатель все время рассказывает о Марокко.

«Страна поразила его главным образом своими контрастами. На одном полюсе роскошь и богатство, громадные отели, «эр-кондишен», на другом нищета, болезни, голод».

«Весь остаток дороги писатель рассказывал о «контрастах Марокко».

Образ писателя будто сошел со страниц газеты «Известия», как осуществленная мечта фельетониста.

«Месяц во Франции» — новые путевые заметки Виктора Некрасова.

Прохождение рукописи — тяжелее не бывает. Цензура насторожилась... Опять Некрасов. Опять путешествие. После всего, что было...

Послали в набор. Цензура остановила, и рукопись оказалась на столе Поликарпова. Сняли окончательно и, как мы глумили, навсегда.

Замечания были странными. Например, нельзя было писать, что во французских газетах печатают карикатуры на президентов. Пришлось вычеркнуть, но, вычеркивая, добавляли новые подробности.

До сих пор не понимаю, почему посчитали крамолой слова Некрасова об аполитичности «среднего француза»...

И все-таки в апреле 1965 года «Месяц во Франции» появился в журнале «Новый мир».

«Отдельный оттиск» — так называлась у нас в журнале переплетенная в обложки «Нового мира» часть журнала с публикациями каждого автора.

«В «оттиск» — для меня — Некрасов вложил яркую открытку, на ней — Париж, огромное дерево на берегу Сены. И написал: «...на память о нашей «многострадальной Франции».

А на другой странице слова: «В моей книге, конечно, найдутся ошибки, но в ней нет намерения обмануть, польстить, очернить кого-нибудь. Я буду говорить правду. В наше время это нелегкое обязательство, да же когда говоришь о колоннах и статуях...»

И добавил: «Стендаль. «Прогулки по Риму». 1827».

С такой выстраданностью это переписал и вставил в экземпляр — мой, личный.

А в 1967 году в издательстве «Советский писатель» появилась книга «Путешествия в разных измерениях», куда вошли эти вещи. И мне хотелось бы привести ту часть его дарственной надписи, в которой запечатлена история печатания:

«...Книжечка это результат 5-летней борьбы, впитала в себя столько... что впору приниматься за книгу об этой книге и нашей совместной борьбе, завершившейся победой!

8/VIII — 67. Ура!!!

«Победа» и «ура» — печатными буквами.

4

Победой Некрасова, трагической его победой окончилась и борьба за Бабий Яр. Много лет длилась эта борьба. Он рассказывал, писал, выступал. И даже один раз — в «Литературной газете».

Бабий Яр... Он стал частью собственной жизни Некрасова — личной, общественной, гражданской и писательской.

Сначала он пришел в ужас оттого, что Бабий Яр превращают в свалку. И не допустил, чтобы это произошло. Потом прорвались какие-то воды, Бабий Яр решили смыть, а на этом месте построить стадион. Некрасов не дал его смыть, не дал построить стади-

оя. В буквальном смысле этого слова. А потом стал бороться за то, чтобы был поставлен памятник.

29 сентября — в годовщину расстрела Некрасов всегда с цветами приходил на Бабий Яр. От годовщины к годовщине людей становилось все больше. Я была с ним вместе один раз в эту годовщину и видела, как женщины целовали ему руки, как стеснялся он этого, какими глазами смотрели на него, когда мы с края огромной молчащей толпы пробирались вперед. Камня еще не было, ничего не было, только много цветов.

В 1966 году исполнилось двадцать пять лет со дня расстрела. В этот день людей было — неисчислимое море Некрасов выступил с речью. Там были слова о том, что надо, надо поставить памятник...

После этого, через две недели, появился камень Под нажимом Некрасова был открыт конкурс — он занимался этим упорно, был связан с художниками и архитекторами,знакомился со всеми проектами.

Но с этого дня — 29 сентября — началось новое персональное дело Некрасова. Теперь его обвинили в том, что он «организовал массовое сионистское собрание». Бабий Яр — трагедия и подвиг Виктора Некрасова, русского интеллигента-гуманиста.

Процесс «выживания» Некрасова из жизни пошел особенно активно именно после этих событий. Разбирали на партийных собраниях, травлили, следили.

И все-таки он писал свои рассказы, «Маленькие портреты» и даже ездил на встречу с Валегой. Но при этом чернел лицом и быстро седел.

Состояние его резко и окончательно переломилось, он оказался в тупике после того, как в его киевской квартире произошел возмутительный обыск.

Обыск длился сорок два часа. Этого унижения он стерпеть не мог. В протоколе обыска 60 страниц (пишу с его слов — устных и опубликованных) с перечислением изъятых материалов Запечатала семь огромных мешков и унесли с собой.

Забрали книги, журналы, магнитофон, пишущую машинку, фотоаппарат.

Унесли все рукописи, альбомы живописи, которые он собирал всю жизнь, журналы «Пари-матч» и «Экспресс», альбом фотографий помпейских фресок, книги Мандельштама и многое, многое другое.

Вся его уникальная киевская квартира (что я могу засвидетельствовать точно) была разрушена, вся его писательская жизнь оскорблена и осквернена

Потом шесть дней с утра до вечера он сидел у следователя на допросах.

Ему было сказано, что он из «окопов Сталинграда» перебрался в окопы врагов. Преследовали, изгоняли из жизни, оскорбляя честь и достоинство замечательного писателя, благородного защитника Сталинграда...

За ним ходили, его специально толкали на улицах; например, как-то раз, когда мы вместе шли по Садовой к метро на площади Маяковского

В 1974 году он уехал в Швейцарию, а потом поселился в Париже.

5

Но не надо думать, что он изменился и стал другим. И в годы самых тяжких «персональных дел» он рисовал шуточные картинки, подбирал альбомы фотографий и делал забавные надписи на открытках.

Он разыгрывал и шутил. Побывав в Грузии и оказавшись в Гори, он вручил мне загадочный подарок. На листе ватмана он своим крупным почерком переписал нелепое стихотворение Сталина украсил его ярким орнаментом, цветочками и листочками, точно так, как это делали культовые художники. Удивительная получилась пародия.

А марки! Чего он только не придумывал, наклеивая их. Какие сюжеты сочинял...

Я всматриваюсь в «Новый мир» с его камчатскими записками и «Случаем на Мамаевом кургане». Обложки оттиска он «оформил» для меня.

Марки в руках Некрасова — тоже форма искусства. Чего он только не придумал на этой обложке!

Марки — какие-то редкие, необыкновенные, а их расположение полно смысла и юмора. Сбоку на синей обложке наклеил дивной красоты голубые марки: сначала «Корякский вулкан», под ним — «Ключевская группа вулканов». Слева удивительная марка — «Карымский вулкан», под ней серовато-коричневая с изображением морских котиков. На ней крупными буквами написано: «Охраняйте морских котиков!»

Марка эта имеет особый смысл, и, чтобы понять этот смысл, важно прочитать напечатанный здесь маленький рассказ-быль Виктора Некрасова «Котики». О том, как на острове Беринга охотники под свист губинок («дрыголок» на зверобойничьем языке) убивали несчастных котиков. Стоны животных, потоки крови. Нос — самое чувствительное место у котика. Бить надо в нос! Добивают с криком. А котики плачут настоящими слезами.

Но больше всего пугает Некрасова красавец охотник, залитый кровью, его горящие глаза. Когда «я думаю о нем», пишет Некрасов, «мне становится страшно».

Вот что таится под этой маркой. И боль и пародия. И еще то, что рассказ «Котики» снимала сначала цензура.

А внизу еще одна марка, «Мамаев курган» — постоянная тема жизни и творчества Некрасова.

Но марки не просто наклеены, на каждой нарисованы штампы разных почтовых отделений — от Петропавловска до Москвы. А дарственную надпись Некрасов вмонтировал в почтовые штампы.

Только адрес моего старого дома на улице Чайковского (который вскоре будет снесен) написан его рукой, как и собственный его обратный адрес на Крещатике, куда он тоже больше никогда не сможет вернуться.

Должна сказать, что желание разыграть, пошутить, подарить, что-то придумать и посмеяться вместе никогда не покидало его в годы жизни в эмиграции. Некрасовский юмор был всегда с ним.

Я помню, как однажды в очень трудные годы, спустившись к своему почтовому ящику, я вынула письмо Некрасова из Парижа. И что-то необычное остро поразило меня. Я взглянула на конверт внимательнее. Что такое? Оказалось, что рядом с французской маркой он в виде марки вмонтировал собственную фотографию. Цветную, отчетливо яркую, с загорелым его лицом, в голубой рубашке с открытым воротом. Штамп погашения вокруг собственного изображения сделан им так аккуратно, что не было ничего загето на фотографии.

Таким ярким и живым приплыл он тогда из Парижа в мой почтовый ящик. Через все кордоны и границы.

Я, конечно, была приучена к его шуткам, но такого не ожидала. И надо так проскочить по почтовым отделениям — из Парижа до Москвы.

Тогда было очень смешно...

А в конверте письмо. Мне хотелось бы привести его здесь, чтобы понятно было, как он жил в Париже.

Письмо он послал после нашего разговора по телефону:

«...Поговорили, и сразу стало как-то легче... Жизнь полна всякой муры, и во всем этом вынужден принимать участие. Но вот поговорили, как будто и ни о чем, а становится хорошо.

А? И вообще поговорили мы об Ив. Сер-че и вдруг я понял, как мне его не хватает. Вот с ним можно было обо всем.

Кстати, и с Вами тоже...

Очень мне этого здесь не хватает...»

Иван Сергеевич Соколов-Михитов — речь идет о нем.

Из каких-то путешествий пришла один раз открытка. Сбоку крупно написано «1942», от этой даты стрелка к другой дате — 20.V.82.

Несколько слов: «Надо мной щелкают соловьи... 40 лет назад они также щелкали в ночь перед днем моего первого боя...»

Во всех его письмах всегда живые вопросы и ответы: не читали ли, не встречали? Вот, например, из письма 1982 года:

«Не попадались ли Вам в руки когда-нибудь, где-нибудь воспоминания В. Полонской о Маяковском? Я только что их прочитал с громадным интересом. Как вы знаете, я к Маяковскому относился и так и сяк, но сейчас, столкнувшись через Полонскую с ним, вдруг жутко пожалел его... Все-таки трагедия из трагедий. При всем при том...

Вообще — ужас... Хотя поживи еще и... Ладно...»

И вдруг в тот же год опять приходит от Некрасова из Парижа совсем уж непонятный конверт-пакет Толстый, в особой некрасовской упаковке, проложен изнутри картоном и какой-то губчатой бумагой.

Вскрываю — в руках портрет Чехова, но с длинной шеей, чуть розоватым носом, в лиловых тонах. Он окантован и даже застеклен.

А в письме:

«Так как, насколько мне не изменяет память, Вы не так уж плохо относитесь к Чехову — посылаю Вам его портрет работы Модильяни. Не говорите мне, что они нигде не встречались. Встречались! А если не встречались, то могли. Во всяком случае, я им помог».

И прислал собственный рисунок... А потом прислал еще автопортреты, один, перерезанный кубами и пирамидами,— под Пикассо, а другой (особенно печальный) с утверждением, что его, Некрасова, рисовал не только Пикассо, но и Юрий Анненков.

Кончалось письмо так: «А я на две недели — за океан! Оттуда черкну какую-нибудь восхитительную открытку. Главная цель — купаться в Карибском море».

Все это — неповторимые его фразы, его характер, его сюжеты — как в жизни, так и в письмах.

В одном из писем Некрасов сказал:

«За всеми Вашими делами слежу внимательно и даже с какой-то верой во что-то». Рассказывает, например, о фильме про Моцарта.

«Шел ли он у Вас? Я смотрел его вторично, но ужасно мешал английский язык, на котором говорят актеры, и французские субтитры, которые не успеваю прочесть. А вообще соскучился по русским дубляжам. А последние советские, которые видел — это «Прощание с Матерой» и «Тема». Ни от той, ни от другой в восторг не пришел».

Ждем — не дождемся «Покаяния». Видели ли Вы его, и если да, то что скажете? И еще очень все хвалит что-то документальное под названием «Как трудно быть молодым». То же ждем — не дождемся...»

Это отрывки из посланного письма Виктора Некрасова. Оно написано 14 июля 1987 года — за полтора месяца до смерти и исполнено живых чувств, живых порывов и надежд.

«Ждем — не дождемся...»

«Маленькая печальная повесть» печальна потому, что ее молодые герои проходят самую серьезную для Некрасова проверку — проверку на грушбу. И один из них не выдерживает ее.

Три ленинградских мальчика, «три мушкетера» встретились и соединились на берегах Невы. Читатели узнают, как они гружили, спорили, ходили по Ленинграду и мечтали вместе поставить гоголевскую «Шинель». И оживают прекрасные картины ленинградских улиц и домов в художественной памяти Некрасова.

Мушкетерские мечты об искусстве чисты и просты. Они хотят честно жить, играть, ставить и писать. И гружить. Но невыносимые для молодости семидесято-застойно-лживые годы наваливаются на них, вызывая то отчаяние, то гнев, то ярую ненависть. Они так беззащитны под злыми ветрами.

Некрасов понимает их жизнь, стремления и мечты, метания, категоричность их суждений, с такой доподлинностью воспроизводит речь, «треп», прозвища и словечки, что кажется, будто он ни на один день не уезжал из нашей страны.

Но, и когда он писал «Маленькую печальную повесть», он словно предчувствовал и даже понимал, что будет потом. Ведь ритм современной жизни так отличает его книги. И ощущение будущих перемен... Он хотел, чтобы его поняли и будущие читатели. Ведь эта повесть не автобиографическая, как большинство его книг. Редкий случай отделения героев от автора в творчестве Некрасова. Конечно, отделения — относительного.

И я еще раз хочу повторить, что он предчувствовал решительные перемены и ждал их. Ждал давно. И был бы счастлив, если бы знал, что его вещи печатаются одновременно с произведениями Василия Семеновича Гроссмана, который любил Некрасова и всегда в больнице, когда я приходила к нему, спрашивал: «Как Некрасов?»

«Маленькая печальная повесть» кажется еще печальнее, потому что сам Некрасов не сможет никогда приехать, дать интервью, написать вступительную статью.

Но все-таки «кодекс чести», заявленной в этой повести, еще не решен на нашей земле, его надо повторять и повторять: то, что нельзя бросать мать, нельзя забывать и обманывать грузей, нельзя продаваться — ни за доллары, ни за рубли. Нельзя терять честь и губить свой талант. Надо жить достойно на всех точках земного шара.

Что такое сегодня автономия?

СОВЕЩАНИЕ В ЖУРНАЛЕ «ДРУЖБА НАРОДОВ»

Участники совещания — писатели и критики из автономных республик и областей: А. Гогоа (Абхазия), Н. Джусойты (Юго-Осетия), А. Ермолаев (Удмуртия), Н. Куёк (Адыгея), Р. Мустафин (Татария), Ф. Урусбиева (Кабардино-Балкария), А. Хакимов (Башкирия, он же член редколлегии «Литературной газеты»); председатель

колхоза «Ленинские искры» А. Айгак (Чувашия), работники ЦК КПСС А. Солодовников и Л. Шишов; сотрудники «ДН»: главный редактор журнала С. Баруздин, первый заместитель главного редактора Л. Теракопян, обозреватель Ю. Калещук. По традиции уведомляем читателя, что каждый из выступающих высказывает свое мнение.

Леонид Теракопян

Автономные — не значит второстепенные!

Я думаю, что еще несколько лет назад тот разговор о культуре, о духовной жизни наших автономных республик, который мы начинаем, был бы обречен на недомолвки. И по понятным причинам. Слишком много табу существовало тогда, и любое покушение на них автоматически влекло упреки в очернительстве, критиканстве, а то и в националистической ереси.

Избавились ли мы от этих страхов теперь? Я думаю, что избавились. Хочется верить, что сегодня поиск истины никому не будет поставлен в вину, а деловой, критичный анализ встретит не отпор, как было раньше, а понимание.

Достижения в культуре? Конечно, есть и они. Как не сказать о Расуле Гамзатове и Кайсыне Кулиеве, Давиде Кутультинове и Мустае Кариме, Софроне Данилове и Хасане Туфане, Флоре Васильеве и Педере Хузангае, Нафи Джусойты и Тулепбергене Каипбергенове, Николае Дамдинове и Дондоке Улзытуеве, Геннадии Красильникове и Мишши Юхмее? Я называю здесь широко известные имена, но мог бы привести и другие. Дело не в перечнях и обоямах.

Сегодня во всех наших размышлениях о духовной жизни автономных республик неизменно присутствует щемящая нота тревоги. И тревоги оправданной.

Вот некоторые симптомы неблагополучия. Многие ли произведения, созданные в этих республиках и областях за последние годы, а может быть, за долгие годы, вызвали общесоюзный читательский резонанс? Думаю, что считанные единицы.

Часто ли мы встречаем на страницах нашей центральной периодики имена критиков, литературоведов из Дагестана, Чувашии, Башкирии? Пожалуй, никто из нас на этот вопрос сегодня не ответит утвердительно.

Где художественные фильмы, рожденные в Татарии и Карелии, в Чувашии и Башкирии? Их тоже нет. Как нет в нашей современной кинематографии картин о жизни этих народов.

Наверное, каждый из нас способен продолжить список горестных наблюдений. Думаю, что если бы не политика перестройки, не рост общественного беспокойства по

всей стране, то прогнозы на будущее автономных республик и областей были бы еще более туманными и печальными.

Все мы знаем, что за последние десятилетия во всех этих республиках сокращалась сфера действия родного языка. Этот язык вытеснялся из делопроизводства, из сферы научных исследований, из институтских аудиторий. Вот уже и в столицах некоторых автономных республик почти не осталось национальных школ. Да и в глубинке, ссылаясь на пресловутое «желание родителей», стали изгонять родной язык даже как предмет изучения.

Сейчас это положение стало меняться к лучшему, но еще не столь быстрыми темпами, как хотелось бы, и далеко не везде.

Надо быть реалистами: последствия волонтаристской, безграмотной политики, которая проводилась десятилетиями, будут сказываться еще очень и очень долго. Ведь выросло несколько поколений, воспитанных в небрежении родной речью. Упал уровень знаний о национальной культуре и истории. А это значит, что поколебалась сама основа, сама база, на которой может плодотворно и гармонически развиваться национальная литература. Отнюдь не риторическим стал в целом ряде республик вопрос, который сейчас задают писатели: для кого они пишут свои книги на родном языке, где их аудитория, кто их будет читать, особенно завтра и послезавтра?

Сегодня повсюду полыхают страсти вокруг проблемы государственного языка, вокруг государственного статута языка. У этой концепции есть и горячие приверженцы, и столь же рьяные оппоненты. Я не хотел бы вдаваться сейчас в детали полемики, но, как бы то ни было, определенные защитительные меры необходимы. Как законодательные, так и чисто этические, нравственные.

На мой взгляд, никакая житейская прагматика не может оправдать малейшей дискриминации родного языка в школах автономных республик. Нельзя признать нормальным, что та же родная речь лишь изредка, от случая к случаю звучит по радио и с экранов телевизоров, причем такие передачи идут сплошь и рядом в неудобное для слушателей время. А разве не бестактно, что в столицах и крупных индустриальных центрах наших автономий практически не встретишь на улицах двуязычных вывесок и названий? Не знаю, чего тут больше: элементарной политической близорукости или глухоты к национальным проблемам? Но так или иначе это ежедневно, ежечасно задевает и ущемляет национальные чувства.

Я думаю, что корни многих нынешних трудностей лежат в несовершенстве самой нашей конституции. Видимо, были веские причины для того, чтобы разделить республики на союзные и автономные: наличие внешних границ, право выхода из Союза и т. д. Не ставя под сомнение сам этот принцип, скажу, однако, что его осуществление нуждается в коррективах. Особенно во всем том, что касается духовной полноты национального бытия. Как мне кажется, слово «автономность» не может быть синонимом некоей второразрядности, второстепенности. И если говорить о языке и культуре, науке и школе, то между союзными и автономными республиками не должно быть принципиальных различий. Увы, пока эта табель о рангах есть, и весьма заметная.

Так, например, все наши союзные республики (за исключением России) имеют свои Академии наук. В автономных же, даже таких крупных, как Татария, академий нет и не предвидится. Опять-таки в каждой союзной республике действуют свои киностудии. А автономные? Там все еще только мечтают о своей художественной кинематографии.

Система литературных журналов. Она, в общем, не развита ни в Москве, ни в союзных республиках. Возможности нынешней периодики уже давно не соответствуют современному творческому потенциалу. В автономных же республиках и областях положение еще более плачевно.

Мы знаем, что в Литве, Латвии, Эстонии сейчас идет речь о том, чтобы все население знало язык коренной национальности. В Мордовии, Калмыкии, в Коми АССР родной язык теряет свои позиции даже среди людей коренной национальности.

Наконец, справедливо ли, что у автономных республик нет своего самобытного флага и герба? Я не хочу переоценивать значение национальной атрибутики, но все же она играет свою патриотическую роль, воспитывает уважение к родине, к народу.

Разумеется, реформы необходимы не только в духовной, но и в экономической, социальной сфере. Как и союзные республики, наши автономные республики страдают от ведомственного, министерского диктата. Как там, так и здесь мы сталкиваемся с неупорядоченной миграцией, с очень резкими, подчас кризисными изменениями демографической обстановки. Как там, так и здесь важнейшие хозяйственные проекты сплошь и рядом принимаются без учета экологических последствий. Достаточно напомнить о печально знаменитом Чебоксарском море.

Мы гордились и гордимся тем, что социализм спас народы нашей страны от нищеты, от колониального гнета. Это историческая заслуга нашего строя, нашего общества. Но мы знаем также, что послеоктябрьское развитие связано и с болезненными деформациями революционных идеалов. Тут и кровавые сталинские репрессии, которые выкашивали национальную интеллигенцию, особенно в тридцатые годы, тут и благодушные застойных лет, обернувшееся, в частности, безразличием к национальному языку, к национальной культуре. У нас больше нет времени на раскачку — пришла пора наверстывать упущенное и преодолевать мучительную духовную стагнацию.

Я думаю, во имя этого нужны встречные усилия как из республик, так и из центра. Мы еще не до конца, не в полной мере осознали тот факт, что Москва — это столица великого многонационального государства, что она естественное место встречи культур десятков народов.

И потому у нас до сих пор нет издательства, которое было бы полностью ориентировано на выпуск многонациональной литературы. И потому мы так безобразно запустили внутрисоюзное переводческое дело (причем в особенно тяжелом положении оказались писатели автономных республик). И потому до сих пор в нашей столице нет культурных центров, которые представляли бы обширные регионы Поволжья, Северного Кавказа и Сибири.

Видимо, было бы естественным, логичным шагом образование в Верховном Совете Российской Федерации (да и в ряде других республик) особой палаты национальностей. Такой палаты, которая имела бы возможности основательно изучать и оперативно решать важнейшие вопросы межнациональных отношений. Наверное, нам нужны и регулярные общесоюзные совещания, где бы звучали голоса всех без исключения советских народов — больших и малочисленных, имеющих свой государственный статус и не имеющих его, проживающих компактно или разбросанных по разным регионам. Ведь сплошь и рядом мы совершали просчеты, вызывали досадные конфликты потому, что проводили в жизнь хозяйственные, ведомственные проекты без учета национального фактора, без соответствующей «национальной экспертизы».

Многонациональность нашей страны — это ее духовное богатство, ее великое преимущество, но вместе с тем это и комплекс очень сложных проблем — политических, экономических, этнических. Проблем, которые, как мы сейчас ясно осознаем, весьма запущены. И вывод может быть только один — быстрее разгребать завалы, исправлять вольные и невольные ошибки и двигаться дальше.

Рафаэль Мустафин

Эпоха прямого слова

Я полностью согласен с мыслью А. Теракопьяна о том, что создано искусственное деление на нации «первого сорта», имеющие союзные республики, и нации «второго сорта», имеющие автономные республики. В Татарии идет массовое движение за превращение Татарской автономной республики в союзную республику, мотивируется это количеством населения, экономикой, культурными традициями и т. п. Я лично не разделяю эту точку зрения и считаю, что статус автономных и союзных республик надо пересмотреть вообще, надо исходить из реальностей. А это искусственное деление на сорта и разряды — неправильное. Я не за то, чтобы еще одну республику превратить

в союзную, отказавшись от тезиса Сталина, что, раз нет выхода к границам, значит, Татария не может стать союзной республикой. Я за то, чтобы пересмотреть сам этот статус: искусственное разделение на автономии, союзные республики, за то, чтобы исходить из полного равенства народов нашей страны.

Сейчас я хотел бы остановиться на конкретной литературной ситуации в Татарии. Тут много общего с состоянием литературного процесса во всей стране. В паруса нашей литературы дует тот же «ветер века», ветер перестройки и обновления, что и везде. И тем не менее есть особенности.

Важная наша задача сейчас — возвращение классического наследия, или, как выразилась в одной из своих статей Ал. Михайлов, подъем затонувших сокровищ. В первые дни нового, 1989 года на прилавках книжных магазинов впервые за полтысячелетия после создания появилось книжное издание татарского народного эпоса «Идегей». Эпос записан еще в середине минувшего века, публиковался в периодике накануне Великой Отечественной войны, но... был объявлен «байски феодальным», запрещен и надолго выведен из научного оборота — просто «вычеркнут». Публикация этого уникального и богатейшего памятника культуры, вне всякого сомнения, является событием номер один в нашей литературной жизни.

Впервые за годы Советской власти в этом году выходит книга татарского историка, философа и богослова середины XIX века Шигабутдина Марджани. Собственно, наследие Марджани так или иначе присутствовало в нашей культурной, литературной и общественной жизни и в годы застоя. Так, в первом томе шеститомной «Истории татарской литературы» (1984) содержится свыше тридцати ссылок на исторические и литературоведческие труды Марджани, во втором томе той же «Истории» (1985) — свыше шестидесяти. Но сочинения самого Марджани не издавались, более того, третиrowались как «религиозно-мистические» и «реакционно-идеалистические». Не вошло это имя и в изданную в Москве девятитомную Краткую литературную энциклопедию. А между тем в Большой британской энциклопедии для него нашлось место — еще сто с лишним лет назад Марджани была посвящена специальная статья.

В татарской периодической печати начали появляться — без ругательных эпитетов! — имена наших ученых и писателей, по тем или иным причинам оказавшихся за рубежом. Хотя, надо признать, этот процесс идет пока что крайне медленно, с оглядкой, то и дело натываясь на грозные окрики и запреты. 18 сентября 1988 года издающаяся в Уфе татарская газета «Кызыл танг» опубликовала на целую полосу интервью с башкирским профессором З. Нургаллиным под броским заголовком «Нельзя простить измену народу!». Как безымянный корреспондент газеты, так и профессор в один голос обрушиваются на тех татарских ученых и писателей, кто «...пытается восстановить имена тех, кто запятнал себя перед революцией и народом». Прежде всего это интервью направлено против крупнейшего татарского прозаика и драматурга начала века Гаяза Исхаки. Г. Исхаки оставил заметный след в истории татарской литературы. Вступив на литературную арену на несколько лет раньше Тукая и Галимджана Ибрагимова, он еще в дореволюционные годы издал восьмитомное собрание своих сочинений. Исхаки переписывался с М. Горьким, первым среди татарских писателей публиковался в русских демократических изданиях. Он выступал с общедемократических позиций, подвергался преследованиям за свои революционные взгляды, сидел в тюрьмах, был сослан в Архангельскую губернию и в конце концов уехал в эмиграцию. Октябрьскую революцию он не понял и не принял и после 1917 года входил в состав эмигрантских националистических правительств и организаций. Такова реальность.

Так вот, З. Нургаллин характеризует Г. Исхаки только как «перебежчика», «врага народа», «пантюкиста», «буржуазного националиста» и «агента империалистических разведок». По мнению профессора, те, кто пытается отделить дореволюционное творчество Г. Исхаки от послереволюционного, совершают грубейшую ошибку и сходят с классовых позиций. В том, что такого рода догматические взгляды держатся еще достаточно прочно, нет, пожалуй, ничего удивительного. Удивительней, а скорее, печальней другое: та же газета «Кызыл танг», из номера в номер трубящая о гласности и перестройке, так и не предоставила места сторонникам иной точки зрения. Обращения в газету профессора И. Нуруллина, народного писателя Татарии Наки Исанбета, автора этих строк и других остались без ответа. Такова наша «гласность».

Второй процесс — это публикация написанного и не пропущенного в застойные годы. В последние два-три года наибольшим вниманием читателей пользовались у нас,

пожалуй, два произведения: романы М. Хасанова «Весенние зарницы» и И. Салахова «Тернистый путь». Первый (написан в 1966 году, опубликован в 1987 году) посвящен судьбе татарского крестьянина, и прежде всего событиям тридцатых годов, коллективизации, раскулачиванию, выселению тысяч и тысяч семей в необжитые районы Сибири и Дальнего Востока; впервые со всей художественной глубиной и необычной остротой здесь показана трагедия татарского крестьянства, вскрыты масштабы преступлений сталинских подручных.

Во втором романе (написан в конце 50-х — начале 60-х годов, опубликован в 1988 году в журнале «Казан утлары») изображен тернистый путь «простого советского заключенного», арестованного в 1937 году; роман написан на автобиографическом материале и носит документальный характер. По беспощадной правдивости и силе эмоционального воздействия на читателей его можно сравнить с автобиографическими произведениями Евгении Гинзбург и Анатолия Жигулина.

Поскольку у нас в республике всего один толстый журнал, то нередко в нем публикуются сейчас те самые произведения, которые здесь же когда-то были отвергнуты из-за «чрезмерной остроты». Так произошло, например, с повестью Г. Кашапова «Чертополох», с драмой Т. Миннуллина «Конокрад». В свое время она была «волевым решением» запрещена к постановке, а нынче вновь ставится в Татарском академическом театре.

Еще больше произведений застревало в ящиках письменного стола в неоконченном или полуоконченном виде. Ведь не у каждого хватит силы духа и воли продолжать многолетнюю изнурительную работу, видя полную бесперспективность усилий! Такая история произошла с автобиографическим романом А. Расиха. Ныне он выходит в свет.

И, наконец, третий процесс, также во многом сходный с другими литературами — бурный всплеск публицистики. Еще всего несколько лет назад мы жаловались на отставание этого жанра, говорили, что, помимо М. Зарипова, у нас в Татарии, по существу, нет публицистов. Ныне же трудно назвать такого писателя, который не обращался бы к этому жанру. Острые, яркие, глубокие по мысли выступления писателей Д. Валеева, М. Магдеева, Ф. Байрамовой, А. Рашитова, А. Гаффара, А. Еники никого не оставляют равнодушными, вызывают поток читательских откликов, целые дискуссии и обсуждения. Публицистика затрагивает самые болезненные точки нашего общественного организма: тут и экология, и история, и экономика, и национальные проблемы. Наступила эпоха прямого слова.

Алексей Гогуа

Наша тревога

Нет другой сферы, по крайней мере, сферы такой важности, как национальный вопрос и национальные взаимоотношения, из которой во времена сталинщины полностью были исключены всякий демократизм и гласность. А практика механического и немедленного слияния наций и народностей на основе кустарной, нарочито упрощенной теории Сталина дала результаты, какие мы имеем сегодня.

Национальную политику в нашей стране мы называем ленинской, но в годы сталинщины она подверглась существенной деформации. Общеизвестно положение Ленина о советской федерации: «Мы хотим добровольного союза наций,— такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной нации над другой...» Это положение Ленина могло стать основой такой федерации, которая в действительности претворила бы в жизнь вековую мечту народов о свободном развитии, особенно народов малых, для которых сохранить свою культуру, свое лицо, приобрести суверенитет возможно только в таком равноправном содружестве.

Но, к глубокому нашему сожалению, этого не произошло. Особенно это относится к судьбе тех народов, для которых был определен статус автономий с двойным подчи-

нением. Увы, мечты, а вместе с ними и справедливость были жестоко поруганы в самом начале. Сталинская национальная политика выражалась в создании иерархии наций и народностей и их культур, иерархии республик, узаконившей неравноправие народов. Одно это уже говорит о крайней безнравственности национальной политики Сталина, как вообще всей его политики. Это неравноправие резче и больше всего поразило права автономных республик, создав предпосылки и условия явных преимуществ одних народов перед другими.

Механизм прост: подвергнув двойному подчинению, кое-где автономные республики заранее заключили в расколенную раз и навсегда одежду, из которой они не могут и не должны вырасти. В этой «одежке» все рассчитывалось до мелочей: какую дозу культуры отпустить, в какие рамки поставить историческое прошлое, каких деятелей из их истории и культуры оставить, а каких нет. Например, никак нельзя допустить, чтобы был Иоанн Петрици, философ-неоплатоник, последователь Иоанна Ита-ла, абхазом, хотя черным по белому это имя запечатлено в древних манускриптах, но он не влезает в одежду автономии, а вот одежда союзной республики ему оказалась в самый раз. (Кстати, это еще раз доказал покойный академик Барамидзе в своей статье для «Истории всемирной литературы»: там, где в источнике написано «некий абхаз», он, недолго думая, написал «т. е. грузин».) И уж ни в какие автономные рамки не влезает абхазская школа византийской храмовой архитектуры или научное предположение профессора Турчанинова, который, изучая древние письма на майкопской и сухумской плитах, пришел к выводу, что предки абхазов пользовались своей письменностью еще в глубокой древности, или заявление Кирилла, одного из создателей славянской письменности, в споре с «трехъязычниками» о том, что из народов, исповедующих христианство, кроме славян известны своей письменностью армяне, авазги (абхазы), иверы (грузины), согдеи (аланы), готы и другие. Абхазии, как автономной республике, согласно скроенной наперед одежке положено без всяких оговорок взять письменность прямо из рук Советской власти.

Зато почти неограниченными правами была наделена другая сторона — союзная республика; автономная была отдана в ее власть почти как культурная вотчина.

На одном примере Абхазской автономной республики видно, к каким трагическим последствиям ведет такое, с позволения сказать, решение национального вопроса. Особенно при крайних мерах. А Абхазия была одной из тех автономных республик, где были применены особо крайние меры.

На заре Советской власти абхазский народ принял удобную для него форму государственности. Это была Советская Социалистическая Республика Абхазия. Модель, не совпадающая ни с союзной, ни с автономной республикой, как они известны сегодня.

Но затем Абхазию на первых порах ввели в Грузию на договорных началах, а в 1931 году на правах автономии.

За каких-то два десятилетия шовинистические круги союзно-республиканского ранга, прикрывавшиеся своей принадлежностью к партии большевиков, при поддержке и согласия нечислимой рати сталинских подхалимов и сатрапов во главе с Берией (для которого Абхазия стала одним из первых полигонов, где он начинал и проводил с особенным старанием свои чудовищные маневры), предварительно истребив или обескровив интеллигенцию, закрыв абхазские школы, переселив на лучшие абхазские земли более 200 тысяч жителей из других районов Грузии, что повлекло за собой ассимиляцию части коренного населения, ввергли один из древнейших исторических народов Кавказа и его культуру в шоковое состояние, превратив его автономию в совершенно пустую вывеску.

Потом был 1953 год, XX съезд партии, закрытые письма, в которых этот чудовищный произвол застенчиво называли искривлением национальной политики. А само выпрямление проводили как легкую косметику, всерьез, по-настоящему так и не выправив ее, эту политику, по подавляющему большинству вопросов. И, несмотря на неоднократные всенародные протесты, экспансия продолжалась.

Все это пагубнейшим образом отражается на культуре, на всей духовной жизни народа, на самой ее основе — духовно-творческой его энергии. Сама идея автономии в сталинской иерархии народов рассчитана, по сути, на ее свертывание. Первый удар бредовой идеи скорого смещения народов и языков был нацелен именно по автономии.

До недавнего времени мы очень уверенно говорили о том, что в нашей многонациональной стране сложилась уникальная система духовных связей, куда подключены все большие и малые источники, система, способствующая взаимобмену энергией, как это обычно бывает во всех хорошо налаженных энергетических системах. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что система далеко не благоприятно воздействует на духовное развитие народов. Реальная картина здесь такова. С одной стороны, началось это дело с нарушения всех границ культуры: этнических, языковых, фольклорных, опять же в особенности для автономных народов, за которых с самого начала все решали другие. С другой стороны, крайне ограниченные возможности и права автономных формирований не позволили полноценно развивать культуру, в результате возник безликий ее стереотип, лишенный настоящей силы, корней и вершин.

А такое положение, в свою очередь, создавало возможности утечки духовных ценностей в русла культур более оснащенных, имеющих более широкие возможности для их освоения. И это фактическое перераспределение энергии от слабых к сильным часто проходит у нас под видом взаимодействия и взаимообогащения культур.

Только литература, самая «национальная» из форм культуры, пережив «заморозки» 20-х годов, «лютые морозы» 30-х, 40-х, сохранила способность к саморазвитию, как каждый живой организм, способный обратиться к своим, еще уцелевшим резервам. Только теперь абхазская литература, на ходу залечивая раны, завершает затянувшийся процесс сугубо внутреннего своего оформления, позволяющий связать органический план творчества с усвоением универсальных ценностей.

На данном этапе литературы, подобные абхазской, должны направить энергию на восстановление разрушенных пластов своей культуры, где это еще возможно, на освоение также и новых пластов национальной жизни, новых возможностей языка, на выявление сокровенных пластов национального мироощущения, в изотопах которого всегда содержится и национальное, и общечеловеческое. Надо вернуть людям надежду на исцеление народной души, смущенной и сокрушенной.

Если удастся осуществить эту задачу, то удастся выработать и в литературе, и в других видах искусства свои жанровые формы, укрепить своеобразие, сформулировать свои проблемы, начать изживание вторичности, стереотипности, захлестывающей литературу и искусство автономий.

Но очевидно, что это невозможно осуществить в нынешних рамках. Это невозможно без совершенствования нашей национально-политической системы, без возвращения автономиям ощущения реального равноправия, без создания такой федерации, которая давала бы возможность всем без исключения народам быть равноправными членами целого. От этого зависит и дружба народов, без которой невозможна жизнь такого государства, как наше. Если исходить из того, что дружба между народами — категория глубоко нравственная, что степень этой нравственности зависит от моральной ответственности народов друг перед другом, будь они многочисленны или малочисленны, то сейчас дружбу наших народов нельзя назвать полноценной. Иначе и быть не могло, ибо сталинская иерархия обусловила избранность, исключительность одних, второстепенность, забитость и бессловесность других, результатом чего является пренебрежительное отношение первых ко вторым.

И, конечно же, у первых «твердеют лица» и становится «отсутствующим» взгляд при упоминании о творчестве и судьбе малочисленного народа, живущего рядом, как это точно подмечено в статье «О другой стороне медали» Руденко-Десняка в «ДН» № 12.

В автономиях есть и способные люди, и просто пробивные, и ничем не примечательные послушные посредственности, но не это главное, а главное, что им иногда позволяют побаловаться более просторной одежкой, чем та, что предназначена для автономии. Они напоминают в нашей многонациональной литературной Атлантиде ту пару из рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско», которая была нанята играть любовь.

Но, сколько бы мы ни возмущались по поводу таких и многих других извращений, позорных и пагубных, развращающих наше общество, сколько бы мы ни твердили о дружбе народов и о нашем интернационализме, ничего не сдвинется с места, пока наша Федерация не станет федерацией равноправных.

Вся надежда на перестройку.

Алексей Ермолаев

А у нас — тишь

Кругом бушуют страсти. А у нас тишь. Правда, при более пристальном взгляде обнаруживаешь, что и у нас в Удмуртии кто-то все-таки начинает просыпаться. Так робко, неуверенно. В газете «Советская Удмуртия», например, обсуждается вопрос о том, что до неузнаваемости исковеркана местная топонимика. Идет разговор о том, надо или не надо издавать газету на северном наречии удмуртского языка. Надо ли преподавать удмуртский язык как отдельный предмет (наряду с иностранным языком) в школах, в детских садах. Неожиданно возник спор о том, где бы следовало поставить здание для Удмуртского драматического театра.

Тут возникает необходимость объяснить читателям обстановку. Удмуртский национальный театр (единственный), созданный в 1931 году, до сих пор не имеет своего здания. И не имел никогда. Сначала он квартировал в давно ликвидированном и снесенном Удмуртском клубе, затем — в давно снесенном клубе имени Октябрьской революции, затем — в клубе НКВД. Во время войны театр имел пристанище в селе Алнаши, затем в районном центре Можге. В последнее же время театр обретается в бывшем зале заседаний Совета Министров республики.

И вот разнесся слух, что все-таки театру возведут свое здание и что городские власти планируют строить его на окраине, куда сельским зрителям придется добираться с железнодорожного или автовокзала. Тут активисты стихийно возмутились и решили собрать заинтересованную публику для совета. Хотели опубликовать объявление в печати и по радио. Но оказалось, что такое объявление не устраивает власти. Было разъяснено, что никакие объявления по радио без санкции первого секретаря обкома партии переданы не будут. Вот такая у нас гласность.

Стоило появиться в «Удмуртской правде» статье кандидата исторических наук В. Г. Гусева под названием «Идти навстречу друг другу», где автор поставил вопрос о выдвижении удмуртских кадров на руководящие должности, тут же с трибуны областной партконференции донесся окрик об «экстремизме» национальной интеллигенции; затем последовал довод первого секретаря Ижевского горкома партии: оказывается-де давление на руководство со стороны определенных кругов интеллигенции, в которых сформировался «односторонний взгляд» на эту проблему.

Но ведь это правда, что и ныне лишь один из секретарей Удмуртского обкома — удмурт (не первый и не второй), что среди секретарей столичного горкома удмуртов нет. Ведь это правда, что если и выдвигаются руководители из удмуртов, то, главным образом, бессловесные (благо, таких у нас хватает). Правда же, что министр народного образования, хотя по анкете она и удмуртка, родные слова произносит с трудом, а министр культуры и вовсе не владеет удмуртским, она по специальности — учительница английского языка. Правда и то, что из пяти вузов республики ни один не возглавляется удмуртом. Уж не знаю, с какой стороны тут проявляется односторонний взгляд.

А между тем за пределами республики удмурты успешно руководят. Одним из руководителей Калининградской области был удмурт. Казанский авиационный институт возглавлял удмурт. Удмурт также возглавляет Приморскую писательскую организацию. Это только те, которых я знаю.

Меня не очень волнует национальный состав руководства предприятий промышленности, особенно общесоюзного подчинения. Но этот вопрос очень важен для секторов идеологии, просвещения и культуры. У нас в ходу вот какая идея: Удмуртия — республика, где удмуртов — лишь 30 процентов населения, следовательно, и внимания к нации должно быть на те же 30 процентов. Вот такая арифметика. Вот так препарировано равноправие наций. Это на уровне первого секретаря обкома партии товарища Грищенко Петра Семеновича! Это сказано на партийной конференции.

Но когда подобные процентные соотношения высчитываются, упускают существенные моменты. Во-первых, удмуртскую культуру разумнее развивать все-таки в Удмуртской республике. А в Татарии — татарскую культуру, я думаю. По моим понятиям, как раз для этого и создавались автономии, чтобы побольше внимания обра-

щать на данной территории именно на ту нацию, именем которой названа республика. Невозможно же удмуртскую культуру развивать на Дальнем Востоке.

Во-вторых, национальный состав в республике сложился в результате далеко не всегда обоснованной искусственной интеграции. Удмурты нынче расселились от Бреста до Владивостока, от Ханты-Мансийска до Душанбе.

Почему так получилось? Отвечу. Вследствие того, что условия жизни в удмуртской деревне стали невыносимыми. С другой же стороны, до сих пор существует большой приток рабочей силы к нам со всего Союза из-за непомерного экстенсивного роста в республике промышленности, в основном, общесоюзного подчинения. Ижевск еще после войны насчитывал менее 200 тысяч населения, теперь в нем 660 тысяч.

В-третьих, в развитии удмуртской культуры заинтересованы и удмурты, живущие вне пределов республики. Все-таки при всех сложностях автономная республика становится, должна становиться центром развития национальной культуры и искусства. Газеты и журналы на удмуртском языке издаются в Удмуртии, но выписывают-то их и в Татарии, и в Башкирии. Чуть ли не треть тиража журналов «Молот» и «Кизили» расходуется в соседних республиках и областях. Нечастые гастроли удмуртского театра по районам Татарии и Башкирии превращаются в праздники.

И при всем этом на протяжении десятилетий мы никак не можем добиться того, чтобы удмуртские книги продавались в соседних республиках и областях, а их издания продавались бы в Удмуртии. Я в Ижевске не могу купить книгу на татарском языке, хотя очень хотел бы ее купить.

В наше время, когда идет реформа политической системы государства, не лишними были бы некоторые изменения в статусе автономных республик. Думается, нужно расширить их культурно-просветительские функции в отношении своей нации и вывести их за пределы национально-территориального формирования. Для выполнения таких расширенных миссий необходимо иметь в соседних республиках хотя бы небольшие представительства и культурные центры. И отнюдь не в столицах и в центрах, а в районах, именно там, где концентрированно проживают представители той или иной нации. Эти культурные центры стали бы проводниками национальной культуры за границами автономных образований.

Мне думается, что во взаимопроникновении культур заинтересованы и татары, и марийцы, и чуваша, и все народы Федерации.

В пользу моей идеи говорит, в частности, и такой будто бы парадоксальный факт, что чуть ли не половина удмуртских ученых-филологов, писателей, артистов, журналистов родилась либо в Татарии, либо в Башкирии. Хотя особого поощрения развития удмуртской литературы в Татарской и Башкирской республиках нет, но они хотя бы не мешают этому. Вот это очень важно! У нас же в республике — мешают.

Главная забота о национальных кадрах должна проявляться в самих автономных республиках. Нынче в Удмуртии такой заботы не чувствуется. Главный тормоз, на мой взгляд, — невнимание к преподаванию удмуртского языка и литературы. Удмуртский язык преподается не во всех школах, в иных такого предмета вообще нет.

Хороший, казалось бы, принцип: добровольность изучения языка. Но почему нерусский ученик должен изучать свой родной язык на добровольных началах, а иностранный — на обязательных? Это равноправие?

В последние годы предприняты отдельные попытки выправить положение. Но робкие. У нас все органы массовой информации задыхаются без кадров, особенно без национальных кадров. Хотя есть специальность «журналистика» в нашем университете (одна группа там ведется), но профессиональная подготовка такая: 32 часа специальность, несколько спецкурсов и семинаров, для которых нет преподавательских кадров, и получается уровень самодеятельности. Наши газеты делаются неквалифицированно из-за отсутствия кадров. В последнее время, правда, кое-что меняется. Приняты целевые программы: «Кадры», «Культура». Опубликован проект «Плана практических мероприятий по совершенствованию межнациональных отношений и национальной культуры в Удмуртской АССР до 2000 года». Но это все во многом формальность: решаются вопросы прикладные, кардинальные не ставятся. Какие-то мелочи, обещания, подчас высосанные из пальца. Практического применения они не имеют, не выполняются и никогда выполнены не будут.

Таково мое мнение о положении дел у нас в Удмуртии.

Каких-то обобщений делать не хочу. Но хочу сказать, что демократизация жизни пока еще нас не коснулась. На XIX нартконференцию Удмуртия в числе 11 делегатов

«выбрала» двух руководителей центральных ведомств, которые никакого отношения к Удмуртии не имеют. Среди кандидатов, выдвинутых в народные депутаты СССР по национально-территориальным округам от нашей республики, я удмуртов не вижу. Я не знаю полной статистики, регистрация еще не прошла, но, судя по публикациям в республиканской газете, как раньше было, так и теперь: от Удмуртии в Совете национальностей будет представлять всесоюзного уровня министр... Казалось бы, какая разница? В последнее время братья-журналисты восторгаются тем, что рабочие и крестьяне, трудясь в многонациональных коллективах, не интересуются национальной принадлежностью своих товарищей: «Нам все равно, какой он национальности, мы этим не интересуемся». Чем же тут восторгаться? Я думаю, что это просто одна из форм национального нигилизма. К этому мы пришли в результате длительного процесса денационализации. Принцип «меня не интересует» тесно смыкается с принципом «моя хата с краю». Нам бы не культивировать принцип взаимного невежества, а побольше знать о каждом народе, по крайней мере, о том, с которым близко соседствуешь.

Не могу обойти еще один щепетильный вопрос. У нас у всех на памяти, как среагировала грузинская делегация на VIII съезде писателей СССР на рассказ Виктора Астафьева «Ловля пескарей в Грузии». Я полагал, что странно так оскорбляться из-за литературного образа сородича, если даже он выведен карикатурно, и всячески отнекивался, когда ко мне с возмущением обращались читатели и библиотекари по поводу романа того же Виктора Астафьева «Цырь-рыба», где выведен чудовищный образ удмуртского писателя, «помесь вотняка с бесцветной дебелий русской бабой» Корепанова. Я всячески успокаивал сородичей. Но оказался неправ.

Убедился я в своей неправоте, когда смотрел передачу Центрального телевидения о встрече редколлегии журнала «Наш современник» с читателями в Иркутске. Как там в присутствии Виктора Астафьева и при его молчаливом согласии возмущался Валентин Распутин образами сибиряков в романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата»? Вот уж тут все стало ясно: значит, не только удмуртов, не только грузин оскорбляют, оказывается, иногда и русским достается! И тогда, стало быть, можно и возмутиться?! Выходит, что и сам старший брат, представитель великого народа, оскорбляется несколько не меньше, чем представитель невеликого. За себя, правда.

Я читал «Детей Арбата» и ничего оскорбительного для сибиряков там не обнаружил. Вполне допускаю, что эта рубашка оказалась не столь близка к моему телу. Но, коли уж так, давайте будем объективны ко всем. И будем об этом помнить. Давайте относиться уважительно к каждой нации.

Прав академик Д. С. Лихачев: достоинство нации — в уважительном отношении к другой нации.

Ахияр Хакимов

Была ли у башкир история?

Десятилетиями наши ученые-обществоведы умилялись происходящим у нас в стране интенсивным, благотворным, небывальным и т. д. процессам взаимообогащения культур. Теория эта, столь простая с виду и понятная всякому мало-мальски грамотному человеку, была подхвачена и практиками: она отражала интернационалистские устремления нашего общества.

Дальше — больше. Романтическое сознание теоретиков не удовлетворялось элементарным, поверхностно-эмпирическим взаимообменом. Мысль восходила к новым вершинам и отлилась в конце концов в чеканную формулу о «сближении через расцвет»: о скором слиянии наций и народностей, о рождении единой для них культуры будущего. Делалась, правда, существенная оговорка, призванная успокоить сомневающихся: мол, культура будущего вберет в себя все самые прогрессивные, жизнеспособные элементы каждой национальной культуры. Не было лишь уточнения, кто будет определять степень пригодности этих самых элементов для всеобщего пользования.

Не нужны особые усилия, чтобы понять, о чем, в сущности, шла речь. А речь шла

об унификации культур. Все, что создавалось каждым народом на протяжении веков, должно было пройти некую «экспертизу», доказать свое право на жизнь под общей крышей, а то, что не докажет, обрекалось на отмирание.

Известно, что идеи, овладевшие массами, становятся реальной силой. И эти идеи в данном случае сыграли поистине разрушительную, чуть не роковую роль, приучив нас к мысли о неполноценности (и по этой причине обреченности) всего, что присуще только одной, данной нации и не имеет аналогов в других. Особенно сильно пострадали богатства фольклора. Подальше от любопытных глаз убирались такие шедевры народного творчества, как «Манас», «Идегей и Мурадым», лежала под спудом прекрасная эпическая поэма башкир «Урал-батыр»... Я уже не говорю о таких вещах, как запрет праздновать навруз, превращенные в банальную спартакиаду традиционные сабантуи башкир и татар и т. д. Дело вовсе не в том, будто эти весенние игры несли с собой что-то реакционное, противоречащее духу новой жизни. Они попросту не вписывались в ту самую общую для всех «культуру будущего», за которую ратовали сторонники слияния. Действительно, трудно себе представить, чтобы вместе с таджикским, узбекским и другими народами Средней Азии и Приуралья навруз праздновали украинцы или эстонцы. Местные практики всегда держали нос по ветру. Не видя зазорного в этих праздниках, они вместе с тем безошибочно угадывали, что и навруз, и сабантуи в общий дом пропуска не получают. Так зачем их культивировать? Вот и пришлось народу изворачиваться, видоизменять традиции, так сказать, маскировать их под новые.

Но вернусь к вопросам взаимодействия. Я вовсе не хочу сказать, что взаимодействие культур выдумка теоретиков. Процесс этот происходит из века в век, прогрессивные, гуманистические ценности одних культур непременно оказывают влияние на развитие других. Но никогда еще ценой этому процессу не была утрата своего, самобытного — за исключением тех случаев, когда чужое навязывалось силой. К сожалению, история располагает и такими печальными примерами.

В наших условиях взаимодействие долгое время напоминало одностороннее движение, и диспетчерами здесь опять же выступали большей частью местные деятели. Одни делали это из искренних побуждений и, форсируя это самое «слияние», надеялись вывести свой народ на магистральный путь мировой культуры. Другие старались отвести от себя возможные обвинения в национализме, что было отнюдь не пустым звуком не только в 20-е — 30-е годы, но даже в близкие к нашим дням времена.

Наука «опиралась» на всю эту практику; из множества частных случаев она спешила создать обобщающую картину. Механизм взаимодействия выглядел внешне благородным и благотворным, тем более что он опирался на мощную «теорию ускоренного развития», рожденную, надо думать, тоже из самых добрых побуждений. Скажем, не было у киргизов, туркмен или башкир оперы и балета, надо, чтобы были. Нет у казахов или хакасов развитых форм прозаической литературы, надо их создать. Дело действительно доброе. Правда, как и в любом подражании, во всем этом много наивного, несовершенного. Перенесенные на неподготовленную почву, чужие образцы приживаются с большим трудом.

Люди старшего поколения вспоминают, с каким энтузиазмом они восприняли лозунги о ликвидации неграмотности, о создании театров, очагов культуры. Всему, что мешало обновлению и держало народ в тисках религиозного дурмана, объявлялся бой. Вместе со старым укладом уходили в прошлое старые обычаи и предрассудки. Но сопровождалось это прогрессивное в своей основе движение поспешностью, а часто и безоглядной удалью. Мало кому приходило в голову, что за разбитые в пылу борьбы горшки очень скоро придется самим же расплачиваться.

Я еще помню, как в моем родном ауле комсомольцы «брали» мечеть, и происходило это в 1935 году. Их акция так и называлась: «брать», в смысле отобрать у верующих. Мечеть была по деревенским меркам большая, из толстых сосновых бревен, с высоким деревянным минаретом, обитым светлой мягкой жестью; венчал его сверкающий полумесяц. Так вот, отгеснив гудящую толпу за ограду, «берущие» вскарабкались на крышу, подпилили опорные столбы и с треском и грохотом обрушили минарет на землю. Не буду рассказывать о драке между верующими и безбожниками, о том, как плакали в голос и проклинали старухи тех, кто допустил это святотатство. Хочу сказать о другом. Не прошло и года, как мечеть была перестроена, подновлена и превратилась в сельский клуб. До этого во время редких гастрольных наездов передвижного колхозно-совхозного театра (так он назывался) представления давались в чьем-нибудь большом сарае, а тут такой просторный, роскошный по тогдашним меркам клуб! И как

раз к его открытию пожаловал театр. И что же? Задолго до начала спектакля все первые ряды скамеек занимают те самые женщины, которые в день «акции» призывали на головы комсомольцев страшные кары в «обеих жизнях». Кто-то, не удержавшись, напоминает им в шутку об их тогдашнем поведении, и женщины смеются сквозь слезы: раньше, мол, нам запрещали не только в мечеть заходить, но даже к ее воротам приближаться, а теперь наш черед! Башкиры, как видим, смеясь, прощались со своим прошлым, коль скоро им предложили взамен нечто неслыханно новое, да и более завлекательное. Только клубу-то не повезло. Здание, перестроенное впопыхах и наспех, вскоре осело, крыша начала протекать; клуб несколько раз реставрировали, но так и не сумели привести в божеский вид. Уже после войны, кажется, году в пятьдесят четвертом или пятьдесят пятом его бросили и построили новый клуб. Дело, конечно, не в мечети. Да и башкиры особой набожностью никогда не отличались. Речь о той торопливости, с которой ломали старое, привычное и приобщали народ к новому.

Также наспех, без должной подготовки решался вопрос с письменностью.

В середине 20-х годов в Башкирии взамен арабской графики была введена латиница. По мнению специалистов, она наиболее точно отражала фонетические особенности башкирского языка и способствовала скорейшей ликвидации неграмотности среди населения. Но уже к концу 30-х годов, как и в других республиках, без каких-либо объяснений и научного обоснования латиница была заменена кириллицей. Я уж не говорю о том, что этот алфавит менее подходит для строя башкирского языка, в котором к тому же есть специфические звуки, и для их выражения в письме пришлось придумывать новые буквы, такие, как Ғ, ҙ, ҡ, ҫ, Ү и т. д. Кстати, такие же звуки в разных языках изображаются по-разному, и всегда посредством порчи букв кириллицы. А о том, каково пришлось поколениям, дважды осваивающим самую простую грамоту, говорить не приходится.

Кроме того, многие печатные и рукописные книги прошлых веков, написанные арабской вязью, оказались недоступными широкому кругу читателей нового времени. Так мы решили проблему письменности, которой будто бы «не было» у башкир до революции.

Слов нет, когда народ освобождается от предрассудков, этому надо только радоваться, но нельзя задевать его национальное чувство, отказывая ему в истории, в самобытности его культуры. Да, развернувшаяся после Октября культурная революция, несмотря на некоторые перегибы, дала башкирам немало. Работа эта шла в рамках национальной государственности, которую башкирский народ получил впервые за все века своей истории. Только не надо думать, что культурная революция началась здесь на голом месте. Дескать, не было у башкир ни письменности, ни литературы; дикий, непросвещенный народ влечил жалкое существование на обочине мирового исторического процесса, стояя у края пропасти.

Насчет пропасти, может, и не стоит спорить: мы знаем, что не одни башкиры, а многие народы окраин (да и сама Россия, в известном смысле) были накануне революции у той же черты. Но ведь было же прошлое!

О фольклоре, который издан теперь в более чем десятитомном своде, я уже говорил. Многие из этих богатств записаны еще в прошлом веке и записаны, можно догадаться, не крестиками и ноликами. Но я хочу напомнить другое. Имена выдающихся башкирских поэтов Акмуллы, Ш. Бабича, Д. Юлтыя, М. Бурангулова известны еще с дореволюционных времен. Стало быть, тезис о «бесписьменных» в прошлом башкирах вкупе с теорией ускоренного развития явился ловким трюком, призванным отсечь от них собственное прошлое. Так, к сожалению, произошло не с одними башкирами. Причем теория эта очень пришлась по душе не только «дарителям», то есть тем, кто будто бы преподнес безъязыкому народу азбуку, но и местным деятелям. Так и пошло. Мол, ничего у этих башкир не было: бред в потемках, не знали, куда приткнуться. Дескать, башкиры — это люди с вырванными ноздрями и отрезанным языком. Но Пушкин-то вывел фигуру башкира в «Капитанской дочке» с величайшей болью, с сочувствием, а наши доброхоты подняли этот образ до значения символа. Конечно, народ (и не только башкирский) бедствовал и в университетах не учился, но нельзя же утверждать, что его история начинается только с семнадцатого года! Думать и говорить подобное могут лишь люди, настроенные враждебно к народу, давшему им не только домашний очаг и хлеб, но и язык, которым они пользуются как языком своего творчества. И все же отвечать таким людям у меня нет никакой охоты.

Возникает естественный вопрос: не с подачи ли таких деятелей ни в школах, ни

в вузах республики не преподается ее история? Еще в начале 60-х годов, когда я работал в Башкирии, мы с моим другом, замечательным поэтом Рами Гариповым с трудом добились встречи с одним из тогдашних руководителей республики, к которому пришли именно с такими вопросами. И получили настоящую выволочку «О какой истории можно говорить, если народ ваш был кочевым и не имел письменности? Вы что, хотите оспорить положения марксистско-ленинской исторической науки?» Такие дела...

Все, что я сказал, отнюдь не значит, что башкиры не помнят добра. Все помнят. Сегодня в республике, как и всюду по стране, идет процесс очищения. Возвращается народу творчество репрессированных писателей, музыкантов, людей науки, воздается должное памяти и делам расстрелянных в 1937—38-м годах руководителей партийной организации Башкирии Быкина, Исанчурина и других.

Однако долгий период сталинщины и годы застоя оставили много завалов и неразвязанных узлов. Среди них один из самых сложных — проблема башкирского языка. Но, думаю, здесь я не оригинален, ибо вопрос этот носит сегодня не локальный, а повсеместный характер.

Аркадий Айдак

Быть России — значит, быть Чувашии!

Мы были так воспитаны, что верили: скоро будет коммунизм и нации сольются. Гласность, перестройка позволили понять, что не только в природе, но и в хозяйственной деятельности, и в области культуры национальное многообразие народов — величайшая ценность, богатство. Как исчезновение любого вида животных и растений, любого способа хозяйствования, так и исчезновение языка, культуры — пусть самого немногочисленного народа — есть ничем не восполнимая, общечеловеческая потеря. Нам, воспитанным на всеобщей унификации и упрощении, привыкнуть к яркому многообразию жизни во всех его противоречивых проявлениях не так просто.

Отсюда и противоречия реальные — они внутри нас. Вся сложность данного момента в том, чтобы каждый понял, что новые реалии накладывают новую ответственность, и действовал соответственно, обеспечивая, как было сказано, «революцию в эволюции». В том числе и в области культуры.

Сейчас, на мой взгляд, диалектика национального и интернационального такова, что спасение национальных языков, знание национальных языков, их истории, знание этнографии, культуры — это интернациональное дело, дело всех проживающих на территории людей. В то же время наилучшее овладение русским языком, инструментом интернационализма, есть глубоко национальное дело каждого народа. Это необходимо для успешного осуществления в стране научно-технической революции, что только и позволит улучшить жизнь всех граждан, обеспечит им реальные права и свободы и укрепит чувство как национальной гордости, так и гордости гражданина Страны Советов. И это то главное, что способно не формально, а на деле укрепить нашу федерацию. Тут есть проблемы.

Главная идея нашей социалистической федерации — все нации, народы имеют в ней равные права. А так ли это в действительности? Надо бы рассекретить, сколько выделяется на душу населения средств на развитие культуры в тех или иных национальных общностях. Даже «зрительно» мы наблюдаем огромные диспропорции. В Чувашии — явное отступление по сравнению с 20-ми — 30-ми годами. Тогда чувашский язык был практически государственным языком, чувствовался национальный подъем, связанный с предоставлением автономии. Было свое «Чувашкино». Вдобавок к нынешним двум чисто чувашским театрам тогда было пять передвижных, так называемых колхозных, работавших в районах республики. Было шесть газет и журналов на чувашском языке, был журнал «Труженица» (уже сорок лет мы безуспешно добиваемся его восстановления), была молодежная газета, был педагогический журнал.

Нужна государственная помощь, чтобы восстановить утраченное. Получим ли мы ее? В РСФСР десятки автономных образований, но в Верховном Совете нет Совета национальностей или Комитета по делам национальностей. Он крайне необходим. Например, вот проблема: из всех чувашей только половина живет в своей республике, а остальные 800—900 тысяч — в основном, в Татарии, в Башкирии, в Ульяновской, Куйбышевской областях. Они почти не учат родной язык, некому нынче их обеспечивать учебниками. Национальный театр фактически не для них. В нашей республике живут татары, мордва. И у них та же проблема. И некому нынче удовлетворять их культурные запросы. Организовать в других республиках культурное национальное обслуживание при нынешней принципиальной нерешенности этой проблемы затруднительно. Это связано и с материальными ресурсами, бумагой, финансированием. Театрам, например, насколько я знаю, не хватает бензина — нет возможности ездить играть для сельского зрителя.

По сравнению с союзными организациями автономные фактически в значительной степени бесправны. Уже многие десятилетия у нас не могут решить вопрос о сооружении памятника Михаилу Сеспелю, основоположнику советской чувашской литературы. Настолько все зацентрализовано.

Дальше. При нынешних реалиях, когда множеству языков грозит исчезновение, нет иного выхода для их спасения, как обязательное двуязычие. Для начала в школах. Во всех школах в автономиях все дети должны изучать и знать и русский, и национальный языки. Так же обязательно, как и все другие предметы. Иначе не сохранить национальные языки.

«Добровольность выбора» языка обучения родителями есть смерть для национальных языков, а значит — в будущем, — и для национальной государственности, ибо что за государственность без языка данного народа? Наши народы многолетним волюнтаризмом, беззаконием, отрывом от привычной среды обитания, урбанизацией, господством административно-командной системы в значительной степени приведены в состояние, как бы это сказать, древнеримского плебса, люмпенов, которых называли пролетариями, которым все равно, их единственное требование — хлеба и зрелищ. А в нашем варианте — уравнительности и водки.

Отдать дело сохранения, спасения национальных языков, так сказать, на «общественный самотек» — значит, загубить это дело наверняка. Пример тому — массовое неприятие кооперативов, аренды. С каким трудом они внедряются в нашу жизнь! А ведь без них нет будущего. Требуется прямо-таки давление сверху, чтобы дело пошло.

Пока не идет. И если так будет дальше, то язык чувашей — народа, который создал первое в Среднем Поволжье государство в то же самое время, когда создавалась Киевская Русь, скоро исчезнет. В деревне все меньше детей, а в городе родному языку учиться не хотят.

В царской России за сотни лет со времени создания огромного государства от Балтики до Аляски не исчез ни один язык. А у нас за семьдесят лет Советской власти есть исчезающие, а некоторые — на грани. Мы знаем, что каток административно-командной системы в первую очередь прошелся со всей тяжестью по культуре русского народа, но и другим немало досталось.

Что за общество мы создали, если оно ставит людей в такие условия, делает их таковыми, что они отказываются от языка родной матери? Ведь это глубоко безнравственно, и не надо винить людей, люди в своей массе таковы, каковы обстоятельства.

В народе говорят: для чего нужен чувашский язык? Действительно, он сейчас ни для чего не «необходим» даже в своей республике. Мы прекрасно можем обойтись без него, и в этом заключена его гибель, если дело пойдет так, как шло до сих пор. Государственность любого народа, если это государственность, а не пустая формальность, принимает все необходимые меры для сохранения и развития своего языка, первого признака народа, и делает знание его обязательным для нормального функционирования общественного организма.

У нас, у чувашей, сейчас почти в каждой семье уже хватает и взрослых, и детей, плохо говорящих или вообще не говорящих на родном языке. Фактически русский сейчас для нас — второй родной язык. Если на то пошло, то скорый всеобщий переход на русский язык не составит для нас никакого труда. К тому же нас к этому подталкивает широко распространенный национальный нигилизм. Но так ли должно быть?

В этом мы должны строго руководствоваться словами Михаила Сергеевича Горбачева, сказанными на заседании Президиума Верховного Совета СССР. Он сказал, что будет величайшей ошибкой, даже преступлением, если станут исчезать народности, если все будет сглаживаться. Сберечь и развить язык народа автономной республики, часть общечеловеческой культуры,— это есть наш интернациональный долг. И в первую очередь это интернациональный долг всей нашей интеллигенции, особенно писателей.

Думается, что надо начинать с детей. Во всех школах республики (видимо, кроме Алатырского и Поречского районов, где чисто русское население) все дети, и не только на селе, но и в городе, в Чебоксарах, и не только чувашские дети, но и дети других национальностей, должны учить чувашский язык в обязательном порядке. Если это сделать только для чувашских детей толку не будет — воспримется только как лишняя нагрузка. А если сделать для всех — сразу поднимется престиж языка нашей автономии. Он уже хоть для чего-то будет нужен. И это будет и знаком уважения к народу, на территории которого живешь. Ведь уважение должно быть взаимным. А от того, что выучат дети чувашский, кроме хорошего, ничего не будет.

Мы глубоко убеждены, что русская часть населения республики пойдет на овладение чувашской речью. Конечно, не с ходу, не с сегодняшнего дня, а постепенно. Надо начать с детских садов, со школы, надо заранее готовить преподавателей чувашского языка для школ. Главное — психологический перелом. Если мы этого достигнем, то и село чувашское сбережем, а оно сейчас пустеет крайне быстро, ибо ресурсы в республике направляются, главным образом, на решение городских проблем. Если возьмем за село, за сельскую промышленность, то село — опора национальной культуры — сохранится и сохранение чувашского языка в веках будет гарантировано.

В эти годы решается, быть или не быть нашей стране. Быть России — или начнется стагнация? Это зависит от успеха перестройки, в первую очередь в российской, в особенности нечерноземной деревне. С этим связано также и решение демографической проблемы, а не только продовольственной. Ее успешное решение — гарантия будущего. Сердце, совесть и разум не могут примириться с нынешним состоянием жизни в центральных областях нашей страны.

В Чувашской республике создается сейчас Яковлевское общество — на заветах просветителя чувашей и других народов Поволжья Ивана Яковлевича Яковлева, близкого друга семьи Ульяновых в Симбирске. Его идеи изложены в завещании чувашскому народу — чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца и воли... Да будут его радости вашими радостями, его горести вашими горестями, и вы приобщитесь к его светлому будущему и грядущему величию... Завещаю чувашам, что бы ни случилось с Россией, жить с нею, разделяя ее радости и горе... Твердо верую, что не может погибнуть многомиллионный русский народ. Значит, если вера моя осуществится, не погибнет и чувашское племя, пока тесно будет слито с общей родиной — Россией.

Так говорил Иван Яковлев.

На том стоим.

Юрий Калещук

В поисках новых тупиков

Если вам станет от этого легче, можете считать меня мракобесом, но выдвинутую здесь идею превращения автономных республик и областей в союзные республики я воспринимаю с содроганием. Предполагается, что такой административный ход поможет вывести из тупиков межнациональные отношения. Прошлогодние события в Прибалтике, правда, показали, что статус союзной республики ни от вопросов, ни от тупиков не избавляет. Возможно, новые тупики и вопросы иного качества и свойства, чем старые, однако это уже детали, ибо находить ответы, искать выход все равно необходимо. Каким образом? Неужто только административно-бюрократическим? Да я сразу же начинаю считать и в ужасе от своих подсчетов: допустим, будет у нас ие

пятнадцать, а пятьдесят или сто союзных республик — соответственно сто ЦК, Совминов, Верховных Советов да полторы-две тысячи новых министерств! Перспектива на редкость заманчивая, что-то вроде игры со спичками в детском саду: в отчаянной борьбе с бюрократизмом порождать новый, свой, «наикраший» бюрократический аппарат. Это занятие огнеопасное. Неужели нет другого пути? Вот, к примеру, Совет национальностей — самая таинственная организация в стране. Даже о работе КГБ по сегодняшней прессе можно составить какое-то представление, но деятельность Совета национальностей загадочна и неисповедима. А между прочим именно он, этот Совет, если станет не представительским, а постоянно действующим органом, сможет взять на себя многие нерешенные и не решаемые сегодня вопросы. В частности, проблемы сохранения и развития национальных культур вне зависимости от того, где, в каких административно-территориальных подразделениях мы имеем национальные анклав, диаспоры и какова их численность. Я не верю в то, что мы сумеем сохранить достоинство, достоинство страны и достоинство каждого человека, если отношение к людям будет определяться национальностью, происхождением, сроками проживания на определенной территории и их числом. Раз хотя бы один человек — в Литве или Азербайджане, Абхазии или Татари, Москве или Термезе — почувствует себя неуязвимо, почувствует себя чужим только из-за несовпадения этнических признаков, нам придется признать, что мы впали в дикость и слова «демократия» или «социальная справедливость» значат для нас не больше, чем имена Пушкина или Райниса для питекантропов.

Не стал бы я связывать все надежды на оптимизацию межнациональных отношений и с «разовыми решениями» директивных органов. Во-первых, в существующую напряженность положения свою лепту внесли и директивные органы, и это хорошо, что у них появилось время и желание самокритично проанализировать свою деятельность, а порой и бездеятельность за последние полтора-два года. Во-вторых, мне кажется, не стоит уповать на то, что можно даже на Пленуме ЦК окончательно и бесповоротно решить все вопросы — в таких мечтаниях есть нечто наивно-патриархальное: вот придет барин, барин нас рассудит. Я вообще думаю, что мы напрасно полагаем, будто ключ к решению межнациональных вопросов у нас уже был, мы его просто потеряли и теперь бродим там, где уже ходили, опустив головы и обшаривая взглядом землю. Сейчас все или почти все принято сводить к Сталину, сталинщине, сталинским деформациям ленинской национальной политики. Но ленинская национальная политика была скорее и деей, нежели системой организационно-политических решений, вернувшись к которым, можно решить разом все наши сегодняшние проблемы. Вернуться вообще нельзя, как нельзя начать жизнь сначала. Надо продолжать жить. Сегодня не 25 октября 1917 года и даже не 5 января 1918 — сегодня 25 января 1989 года, и мы живем так, как живем, как того заслужили, и сможем жить лучше только в том случае, если сами этого добьемся. Но не за чужой же счет. И не по заученным наизусть цитатам. Если сегодня мы попытаемся смоделировать свое будущее, опираясь на две тактики в социал-демократическом движении, на три источника и три составные части марксизма и на пять признаков империализма, мы продолжим наше сладостное движение по замкнутому кругу, ибо цитаты — прекрасный исходный материал для строительства заборов, но жилья из них не построишь. Не за семьдесят с лишним лет, а всего лишь за последние пятнадцать окружающий нас мир совершил мощный технологический рывок, так что сегодня странам вроде США, ФРГ и даже Финляндии мы просто технологически неинтересны как партнеры и наш удел искать сотрудничества с Индией или Филиппинами. Это не уход от темы: наша экономическая несостоятельность, к сожалению, является серьезным катализатором межнациональных и межрегиональных конфликтов, но я не могу сказать, что мы на верном пути в поисках выхода из новых тупиков. Не разобщение, а углубление интеграции, не противостояние, а равноправное сотрудничество республик и областей, национальных объединений и хозяйственных регионов — вот что может спасти нас. Спасти, ибо дела наши оптимизма не внушают. Мы промотали богатства недр, хотя они принадлежали не нам, а всему миру, мы умудряемся, имея в своем распоряжении половину мировых черноземов, вырывать хлеб изо рта голодающих (растраниживая нефть, мы имели возможность в течение многих лет закупать зерно, фактически перехватывая его у тех, у кого ни нефти, ни черноземов нету). Мы продолжаем измываться над природой. Имеем ли мы право хозяйствовать так, как мы хозяйствуем? Планета одна, и одна шестая — не малая ее часть. Быть может, мы уже исчерпали кредит доверия человечества? Быть может, члены ООН однажды проголосуют и решат, что мы не имеем права жить так плохо, как мы

живем? И вот тогда-то, отправившись под контролем войск ООН в отведенные нам резервации, мы получим наконец возможность спокойно и всесторонне обсудить вопросы автономизации, достоинства федерации, проблемы конфедерации и права наций на самоопределение.

Фатима Урусбиева

Драма на фоне гор

Я хотела бы говорить без перехлеста и обид, требующих немедленного удовлетворения, а также без сугубо местного патриотизма. Когда я ехала сюда, то решила собрать свежую информацию по учреждениям культуры и побеседовать с представителями не только высшего, но и среднего звена интеллигенции, знающими нужды городской и сельской культуры не понаслышке. И вот вижу, что надо «бить в набат». Потому что мы тоже слишком долго справляли праздник. Бластательное существование балкарской поэзии в большой литературе благодаря феномену Кайсына Кулиева словно заслонило для нас проблемы самой жизни. Литература стала способом исчерпывающего существования народности. Символы — горы, мужество, нежность, терпение, раненые камни — заменяли как самопознание, так и взгляд со стороны. И сама боль, и чувство вины, которым движима поэзия Кайсына, — все это стало в общем восприятии категорией поэтической, «вещью в себе». А между тем народ, переживший вместе со всеми разрушительное для экономики и культуры зло перегибов коллективизации, репрессий 20-х — 30-х годов, обезглавивших интеллигенцию и прервавших цепь естественного духовного развития, трехкратную реформу алфавита, претерпев еще и свои потери, равные исторической смерти от которых до сих пор не оправился полностью. Переселение, сократившее численность почти втрое, отняло не только «квартиру и жену», но и надгробия, землю.

Ни одного мемориального надгробия в Средней Азии! Безымянна могила нашего великого Кязима Мечиева — основоположника нашей поэзии.

15 тысяч балкарцев до сих пор за пределами Кабардино-Балкарии. Вторая часть нашего народа — Карачай. Это уже из области современных административных курьезов: в культурном смысле Карачай изолирован от нас, поскольку мы планово дружим с Винницей и Липецком, но не имеем каких-либо контактов (писательских, научных) с Карачаево-Черкесией. Та, в свою очередь, дружит с Украиной и Болгарией.

Контакты, конечно, осуществляются — на уровне обмена музыкальными передачами или частных посещений. Но с гораздо меньшей интенсивностью, чем до революции. Когда для людей, озабоченных просвещением и культурой своих народов, дружба была жизненной реальностью без экспресс-автобусов и самолетов, М. Дахадаев, просветитель-революционер из Дагестана, посещал своего брата по просветительству Ислама Крымшамхалова в Теберде. Первый юрист и просветитель кумык Башир Далгат приезжал вместе с Кировым, скрывавшимся тогда под фамилией Мионов во Владикавказе, в Баксанское ущелье к просветительски настроенным Урусбиевым. Коста Хетагуров провел в административной ссылке в Карачаево-Черкесии, несколько лет, и это положило начало долгой плодотворной дружбе его с Исламом Крымшамхаловым.

Я не говорю уже о культурной среде Баксана, с коей связаны статьи трижды побывавшего там Танеева, симфонические произведения Балакирева, ежегодные встречи географического общества, этнографические обзоры Иванюкова и Ковалевского, которые легли в основу нашей историографии, так и не продолженной достойно в наше время. Наш историк М. Абаев мог спорить в печати с Бальмонтом по поводу Корана и издаваться в парижском журнале «Мусульманин», так же как издавался Басиат Шаханов, свободно осуществлявший культурный обмен через все органы периодики Закавказья и Северного Кавказа.

Владикавказская газета «Терские ведомости», «Терский сборник», краснодарские и прикубанские газеты постоянно печатали циклы статей и обзоров по вопросам культуры и просвещения. Трудно представить что-либо подобное сейчас в нашей регио-

нальной периодике. Так что понятие «туземцы», о котором с такой болью писали наши просветители, тогда имело смысл скорее номинальный.

Оно больше приходит на ум сейчас, по прочтении в журнале «Физкультура и спорт» детективной повести А. Кузнецова «Два пера горной индейки», где отважные горовосходители и орнитологи живут в Приэльбрусье годами, ища, как герои Джека Лондона, опасности, а местные жители — балкарцы — лишь часть пейзажа.

Мы говорим о праве коренных жителей на природопользование. Добавим: и на свободную прописку, и на перемещение внутри и вне республики, и на трудоустройство молодых специалистов. и на обеспечение жильем.

По данным социологов, коренные жители республики обеспечиваются работой и жильем в последнюю очередь из-за бесконтрольной миграции людей пожилого возраста (отставников, военных, шахтеров, рабочих с Севера), создающей видимость переизбытка рабочей силы при действительном дефиците квалифицированных трудовых кадров.

До сих пор балкарцы решают проблемы в первую очередь, так сказать, «витальные», то есть связанные с жилплощадью. Не получив реальной компенсации по возвращении из Средней Азии в виде хоть какого-то жилья, они пытаются решить этот вопрос на уровне индивидуального строительства, которое, как известно, утесняется запретительными мерами. Естественно, тут не до культуры, и незачем делать вид, что все обстоит нормально.

Расхожим стало в республике мнение, что якобы дефицит культурности у балкарцев объясняется шерстяным бизнесом — вязанием шапочек и свитеров, которое только теперь из «монокультуры» дохода становится дозволенным народным промыслом.

Культура рекреации (отдыха) для балкарцев, живущих в ущельях — средоточии туристского рая, — понятие чуждое и даже осуждаемое. Среди отдыхающих в санаториях их меньшинство, зато в больницах — значительный процент.

Туберкулез, астма, а из новых заболеваний — предродовые и родовые патологии (особенно в районе Тырныауза с его вольфрамо-молибденовым комбинатом) из-за вредных выбросов, застаивающихся в ущельях. Повысившаяся влажность и при этом полное отсутствие газификации, отопления, из-за чего и очаги культуры у нас холодны и бездействуют. Уникальная климатолечебница для астматиков в Приэльбрусье все еще состоит из 15 коек, а рядом в мгновение ока воздвигается роскошный коттедж в труднодоступном месте для изредка приезжающих из центра гостей. Поистине блеск и нищета...

Тырныауз с его «эзковскими» бараками и туристской перевалочной базой не имеет ни одной школы на балкарском языке, если не считать крошечного помещения «санчасти», приспособленного под кабинет балкарского языка.

Пригороды Нальчика, Хасанья и Белая речка, теснимые курортом, совхозом «Декоративные культуры» и мелкими производствами, лишились естественных угодий, так же обезображена уникальная пойма реки Нальчик, где облепиха, кизил, шиповник скоро станут реликтовыми растениями. В Нальчике нет клубов для местного населения, а местный театр вынужден ставить спектакли в здании школы. Учащиеся же местных школ на наших глазах, заполняя анкету, отказались от родного языка даже как от предмета, не говоря уже об обучении на родном языке, которое «в виде эксперимента» рекомендовано Министерством просвещения республики в сельских школах. Два поколения, выросшие вне родного языка, — фактор, с которым приходится считаться. Мы сами воспитали беспочвенного человека.

Все приемные экзамены в вузы проводятся на русском и дальнейшее обучение тоже. На отделение балкарского языка в университете нет конкурса (не престижно!), нет кадров для работы в начальной школе. В университете курсу педагогической методики отводится всего 30 часов, а существующее педучилище принимает по сложившейся квоте очень мало балкарцев.

Падает количество — падает и качество. Все неординарное отторгается безошибочно. Культура автономий живет в усеченном виде в силу своей подведомственности. Руководители стараются быть «праввернее папы римского» по отношению к спускаемым из центра директивам доводят их до абсурда. Все главные учреждения культуры существуют у нас по принципу кентавра. Под одной крышей — театр, радио, телевидение. Редакция журналов существует у нас на трех языках, но это одна редакция.

Если посмотреть распределение мест, то балкарцы здесь вообще на последнем месте, после «и других национальностей».

Дело не только в количестве портфелей, не хотелось бы присоединяться к разочарованным искателям номенклатуры. А в отсутствии реального национального (не арифметического) представительства, обозначенного в названии нашей республики. Ведь это предпосылки для возникновения ситуации Карабаха.

Само понятие автономии предполагает культурное самоуправление, которое не может раздваиваться и разраиваться в расчете на саморегулирующий паритет. Менее всего способны регулировать этот паритет сами национальные представители, которые, боясь быть обвиненными в национализме, поставлены в условия самые неблагоприятные. Их деятельность в культуре напоминает распределительный эквilibр, где лучше «недобдеть», чем «перебдеть». А значит, и функции их как представителей и защитников культуры (чего было бы естественно от них ожидать) сводятся к почетным.

Балкарский театр с 1938 года существует без своего здания (на что сетуют, в свою очередь, и кабардинские актеры), без своего режиссера и даже без своего имени. Актеры, не получившие жилья после окончания ГИТИСа, бастуют.

В ансамбле танца «Кабардинка» нет балкарцев, и некому танцевать их танцы, так же как в хоре радио — петь их песни; эти песни поют небалкарцы. Виною тому — отсутствие музыкальных школ в селах (две на всю республику) и, может быть, отсутствие энтузиазма, который заставлял бы балкарских актеров ночевать на скамейках в театре после спектакля.

Обнадеживают кооперативные дотации все тех же вязальщиц на национальный ансамбль танца и оркестр народных инструментов.

Мы охотно ищем и находим корни дружбы народов, может, стоит поискать корни межнациональной неприязни? Они, конечно же, не в народе, а в деструктивном характере дружбы по-сталински, когда утвердился количественный принцип распределения средств в национальном строительстве. Трения, возникающие на этой почве, усиливались из-за уродливых амбиций, в основном, чиновных. Никто не хотел делиться и первым проявлять великодушие. «Неужели нам нужна беда, чтобы отрезвиться?» — часто слышится вопрос.

Считается, что интеллигенция призвана сглаживать, смягчать национальные противоречия, а на деле происходит обратное. Иные «интеллигенты» поставляют идеи национального обособления, приоритетности, перекраивая карту прошлого, политическую и культурную, не говоря о настоящем, где во главу угла ставится голый интерес, направленный монополией на национальное лидерство. Не прозвучал глас интеллигенции и в дни труднейшего испытания национального и интернационального достоинства в карабахском конфликте. Все стояли «по одну сторону окопа», и никто не сторел на алтаре дружбы. Трудно пришлось бы Кайсыну Кулиеву в наше время конфронтаций — он был другом и сыном многих культур. Наверное, Кайсын казался бы сейчас старомодным с его «всемирной отзывчивостью»...

Не торопятся у нас на местах с заполнением «белых пятен» нашей истории. Имена у нас есть — в первую очередь имена просветителей, но они все еще находятся в черном досье наших историков под ярлыками: «эсерствующий националист», «шариатист» и т. д. Судя по стойкому сопротивлению (правда, пассивному, ибо вопрошающие статьи в газетах остаются без какого-либо ответа), они надеются на обратный ход событий. Спецхран тоже хранит заговор молчания. Но я назову имена. Назову публициста Басиата Шаханова, соратника Кирова по проведению Объединенного съезда горцев, назову Назира Катханова революционного деятеля, популярного в народе в годы борьбы с контрреволюцией, назову Магомеда Энеева — революционера, строителя Советской власти в Балкарии, в Чечне и Дагестане. Деятели, непрямым путем, но пришедшие в революцию и служившие ей до своего трагического конца.

Нам нужна в этом вопросе помощь со стороны центральной печати и авторитетных деятелей культуры. Так помнится, В. Солоухин вступился в печати за основоположника якутской поэзии А. Кулаковского, Зоя Кедрина — за узбекского ученого и поэта Фитрата. Вступитесь за нас! Только восстановление полного объема и без того «младописменной» нашей культуры, пережившей, однако, на рубеже веков просветительский ренессанс, может способствовать дальнейшему нашему духовному продвижению, да и просто сохранению.

Нальбий Куёк

Гримасы родного слова

По-разному могут воспринимать зимнюю холодную ночь два человека, один из которых уже разжег костер, а другой сидит во тьме и проклинает мороз.

Строчка поэта, картина художника, мелодия композитора создаются всем миром — тем миром, в котором мы живем, и тем, который вращивается сегодня. Мир живет, храня себя в лучших проявлениях человеческого разума и сердца. Катастрофы уничтожают целые страны и народы. Час гнева опустошает сердца, жестокость пламенем выжигает души, лень воцаряется и равнодушие, сон разума охватывает все, и будущее становится неразличимым и безразличным. Но строчки пишутся, краски ложатся на холст и раздается из недр души мелодия. Свет сердец — это тоненькие книжки, соединяющие эпохи и судьбы народов через пропасти катастроф.

Всегда ли мы помним о назначении художника? Вспоминаем ли о том, что народ живет в Слове, доверяет ему все самое сокровенное, хранит себя в нем и охраняет себя им, продолжает в веках, и нет у человека более святого, более надежного и вечного, чем Слово?

Язык создается всем миром. Десятки языков исчезли с лица земли. По образному выражению известного абхазского писателя Баграта Шинкубы, если исчезает один язык, то человечество теряет один палец. Или, по словам Вильгельма Гумбольдта, чем больше языков, тем шире диапазон человеческого существования. Лет десять назад в нашем областном центре, в городе Майкопе, не было ни одной школы, ни одного класса, где бы изучался родной язык, хотя там живут десятки тысяч адыгов.

В аулах родители стали просить не учить детей в школах родному языку, ибо уже за Кубанью он никому не нужен, не пригодится. Но вот стараниями небольшой группы энтузиастов в Маткане были открыты два класса, где адыгейцы стали изучать адыгейский язык. Сейчас почти во всех школах города имеются подобные классы, родной язык преподают во всех аулах, более того, по просьбам русских жителей появился первый кружок, где адыгейский язык изучают представители других национальностей области, по просьбе населения областная газета и областное радио ведут уроки адыгейского языка.

В областной школе-интернате в прошлом году открыты классы для детей, проявляющих интерес и способности к родному языку, к литературе, к музыке. Проводятся праздники родного слова. Несколько дней назад в областном драматическом театре прошла встреча актеров и режиссеров адыгейской труппы с драматургами области. Собравшиеся подчеркнули, что театр как род искусства не может существовать вне национальности — он должен работать на родном языке. Сегодня свои заседания проводит «Хасе» — совет, вобравший в свой состав представителей адыгов всех социальных слоев, — он будет пропагандировать социалистическую национальную культуру, способствуя возрождению и укреплению интереса к истории народа, патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи, налаживанию связей с зарубежными адыгами, а их не менее 3 миллионов человек. Все это факты перестройки в нашей маленькой автономии.

В то же время в докладе на городской отчетной конференции коммунистов ни слова не говорится о проблемах национальной культуры, о национальных кадрах — этих вопросов вроде бы и нет. В то же время отмечается 150-летие города Сочи: трагедию народа, уничтожение основанного две тысячи лет назад адыгейского поселения в результате колонизаторской политики царизма, трагедию «младшего брата» пытаются превратить в праздник для «старшего брата». По тому же поводу почти на две тысячи лет «омолодили» город Туапсе, который, как Туапсиди, упоминается в работах греческих историков. «Черноморская здравница» публикует стихи, где доблестный казак сторожит мир и покой на земле черкесов от черкесских пуль. И сегодня на Кубани есть станица, носящая имя генерала Засса, отличившегося во время русско-кавказской войны нечеловеческой, садистской жестокостью. По воспоминаниям русских историков, путешественников, писателей, генерал Засс коллекционировал отрубленные головы черкесов, утыкал ими заборы для устрашения «непокорных», продавал черепа по десять

рублей любителям экзотики. Не мы напоминаем сегодня об этом, но находятся люди, напоминающие нам об этом. Я уже говорил о катастрофах, постигающих народы и страны. Если город объят пламенем и миллион людей занят тушением пожара, кто-то может больно толкнуть тебя. Стоит ли из-за этого затевать ссору! Боль пройдет через минуту, а город может погибнуть. К счастью, у нас нет пожара, но решаются исторически важные для судеб многих народов проблемы и мы, «всего лишь» стотысячный народ, хотим быть достойными участниками социалистического строительства, сохранив свой язык и свою культуру.

Есть очень важные проблемы, которые вписываются в программу перестройки, в их решении мы ждем и политической, и экономической, и просто братской помощи. Кабардинцы, черкесы и адыгейцы — одна этническая группа, это один народ с единым языком. Родители у нас одни, и все они по праву издревле называют себя адыгами. Исторически так сложилось, что они, составляя все вместе около полумиллиона человек, оказались разделенными натрое: на автономную республику и две автономные области. Писатели от одной матери создают три литературы: кабардинскую, черкесскую, адыгейскую. На двух алфавитах! Их разделяет расстояние в несколько часов езды. Их соединяют строго регламентированные официальные дни и декады — один раз в 3, 5 и 10 лет. Я, как и вы, не политик, не экономист, не социолог и не знаю, что и как сделать и возможно ли сделать так, чтобы адыги как целостный народ могли с твердой надеждой смотреть в будущее. Как сделать так, чтобы можно было хотя бы координировать научные изыскания по изучению истории своего народа, по решению сегодняшних его проблем, по созданию модели будущего в многонациональной стране? Журнал «Дружба народов» сделал бы огромной важности дело, обратив внимание общества на эти проблемы.

Каждый народ — многомиллионный он или насчитывающий всего лишь несколько тысяч человек — создавался и создается всем миром. Каждый народ хранит — в крови, в дыхании своем — все то, из чего состоит человечество. Адыгский философ XVIII века Казанок Джебаг сказал: «Самая большая величина — это народ». Значит, и забота о народе, о его культуре должна быть самой великой.

А как мы заботимся?

Адыгейское отделение Краснодарского книжного издательства (возможности которого крайне ограничены) переиздает роман маститого по местным меркам писателя объемом в 40 с лишним печатных листов. Переиздает всего через несколько лет после первой публикации. А молодые, которые уже начали обильно сесть, ждут годами своей очереди. 40 листов — это 10 сборников для местных членов Союза и 40 сборников для начинающих. Тот же маститый в следующем году переиздаст пять листов стихов, написанных десятилетия назад. Он же успеет издать шесть с лишним листов переводов русской и советской классики с десятками грубейших ошибок и искажений.

Такова реальность в нашей автономии. Союз не обновляется. Последний «молодой писатель» уже в сорокалетнем возрасте был принят в Союз лет восемь — десять тому назад. После многочисленных критических выступлений, и устных и письменных, решили рекомендовать в Союз группу молодых авторов: одному за пятьдесят, другим давно за сорок. Самую талантливую из них и самую достойную, стихи которой охотно берут московские издательства (всем другим попросту возвращают), организованно провалили, не высказав по стихам при обсуждении фактически никаких серьезных замечаний...

Что мы издаем?

Переиздаем то, что в избытке имеется в библиотеках. Издаем халтурные переводы. И почти два десятилетия не издаем на родном языке известного на всю страну адыгейского писателя, живущего в Москве, Аскера Евтыха. Москва издает его стотысячными тиражами, аспиранты защищают по его романам диссертации, а Адыгея отгородилась от него забором молчания. Два десятилетия назад Евтых издал роман, посвященный первым годам Советской власти в Адыгее, где неосторожно обнаружил у адыгейцев наряду с достоинствами национального характера также и присущие им недостатки. Это дорого обошлось писателю: имя его предавали анафеме, а ему самому грозили чуть ли не расправой. Автор все же остался жив Книга же его сделалась библиографической редкостью. За ней последовали другие, все они выходят на русском языке, скоро выйдет собрание сочинений. Художнику нельзя разговаривать со своим народом на его родном языке. Кто в этом виноват?

Издательство должно решить этот вопрос самостоятельно, но оно ничего не ре-

шает. Писатели голосуют «за», бюро писателей высказывается неопределенно, местная власть на наших собраниях отмалчивается, проявляя больше активности в вопросах переиздания уже не раз издававшихся текстов «маститого» местного автора, чем в издании настоящих, нужных книг!

Сейчас всесоюзному читателю становятся известны имена адыгских писателей-просветителей XIX века — Хан-Гирея, Адыль-Гирея, Каламбия и других, которые писали на русском языке, печатались в России, некоторых из них знал и публиковал в своем журнале сам Пушкин. Почему бы не приобщить их к национальной культуре, не перевести их на родной адыгейский язык?

Скажу еще несколько слов о сегодняшнем состоянии адыгейской литературы. Мне кажется, что мы засеваем поля, которые еще не вспаханы, или идем там, где нужно подождать всходов. Еще не начав писать, мы уже знаем, кто есть кто и что есть что. Мы работаем по схемам, к тому же выработанным не нами. Мы блуждаем в собственном саду как пришельцы. Мы исследуем себя не изнутри, а из некоей заданной внешней точки. Исследуем не то, что свойственно нам, а то, что кому-то другому кажется свойственным нам.

Молодые пытаются лишить Слово ставших привычными признаков узнаваемости, вновь срastить его с предметом, явлением, чувством. Вернуть Слово изначальные качества, о которых оно стало забывать. Слово накричалось, охрипло. Хрип еще громкий, но его уже не воспринимают, отмахиваются, как от звона назойливого комара. Это пока больше эксперимент, чем осознанное действие, но этот эксперимент должен помочь нам вновь полюбить свой язык, сделав его основным средством познания жизни. Иначе цель творчества недостижима.

В наше сознание через русский язык вторгаются достижения культур десятков и сотен народов. Возникает опасность присвоения, а не усвоения бесценных сокровищ. Мучительные гримасы родного Слова, берущего на себя непосильный груз, пугают читателей и вооружают критиков знанием внешних примет нашей беды. Поэты постарше смакуют эти приметы с удовольствием.

Странную, подчас необъективную позицию занимает наша критика. У нас еще нет убедительной литературной школы, нет и сложившейся практики, хотя кандидатов и докторов наук в избытке. Ни одна повесть или роман, ни одно стихотворение не исследованы по собственным законам родного языка и культуры, исходя из внутренних потребностей народа. Исследователи вооружены схемами, которые «подходят» к любому художнику. Книги еще нет, а для нее уже готовы и жанр, и стиль, и язык, и идея, и образы, положительные и отрицательные. Забывается изначальное: художник сам вырабатывает те формы, в которых существует его произведение.

Первое впечатление от работ критиков — они пишут не о том, о чем рассказывает произведение, а о том, о чем «надо» писать. Темы их исследований возникают не из книг, они появляются по совершенно необъяснимым побуждениям, понятным только им.

В результате, судя по основной массе критических работ, адыгейская советская литература похожа на литературу всех других народов Советского Союза. И это считается даже ее достоинством. Да, нас роднит общность идей, основного метода и цели, но быть на одно лицо кто нас заставляет?

Ругают поэтов, пишущих белыми стихами или верлибром. Ругают молодых поэты постарше. Почему бы им не пристыдить А. Пушкина, написавшего свои драматические шедевры белым стихом? И сотни и тысячи других великих и известных, ушедших и живых, наших и зарубежных? Да и как можно приказать: пиши так, не этак? Поэт волен писать так, как ему хочется и можется.

Наш нартский эпос зарифмован. Однако это особая рифма: конец предыдущей строчки созвучен с началом следующей или ее серединой. Этот способ — подхват — был выработан в соответствии с нашим языком, его ритмическими и интонационными особенностями и спецификой творчества: стихи рождались в пении. Рифмовка эта используется и в обособленных от пения поэтических творениях адыгов. Иногда рифмы опускаются, но особая ритмическая организация вполне компенсирует их. Подобный стих неограниченно расширяет возможности для богатейших созвучий, всегда оставляя свободным дыхание. Так рифмуются и тысячи наших пословиц.

Ныне мы игнорируем этот многовековой опыт своего народа. Считается наивно мысль и беспомощностью техники пользоваться собственным фольклорным богатством только лишь потому, что оно якобы «принадлежит прошлому».

Но фольклор — не прошлое. Мы вырастаем из него единым, не прерывающимся стеблем. Движение соков не должно прерываться.

В течение шестидесяти лет можно создать шедевры мирового образца. Шестидесят и более лет могут пройти и под знаком ученичества. Дело не во времени. В искусстве народов мира бывают провалы протяженностью в столетия.

Всякое оригинальное творчество питается внутренней энергией, освобождающейся под могучим напором созидательных сил народа. Мы, писатели, вырастаем из духовных недр своего народа — в этом залог нашего будущего и будущего самого народа. Это только начало пути, его предпосылка; дальнейшая наша судьба будет зависеть от наших потенциальных возможностей и от нашего труда.

Нафи Джусойты

Страх, борьба и надежда

Я так понимаю смысл нашей встречи: обрисовать специфические черты неблагополучия в литературах автономных республик и предложить конкретные меры их преодоления.

Не вижу необходимости перечислять все наши беды и обиды, связанные с периодами репрессивного разрушения складывавшихся молодых советских литератур, с годами волюнтаризма и застоя. Хочу сказать лишь о тех явлениях, которые до сих пор не дают литературам обрести подлинную художественную зрелость и делают весьма проблематичной саму перспективу дальнейшего их развития.

Развитие советской осетинской литературы в 20-е — 30-е годы (до трагедии 1937—1938 годов) шло довольно успешно. Получив государственность, народ переживал свое национальное возрождение. Национальный язык вошел в школы как язык обучения, в государственные учреждения — как язык делопроизводства. Постоянно действующая периодическая печать (газеты и журналы) и книгоиздательства стали реальной материальной базой развития национального языка и художественной культуры на родном языке.

И все-таки уже тогда национальному культурному возрождению серьезно мешали два фактора: смена алфавита в 1923 году (перевод осетинской письменности с кириллицы на латиницу вопреки воле интеллигенции, указывавшей на почти 150-летнее существование осетинской книги на славянской графической основе и на пагубные последствия разрушения традиции). Второй фактор был связан с искусственно навязанной деятелям культуры «идейно-политической борьбой», с противостоянием групп (пролетарские писатели, крестьянские писатели, попутчики и т. д.).

1937—1938 годы для осетинской культуры обернулись подлинной катастрофой — все талантливое, самобытное, неординарное было вырублено начисто сталинской репрессивной секирой. Все пришлось начинать сызнова, с дореволюционного состояния, ибо культурное движение лишилось не только своих самых талантливых деятелей, но и всего ценного, что было создано за два десятилетия советского возрождения.

В 1938 году осетинскую письменность вновь реформировали: перевели в Северной Осетии на кириллицу, а в Южной — на грузинскую графику. В одночасье осетины опять оказались «безграмотными» и к тому же рассеченными на две части: высокие покровители ввели в обиход новую этическую диффиницию — юго-осетинский народ! Литература была обезглавлена, культура разорена, люди искусственно лишены элементарной грамотности — возможности читать на родном языке.

И еще одно несчастье: в конце 30-х — начале 40-х годов осетинский язык как язык обучения, был изъят из школ, он сохранился лишь в начальной школе окраинных сел и деревень. Функции языка обучения были переданы русскому и грузинскому языку. База развития осетинской национальной культуры была разрушена руками самого осетинского чиновничества: ему оправдания нет, даже ссылки на повелительные указания сверху не преуменьшают его вину перед родным народом.

В 1953 году произошла последняя смена алфавита — теперь и в Южной Осетии

перешли на кириллицу, а в школе языком обучения стал русский. Осетинский язык сохранил свои функции в начальной сельской школе, причем вопреки воле хрущевского просвещенческого начальства, изо всех сил добивавшегося перевода и сельской начальной школы на русский язык обучения.

Застойное время ничего нового не внесло в этот процесс, только в полном объеме выявились разрушительные последствия содеянного. Народ в подавляющем большинстве (в том числе и высокообразованная часть интеллигенции) оказался совершенно безграмотен в сфере родного языка. Литература и театр остались без массового читателя и зрителя, без постоянного притока свежих творческих сил. Достаточно сказать, что самому молодому нашему писателю (из членов СП СССР) 38 лет. И что самое горестное — достойной литературной смены не видать. Это явление наблюдается не только в литературе, но и в других сферах художественной культуры.

Разрушение народной духовной культуры — пожалуй, самое страшное и трудноодолимое наследие ледяного застоя. Народ оказался отчужден от ответственности за собственное художественно-культурное развитие, за достоинство своего языка и своей духовно-творческой деятельности. Вместо консолидации творческих сил шел процесс их атомизации, разведения и затухания. Исподволь, преднамеренно навязывалось народу нигилистическое равнодушие к своей национально-исторической и культурной будущности.

И это нигилистическое равнодушие, и безнадежное отчаяние в среде творческой интеллигенции, вспомните знаменитый плач Расула Гамзатова — и если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть — прямое следствие сталинской ассимиляторской национальной политики и ее продолжения во времена волюнтаризма и застоя.

Сталинская политическая теория представляла в будущем человечество одноязычным, и к этому одноязычию указано было идти через отмирание языков, вначале — языков малочисленных народов, а потом и великих народов. Из языков прошлого путем скрещения должен был выработаться один неведомый, ничейный язык. Эта теория была и остается всемирно-ассимиляторской теорией вражды и натравливания народов друг на друга. Именно отсюда начинается негласная, никем теоретически не форсируемая, но совершенно очевидная борьба наших народов за выживание перед лицом всемирной теоретически оправдываемой и политически навязываемой опасности — исчезновения национальных языков и культур. Сталинскую концепцию отмирания наций и народов, их языков и культур выдавали за интернационалистское решение национального вопроса в мировом масштабе. Но такой «интернационализм» носит кладбищенский характер: языки умрут, никому не обидно — на миру и смерть красна!

Самый характер этой теории и этой политики привел нас не только к отчаянному стремлению выжить в искусственно созданной атмосфере страха национального исчезновения, но и к желанию самим кого-то (кто числом поменьше!), в свою очередь, ассимилировать, укрепить свои позиции перед смертной перспективой. Отсюда два следствия: неуважение к малочисленным народам и озлобление против сильных и великих, как неодолимых конкурентов в борьбе за выживание. Так разрушались и деформировались интернационалистские и гуманистические традиции в межнациональных отношениях наших народов. Думаю, что именно страх национального исчезновения породил и всеобщее нынешнее стремление закрепить за своим национальным языком статус государственного языка статус, который мыслится своеобразным противовесом опасности национального исчезновения.

Вот с каким наследием мы подошли к эпохе перестройки. Перестройки, которая должна стать началом возрождения не только нашей экономики и государственности, всех сфер нашей общественной жизни, но и наших межнациональных отношений на основе подлинного интернационализма. И еще — эпохой возрождения всех наших национальных языков и художественных культур, создаваемых на этих языках.

Я надеюсь, что такое возрождение национальных языков и культур станет подлинной реальностью, а не просто декларируемым желанием, но для этого необходимо всей нашей общественности, нашей идеологии и общественной мысли выработать новую, подлинно интернационалистскую концепцию исторической и культурной будущности всех народов независимо от их численности и заслуг перед историей и культурой человечества.

В такой концепции, мне думается, должна найти себе место та простая истина, что каждый народ, даже самый малочисленный, достоин не только благоденствия, но и вечности. И имеет на это все права в сообществе других народов-братьев.

Думается также, что для такой подлинной интернационалистской концепции термин «национально-русское двуязычие» неприемлем. Двуязычие допускали все ассимиляторские теории, но они всегда рассматривали его как форму, ступень, средство перехода к одноязычию. Именно своим откровенно ассимиляторским содержанием этот термин скомпрометировал себя.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о возможности иного решения вопроса. В нашей многонациональной стране язык межнационального общения реально существовал задолго до Октября. Эта миссия естественным образом выпала великому русскому языку. Это факт, общеизвестный и общепризнанный. Я не знаю (видимо, все присутствующие также не знают) ни одного здравомыслящего человека, который бы оспаривал этот факт.

Важно только, думаю, точно и взвешенно определить, конституционно зафиксировать точные функции русского языка в качестве языка межнационального общения на всей территории нашей общей родины. И рядом с этим — так же точно определить права и функции родных языков всех народов страны. И в этом определении прав и функций национальных языков автономных республик и областей родному языку надо вернуть его функцию быть языком обучения хотя бы в объеме неполной средней школы и одним из языков делопроизводства в пределах республики и области.

Если мы действительно желаем возрождения национальных языков и художественной культуры на этих языках, если мы действительно за духовное возрождение малочисленных народов, то такая мера, такое признание и разграничение сфер функционирования русского и родного языков в автономиях — настоятельная и совершенно очевидная необходимость.

Интернационалистская концепция исторической будущности народов признает за каждым народом перспективу на вечное бытие, а за его языком — на бессмертие. Такая теоретическая и политическая перспектива снимет страх перед реальной опасностью национального исчезновения, поможет сопротивляться всемирно-ассимиляторской практике, вернет народное сознание к традициям интернационалистской солидарности и гуманистического взаимоуважения. Концепция бессмертия национальных языков — вот гарант подлинного братства народов.

Аркадий Солодовников

Нужна каждодневная работа

В связи с предстоящим Пленумом ЦК КПСС только в подотделе межнациональных отношений за полгода получено около 6 тысяч писем. Во многих из них подняты те же проблемы, о которых сегодня здесь идет речь. Нам удалось встретиться и побеседовать со многими людьми. Эти встречи были в башкирских, татарских, чувашских, марийских селах, коми селе и других. Это живое общение оставляет самые глубокие впечатления и самым убедительным образом подтверждает актуальность многих мыслей, которые здесь были высказаны. Скажу хотя бы об одном из таких впечатлений.

В Башкирии есть чувашское село Слакбаш, известное многим как родина Константина Иванова, создателя чувашского литературного языка. Там его могила и музей. В этом же селе по завещанию похоронен и известный чувашский поэт Яков Ужай. Но почему это село оказалось в худших условиях, чем остальные села в Белебеевском районе? За 15 лет здесь не построено ни одного жилого дома. Школьному зданию почти 100 лет. Школьный интернат и музей Константина Иванова оказались в аварийном состоянии. 87 чувашей из этого села погибли в войну, но нет памятника. В других селах есть памятники, в этом — нет. За запустение святого для чувашей места с полным основанием можно пристыдить руководителей двух соседних братских республик.

Мы сегодня не затронули вопрос о том, как удовлетворять культурные запросы людей, живущих за пределами своих национально-государственных образований. Нам пишут башкиры, татары, чуваша, живущие в Челябинской, Оренбургской, Ульяновской, Куйбышевской и ряде других областей. Они просят, например, помочь им в воз-

рождении своего родного языка. Правы они в своем желании? Безусловно. И для этого не требуется какого-то специального разрешения или указания сверху. К сожалению, активного отклика и практических действий для удовлетворения подобных просьб приходится ждать очень долго, не используются в этом случае резервы, которые кроются во взаимодействии и тесном сотрудничестве автономных республик и многонациональных областей Волго-Вятского, Поволжского и Уральского районов.

Если принять предложение Аркадия Павловича о быстрейшем решении проблемы с совместным преподаванием чувашского языка в его республике...

А. Айдак. Я не говорил — быстрее, я говорил — постепенно.

А. Солодовников. Даже и постепенно, хотя бы в тех школах, которые будут готовы начать изучение языка с нового учебного года, их не смогут полностью обеспечить кадрами преподавателей, программами и учебниками. В каждой республике надо прежде всего изучать необходимость и условия перехода на изучение родного языка, потребность в преподавательских кадрах и учебниках. И делать это надо продуманно.

В Башкирии, например, после критики на февральском Пленуме ЦК КПСС 200 школ переведены на изучение татарского языка. Но при этом в нескольких школах был допущен определенный перегиб: случайно перевели и те классы на изучение татарского языка, где преобладали дети из башкирских семей. Вновь по просьбе родителей приходится исправлять допущенные ошибки.

Несколько слов о культурном сотрудничестве. В прошлом году Дни искусства и литературы Татарии с успехом прошли в Башкирии. Но чего греха таить? В те дни самокритично было признано, что раньше такие связи и контакты между двумя республиками, мягко говоря, не поощрялись. Сейчас иное время. Башкирия готовится к ответному визиту. И такие регулярные связи и культурный обмен не для помпы и парадности должны развиваться между всеми автономными республиками и многонациональными областями Урала и Поволжья. Должен стать регулярным обмен программами радио и телевидения, страницами газет и т. д.

Особо о контактах писателей, ученых и других представителей интеллигенции. Хочу сказать о присутствующем татарском писателе Рафаэле Мустафине. Он сегодня не только писатель, он еще и председатель комиссии по межнациональным вопросам Казанского городского Совета народных депутатов. В лице таких представителей интеллигенции партийные и советские органы находят очень хорошую опору. Без такой поддержки, без тесного сотрудничества в работе мы не сможем справиться успешно со своими задачами.

К сожалению, мы не всегда можем опереться на эту силу. Зачастую между некоторыми представителями писательской, научной интеллигенции возникают ненужные споры и распри и, я бы сказал, определенная напряженность. Это, например, относится к Татарии и Башкирии. В той и другой некоторыми представителями интеллигенции вольно или невольно муссируются вопросы из истории прошлого: кто, когда «сложился» как нация, кто, кого, когда «выручал» и кто раньше создал литературный язык и алфавит. Если в журнале, который напечатан в Казани, печатается карта расселения в прошлом татар вплоть до Уфы, то, естественно, у башкир это вызывает чувство настороженности и раздражения. Если в газетах Башкирии накануне Всесоюзной переписи населения печатаются тенденциозные материалы и уточнения о расселении в прошлом башкир, вряд ли это можно оправдать. Такие взаимные выступления наносят только вред сотрудничеству народов двух соседних республик.

В Уфе решили создать центр национальных культур и родного языка и предоставить ему помещение в самом лучшем дворце — нефтяников. Его задача — объединение усилий представителей общественных организаций татарской, чувашской, еврейской, марийской культуры в движении за сохранение и развитие своего родного языка и культуры. Республиканские органы сейчас заинтересовались этим движением, оказывают ему поддержку. Мы считаем, что помощь со стороны республики всем живущим в ней национальностям через такой центр — это дело стоящее.

А вот в Казани пошли по другому пути. Создан татарский общественный центр с однозначной национальной направленностью — татарской. Цель — помочь всем татарам, проживающим в других регионах страны, в удовлетворении национально-культурных потребностей, хотя вообще этим должны прежде всего заниматься государственные органы национальных автономий.

Не вызывает сомнения, что это хорошее стремление общественности Татарской

АССР надо максимально использовать для практической работы по сохранению родного языка, культуры, обычаев и традиций, и прежде всего в самой республике. В свою очередь республиканским государственным органам надо оказывать всестороннюю помощь другим республикам и областям, где проживает татарское население, в сохранении и развитии его национальной культуры, языка.

Но это как раз наиболее слабое звено в межнациональных отношениях между автономными образованиями, в улучшении интернационального воспитания трудящихся. Взять хотя бы для примера клубы интернациональной дружбы, которые созданы почти во всех учебных заведениях. Спросите у организаторов работы этих клубов: с кем дружите? Мы дружим с ГДР, Чехословакией, с ФРГ, с Америкой и т. д. Но почти не услышите о содружестве с областями и республиками Советского Союза. Я думаю, вы правильно меня поймете, я не против дружбы со всем зарубежным миром, но обидно за области и республики, где проживают свои же соотечественники, но с ними, как выяснено, нет никаких связей.

Многое из сказанного можно осуществить, не дожидаясь Пленума. И то, что журнал делает, я думаю, это очень правильно. Всем нам надо учиться работать в новых условиях и решать назревшие проблемы как никогда продуманно и более оперативно. Как отмечалось в постановлении о подготовке Пленума «О совершенствовании межнациональных отношений в СССР», снимать остроту некоторых вопросов уже сейчас. А на Пленуме, естественно, будут решены наиболее крупные, принципиальные вопросы, о которых сегодня тоже шла речь.

Лев Шишов

Решать вопросы практически!

Я думаю, что если обратиться к Ленину, к его критическим замечкам по национальному вопросу, то нет, говоря словами Ленина, ничего невозможного в том, чтобы удовлетворить все разумные и справедливые желания национальных меньшинств на основе равноправия. Сегодняшний разговор показывает именно это. Показывает, во-первых, большую заинтересованность писателей. Но очень важны сегодня здесь откровения Аркадия Айдака, потому что писателям по долгу совести как бы «положено» говорить о нуждах культуры во весь голос, а тут об этом говорит человек от земли и связывает будущее чувашского села с культурой своего народа. Конечно, что до методов, то тут есть о чем поспорить, но я думаю, Аркадий Павлович, наши разногласия не носят характера противоборства. Мы подойдем к этим вопросам без нажима, на почве добровольности и единства мыслей. Писатели признают, что они сами во многом виноваты, что культурная жизнь автономий не на высоте, но ведь и делается уже многое. Понравилось то, что здесь рассказал Нальбий Куёк, — то, что сделали адыги, такого еще, к сожалению, не удалось сделать пока во многих союзных и автономных республиках. Все обижаются, что роль родного языка принижена. Но надо это не повторять, а делать.

Хотелось бы сегодня отметить одно обстоятельство: мы очень долго молчали о национальных проблемах, потому что они переводились зачастую в разряд «национализма». Надо прямо сказать, что всякий нерешенный национальный вопрос тонок и сложен, большая нация или малая, он задевает людей и руководителей. Особенно задевает самозлюбие народа, если по той или иной причине у него создается впечатление, что в кадровых вопросах ущемляют его права, особенно там, где нет своих первых руководителей. Там, где есть стабильное местное руководство, можно, в конце концов, свалить ответственность на своих руководителей, можно их заменять, перемешать. А там, где руководители не местные, не «свои», возникает подобие, как метко было сказано, номенклатурного отношения к национальной проблеме. По-видимому, надо к этому прислушаться. Но факты, когда в национальных республиках работают руководители, которые не являются представителями народа, давшего имя республике, не какие-то необоснованные. Это оправдывая себя практика межнационального обмена

кадрами. Ведь не всякий может руководить, не всякий может поднять эту иногда очень тяжелую ношу! Для этого нужны опыт, подготовка.

Когда говорится о том, что нет кое-где местных кадров, вернее, кадры не выдвигаются, то тут причина не в том, что «не хотят выдвигать», а в том, что их не хватает. Вот в чем дело. В ряде регионов случилось так, что как только доходит дело до выдвижения на руководящий пост — и тут стоп! — сами местные товарищи говорят: нет, не потянет. Надо работать над подготовкой национальных кадров. Мы этот вопрос упускали, часто занимались этим делом статистически. Вопрос о кадрах стоит остро. Пленум Центрального Комитета, безусловно, не решит сразу всех вопросов межнациональных отношений, в том числе и кадровых. Это только шаг к главному, к чему мы идем. Но это шаг крупный, важный. Принципиальная концепция совершенствования работы по межнациональным отношениям опубликована в решении Политбюро ЦК КПСС в ноябре 1988 года. В нем перечень, что мы должны решить до Пленума и на Пленуме. Но это далеко не все, что надо сделать, чтобы снять все деформации и наслонения. Впереди предстоит большая организаторская и правовая деятельность. И в ней призваны активно участвовать все.

Национальное плодотворно лишь до тех пор, пока законная любовь к своему народу, гордость за его достижения не перерастают в претензии на ту или иную исключительность и превосходство по сравнению с иными народами.

В последнем случае возникает презрительное, пренебрежительное отношение к другим народам и соответственно «своя» гордость противопоставляется их гордости, их традициям и достижениям.

Сейчас острее всего ставятся вопросы даже не социально-экономические и не вопросы национально-государственного устройства, а именно вопросы культуры, языка, гражданства. Кто эти вопросы поднимает? Интеллигенция. Ей и должно поднимать эти вопросы. Но часто мы забываем о том, что в первую очередь именно интеллигенция, литераторы, писатели сами и ответственность несут за упущения, за упущенные возможности в развитии культуры и языка, за равнодушное созерцание того, что происходило.

Иногда говорят так: а попробовали бы вы поднять тот или иной вопрос десять лет назад! Но ведь тогда что говорили товарищи из автономий? Они говорили, что там никакого национализма нет и быть не может. И проблем как бы не было. То есть практически вопросы не ставились. А теперь, когда ставить их стало даже престижно, начинают ставить такие вопросы. И, главное, те вопросы, которые они должны были сами и решать.

Поэтому опыт наших адыгейских друзей очень важен и конструктивен. Я думаю, что здесь надо нашей творческой интеллигенции переводить работу в практическую плоскость. Подчеркиваю еще раз: выдвижение местных кадров — дело необходимое, но не каждый, к сожалению, берет на себя ответственность, не каждый готов стать руководителем и почему-то не каждый талантливый человек хочет жить именно на своей малой родине, иные предпочитают жить за ее пределами.

Это деликатный вопрос. Но, с другой стороны, вопрос обходить нельзя. Думаю, что сегодняшней разговор поможет нам разобраться и укрепиться в своих позициях. И более трезво и конструктивно смотреть на вещи. А самое главное — избегать всевозможных искривлений, не дать играть на руку противникам перестройки. Ведь многие противники перестройки пристраиваются именно к национальному вопросу. Потому что вопрос этот наиболее чувствителен, наиболее доходчив. До самых широких слоев населения доходчив! Ни мясом, ни колбасой, никакими другими дефицитами так больно нельзя обидеть человека, как именно дефицитом внимания к национальным отношениям.

Заметьте: национальные трения не возникают, когда человек в труде, в процессе труда. Когда человек работает, то важно, как он работает, а не кто он по национальности. А когда человек больше, чем к работе, проявляет охоту выяснить, какой он национальности, вот тогда можно и дров наломать. От того, как мы сейчас переживем эти трудные годы перестройки, зависит все: найдем ли в себе силы для того, чтобы унять страсти и перейти от эмоций к разуму, перевести эмоции в русло разума.

И еще один вопрос: о правах. Безусловно, будут приняты новые законы об укреплении Федерации, о расширении прав и союзных, и автономных республик. Юрий Калешук сказал с иронией: ну, у нас будет пятьдесят — сто союзных республик. Конечно, все национальные образования не станут союзными республиками. Но, навер-

ное, где-то поднять статус надо, надо поднять и расширить права. И самое главное: мы должны сделать наш Союз таким, о каком мечтал Ленин. Ликвидировать деформации. 30 декабря 1922 года Ленин начал диктовать записку «К вопросу о национальностях или об «автономизации». Помните первые слова: «Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко в пресловутый вопрос об автономизации, официально называемой, кажется, вопросом о союзе советских социалистических республик».

Видите, как В. И. Ленин очень точно определяет подход к вопросу.

Говорят, что мы построили сталинскую модель. Но ведь это не совсем так. Дело в том, что ленинская идея позднее все более деформировалась, Сталин фактически постепенно свел к своему пониманию принципы равноправия, самостоятельности и сотрудничества республик и наций. А выдавалось все это за позитивные процессы.

Сейчас партия заявила о своей готовности исправить положение. И мы, участники перестройки, призваны исправить его — по-человечески, по-граждански, по долгу коммунистов.

Сергей Баруздин

Уважение и требовательность

Я не собираюсь ни в коей мере подводить итоги разговора, потому что убежден, что такие разговоры продолжатся и после этого обсуждения, и после нас, и через пятьдесят, и через сто лет, на всех уровнях, потому что даже в условиях коммунистического общества национальный вопрос будет и самым острым, и самым тонким, и самым сложным.

Если мы считаем, что во главу угла перестройки надо ставить человеческий фактор, ибо без него ничего не решишь, то во главу угла решения всех национальных проблем, мне думается, надо ставить одно понятие: уважение. Уважение человека к человеку. Значит, и к человеку любой национальности. Отсюда — все остальное. Если я человека уважаю, то неважно, каких он точек зрения придерживается, какую он занимает позицию. Если я с ним спору, я спору уважительно и с достоинством.

И вот тогда все эти проблемы, мне кажется, могут быть решены.

Вообще же проблемы культуры, литературы, языка находятся в прямой зависимости от политики, от экономики, от социальных и правовых вопросов. И если мы сейчас приступаем к совершенствованию нашей Конституции СССР, то эта работа должна коснуться и конституций союзных и автономных республик. Она, эта работа, должна тоже иметь в основе самый главный фактор: уважение. К особенностям, к традициям, к истории и к нынешним реалиям.

Правы те, кто говорит, что эти проблемы, как сказал Аркадий Павлович Айдак, не терпят поспешности, их надо решать постепенно. Но, думаю, не менее важно осознать, сколько в этих делах накопилось пены, несправедливости, отсутствия уважения, и поэтому некоторые вопросы надо решать оперативно, не ожидая никаких пленумов. Ну что толку, когда, допустим, по ситуации с крымскими татарами мы что-то здесь решаем, что-то делаем, а потом местные власти в Крыму загоняют эту проблему в тупик. Есть реальное количество крымских татар, живущих в Крыму без прописки. Без прописки им работы не дают. Они купили дома, с них берут оброк за получение работы — в условиях города это по 8 тысяч рублей на каждого члена семьи, а в условиях сельской местности 700 с чем-то рублей. Когда стали копать, на основании чего этот порядок возник, оказалось, что нет на этот счет ни документов, ни распоряжений, ни фактов. Если я, русский, приеду в Крым и куплю дом, с меня оброк не возьмут. Если украинец приедет, не возьмут, белорус — не возьмут, с грузина не возьмут. А с крымского татарина — берут. Самостоятельность.

Я отноюсь не за то, чтобы восстанавливать в Крыму государственную автономию крымских татар в форме республики, это глупо и нереально: на полуострове живут пять миллионов человек разных национальностей, и крымские татары составляют там

явное меньшинство, но ведь есть степные районы Крыма, малообжитые, там требуется рабочая сила; почему не создать какое-то формирование типа национального округа? И пусть они там живут и работают. Кстати, тогда и пена с этого вопроса была бы снята. Многие крымские татары, живущие в Краснодарском крае, перестали бы ездить в Москву и сидеть на Красной площади, если бы они увидели, что сделано что-то реальное. А поскольку реально, к сожалению, ничего не сделано, они до сих пор ходят. Перед тем, как идти на Красную площадь, они приходят на улицу Воровского, в «Дружбу народов», потом идут дальше, создают комитеты и оргкомитеты и прочее.

Мне думается, что эти все вопросы стоят конкретно и их надо решать оперативно. Они не требуют никаких особых затрат, ни даже изменений в законодательстве. Даже не надо ждать новых вариантов конституции. Многое зависит от того, как ведут себя местные власти, к какой бы они национальности ни принадлежали. Иногда в республике оказывается русская местная власть, но иногда ничем не лучше и местные национальные власти, которые порой, наоборот, обостряют ситуацию.

Здесь, конечно, огромный пласт ответственности ложится на плечи историков, писателей, литературоведов. Переосмысление нашей истории и истории культуры, которое сейчас происходит, касается всех. Оно касается не только русской истории, не только русской литературы, созданной как до, так и после 1917 года. Оно касается любой литературы, большой или малой, в большом регионе или в малом, в большой республике или в малой. Это очень важная вещь. Сейчас нельзя судить по старым меркам, то ли волюнтаристским, то ли предыдущего, сталинского периода, нельзя старому смотреть на наш вчерашний день. А не осмыслив вчерашний день, мы никуда с вами не сдвинемся. Здесь и переосмысление нашей классики, если говорить о литературе, процесс безумно тяжелый. Причем здесь классики, как ушедшие физически из жизни, и не только репрессированные, так и классики здравствующие. Потому что творчество здравствующих классиков и в русской литературе, и во всех других литературах уже не соответствует нашему нынешнему представлению о художественных ценностях.

А если говорить о писателях, невинно и несправедливо вычеркнутых из литературы, то я должен еще раз бросить упрек здесь всем нашим собратьям по перу: к сожалению, на местах эта работа проходит очень медленно, с большим торможением и порой с явным сопротивлением. Это говорит о том, что мы новым мышлением не овладели. Некоторых писателей в республиках реабилитировали посмертно и восстановили в литературе только после публикаций в нашем журнале их стихов и их прозы, да и то на местах еще гадали: стоит или не стоит?

Я не противник создания всяких неформальных организаций и объединений, кроме крайних, но, дорогие друзья, если мы с вами не будем оперативно решать национальные проблемы, за них возьмутся неформалы, а неформалам, даже самым прогрессивным, отдавать их решение нельзя. А то ведь они вам, как кооператоры, продающие за 3 рубля порцию свиного шашлыка, решат за один присест все национальные проблемы: в одном случае путем отделения от Советского государства, если вы нам откроете карты договоров 1939 года, в другом случае и без этого. Рафаэль Мустафин знает, сколько в одной Казани всяких неформалов, и он знает им правильную цену, но половина-то из них пытается решить национальные проблемы, которые мы, к сожалению, с вами решаем сами плохо.

Эта опасность, что неформалы будут решать национальные проблемы, мне думается, может повести к тому, что мы будем иметь Карабах в любом регионе нашей страны.

Мне думается, что очень важную мысль высказал здесь Н. Джусойты: насчет русского языка. Русский язык тоже нуждается в защите. Я не берусь решать проблему, обязательен или не обязательен он для изучения, я к этому просто не готов, но я считаю, что навязывать здесь ничего не нужно. Я проблему русского и других языков не ставил бы так остро в государственном масштабе, дескать, обязательно всем изучать. Свой язык не обязательно изучать, а русский обязательно, как английский или французский, или испанский? Но русский язык нуждается в защите просто по реальному состоянию этого языка. Он деформируется средствами массовой информации, кошмарно деформируется. Если вам придется, по моему печальному опыту, проводить зное количество месяцев в году в больнице, где даже к телевизору тебя не допускают, а ты можешь слушать только радио, вот послушайте два-три часа передачи на русском языке. И вы разучитесь говорить по-русски. Не говоря уже о книгах. И не

только переводных, о чем я скажу дальше, но и о книгах, написанных на русском языке.

В связи с этим несколько слов о «двуязычии». Я этой формулы не принимаю. Что такое двуязычие, триязычие, одноязычие? Я не признаю только косноязычие. И когда на страницах нашего журнала бывают публикации — одни за двуязычие, другие против двуязычия, — я, даже подписывая эти материалы, не понимаю, о чем идет речь. О том, что русский язык должен быть одновременно государственным в Удмуртии, как и удмуртский, я против этого. Он должен быть естественным вторым родным языком, если народ хочет, чтобы он был этим языком. И никакими законами — боже упаси! — не внедрить это дело. Тогда в условиях Южной Осетии должно быть обязательно триязычие, а где-нибудь найдется у нас такая область, где должно быть пяти- и шестязычие. Мне кажется, это нас уведет совершенно не туда. Вот простой и близкий мне пример, он кое-что объясняет. «Дружба народов» при тираже в 150 тысяч и при тираже в миллион сто тысяч распределяется так, что 90 процентов тиража идет в русские области, в русские края, а не в республики.

Л. Шишов. А в республиках, если вы поинтересуетесь, в какие они семьи идут, опять же 90 процентов идет в русскоязычные семьи.

С. Баруздин. Да. То есть журнал-то русский. И русскому читателю, если он по-настоящему русский человек, русский интеллигент, ему совершенно безразлично, читать ли, допустим, Юрия Трифонова или Василя Быкова, Миколаса Слуджиса или Нодара Думбадзе. Он читает это по-русски, потому что переведенные на русский язык произведения становятся фактом русской литературы. Если я буду читать это произведение только как факт русской литературы, значит, это плохое произведение. Значит, оно переведено ради галочки. Вернусь к тому, с чего начал. В решении национального вопроса главное — уважение. Но уважение подразумевает и требовательность. К сожалению, в нашей реальной литературной жизни, а литература у нас многонациональная, все-таки есть снисходительное отношение к переводной литературе. У меня иногда даже возникает ощущение — пусть оно вам не покажется крамольным, — что мы больше, чем нужно, переводим на русский язык произведений писателей из других республик. И они дискредитируют в глазах русского читателя ту литературу, которую представляют. Мне уже доводилось приводить этот пример, я его повторю.

Мы находимся с «Советским писателем» на одной улице. Все рукописи, отвергнутые в «Дружбе народов» по качеству, через год-два выходят в издательстве «Советский писатель» и лежат мертвым грузом на полках библиотек и книжных магазинов. Писатель в республике порой настолько одержим идеей издаться на русском языке любой ценой, что вопрос требовательности отходит у него на второй план. А переводчик, жаждущий заработать, является тем пробойником, тем отбойным молотком, который это пробивает. Издатель же в надежде отчитаться, что в его планах представлены все наши литературы, эту книгу издает. К сожалению, действует принцип запрограммированности: издательство «Советский писатель» ежегодно издает 40 процентов переводных книг и 60 процентов русских книг. Этот принцип, по-моему, губителен. Да, может быть, сегодня и нет 60 процентов русских книг хороших, а переводных, может быть, есть не 40 процентов, а 60. Нет, все равно: 40 и 60. И так на протяжении десятилетий. А может быть, какой-то год нет 40 процентов хороших переводных книг. Все равно 40. Раз Казахстан большая республика, там минимум столько-то должно быть книг издано. Кабардино-Балкария поменьше, ну, оттуда можно раз в два года издавать по одной книге.

Вот мне думается, что вопрос требовательности, качества литературы, на каком бы языке она ни создавалась, это тоже проявление уважения к этой литературе, уважения к народу и к земле, которая породила эту литературу.

Национальное и провинциальное

С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»
ВИТАЛИЕМ КОРОТИЧЕМ
БЕСЕДУЕТ ПИСАТЕЛЬ ЮРИЙ ПОКАЛЬЧУК

Ю. П. В последнее время часто говорят и пишут о социалистическом плюрализме в нашей жизни, в том числе и по отношению к литературе. «Огонек» называют одним из ведущих периодических изданий, материалы которых способствуют демократизации нашего общества.

Мне кажется, что, если, говоря о плюрализме мнений и взглядов, посмотреть под этим углом на наши печатные органы, можно выделить два направления. С одной стороны, скажем, консерваторы, с другой же — возмутители спокойствия («термин» тоже весьма условный), те, кто касается самых острых проблем порой не слишком осторожно и, таким образом, создает вокруг себя определенные водовороты, что ли, литературные и социальные, сшибки мнений. Можно ли говорить о том, что наше общество просто еще не привыкло к тому, что возможен другой взгляд на привычные для нас вещи и явления, или же вы считаете, что эти споры как раз и являются тем нужным и необходимым результатом, из которого в конце концов родится истина?

В. К. Большинство из нас воспитаны в таких условиях, когда существование на равных не то что двух, а полутора решений считалось почти что антигосударственным. Мнение было единственное, высказывалось оно централизованно, и, извините, никаких других и третьих мнений и быть не могло. Поэтому, когда вдруг оказывается, что надо и самому подумать, это становится невыносимым напряжением и неимоверным переживанием для многих людей. Они активно не хотят думать. Руководители предприятий, переходящих на хозрасчет, бегут по инерции в директивные органы и просят, чтобы им дали план, как раньше. Писатели хотят, чтобы фм кого-нибудь назначили или составили список, как на ипподроме, кто у нас сегодня первый, кто десятый. Очень ждут команды. Вот я спросил у одного писателя его мнение о сегодняшней ситуации в литературе. Он говорит: сегодня надо быть очень точным. идет реформирование обойм. То есть он воспринимает перестройку, в частности в литературе, как реформирование обойм, не больше. Все это сложно, и, возвращаясь к известному ныне тезису, повторю — мы должны учиться демократии.

Ю. П. В начале 1988 года в журнале «Огонек» была напечатана статья Наталии Ильиной. Публикация вызвала ожесточенные споры, которые, как мне кажется, возникли не столько вокруг фактов, сколько вокруг самого права затрагивать отдельные высокопоставленные имена. Вот это, мне кажется, сейчас один из самых больных вопросов в нашей литературе. И здесь журнал «Огонек», если можно так выразиться, на самом левом краю левого фланга. Но есть ведь и другие печатные органы, которые поддерживают в общем и целом такое направление. Какой вы видите ситуацию?

В. К. Мы действительно пытаемся выяснить, можно ли вообще объективно, при необходимости критически говорить о руководителях СП и «именитых» писателях. Так начался разговор о группах по глорификации, славословию. Рядом с некоторыми хорошо известными писателями есть группы «рыбок-лоцманов», которые кормятся возле, создавая его, так сказать, образ в прессе. И очень грустно, когда сам писатель начинает относиться к этому образу без иронии, а воспринимать как нормальную оценку своего творчества. Многие весьма известные писатели (слава богу, наглядясь и на Украине, и здесь) чуть ли не падают в обморок или впадают в ярость, если их не упомянули в каком-то перечислении, не назвали после кого-то или перед кем-то. Все это ужасно вредит делу.

Возвращаясь к теме плюрализма в литературе. Когда в русской литературе одновременно работали Фет и Некрасов, столь разные во всем и столь великие, при всех проблемах, которые тогда существовали, не было ведь необходимости или обя-

занности думать им одинаково. Для русской литературы многообразие мнений, а точнее, демократизм — традиция.

Ю. П. И все же до какой степени можно критически говорить об «именитых» литераторах? Где границы? Считаете ли вы, что есть такие границы для одних и для других или же они общечеловеческие?

В. К. Для меня они общепартийные, общегосударственные...

Ю. П. Если можно так сказать, скорее общегуманистические?

В. К. Пожалуй, тут вопрос этики. Я считаю, что если кого-то нельзя задевать, то только на уровне какой-то сугубо приватной информации о его личности (но не о творчестве). А сказать о том, что его произведение, скажем, уступают несколько по уровню Достоевскому, совершенно нормально.

Ю. П. Сейчас в нашей стране широко публикуются произведения многих полузабытых талантливых писателей, которые были репрессированы, или вообще мало печатавшихся. Вопрос этот актуален для литератур всех народов СССР. Я считаю, что ликвидация «белых пятен» — процесс, свидетельствующий о начале общего оздоровления литературной жизни, в будущем, несомненно, даст прекрасные плоды. Ведь многие из возвращаемых широкому читателю произведений — тоже образцы, достижения отечественной литературы, с учетом которых должно было и будет впредь формироваться сознание у читателя, как советского гражданина, и разных поколений литераторов. Но процесс, который уже четвертый год так бурно разворачивается в Москве, еще не коснулся в такой степени многих союзных республик. На Украине, например, возвращение забытых имен началось значительно позже, фактически только в прошлом году. До сих пор все то, что печатается, принимается к печати с большим трудом, с осторожностью и опаской. Даже произведения столь признанных писателей, как П. Тычина (я говорю о ранних его сочинениях), до недавних пор «проходили» с сомнениями и оговорками, а некоторые вещи, по сути своей не имеющие никакой отрицательной окраски, и теперь остаются не известными широкому читателю. Да что там говорить, если даже «Кобзарь» Т. Шевченко последние десятилетия печатается с купюрами!

Насколько мне известно, в Казахстане до сих пор идут споры вокруг восстановления имени и творческого наследия Магжана Жумабаева, репрессированного и незаслуженно забытого талантливого поэта. Иная ситуация в Прибалтике. Там этот процесс, как известно, идет стремительно, опережая и Москву.

В. К. «Интенсивность» публикаций зависит от интеллигентности мышления в Союзе писателей, в республике вообще. Дело в том, что новые имена, с одной стороны, расширяют читательское поле зрения, но с другой — меняют фон, на котором существует современная литература. Вот появляется в литературе о войне роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Появляются пастернаковский «Доктор Живаго», романы В. Набокова с их изысканной стилистикой. После публикации произведений А. Бека, А. Приставкина, А. Рыбакова оказывается, что уровень мышления некоторых почти «классиков» на этом новом фоне выглядит несколько иначе, чем до того. И тут каждый писатель должен себя спросить: а может, я чего-то не дотягивал? Если он действительно писатель. Если же это чиновник от литературы, служака, он начинает вести борьбу против этих публикаций и имен, сражаясь за сохранение фона для собственного существования. И, к сожалению, в национальных литературах такие явления наблюдаются довольно часто. Что касается Украины, мне трудно назвать имена писателей, чьи произведения из наследия, напечатанные сегодня, резко изменили бы соотношение сил.

Ю. П. А мне кажется, проза Микола Хвильевого, изданная широко, может оказаться весьма заметным явлением и на фоне современной литературной жизни нашей республики, да и всего Союза. Вероятно, иногда Хвильевого можно упрекнуть в некоторой излишней вычурности, не всегда оправданной метафоричности... Тем не менее его «Повесть о санаторной зоне» (она опубликована в № 7 «Дружбы народов» за прошлый год) — произведение высокохудожественное, уровень осмысления «вечных» проблем такой, что я бы отнес его к достижениям мировой литературы. Как и некоторые его рассказы, например, «Солонский яр», «Редактор Карж», «На глухом шляху» и другие.

Таких имен немного, но несколько, пожалуй, в украинской литературе все же найдется: В. Пидмогильный, В. Винниченко, М. Йогансен, Б. Антоненко-Давидович...

В. К. Мне Хвылевый стилистически кажется все же несколько манерным. Если бы публикации в России ограничивались возвращением в литературу имен, например, таких писателей, как Б. Пильняк, они бы не имели столь сильного резонанса. Есть писатели, интересные широкому кругу читателей, и есть те, кто интересен литературоведам, историкам литературы...

Ю. П. Думаю, все-таки здесь важен не столько стиль, сколько сумма идей. Как вы относитесь к наследию Владимира Винниченко? Мне очень нравится его роман «Записки курносого Мефистофеля». При всей вторичности тематики (эта книга — определенный парафраз одного из рассказов Мопассана) она читается легко и написана современным, да, я не оговорился, современным городским украинским языком. Да и многие его произведения — это хорошая проза, проза XX века. Или проза Валерьяна Пидмогильного...

В. К. К Винниченко, к тому же его «Курносому Мефистофелю», к его рассказам, к роману «Город» Пидмогильного я отношусь весьма положительно. Столь же положительно, как, например, и к рассказам Горького. Однако рассказы Горького не самое популярное чтение сегодня. Я, возможно, здесь несколько вульгаризирую, но во многих республиках застой наметился раньше, чем в России, именно в связи с осложнением национальной проблемы. Подчас чистые проявления национального сознания расценивались как буржуазный национализм...

Ю. П. Что происходило, в частности, на Украине и в конце 60-х — начале 70-х годов.

В. К. И привело ко многим отрицательным последствиям.

Ю. П. Можно сказать, творческий потенциал поколения, пришедшего в украинскую литературу в 70-е годы, очень пострадал. Такие интересные поэты, как В. Кордун, Н. Воробьев, Л. Череватенко, В. Голобородько, ярко начинавшие, на два десятилетия были исключены из литературной жизни. Появились они снова на литературной арене уже вместе с новым поколением, теми, кто начал писать на двадцать лет позже. Вот он, наш «национальный колорит». Выбитый из литературной колеи, сбился на крайние, негативистские позиции, был репрессирован, а потом погиб талантливый украинский поэт Вислав Стус. Его поэтическое наследие — явление сложное, но, несомненно, заслуживающее внимания издателей и литературоведов. Да и не только о нем речь...

В. К. О потере многих творческих сил, о необходимости их возрождения сегодня надо говорить со всей ответственностью. В связи с тем, что проявления национального самосознания, мягко говоря, не поощрялись, то, что я скажу, может показаться странным, но львиная доля энергии во многих развитых культурах уходила на воспитание этого национального самосознания, увы, часто в очень примитивном виде, в таком фольклорно-этнографически ансамблевом стиле. Иногда это воспитание сознания было направлено на то, чтобы доказать, например, что на Украине начиная с XVIII века ничего не менялось. Сие считалось весьма патриотичным. Мне хочется подчеркнуть это потому, что уровень мышления, долго культивировавшийся в нашей республике, зачастую несовременный. Духовные достоинства нации оценивались с неизменной традиционностью. В понятие «национального» весьма редко входили, а сейчас упрощаю, многие признаки развития народного разума и трудолюбия, ну, скажем, самолеты, тракторы, кибернетика. Уровень наш в экономике не всегда способствовал самоуважению. Помню отлично, как ездил с делегацией Общества по связям с соотечественниками в Канаду, где двое наших великолепных оперных певцов, Кочерга и Стефюк, пели — и отлично! — традиционные веселые застольные песни. А на эмиграцию это производило впечатление довольно унылое, особенно на молодежь. И вдруг певцы исполнили нечто другое. Он — арию Базилио, а она — арию Манон. И вот тогда-то аудитория почувствовала, что жизнь их нации сегодня соизмерима с жизнью человечества, что это не некий анклав, живущий изолированно, исключительно и самозабвенно хранящий традиции предков, а нация, которая входит равноправной и равноразвитой в большой цивилизованный мир и ровня в этом другим. И взорвалась аплодисментами

Ю. П. Хочу вернуться к теме фольклорно-ансамблевого этнографизма. Мне кажется, что в конце 50-х — начале 60-х годов на Украине его культивирование было нужным и полезным. Но вот потом, когда «оттепель» оборвалась, как ни странно, и покатила лавина внешне «фольклорных» мотивов на эстраде и в литературе. «Плавай-грай, трембита-полонина, маричка-чичка»... Это такая же липа, как бесконечное

«земля — Кремля», многие не хотят этого ни слушать, ни читать, молодежь от этого стиля убегает, а он, и единственно он все еще до сих пор как бы символизирует национальную традицию

В. К. В связи с вопросами, которые мы тут с вами обсуждаем, вне всякого сомнения, опять подымается волна возмущенных возгласов: ах, им не нравятся наши песни! Критика чего бы то ни было «национального» у нас исключена, к сожалению, если это только не крайность — не обвинение в национализме. Даже конструктивная критика, во благо почти недопустима. Это исключительно уязвимое место в современной украинской национальной литературе, вообще культуре...

Ю. П. Увы, мы уже это переживали...

В. К. Разговор ведь о том, что нам необходимо сегодня иметь и украинский рок, и разнообразную украинскую эстраду, соизмеримую и сравнимую с мировой. Имея, так сказать, великолепные ансамбли национального искусства, такие, как имени П. Вирского или хор имени Г. Веревки, необходимо иметь и капеллу «Думка», и классическое искусство, и ансамбли современной музыки, чтобы «шароварщина», которую, увы, упрямо делают у нас синонимом национального в искусстве, интенсивно импортируют ее соотечественникам за рубежом, сегодня не была воинственно главным его направлением.

Ю. П. Против которого, кстати говоря, в свое время боролся Хвылевый... Несколькими годами назад трагически погиб Владимир Ивасюк, который представлял этнографизм на эстраде на высоком, как бы европейском уровне. На нем эта нота поупахла.

В. К. Да, у нас Хотя я могу чего-то не знать. Но ведь подобный, условно говоря, «национальный европеизм» отлично развивается в Прибалтике. Пример — творчество Раймонда Паулса. В грузинской — да и не только — культуре существуют интереснейшие спектакли с новой современной музыкой, выросшей на национальной почве. Назову лишь Гию Канчели.

Ю. П. Почему же у нас так стремятся сохранить все в неизблемости? Вновь обращаясь к вопросу о фоне, меняющейся литературной ситуации, которую создает наследие старых, забытых писателей, хочу добавить, что, возможно, источником беспокойства для маститых являются и произведения их современников, более молодых либо по каким-то причинам не печатавшихся ранее. Вполне вероятно, что на Украине существуют талантливые современные произведения, до сих пор не опубликованные, все еще не могущие пробиться сквозь толстый слой застойной тины, так сказать, к свету читательского глаза. Но «механизма», позволяющего выявлять их, сегодня нет.

В. К. Мне кажется, здесь нужно вспомнить и об особенностях истории культур наших народов. Украинский роман, по существу, начал возникать только в XX веке...

Ю. П. Позволю себе напомнить, что указом графа Валуева, изданным в 1871 году, украинский язык вообще был запрещен и указ этот действовал до революции 1905 года. Киев тогда был объявлен губернским городом Российской империи, не более, и развитие национальной культуры и литературы было насильственным образом остановлено.

В. К. Это уродливое историческое обстоятельство и сегодня влияет на культурное развитие нации, которое должно быть свободным и всесторонним.

В силу этих и ряда других, не менее важных причин, в том числе и внешнеполитических, соотношение национального и интернационального становится сегодня одной из главных проблем.

Считаю не лишним акцентировать следующий тезис. Мы привыкли говорить о созвучии культур, но забываем говорить об их соизмеримости. Я всегда считал, что отрыв технической научной украинской мысли от литературы идет именно по линии этой несоизмеримости. Допустим, человек, работающий в Киеве на уровне конструкторского бюро имени Антонова или Института кибернетики, берет в руки украинский литературный журнал; читая многие материалы этого журнала, мыслить дальше, не снижая уровня мысли предыдущей, он уже не может. Провинциализм — один из главных врагов нации, но надо понимать и его корни. Весьма трудно сейчас подходить с общими критериями к явлениям разных культур, потому что наша украинская традиция, только начавшись, во многом оборвалась.

Это было трагедией, но для кого-то снижение уровней обернулось защитой. Мне хочется вернуться к теме, которой мы уже касались: о соотношении местничества и патриотизма, национального и провинциального. Дело в том, что немало деятелей культуры в союзных республиках — на Украине мог бы назвать поименно многих —

видят в национальной культуре некую среду обитания и снижают, по крайней мере, в своих произведениях понятие национальной культуры до собственного уровня. Ну, вот, к примеру, роман о войне. Выходят романы о войне русских Ю. Бондарева и Г. Бакланова, белоруса В. Быкова, литовца Й. Авижюса, украинцев О. Гончара и П. Загребельного. Вот современный уровень осмысления темы при всем различии национальных школ.

Ю. П. Это можно назвать своего рода полифонией, национальной полифонией в советской культуре.

В. К. Тем временем пишется и даже издается монография об украинском романе о войне, где всерьез обсуждается вопрос о том, кто лучше написал о войне — В. Пегельованный, П. Автомонов или В. Козаченко. Создается как бы еще один слой в литературе. И в этой монографии может не быть ни строчки об Авижюсе или Быкове. Монографию читают (ну, те, кто ее читает, выходит она, слава богу, тиражом тысячи полторы) и выясняют, что есть, оказывается, украинский роман о войне со своим особым уровнем. Как будто Украина вела отдельную войну, потом она отдельно про эту войну пишет...

Если писатель талантлив и становится интересен читателю всесоюзному, его негласно как бы «отдают» этому всесоюзному читателю; при этом он вроде бы выпадает из процесса национальной литературы. Это, например, случилось в застойный период с талантливым прозаиком Ионом Друцэ, который из-за отношения к нему в Молдавии в конце концов вынужден был уехать в Москву. Теперь он, к счастью, вернулся — и ездит на родину, и издается, и пьесы его ставятся.

Это вопрос, касающийся многих. В свое время за попытку сказать что-нибудь критическое о своей литературе в белорусской печати предпринимались настоящие атаки на Василя Быкова. Много подобных сражений выдержал Чингиз Айтматов, и, я думаю, не начини он сам себя переводить на русский и не получи поддержки у всесоюзного читателя (а затем и мирового), плохо бы ему было.

Ю. П. Вы думаете, во всех литературах так?

В. К. Самое страшное, что сейчас на моих глазах это начало происходить даже в русской литературе. Василий Белов писал хорошие, интересные книги...

Ю. П. Например, повесть «Привычное дело», роман «Кануны»...

В. К. Да, да. «Привычное дело», «Плотничьи рассказы», «Лад», давший нам картину традиционного русского быта. Перед Беловым тогда вообще не стояли проблемы выяснения групповых отношений. Но вот он написал роман «Все впереди». Его начали защищать как патриота, которого якобы хотят унизить, и откровенно слабую книгу отстаивать как проявление патриотизма, а не как факт литературы.

Ю. П. Этот роман какой-то агитинтеллигентский...

В. К. Согласен. И печально, что полемика вокруг этого романа как бы заслонила публикацию в «Новом мире» его «Канунов», появившихся много лет спустя после написания. Можно по-разному оценивать творчество Бондарева. Мне, например, нравились ранние его произведения — «Тишина», «Батальоны просят огня», «Горячий снег»; а дальше, мне кажется, они шли по убывающей — «Берег», «Выбор», «Игра», затем уже и «Мгновения». Тем не менее очень жаль, что в последнее время он и его критики стремятся доказать, что общественная деятельность Ю. Бондарева важна и вне литературы, а он прежде всего патриот, национальное достояние и все тут. Вот вам и подмена понятий: провинциализм и патриотизм.

Ю. П. Как-то в Центральном Доме литераторов был вечер писателя Анатолия Кима, к которому я отношусь с большим уважением. В частности, его роман «Белка» считаю одним из самых интересных явлений в нашей многонациональной литературе. Вечер вел критик Владимир Бондаренко, а о творчестве Анатолия Кима рассказывали Владимир Личутин и Владимир Крупин. Пытаясь объяснить слушателям его творчество, они постоянно говорили о русском писателе Киме, подчеркивая, что он хорошо пишет о русской деревне, и выходило, что какие-то корейские элементы в видении мира — как бы мелкие прегрешения этого писателя, от которых он давно отказался. Прозвучал даже вопрос в записке, посланной Киму из зала: как вы относитесь к той несурянице, которую говорил о вас Личутин? На что Ким, человек мягкий и доброжелательный, очевидно, не хотел отвечать резко и, по существу, от ответа ушел. Но чувствовал он себя явно неудобно.

В. К. Да, это как подгонка под правильный ответ. Отношения с деятелями культуры некоторых республик до сих пор выстраиваются подобно тому, как в нашей кри-

тике еще недавно строились отношения с культурами социалистических стран. Считалось, что вроде бы там все хорошо, но всерьез об этом никто никогда не говорил. И эти культуры, оставаясь объектами праздников, декад и прочих мероприятий, украшенных ленточками и цветочками, уходили из жизни — из народного сознания, из обихода.

Ю. П. Сейчас, пожалуй, можно говорить о двух точках зрения на литературы народов СССР и о двух главных причинах их нераспространенности, а отсюда и непопулярности у широкого союзного читателя. Одна — это провинциализм, о котором мы только что говорили, другая же — некий взгляд, как теперь принято говорить, из центра на «национальные литературы» как на заведомо вторичное явление.

Иностранное — будут читать, национальное — надо посмотреть, но... скорее всего, нет. Это в библиотеке. И под таким углом рассматриваются все литературы и даже достижения крупных мастеров, таких, как, например, в грузинской литературе Отар Чиладзе или Чабуа Амирэджиби.

В. К. Меня тревожит тот факт, что даже от высших достижений культур народов СССР иные деятели начинают отмахиваться, выдвигая устаревший тезис о том, что-де русская литература, ну, только для русских, что ли. Тезис этот весьма опасный, потому что культура России была всегда сильна именно своей открытостью, восприимчивостью. И сегодня, когда слово «инородцы» не так уж редко звучит с трибуны Центрального Дома литераторов, я думаю о том, что следует называть «инородцами» именно тех людей, которые по факту рождения пытаются отменить от литературы целые пласты культурных достижений. А русская литература именно в силу того, что русский язык стал языком межнационального общения, будет обогащаться за счет таких писателей, как Ким, Айтматов, Быков, Сулейменов; они неизбежно будут приходить в эту литературу и приносить новый колорит, новое звучание. Когда-то великий ирландец У. Б. Йитс писал откровенно националистические стихи и участвовал в великом национальном ирландском восстании, хотя стихи свои писал по-английски. Вопросы национальной культуры сложны, и упрощать их, лишать литературу крупных имен, классифицировать ее только по происхождению просто глупо и расточительно.

Ю. П. В одном из выступлений на заседании Московской писательской организации цитировались размышления ректора Московского Историко-архивного института профессора Ю. Н. Афанасьева о государстве Российском. Афанасьев говорит, и, мне кажется, не без основания, что никто из народов Азии и Сибири никогда добровольно не присоединялся к России. Все эти присоединения были не чем иным, как завоеваниями Российской империи, которая занимала те или иные близлежащие территории и входила туда с огнем и мечом. Только со временем, когда связь русского и других народов Российского государства приобрела совершенно другой характер, стало возможно говорить о взаимопроникновении и взаимообогащении разнонациональных культур внутри большой многонациональной культуры.

Обнаrodование подобных фактов, хотя бы и всем известных, как, например, завоевания Ермака, вызывает недоумение привыкших к определенным рамкам исторической науки многих наших сограждан. Даже некоторый трепет вызывает слово «завоевание», хотя всем понятно, что великодержавная монархическая Россия была обыкновенной империей.

В. К. Могу только еще раз сказать, что не надо упрощать никаких процессов. Во время оно, ну, в той же истории Татищева давались объяснения фактам завоеваний России таким образом — жили, мол, на восточных пределах России гадкие варвары и разбойники и Россия наступала на них огнем и мечом, а потом «облагодетельствовала» их присоединением. Это была единственная мотивация, которая могла оправдать присоединение других территорий к России. Прошли времена, но тот мотив, лишь в несколько более сдержанной интерпретации, повторяется и в наших учебниках истории. Старая имперская мифология воспроизводится, и в связи с этим даже возникают конфликты. Как, например, с узбекскими романами о Тимуре, который, поскольку совершил несколько завоевательных походов на Запад, в сторону России, никогда и ни в коей мере не мог у нас считаться положительным. Что бы он ни значил в истории своего народа, у нас он всегда изображался одной краской — черной. С Тимуром вопрос, впрочем, сложен, но и он всегда трактовался у нас довольно однозначно. Столь же упрощенный подход не только к завоевателям. Даже национальные герои многих народов, сложные исторические ситуации подгонялись под ответ...

Ю. П. В том же Казахстане, например, вопрос с Ордой или с восстанием Махамбета...

В. К. И наше «Слово о полку Игореве», где задиристые русские князья нападают на половцев, совершив очевидный акт агрессии. И во многих других случаях исторические факты упрощались, причем одним навсегда отводилась роль захватчиков, а другим — благодетелей. В тот же период неприязненно воспринимались и национальные обычаи, их порицали и высмеивали. Традиции многих народов нашего Востока, которые были сплошь мусульманскими, порождали своего рода негативистскую мифологию: и в армейской среде, и в бытовой человек, иначе питающийся, иначе воспитывающий своих детей, иначе относящийся к женщине, подвергается осмеянию, подчас глумлению. Уважать друг друга, считаться с различиями — этому еще долго надо учиться.

Ю. П. Мне кажется, что именно такого рода «интерпретация» истории и вызывает в ответ болезненное отставание каждого «национального» момента вне различия того, положителен он или отрицателен в своем отношении к прогрессу.

В. К. Надо думать о том, как мы выглядим, когда самочинно, самовольно берем роль учителя на себя. В Таджикистане я был участником такого разговора. Один местный уроженец принялся доказывать мне, что мы, славяне, дикий и некультурный народ. Вот, например, у меня есть воротник на рубашке и галстук, а у него на халате нет воротника, и это много лучше, много удобнее, а дело в том, что его народ, мол, давно уже прошел в своем развитии период одежды с воротником и галстуком и теперь пользуется нормальной и удобной одеждой. Здесь уже начинается абракадабра, когда человек ради самоутверждения выдумывает что угодно, лишь бы доказать свое превосходство. Интернационализм же подразумевает взаимное уважение народов и возможность каждого народа быть самим собой.

В свое время я работал редактором журнала «Всесвіт» в Киеве (украинский аналог «Иностранной литературы») и хорошо помню, как именно те представители интеллигенции, кто, казалось бы, усердно борется за национальную культуру, относились к нашему изданию с неприязнью, как бы не желая признавать объективного факта существования журнала, печатающего лучшие произведения мировой литературы. Им это было не нужно. Они желали существовать только на собственном фоне.

Ю. П. Журнал, таким образом, оказывался на втором плане и среди печатных органов Союза писателей Украины. Вы это имеете в виду?

В. К. Даже после повышения цен вдвое на все печатные органы тираж «Всесвіта» упал незначительно. В тот период журнал был самым читаемым в нашей украинской печати (таким он и остался), но в иерархии литературных журналов никогда не назывался первым, потому что считалось, что он несет некие, не шибко понятные ценности, ну и бог с ним, это для свобод.

Меньше всего подписчиков мы имели в Союзе писателей, буквально несколько человек. Основная же масса подписчиков — университетские работники, физики из Академии наук и тому подобное, то есть те, кто хотел получать более широкую информацию и хотел приобщаться к национальной культуре, видя ее на мировом фоне и в общемировом контексте.

Ю. П. Мне хочется вспомнить о некоем неписаном правиле, существующем с некоторого времени на территории нашей страны и касающемся прежде всего литераторов, для которых русский язык не родной. По этому «правилу» нельзя печатать где-либо в другой республике, а прежде всего в Москве на русском языке, произведения национального писателя, скажем, украинского или эстонского, если они не опубликованы на языке оригинала в республике. Мне кажется, это пережитки культа, той системы, в которой главным было централизованное руководство. Контролировать, решать за писателя, подчинить его во что бы то ни стало управленческому аппарату, выбранному ли, назначенному ли секретарю — во всем этом сквозит именно культовая «клеточная система» отношения к развитию культуры. Это ведь сохраняется.

Помню, как возмутились руководители Союза писателей Украины, когда в Москве в издательстве «Молодая гвардия» вышла прекрасная книга одного из самых талантливых наших прозаиков Романа Андрияшика, незадолго перед тем преданного анафеме за роман «Полтава». Андрияшик был обвинен в чрезмерном акцентировании тех вопросов, которые сегодня, увы, оказались главными нашими социальными проблемами и широко обсуждаются на страницах центральных газет всей страны. В настоящее время подобная практика — уже открытый тормоз, отрицание новых, демократических принципов нашей жизни.

В. К. Проблема общесоюзная. Председатель Госкомиздата М. Ф. Ненашев говорил

на одном из собраний, что есть приказ о том, что издательство, если считает нужным, может издать книги без внутренних рецензий. Тем не менее, говорил он, сто процентов рукописей рецензируется. Во-первых, это способ заработка для определенного круга друзей-рецензентов, а во-вторых, если с редактора спросят за эту книгу, он всегда может сослаться на рецензента, он пусть и отвечает. То же касается переводных книг. В центральных издательствах всегда интересуются, издавалась ли эта книга на языке национальном. Если издавалась, на нее уже не обращают особого внимания. Она как бы прошла апробацию. А если нет, начинается канитель. Вопрос — почему там не издали, и так далее... В результате обычно отказ. Поэтому остается единственный способ, к которому прибегал и я. Ряд своих произведений я сам переводил на русский язык и печатал как оригинальное произведение. Но если я писал «перевод с украинского», меня спрашивали, где это опубликовано, и процесс несказанно усложнялся. Военственный провинциализм бдительно стоял на посту.

Ю. П. В период демократизации нашего общества было бы естественно наконец дать возможность писателю печататься там, где он пожелает.

В. К. Тогда издательства должны быть хозрасчетными. А пока секретариаты правлений ряда Союзов писателей республик утверждают к изданию на своих заседаниях все книги, которые должны выходить в Москве...

Ю. П. Не отрицаю необходимости общих рекомендаций в центральные издательства со стороны писательских организаций союзных республик. В частности, того, что касается творческого наследия, классики национальных литератур. Современная литература тоже может, да, пожалуй, и должна быть предложена. Но именно предложена, а не поданы списки, как бы уже заранее утвержденные для издательства. То есть здесь, в Москве, только — «к исполнению». Так в издательские планы попадают прежде всего функционеры писательских организаций и те лопцманы и прилипалы, о которых мы говорили выше, которые кормятся возле известных писателей, создавая вокруг них атмосферу почитания и раболепия. Так называемая система координации на самом деле обобщивается такой централизацией, что лишает возможности всякого проявления инициативы самих писателей и возможности выдвигаться и печататься вне влияния и эгиды республиканских СП.

В. К. Для этого и нужен хозрасчет. Нужно, чтобы я получал проценты от издания своей книги, потому что иначе получается бог знает что. Вот ходит, например, ко мне какая-то графоманка, которая не имеет никакого отношения ни к Союзу писателей, ни к литературе. Она, оказывается, представитель «малого народа». И, когда я читаю бред, который она пытается напечатать, и отказываю ей, она начинает орать на весь коридор о том, что ее народ всегда угнетался Россией и сегодня она получает новое доказательство того, что, если бы она была русской, ее бы давно напечатали. Мне говорили, что, «пробиваясь» с помощью такой демагогии, она несколько раз где-то печаталась, стала представительницей родной литературы в Москве. Такого рода феномены, увы, существуют, и с ними приходится считаться.

Ю. П. Как по-вашему, что нужно сделать сегодня, чтобы в условиях новой хозрасчетной политики поднять авторитет литературы вообще?

В. К. Писать правду. Люди ее прочтут непременно. Будет, конечно, существовать и определенная развлекательная литература. Найдутся в условиях демократизации и гласности писатели, способные завоевать широкий авторитет и у себя в стране и на мировой литературной арене. Тогда не потребуешь издания только потому, что твой дедушка первым вступил в колхоз где-нибудь в Нарьян-Маре. Исходить будут из качества самой рукописи, нельзя будет требовать скидки на убожество разума, исходя из того, что твой народ был угнетен феодалами еще в восемнадцатом веке.

Думаю, борьбу за «нереальную» литературу ведут те, кому эта литература выгодна. Они и объявляют каждую угрозу своим личным интересам чуть ли не политической диверсией.

Ю. П. Несколько слов о планах журнала «Огонек» и направленности журнала, пожалуйста!

В. К. Журнал будет стараться вести откровенную и честную линию, как старается и сегодня. Если противники демократизации будут пытаться уродовать нашу жизнь, то это отразится, естественно, и на журнале. О попытках обогатить нас, унижить я уже не говорю — они постыдны и бороться с ними надо сообща. Сегодня работать интересно и хорошо. Интересно говорить правду, интересно даже получать нагоняя за правду. В будущем постараемся еще больше ориентироваться на читателя, его запросы, его

письма. Много лет мы гордились высокими достижениями. Я продолжаю гордиться всем лучшим, но сегодня у нас в дальнейшем развитии демократизации, плюрализма мнений, гласности огромную роль играет социальный стыд — и во всем обществе, и в литературе. Сегодня одним из двигателей нашего прогресса является именно стыд и покаяние. Во имя того, чтобы искупить прошлые грехи и создать будущие радости, и стоит работать. Поскольку мы — еженедельник, мне трудно говорить о конкретных произведениях, которые мы будем печатать. После антологии русской поэзии и одновременно с ней мы начинаем печатать антологию русской живописи начала столетия, серию публикаций «из запасников прозы». В планах много дел, и мне хочется верить, что всегда они будут совпадать с читательскими интересами. Кроме того, я очень хочу, чтобы мы давали больше прозы, поэзии, публицистики народов СССР. Это одна из установок нашего журнала на будущее...

Ю. П. Вот, кстати, на эту тему еще вам вопрос. Будет ли «Огонек» больше писать о жизни в республиках? Я говорю о жизни духовной, социальной. Было в свое время напечатано интервью об Эстонии с Индрекком Тооме, первая, по сути дела, подробная информация о Народном фронте в поддержку перестройки в Эстонии. Сейчас у нас дефицит информации о событиях во всех практически республиках. Доходят, так сказать, отдельные слухи, затрагиваются частные проблемы. Это ведь и вопрос единства — знать больше друг о друге, понимать проблемы, боли и радости другого народа.

В. К. Мы пытаемся наладить сеть собственных корреспондентов по стране. У нас есть двенадцать ставок, которые мы никак не заполним полноценно. Это первое. Кроме того, планируем постоянные выезды в республики сотрудников журнала. И третье — это широкое представление культуры народов СССР. Но при этом мы должны сохранять общий уровень. Мы уже касались этого вопроса в другом контексте. Я не буду способствовать публикациям произведений какой бы то ни было литературы, если они не будут достаточно высокого художественного уровня. Считаю, в этом нет смысла.

Ю. П. Более конкретный вопрос на ту же тему. О национальном самосознании писателя Виталия Коротича. Тянет ли его на родину, в Киев, и есть ли у него, остается ли, точнее, ощущение себя прежде всего писателем украинским?

В. К. Меня тянет домой, в Киев, как киевлянина, как не может не тянуть человека место его рождения, город, в котором он прожил столько лет. Но, увы, меня не тянет в Киев, как в место, где бы я мог полноценно работать творчески. Работать мне интереснее в Москве.

Я помню все свои радости, люблю и помню каждого, кто помогал мне дома, но болит во мне и дух моральной нечистоплотности, с которым я не раз сталкивался в Киеве и который — доносами — выжигал душу. Впрочем, такое есть и в Москве. Разве что здесь масштабы другие. Но то, что пишет в «Москве» Байгушев, точь-в-точь переключается с наветами, бывавшими и дома. Тоже ведь род негативного интернационализма...

Ю. П. В Москве уж точно можно встретить все и всякое... А эти разделения на лагеря...

В. К. Но между этими лагерями все-таки я ощущаю борьбу, интересную, напряженную и открытую. Более того, сейчас можно наблюдать ситуацию, когда люди, много лет подряд размахивающие оглоблей во все стороны, горько сетуют на судьбу, дескать, их бьют. Смешно звучит, когда самые большие «погромщики» времен застоя заявляют, что их травят, уничтожают... Но это происходит в открытую.

На Украине перед каждой открытой свхваткой (если можно назвать то, что происходило на Украине, открытыми свхватками) — десять слоев анонимок, телефонных звонков, шепотов начальству на ушко. И в зависимости от того, в какое ухо ты мог сообщать свои мысли, ты и котировался...

Ю. П. Но вы, Виталий Алексеевич, ведь тоже в то время там работали и, вероятно, ходили по тем же тропкам...

В. К. Конечно, конечно. У меня были разные отношения с разными руководителями. Допустим, весьма напряженные отношения с бывшим в свое время секретарем ЦК КПУ по идеологии Ф. Д. Овчаренко. В те времена я стал героем одной из статей в украинской критике, обвинявшей меня во всех смертных грехах, в том числе идеологических. Ее напечатал в «Литературной Украине» некий критик по фамилии, увы, Дубина. Затем пришел на Украину секретарем ЦК по идеологии В. Е. Маланчук. О покойных не принято плохо говорить, но о нем здесь надо упомянуть, поскольку его вмеша-

тельство повлияло на судьбы многих. Он был человеком, запрограммированным на уничтожение национального самовыражения, и искоренял именно на Украине это, и прежде всего это. Потом, когда был секретарем по идеологии на Украине А. С. Капто, отношения у меня с ним были нормальные, я в то время был редактором журнала... Простите, я вдруг поймал себя на том, что странным образом заговорил прежде всего о руководителях идеологического процесса на Украине. Но, так или иначе, их деятельность определяла в нашей республике очень и очень многое.

Чинопочитание подчас бывало развито, как в каком-нибудь средневековом восточном халифате. И поэтому...

Ю. П. Вы-то ведь уцелели, Виталий Алексеевич, в этой системе...

В. К. Да. Все сохранились, кто хотел сохраниться. Главное в этих условиях было — не сгореть. Я помню одну «прекрасную» историю, когда в 1969 году умный и честный человек Георгий Георгиевич Шевель порознь вызвал меня (я был секретарем СП Украины) и Юрия Мушкетика, тогда редактора журнала «Дніпро», сказал, что Иван Дзюба написал книгу «Интернационализм или русификация», требуется выступить против нее и это поручается вам.

Я попросил почитать эту книгу, на что Георгий Георгиевич сказал: вы понимаете, что от вас требуется? Я могу найти сейчас в республике сто человек, которые, ничего не читая, напишут все, что надо, об этой книге. Я ответил, что пойду, подумаю.

Надо сказать, что, ничего мне об этом не говоря, Мушкетик поступил точно так же. Короче, кончилось тем, что и Мушкетик и я отказались. Мушкетик перестал редактировать журнал «Дніпро». Я же ушел с поста секретаря Союза писателей Украины и не поехал постпредом республики в ООН. А Л. Дмитерко написал статью о книге Дзюбы, не читая самой работы. И ничего с ним не случилось.

Но сегодня, как ни парадоксально, честность оказалась удивительно прибыльной штукой. Сегодня вдруг я понимаю, что, если бы тогда у меня не хватило бы твердости и убежденности и я поступил иначе, я не смог бы сейчас редактировать, например, такой «Огонек». «Доброжелатели», перемывая мое бурное прошлое, нашли только одно мое высказывание, что книги Брежнева — это яркие произведения, позволившие много понять в нашем обществе, нашей жизни. Другое дело, что статью переписали публикаторы. Не вижу в подобном моем выступлении большого позора, не я затеял свистопляску вокруг этих книг. А писали их хорошие, судя по всему, профессионалы.

Ю. П. Виталий Алексеевич, вы ныне москвич, редактор общесоюзного журнала, выходящего на русском языке. Считаете ли вы себя и сейчас украинским писателем?

В. К. Я родился и умру украинцем. Я ношу свое украинство, как черепаха носит свой панцирь, как нечто естественное и важное... И никогда от него не откажусь. Но я киевлянин и вырос в обстановке природного двуязычия. Мне ближе был украинский язык, на котором я начал писать стихи еще в детстве. Я очень склонялся к занятиям литературой с ранних лет, но отец посчитал — в те времена видели жизнь по-другому, — что нужно иметь профессию, которая может прокормить тебя в любых жизненных обстоятельствах. Так я стал врачом, не оставляя, однако, занятий литературой, и так вошел в литературную жизнь Украины. Как украинский поэт. Потом стал заниматься и публицистикой, был избран секретарем Союза писателей, ушел на литературную работу, став главным редактором журнала ЦК ЛКСМУ «Ранок». К жанру публицистики чувствовал тоже большое влечение. Позже начал писать прозу.

Кстати сказать, моя книга о США «Кубатура яйца» была написана по-украински, но печатать ее на Украине не решались. Я перевел ее на русский язык, и в Москве она пошла сразу же. Когда же я показал верстку русского варианта в Киеве, здесь тоже немедленно решили печатать. Такая вот была обстановка.

Последнее время я не пишу стихов, почти не пишу. Причин много. Время отнимает публицистическая работа, но прежде всего — журнал. Сейчас главная моя работа, которая мне очень нравится, это редактировать «Огонек».

Публицистические свои статьи я всегда писал на украинском и русском, так и теперь — в зависимости от ситуации, предложений и возможностей. А где живу... Вдруг пришел на ум — ведь в Москве жил Александр Довженко, а в Петербурге — Тарас Шевченко... Главное ведь — что делается, что сделано и как! Конечно, украинский язык, украинская культура — это та среда, в которой я вырос и сформировался, это поезд, в котором я ехал. Но здесь сейчас я ощущаю себя свободнее и увереннее.

Ю. П. Виталий Алексеевич, еще вопрос, касающийся несколько и вашего украинства. Мало печатаете или почти совсем не печатаете материалов об Украине.

О событиях, например, во Львове. О многотысячных митингах, поисках своей украинской основы для создания Народного фронта в поддержку перестройки и о разгоне и запрещении этих митингов городскими властями, об аресте некоторых из организаторов писали в «Комсомольской правде» и в «Собеседнике», но не в «Огоньке». А это, помимо всего прочего, ведь свидетельствует о том, что на Украине есть большие потенциальные возможности для поисков и утверждения того демократического начала, той настоящей национальной культуры, о проблемах развития которых на Украине мы с вами говорили выше. Не печатаете, мол, и украинских писателей, да пока не слишком много появилось в «Огоньке» произведений и из других литератур народов СССР. Действительно ли это из-за процесса вашего «вживания» в московскую литературную среду или по другим причинам?

Хотя одновременно известны и прямые обвинения вас в совершенно противоположном — сторонников «Памяти». Они-то упрекают вас в отсутствии патриотического славянского подхода к общественной и литературной жизни столицы и Союза.

В. К. Я никогда не пытался и не пытаюсь стать «русским» шовинистом. Там уже есть комплект. Печатайте украинскую или другую национальную прозу будучи, исходя из ее качества, и не из чего иного. Русский язык — родной мне, как и украинский. Я пишу публицистические статьи по-русски, перевел сам на русский язык книгу своих политических повестей и могу сказать, что не чувствую никаких сложностей для «вхождения», как вы говорите, в московскую литературную среду.

Более того, как только я стал редактором «Огонька», мне тут же предложили свою помощь интереснейшие русские поэты и писатели. Это Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Окуджава и многие другие. Я сразу же почувствовал в Москве поддержку тех писателей и литераторов, которых уважал и любил, полноценно войдя в литературную жизнь.

Требование апологетов «Памяти» и примыкающих к ее линии литераторов убрать из «Огонька» Коротича мне кажется частью их политической клоунады, не больше.

Никто никого не записывает в русскую культуру, как я уже говорил, и не выписывает. Более того, многие писатели жившие в свое время на Украине, принесли в русскую культуру своеобразную, оригинальную линию. Без Украины никогда бы не стали такими, какими стали, В. Катаев или И. Бабель, те же И. Ильф и Е. Петров, и более того — М. Волошин и А. Ахматова, К. Паустовский и О. Мандельштам... А М. Булгаков? Этот список огромен...

Что касается Украины, мы печатаем и будем печатать материалы о ней. Равно как и произведения украинских писателей. В «Библиотечке «Огонька» уже вышли произведения М. Бажана, О. Гончара, П. Загребельного. Есть в портфеле редакции произведения других авторов, которые мы планируем. Весь вопрос в уровне творчества.

Однако на Украине меня воспринимают весьма ревниво и любая публикация в «Огоньке», бездумная или поспешная, может вызвать бурю (нам ведь уже это известно, не правда ли?). Надо разобратся, прежде чем подходить к публикациям.

События на Украине, естественно, привлекают наше внимание. Но я, честно говоря, просто не имею сейчас украинского автора, который авторитетно и объективно может написать об этом. С большим удовольствием напечатал бы материал уровня интервью с эстонским руководителем Индрекком Тооме об украинских проблемах сегодняшнего дня.

Я хочу печатать то, что будет интересно нашему читателю, то, что он ожидает от нас, а ни в коей мере не то, что позволит поставить где-то галочку, что, мол, уже напечатали с Украины или из Молдавии и так далее.

С другой же стороны, нас обвиняют в недостаточном внимании к «истинно русской культуре». Тоже парадокс. Журнал, выходящий на русском языке, печатает произведения оригинальных авторов и переводы с других на этот язык, а кто-то требует убрать из журнала эту часть культуры и поставить другую. Смешно!

Ни те, ни другие обвинения не сбывают журнал с определенной и четкой линии — печатать интересное, современное, важное, злободневное... Вот и все.

Ю. П. У нас разговор получился как бы из двух частей — о писателе Коротиче и о главном редакторе «Огонька». Скажите, пожалуйста, в какой степени совпадают сейчас линия журнала «Огонек» и позиция его главного редактора? По этому поводу существуют разные мнения, и одно из них, что писатель Виталий Коротич — человек

куда более, так сказать, ортодоксальный, чем главный редактор «Огонька» Виталий Коротич...

В. К. Пожалуй, это все же один человек. В общем и целом позиция редактора и позиция журнала, конечно, не могут быть отождествлены, к слову сказать, как и позиция всех работающих здесь. Печатаются и какие-то вещи, которые, в общем, отличаются от моей позиции. Это значит, что меня убедили. Естественно, в том случае, если принципиально я согласен. Могу быть не согласен с частностями, мне могут не понравиться какие-то детали, примеры, какое-нибудь стихотворение, которое нравится в отделе, картина какая-нибудь... Это, я думаю, нормально. Но в целом я ведь должен одобрить материал, чтобы его поставили в номер. Значит, этот материал в корне не может противоречить моему мировоззрению. Иначе я бы его не подписывал.

Ю. П. Последний вопрос к вам, Виталий Алексеевич. Что бы делал писатель Коротич, если бы вдруг перестал быть редактором «Огонька»?

В. К. Писал бы воспоминания. Да, да, воспоминания. Мне кажется, что мое поколение, столь шумно заявившее о себе в шестидесятые годы, особенно много — и важного — может сказать о себе и своем времени. Ведь все стирается из памяти, а мне очень повезло, я встречался с интереснейшими людьми и хорошо знаю литературную и политическую обстановку тех времен. Вот это один из моих творческих планов на будущее, мое сокровенное, если хотите, желание. Просто написать обо всем, что я пережил, да, в общем, переживаю и сейчас.

Киев — Москва

Василий Петров,

украинский народный мастер

Мечта о деревянном храме



В городе Яремче, в Ивано-Франковской области на поляне близ Прута, у водопада, как драгоценная шкатулка, красуется здание ресторана «Гуцульщина». Мастерски сложены венцы деревянных срубов. Высоко вздымается островерхая кровля с мансардами и портиками, напоминая стрельчатую ель. Все здание богато украшено резьбой. Очень привлекателен и его интерьер, напоминающий зажиточную гуцульскую хату. Здесь на стенах, потолке, подпорных столбах, на светильниках, мебели, настенных панно тоже царствует резьба. Аккомпанементом ей служит народная керамическая посуда.

Это здание одно из первых в Ивано-Франковской области, где удачно использованы конструктивные и архитектурно-художественные приемы гуцульского народного строительства, местные материалы: камень, дерево, гонт для кровли. Все это позволило архитектору И. П. Боднаруку и работавшим с ним народным мастерам создать уникальное сооружение, органически слитое с прекрасной карпатской природой.

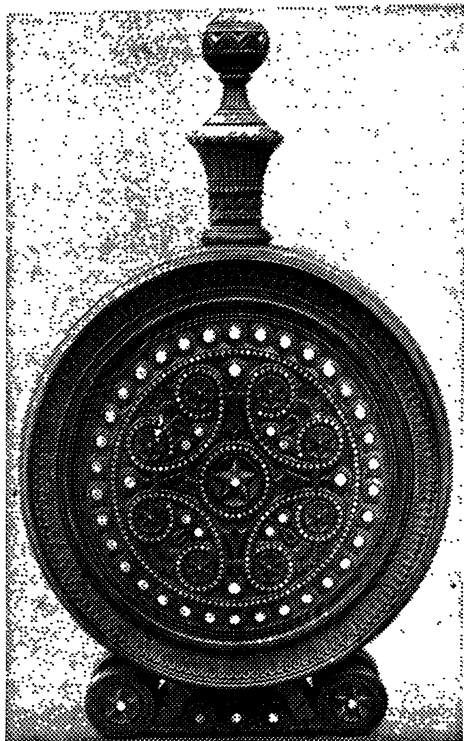
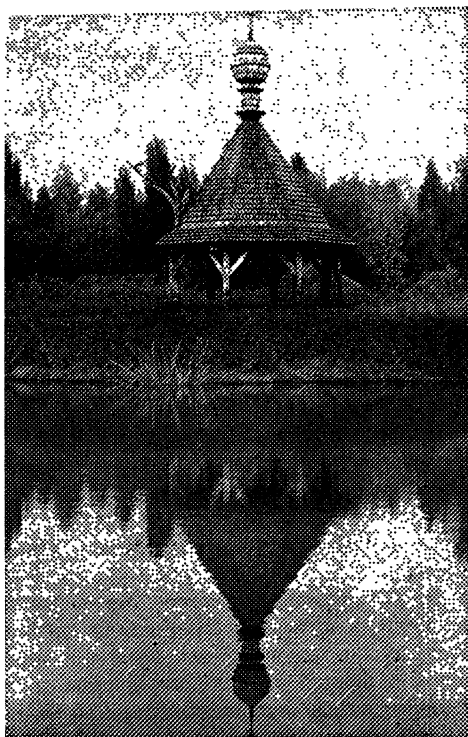
Здесьние жители, советские и зарубежные туристы любят «Гуцульщину» с пятидесятых годов. Жаль только, мало с тех пор появляется родственников у чудо-дома: давно уж не рождаются здесь новые произведения гуцульской архитектуры. Неправильно это: забывая народное строительство, мы теряем богатейшее художественное достояние, оставленное нам в наследство многими поколениями предков-славян. Ведь, если хотите, этими зданиями с нами Древняя Русь говорит.

Деревянное зодчество восточных славян, совершенствуясь на протяжении столетий, уже в X веке достигло высокого уровня. Оно было самым распространенным видом ремесла и искусства, и владел им почти каждый славянин. Еще задолго до крещения Руси наши предки строили из дерева языческие святилища, а затем возводили из дерева первые христианские храмы, крепости. По свидетельству Титмара Мерзебургского, в Киеве в начале XI столетия насчитывалось четыреста храмов. большая часть которых была деревянными.

Древние зодчие, развивая и совершенствуя наследственное умение строить по правилу — как мера и красота подскажет (а мерою был человек), добивались поразительных художественных результатов. Так создавались сооружения и целые ансамбли древних городов, городищ, старинных сел. Этот принцип утверждал свою жизненность в веках, варьируясь в применении. но сохраняя свою суть. Когда же забывают его, как, скажем, в шаблонном современном строительстве, наружу сразу вылезает однообразие, унылость, принижающие человека, угнетающие его творческие возможности.

По архитектуре, как известно, судят о степени развития культуры страны и ее народа, и недаром только то и остается жить в сознании поколений, что вобрало в себя хотя бы крупицу творческого народного духа, его мировоззрения, его философии.

Дерево — особо благородный и благодарный строительный материал. Оно и на взгляд, и на ощупь дарит человеку тепло, приближает его к природе и, как никакой другой материал, пластично поддается сложной художественной обработке. Но сегодня деревом оформляют преимущественно залы ресторанов, овощные и фруктовые магазины, детские площадки. Все это тоже делается «под



резьбу», но так, что выглядит профанацией высокого жанра искусства с его глубокой символикой орнамента.

Если хочешь выявить благородство дерева, относись к нему как к святыне. И чтобы выработалось у людей такое отношение — и у мастеров, и у зрителей, — стоило бы создать центр по изучению художественного ремесла, связанного с деревом, то есть архитектуры, строительства, резьбы. И не только изучали бы в таком центре все это, а и обучали бы молодых людей делу, коллекционировали лучшие образцы деревянного искусства, занимались бы его пропагандой.

Таким центром, по моим представлениям, мог бы стать «Резной городок» — музей-усадьба народного мастера. Стать бы ему в златоверхом Киеве так, чтобы в ряду киевских памятников и святынь засветилась бы еще одна звезда духовной культуры — «Храм деревянного зодчества».

Мне могут напомнить: на Украине имеется более десяти музеев архитектуры и быта (в Киеве, Переяславле-Хмельницком, Львове, Ужгороде, Черновцах), где собраны многочисленные этнографические постройки и предметы, так зачем же создавать еще один подобный музей?

Но мне видится наш Храм совсем другим, не таким, как те хранилища, что уже существуют. Их задача — показывать прошедшее законсервированным, а усадьба народного мастера будет заведением творческим. Оно станет поддерживать преемственность в дальнейшем развитии искусства деревянного строительства и обогащать его. Думается, что в разных отделах усадьбы могут быть показаны все виды художественной обработки дерева, причем в ее историческом развитии. Многие помнят «Поляну сказок» в Ялте или здание Ивано-Франковского музыкально-драматического театра, где сочетается современная каменная архитектура с народной декоративно-прикладной внутренней отделкой деревом. «Поляна» и театр — это всего лишь два примера сегодняшнего бытования нашего искусства, а вообще-то его разновидностей и перечислить нельзя.

И еще вот что важно: в нынешних музеях демонстрируется то, что уже сделано, а в музее-усадьбе произведения народного искусства будут рождаться на глазах посетителей, которые таким образом станут причащаться к таинству творения, что имеет не только большое познавательное и эмоциональное, но и

этическое, воспитательное значение. Кроме всего прочего, музей-усадьба станет к тому же и действующей производственной единицей.

В культуру быта русского и украинского народов входит, по приблизительным подсчетам, около четырехсот разных предметов. Все они должны быть представлены в музее-усадьбе в их максимальном разнообразии. Из такой коллекции народ сможет черпать образцы изделий (а многие из них уже и призабыты), высоких по своему художественному совершенству, для того, чтобы украшать наш сегодняшний быт, опираясь на добрые традиции прошлого. Кроме мастерской резьбы здесь могут функционировать гончарная, ковровые мастерские, мастерские вышивок и писанкарства (орнаментальная роспись), да и многие другие. Везде смогут работать самые опытные мастера. Здесь, конечно, надо создать им хорошие условия для работы и жизни. По-моему, республика, если возьмется за это, сможет все устроить наилучшим образом.

Конкретно, конечно, многое предстоит обдумать, спроектировать, но дело, по-моему, стоящее. Усадьбу надо будет построить так, чтобы здесь можно было проводить и разнообразные культурные мероприятия даже на международном уровне, для чего необходимо иметь зал на 2-3 тысячи мест. Конечно, будет здесь парк, зоны отдыха для детей и взрослых, да и многое другое. Разных предложений, задумок у меня одного много, а ведь к этому делу присоединятся, я уверен, сотни и даже тысячи талантливых людей.

Я согласен с суждением академика Д. С. Лихачева, которое он высказал в статье «Себе и потомкам»: очень важно правильно выбрать место для здания, сооружения. Он пишет «...не строение даже нужно человеку, а строение в определенном месте... Избы и церкви деревенский зодчий ставил как подарки русской природе. Словно бабушка наделяла своего внука игрушками: ставила их на пригорке над рекой или озером, чтобы любовались своим отражением. Деревянные стены долго сохраняли тепло рук строителей. Золотая маковка издали светила путнику, как украшение на елке...»

Мечтаю, что дом народных мастеров будет привязан к крупному культурному центру на перекрестке мировых туристских дорог, в живописной местности, вблизи водоема и леса.

Немало радости и пользы доставит людям такой храм красоты. Он многократно окупит себя и благотворным моральным воздействием на людей, да, уверен, и материально. Усадьба предоставит мастерам возможности работать основательно, ликвидирует стихийность в нашем деле, создаст условия для сознательного развития на народной основе зодчества и резьбы как единого целого.

Конечно, кому-то мои предложения могут показаться и спорными, и нереалистичными. Но я приглашаю всех читателей журнала, и особенно архитекторов, художников, скульпторов, народных мастеров, искусствоведов, высказаться по сути поднятых здесь вопросов. Интересно, что скажут об этом Союзы художников, архитекторов СССР и УССР, союзные и республиканские министерства культуры, союзный и республиканский фонды культуры?

Наша усадьба стала бы преемницей московского Коломенского, где когда-то стоял деревянный дворец — венец русского плотницкого искусства, или знаменитого дома Галаганов в Лебедине на Полтавщине.

Социальная динамика, стиль жизни, утверждающиеся ныне в нашем обществе, содействуют развитию многостороннего творчества народа, раскрытию его возможностей. Однако в то же время положение народных мастеров, народного художественного ремесла вызывает тревогу. «Советская культура» не раз писала о нелегком положении славной Хохломы, о падении уровня народных ремесел, которых захлестнул поток низкопробной сувенирщины. Газета «Літературна Україна» рассказывала, как эти беды постигают резчиков Гуцульщины, мастеров прекрасных орнаментальных миниатюр-писанок.

«Советская культура» в статье «Надо спасти Опощню» остро поставила вопрос о судьбе народного гончарного искусства Украины. Автор статьи, мастер-гончар Вячеслав Рысцов писал, что не определен статус народных мастеров: они должны иметь свой творческий союз, который наделял бы их соответствующими правами и гарантиями. Ведь в Литве, скажем, такое объединение уже существует. Рысцов предложил создать союзно-республиканское министерство народных художественных промыслов, у руководства которого стояли бы

опытные люди, заинтересованные в сохранении и развитии народных традиций. За это же выступили народные художники СССР Т. Яблонская и В. Бородай, народный художник УССР В. Борисенко.

...Министерство или не министерство, а объединение мастеров создать надо, и «Храм деревянного зодчества» способствовал бы такому делу.

Свои предложения я кратко высказал в газете «Культура і життя» в 1986 году и вот какие получил письма.

Академик Д. С. Лихачев написал: «Предложение создать музей-усадьбу народного мастера в высшей степени интересно и целесообразно. Речь идет не об этнографическом музее украинского или русского села с их хозяйственными постройками и народным бытом. Такие музеи под открытым небом есть на Украине, в РСФСР, в Белоруссии. Речь идет о том, чтобы создать что-то такое, к чему бы устремилась творческая мысль многих и многих сельских строителей, ремесленников, хлеборобов. Надо дать народу образцы для подражания, для воплощения в жизнь. Иными словами, народную мечту о красоте надо не консервировать в музейной обстановке, а дать ее живой, возбуждающей стремление к подражанию, к творческому продолжению. Почему мы, стремясь сохранить национальные особенности, должны только воспроизводить то, что было создано в обстановке бедности и технического примитива? Надо национальное начало развивать, где-то концентрировать все самое красивое, и д е а л ь н о е. К старине можно подходить этнографически, но можно подходить и творчески, извлекая из традиционного украинского искусства все то лучшее, гуманное, человеческое, чем так сильно украинское искусство. Сейчас во всем мире лучшие архитекторы снова стали обращаться к народному искусству, к народному орнаменту. Это прекрасно. Век архитектурного брутализма, бессердечности кончился. И надо где-то собрать, соединить все праздничное, все богатое, что можно извлечь из народного искусства.

Я всей душой за предложение В. П. Петрова. Я люблю милую Украину, сердечную Украину, Украину — великого друга России, и очень хочу, чтобы украинская деревня цвела в своих лучших украинских орнаментах, красках, формах, была праздничной и радостной».

«Целиком присоединяюсь к красочному письму Д. С. Лихачева и считаю желательным создание усадьбы народного мастера. Академик Б. А. Рыбаков».

«Любя землю, украшать ее — наш священный долг! Прочел Вашу статью «Різьблене містечко» в газете «Культура і життя» и почувствовал необходимость такого очага. Народный артист СССР И. С. Козловский».

...Какие нас люди поддерживают! Так за дело...

Кнут и пряник



...Перебои в снабжении, «очереди» и «хвосты» стали «бытовым явлением». в значительной мере дезорганизующим и нашу производственную жизнь.. *Острота товарного голода должна быть решительно смягчена, и притом не в отдаленной перспективе, а в ближайшие годы. Первые шаги в этом направлении нужно сделать теперь же.*

Н. Бухарин

Хотел бы знать Ваше мнение, не пора ли произвести расчеты... во-1-х, план (самый грубый и общий, в порядке первого приближения) восстановления нашей валюты Скажем: при таких-то условиях, в течение стольких-то лет можно бы было последовательным применением таких-то мер осуществить то-то.

В Ленин

Мне говорят, что это значило бы рассчитывать на чудо. Может быть, это и правда. Конечно, для этого понадобилось бы все напряжение честности и добросовестности для того, чтобы признать свою огромную ошибку. Подавить свое самолюбие и свернуть на иную дорогу...

В. Короленко

Кажется, все меньше и меньше остается сфер, в которых не разоблачались бы сегодня злодеяния сталинизма. Тем более необъяснимым представляется автору этих строк то, что в поле зрения исследователей до сих пор не попал самый первый и самый многочисленный сталинский эск. Этот заключенный до сего дня не только не реабилитирован, но даже не освобожден, хотя жизненных сил в нем с каждым часом все меньше. Число ему — легион. Имя ему — советский рубль.

Арест состоялся в 1926 году. Именно тогда был запрещен вывоз советских денег за границу. Через два года последовал запрет на ввоз. Так Сталин закончил с конвертируемостью советской валюты, еще недавно, в период нэпа, высоко котиrowавшейся на международном рынке Так отрезал свой народ от хозяйственной жизни человечества. Так опустил железный занавес и на полную громкость включил пропаганду своих пятилеток, чтобы не слышно было вопля насиуемой и пытаемой экономики

У всякой политики есть экономическая база.

Необходимо вспомнить, как были уничтожены товарно-денежные отношения в нашем хозяйстве, как с первых своих шагов сталинский режим повел страну в болото застоя. Проследив самые важные из этих шагов, мы, возможно, лучше поймем, что следует делать сегодня.

Почему сейчас можно и нужно вопрос об оздоровлении денежного обращения и создании твердой валюты ставить как ключевой? Да потому, что в отличие от иных «панацей» и «решающих звеньев», не раз предлагавшихся нашей экономике в качестве приоритетов, проблема валюты не может быть решена в ущерб другим Наоборот, лишь в результате их решения решится и она. Она не хвост и не нос, обладающие свойством увязать попеременно, она сердце, к которому сходятся все сосуды.

Откуда есть пошло...

В золотой и морозный Татьянин день в деревне Талице, неподалеку от Троице-Сергиевой лавры, происходило учредительное собрание. Организовывался кооператив, один из первых нынешних. Это было начало 1986 года. Идея была кристально ясна, как воздух январского воскресенья. Подмосковная деревня обезлюдела, год назад за

ненадобностью закрылась школа, немногие еще трудоспособные ездили на работу кто в Москву, кто в Мытищи. Планомерно-убыточный совхоз, в который входила деревня, как место работы никого не прельщало. Идея была возродить Талицу в качестве производителя полноценных товаров и услуг. Решили: местными силами отремонтировать дома и превратить деревню в пансионат для московских дачников. Еду для них производить здесь же. Возродить местную столовую, построить мастерские для простейшего автосервиса. Все это с общего согласия участников собрания — местных жителей записали в устав кооператива «Талица». Перешли к уставному фонду, то есть к вопросу, где взять деньги.

Позже у десятков тысяч кооперативов такого вопроса не возникало. Процедура стала отлаженной: устав, ходатайство, официальная регистрация, договор с предприятием-гарантом — и либо ссуда от него, либо кредит из Госбанка.

Талицкое собрание мне, наблюдателю, было интересно своей полнейшей первоизданностью, робинзонностью, абсолютной непосредственностью человеческих реакций на фундаментально-академические вопросы политэкономии. Деревенские люди в долг лезть не хотели. То, что, увы, давно стало привычным для целых отраслей народного хозяйства — закредитованность, фактическая безвозвратность этих кредитов, — у живых людей, пожелавших объединиться в юридическое лицо и производственную единицу, вызывало протест. Выяснилось, что почти у всех присутствовавших кое-какие накопления имеются. Внести их в уставной фонд, а потом вернуть из прибыли кооператива, даже с процентами — эта мысль тоже была принята сразу. Только хватят ли накопленных тех, кто решил в кооператив пойти? Среди таковых участвовал в собрании купивший дом в Талице московский экономист, мой знакомый, Владислав Андреевич. Он взял слово. Многие его приятели, москвичи, согласятся одолжить свои накопления на доброе дело — становление кооператива «Талица». У большинства интерес будет прямой — захотят снимать здесь дачи, быть в числе первых пансионеров. Но интерес может быть и другой. Вот здесь — он кивнул на меня — журналист из «Литературной газеты», напечатать заметку — и люди пришлют деньги с разных концов страны, если мы пообещаем вернуть с процентами, большими, чем сегодня платит сберегательная касса. С шапкой по кругу — это ж вполне по-деревенски, вполне в духе народной традиции.

Короче, мой приятель толкал собранию на максимально бытовом языке, без единого термина свою заветную идею создания акционерного общества.

Председателем собрания был избран, как человек грамотный и авторитетный, инженер местного совхоза. Тридцатичетырехлетний «папер фамила» с двумя детьми, пятнадцатью годами трудового стажа, заметными уже залысынами в негустых серых волосах, твердыми складками у губ и крупными грубыми руками. «Это как, — поднял он голову от протокола. — Это значит, он только деньги пришлет? Он, значит, тут работать не будет? А за что же тогда ему прибыль?» — «Так он же свои кровные пришлет, чтобы нам было, на что строгать-копать. Это и будет его участие!» Инженер прихлопнул протокол тяжелым кулаком. «А откуда они у него? С чего он добрый такой? Здесь я с каждым работать буду и видеть, кто как зарабатывает. А того приславшего я, может, в глаза никогда не увижу — чего ж мне на него вкальвать? Может, он эти деньги наворовал?..»

Как местные старики копили-откладывали себе на похороны, он видел и знал. Картошкой, клубникой, молоком — это очень редко, а больше промышляли летними дачниками.

Любой незнакомый, тем паче горожанин, имевший сбережения, был для него классовый враг.

Предложение экономиста на собрании тогда не прошло. Акционерного общества «Талица» не получилось. И, возможно, это послужило причиной дальнейшего, не слишком успешного развития дел в кооперативе. Много еще за последующие три года разумного и дельного запрещали кооперативу с таких же принципиальных классовых позиций. Деньги он взял в банке, своих кровных члены кооператива в него не вложили и, возможно, от этого интересы его перед запрещавшими отставали не слишком активно. А запрещавшими руководили такое же недоверие и такая же антипатия к чужим деньгам, какие тогда на собрании выразил убежденно и честно молодой деревенский инженер.

«...Буржуазные элементы населения продолжают использовать остающиеся в частной собственности денежные знаки, эти свидетельства на право получения эксплуата-

торами общественного богатства, в целях спекуляции, наживы и ограбления трудящихся». Каким образом на протяжении семи десятилетий должна была развиваться экономика огромной страны, чтобы человек, родившийся посередине исторической дистанции, отделяющей нас от этих слов, никогда их не читавший, по опыту своей трудовой жизни думал и сегодня то же самое?

Попытке анализа этого будут посвящены все дальнейшие страницы. Но прежде попробуем представить и понять, что произошло бы, если бы классовое чувство не заставило председателя собрания отвергнуть предложение экономиста.

Свои деньги прислали бы кооперативу шахтер, колхозник, писатель, пожелавшие участвовать в этом новом полезном деле. Ради его полезности и собственной выгоды. Их труд и энергия были отделены от Талицы временем и пространством. Но труд был общественно полезен, плод его был приобретен обществом в лице государства. В обмен на него шахтер, колхозник, писатель могли и должны были бы получить от государства необходимые для себя товары. Но по сложившейся традиции вместо товаров они согласились взять государственные долговые обязательства, то есть деньги. Государство печатает эти бумаги в знак того, что обязуется предоставить шахтеру, колхознику, писателю в обмен на полезный продукт его труда любые необходимые ему товары на сумму, равную номиналу этих разноцветных бумажных долговых обязательств. Деньги суть универсально транспортабельная форма полезной человеческой энергии.

Передав их кооперативу «Талица», шахтер, колхозник и писатель потрудились бы в нем, не копая талицкую землю и не чиня талицкие дома. Но произведенные ими уголь, хлеб и книга превратились бы в талицкую лопату, шифер и доски.

Деньги при этом выступили бы как всеобщий товарный эквивалент. Они представляли бы как средство, связующее людей во времени и пространстве.

Уже в середине прошлого столетия канцлер английского казначейства Уильям Гладстон сказал, что даже любовь не сделала столько людей дураками, сколько сделало мудрствование по поводу сущности денег. Думается, эту загадочность и необъяснимость можно оправдать тем, что деньги были первым, стихийно найденным способом трансформации энергии и ее передачи на расстояние. Появившись за многие столетия до, скажем, электричества и линий электропередач, феномен денег и их обращения не мог не «сделать дураками» пытающихся объяснить его природу, тогда еще не имевшую познанных физических аналогов.

По-английски, то есть на языке классической политэкономии, слова «валюта» (currency) и «электрический ток, напряжение» (current) являются однокоренными и очень близкими по звучанию. Неконвертируемость валюты — это невключение ее в Единую энергосистему человечества. Сегодня в нашей сети — более низкое напряжение. Подключаться же необходимо — это понимаем все. Напряжение, выходит, неизбежно надо увеличить.

«Жизнь человека — это азбука науки — зависит от кровообращения.

Жизнь народа зависит от денежного обращения.

Поэтому вопрос о финансах является главным и основным. Это вопрос жизни или смерти как для коллектива, так и для отдельного индивидуума».

Так было сказано 1 мая 1871 года на заседании Парижской коммуны в проекте декрета об организации ее финансов. Сравнение не только по-французски эмоциональное и яркое, но и удивительно точное. Ушиб на теле мгновенно краснеет — организм реагирует притоком к больному месту крови, которая несет полезные вещества, чтобы справиться с бедой. Точно так же к больному месту экономики должны мгновенно приливать деньги. Не приняв их от незнакомых сограждан, отказав деньгам в праве быть всеобщим полезно-энергетическим эквивалентом и средством общественной связи, молодой инженер обескровил свой талицкий «участок фронта» борьбы с дефицитом товаров и услуг.

Классовые предрассудки, мешающие денежному обращению, приводят к экономическому некрозу.

«Нэпофильские стенания»

Позднее 21 декабря (точная дата неизвестна) 1917 года Ленин шлет телеграмму в Стокгольм Воровскому: «Срочно подыщите и пришлите сюда трех бухгалтеров высокой квалификации для работы по реформе банков. Знание русского языка не обязательно. Оплату установите сами, сообразуясь с местными условиями».

Три финансовых варяга, призванных на Русь, еще не приехали, как 27 декабря 1917 года был издан декрет ВЦИК «О национализации банков».

Следующим важным мероприятием новой власти в области кредитно-финансовой политики был декрет СНК от 5 января 1918 года «О прекращении платежей по купонам и дивиденда».

Затем последовал декрет ВЦИК об аннулировании государственных займов. В этих декретах в отличие от вышеупомянутых об интересах мелких вкладчиков речи уже не было — масштабы задач увеличивались.

А 19 января 1920 года был подписан декрет СНК об упразднении народного (государственного) банка. «Национализация промышленности объединила в руках государства важнейшие отрасли производства и снабжения. Вместе с тем она подчинила общему сметному порядку всю государственную промышленность и торговлю, что исключает всякую необходимость дальнейшего пользования народным (государственным) банком, как учреждением государственного кредита в прежнем значении этого слова...

Посему... народный (государственный) банк Р.С.Ф.С.Р. ...упразднить».

Что дает подчинение всей промышленности «общему сметному порядку», молодое государство поймет еще не раз на собственном горьком опыте. Какое новое значение появилось у слова «кредит», декрет не объясняет. А вот почему кредит утратил значение в народнохозяйственной жизни, мы поймем легко, если вспомним слово «продразверстка».

Промышленность, хотя и переведенная на общий сметный порядок, не давала продукции для товарообмена с деревней, и на смену торговле хлебом пришла его конфискация. Конфискацией изъятие хлеба у крестьян являлось фактически, по своей экономической сути; юридически же действия продотрядов, санкционированные декретом ВЦИК от 9 мая 1918 года, вошедшим в историю как декрет о «диктатуре Наркомпрода», считались торговлей по твердым ценам. Однако в условиях гаопирующей инфляции — эмиссия бумажных денег в годы военного коммунизма достигла астрономических размеров, производство денег было единственной процветающей отраслью промышленности, продукция коей многократно превысила довоенный уровень; с 4,5 тысячи человек дореволюционный персонал печатных фабрик Гознака вырос к 1921 году до 13 616 человек, краски и желатин для печатания советских денег в 1920 году пришлось купить за границей на золото — твердые цены за изымаемый продотрядами хлеб были чистой символической. Крестьянин, выпотрошенный продотрядом, лишился возможности реализовать свою продукцию на рынке и терял все больше с каждым днем военного коммунизма: рыночные цены превышали твердые в 1 квартал 1919 года в 7 раз, а ровно через год — уже в 54 раза. Декрет о диктатуре Наркомпрода касался хлеба, но его в «рабочем порядке» быстро распространили и на ненормированные продукты. В сентябре 1918 года уполномоченный Наркомпрода сообщал в Москву из Чернигова: «...Общее количество во всех уездах населения 424 525... Можно заготовить 30 тысяч пудов мяса, миллион картофеля, 200 вагонов фруктов, 70 тысяч конопляного масла, 300 тысяч жмыха, 7 тыс. меду... В деревне усиливается классовая борьба... Ускорьте высылку продотряда».

Ленин позже писал: «Военный коммунизм» состоял в том, что мы фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьянина продовольствия, брали для покрытия расходов на армию и на содержание рабочих. Брали большей частью в долг, за бумажные деньги... Только сохранить остатки промышленности, чтобы не совсем разбежались рабочие, иметь армию — вот задача, которую мы себе ставили, и нельзя было решить ее никак иначе, как разверткой без вознаграждения, потому что бумажные деньги, конечно, не вознаграждение».

Крестьяне, конечно, это тоже понимали.

В одной из своих наиболее известных работ «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз» Бухарин подробно растолковывал широкой аудитории разницу между революционной природой рабочего и крестьянина. Рабочий продает свои руки хозяину и начинает работать на него без малейшей надежды на какое-либо улучшение своего положения, ибо чем больше работает он, тем больше отбирает у него капиталист — хозяин. «Но каждый крестьянин, имеющий свое хозяйство, свою *собственность*, ищет, главным образом, выхода в том, чтобы, увеличивши свое хозяйство и свою *собственность*, попасть в следующий, высший разряд крестьянского населения и таким образом подниматься со ступеньки на ступеньку... Крестьянин поэтому имеет *известное уважение и известное доверие к более крупным собственникам*... Он не научается по-

этому ненавидеть богатый класс той ненавистью, которой отличается рабочий класс, стоящий лицом к лицу с капиталом... Нужен опыт классовой борьбы и прямых столкновений с противником, чтобы развенчать в глазах крестьянина его классовых врагов».

Такой опыт крестьянство сполна получило с 1918 по 1921 годы. Диктатура Наркомпрода поставила его точь-в-точь в такое положение, в каком находился пролетариат при капитализме: эксплуатация без малейшей надежды на улучшение положения. И крестьяне восстали. Украина, Дон, Сибирь, Тамбов и, наконец, Кронштадт неопровержимо доказали, что крестьянство прозрело. «Экономика весны 1921 превратилась в политику: «Кронштадт», — писал Ленин.

В своей популярной брошюре Бухарин только намечил с чисто политической стороны разницу в экономическом положении рабочего и крестьянина. Углублять этот анализ он не стал. Между тем вопрос этот важен. Наличие или отсутствие надежды на улучшение своего положения благодаря собственному труду зависит от способа существования — либо на доход, либо на жалованье. Доход добывается, зарабатывается, жалование — жалуются. Дело в степени отчужденности трудящегося от результатов собственного труда. За годы военного коммунизма эта степень для большинства населения страны, крестьянства, достигла еще невиданных им размеров. Степени, как показали грянувшие восстания, невыносимой.

Реакцией власти на эту невыносимость положения народа была отмена военного коммунизма и переход к нэпу. Восстания оказались экстремальным видом обратной связи от управляемых к управляющим. Через десятилетие степень отчужденности оказалась столь же высокой и для крестьян, и для рабочих, удельный вес которых резко вырос в ходе сталинских преобразований. Сигналом обратной связи, гораздо более пассивным, но от этого лишь более трагическим, явился голодный мор миллионов людей в 1933 году и результаты голосования на партсъезде, попыткавшемся забаллотировать Сталина. Однако ответом управляющего на этот сигнал стала не новая экономическая, а новая политическая политика — репрессии. Основоположник кибернетики Норберт Винер заметил: в тоталитарных системах не существует обратной связи. На сигналы система реагирует уничтожением сигнализирующего.

Резкий, по историческим меркам, почти мгновенный переход к нэпу свидетельствует о том, что в 1921 году тоталитарности еще не было. На X съезде, прерванном кронштадтским восстанием, предлагая делегатам переход к кооперации в новых условиях, Ленин говорил: «Вы скажете, что это не определено. Да, и надо, чтобы это было до известной степени неопределенно. Почему это надо? Потому что, чтобы было вполне определено, надо до конца знать, что мы сделаем на весь год. Кто это знает? Никто не знает и знать не может». И дальше: «...ничего не ломайте, не спешите, не мудрите наспех... Испытайте то, испытайте другое, изучайте практически. на опыте, потом поделитесь с нами и скажите, что вам удалось, а мы создадим специальную комиссию или даже несколько комиссий, которые собравший опыт учтут...»

При этом вовсе не тянули с учетом опыта, и он, выкристаллизовавшись под смертно-тяжким прессом последующих десятилетий до прозрачной ясности, светит нам сегодня.

Каждый школьник ныне знает экономическую основу перехода к нэпу: замена продразверстки продналогом. В сути своей это, повторим, изменение степени отчужденности производителя от продукта, переход от жалованья к доходу. В такой формулировке нэповский девиз был применен ко всем без исключения сферам и отраслям хозяйственной жизни. Что это дало экономике, мы хорошо помним: червонец, «сытое дитя новой эпохи», по тогдашнему выражению Михаила Кольцова, — первую и единственную за всю нашу историю твердую конвертируемую валюту, превышение валовой продуктивности сельского производства над уровнем довоенной России, высочайшие темпы развития промышленности.

Однако сегодня, когда лозунг перехода от продразверстки к продналогу вновь выносится в заголовки центральных газет, надо вспомнить о социальной стороне этого перехода.

Уже, возможно, не каждый школьник знает, что нэповский продналог весьма скоро сменился денежным сельскохозяйственным налогом. Надо понять что замена продразверстки продналогом означала замену продотрядов фининспекторами. То есть замену огромной армии тех, кто умел извлекать производимое из производителя лишь при помощи штыка, нагана, кулака и глотки, теми, кто умел считать, соображать, стричь шерсть так, чтобы она отрастала еще гуще.

Ленинский призыв «Учитесь торговать!» был девизом этой замены, наполненным деньгами золотым и товарным содержанием.

Нам необходимо честно признать, что 18 миллионов сегодняшних наших управленцев, сидящих в партийных, советских и хозяйственных органах, — это в подавляющем большинстве продотрядовцы. Чтобы осуществить экономическую реформу, необходимо эту армию, умеющую сегодня, как гаишник в анекдоте, лишь «отнять и разделить», научить всем действиям экономической арифметики, сложению и умножению прежде всего.

Военный коммунизм с его формальным отказом от денег и одновременным неформальным их обесцениванием и ростом рыночных цен научил многому. Имевший уши слышал. «...Всекие радикальные реформы наши обречены на неудачу, если мы не будем иметь успеха в финансовой политике», — сказал Ленин.

Чтобы перейти к политически необходимому твердому денежному обращению (Маяковский в «Окнах РОСТА» писал: «Твердые деньги — твердая почва для смычки крестьянина и рабочего»), потребовалось восстановление Государственного банка.

4 октября 1921 года это было сделано декретом СНК и ВЦИК.

Через месяц правление Госбанка уже отчитывалось перед правительством в своей работе. Отчет интересен как документ не только констатирующий, но и провозглашающий руководящие принципы деятельности банка. Читать его интересно и горько, ибо, читая, невозможно не думать о том разгроме, который ожидал банк в ходе сталинской кредитной реформы.

«...Общая политика Банка должна быть направлена к тому, чтобы... стать резервуаром свободных средств всей страны, с целью правильного их размещения по разным отраслям промышленности, сельского хозяйства и обмена и создания, таким образом, на базе этих средств новых хозяйственных ценностей в интересах общего развития производительных сил страны». Следующая фраза выдает публицистические способности писавших ее финансистов, даже приверженность к высокому стилю и пафосу, вполне, впрочем, уместному. «Преследуя такую цель, Госбанк должен, как ценнейшее народное достояние, строго блюсти свою кредитоспособность как на внутреннем, так и на международном рынке, и в связи с этим он должен быть поставлен в такие условия работы, чтобы население Советской Республики питало к нему полное и безусловное доверие».

Всего через восемь лет «ценнейшее народное достояние» будет втоптан в грязь и кровь мягким сапогом, а условия работы будут созданы такие... Впрочем, подышим еще озонным воздухом разуму и добра.

«С другой стороны, оперируя предоставленными ему казной средствами и свободными денежными ресурсами населения, Госбанк должен стремиться, чтобы предоставляемый им различного рода организациям и лицам кредит стал жизненным нервом современного хозяйства. Своим кредитом Госбанк должен облегчить обращение товаров и ускорить общий ход и темп деловой жизни Республики... Отсюда очевидно, что задача Госбанка — зорко следить за тем, чтобы открываемые им кредиты не служили клиентуре, кто бы она ни была, побудительным мотивом для хозяйственно необоснованного грюндерства (учредительства ради учредительства или ради кредитов.— А. Ч.) и спекуляции, губящих затраченный капитал и вредных поэтому для народного хозяйства».

Господи боже, кто бы через десяток лет сказал носителю сапог, миллиардами швырявшему уже, правда, несвободные средства несвободного населения на десятки возникших по его прихоти объектов, что львиная доля их — грюндерство!... Впрочем, как ни невероятно, но такие находились. В середине 30-х Сталиным было инспирировано дело Сырцова — Ломинадзе. Первый был председателем ВСНХ РСФСР и кандидатом в члены Политбюро, второй — членом ЦК и первым секретарем ЦК Закавказья. Никакого «конспиративного блока» они не образовывали, но Ломинадзе, наблюдая сталинские пятилетки, обвинил его режим в «барско-феодалном отношении к нуждам и интересам рабочих и крестьян», а Сырцов назвал сталинские индустриальные первенцы «очковтирательством» и «потемкинскими деревнями». За прозрение и правду оба платились жизнями.

Цитируемый нами банковский документ не только разоблачает последующие преступления, но и деловито поправляет предшествующие ошибки. Мы помним, что в декрете о национализации банков, изданном в декабре 1917 года, говорилось, что «в интересах правильной организации народного хозяйства... банковое дело объявляется государственной монополией». Подразумевалось изъятие банков из частных рук. Но лю-

лучилось, что монополистом стало не государство рабочих и крестьян, а ведомство — Госбанк. Очень немного времени понадобилось, чтобы убедиться, что любая монополия в любой отрасли ведет к застою, стагнации, в финансовой отрасли — к инфляции. Или, если использовать недавно родившийся термин, комбинирующий эти понятия, к стагфляции.

Вот почему дальше в том же документе читаем: «Созная, что Государственный Банк, как единственный носитель кредитных функций в стране, окажется бессильным справиться с кредитными запросами страны, Представители правления выдвинули следующие проекты кредитных институтов для сельского хозяйства и мелкой и средней промышленности.

а) о Кооперативном Банке для кредитования потребительской кооперации...

б) о сельскохозяйственных кредитных товариществах для кредитования сельскохозяйственной предприимчивости и инициативы;

в) об Обществах Взаимного Кредита для обслуживания кредитных нужд средней и мелкой городской промышленности и торговли и

г) об учреждениях долгосрочного кредита».

Какой стройный и законченный вид приобрела система кредитования народного хозяйства за считанные годы нэпа, к разговору об этом мы еще вернемся. Но прежде хотелось бы обратить внимание на четкую логическую взаимосвязь всей суммы главных взрывских мероприятий. Они осуществлялись очень последовательно, хронологически же одновременно, параллельно. К главным из них относятся: замена продрозверстки продналогом с последующим переходом на денежный налог, восстановление и оздоровление системы денежного обращения с созданием системы банков и других кредитных учреждений, снятие промышленности с бюджетного финансирования, введение на базе всех предшествующих перечисленных мер твердой конвертируемой валюты и, как итог, переход к подлинно экономическому планированию развития народного хозяйства на основе политики цен и кредитов.

Среди партийных и правительственных постановлений, образовавших собой фундамент нэпа, следует выделить принятое Политбюро ЦК РКП(б) в июле 1921 года постановление об ускорении перевода предприятий и учреждений на бездефицитное ведение хозяйства и сентябрьский декрет ВЦИК «О мерах по упорядочению финансового хозяйства». Их важнейшим практическим следствием стало снятие большей части промышленности с государственного бюджета и перевод ее на хозрасчет или, по тогдашнему выражению, на коммерческий расчет.

Прозвучание принципа «Казна за долги заводов не отвечает» означало подлинное уравнивание рабочих и крестьян в политическом отношении. Все предприятия в законодательном порядке обязывались выплачивать налог государству, и в этом смысле любой социалистический завод или даже трест как хозяйственная единица приравнивался к крестьянскому двору. Политически и экономически производители стали равны перед фискальщиком. Это было главным условием оздоровления денежной системы: бесперебойно поступавшие налоги были призваны заменить эмиссию, работу печатного станка. Немногим позже принимается специальное постановление ВЦИК СССР, закон, гласящий, что казначейская эмиссия бумажных денег не может производиться на покрытие дефицита по бюджету.

Наряду с кровавыми преступлениями Сталина история должна предъявить ему счет за нарушение и этого, скромно и строго звучащего закона.

Прекращение и законодательное запрещение бюджетной эмиссии было необходимым условием стабилизации денег, а укрепление рубля стало главным демократическим инструментом смычки города и деревни, без насилия и обмана.

Отношения промышленности с бюджетом перевернулись. Теперь она не сосала его, а наоборот, пополняла. Если еще совсем недавно многие наркомы (что уж говорить о рабочих) считали, что Наркомфин является главным препятствием для развития народного хозяйства, ибо не справляется со своей задачей — производством необходимого количества денег (архивный образец негодующей революционной жалобы на НКФ того времени: «Срывает выполнение важного государственного задания из-за такой пустяковой вещи, как деньги»), то теперь бюджет, поддерживавшийся ранее и впрямь лишь усилиями гознаковских печатников, сказал заводам и трестам, всей промышленности словами деда Каширина: ты не медаль, на шее у меня тебе делать нечего. Иди-ка ты в люди, добывай такую пустяковую вещь, как деньги, сама.

Мы уже видели, что Государственный банк признал для себя невозможным в оди-

ночку справиться с кредитованием всего народного хозяйства. И этим стала заниматься при нэпе целая система банков: Промбанк, Всекомбанк, Роскомбанк, Мосбанк, Центральный сельскохозяйственный банк СССР, а также общества взаимного кредита. Для координации их деятельности был создан Комитет по делам банков.

Эти банки, следует понять и особо отметить, не имели отношения к бюджету. Они занимались коммерческим кредитом, то есть хозрасчетным, основанным на хозяйственном денежном риске поиском способов взятия свободных денег у производителей и помещицы этих денег туда, где они вернее и быстрее всего принесут пользу потребителю, то есть народу, а значит, денежную прибыль и выгоду самому банку. Создание этой системы банков означало создание делового капитала — бесперебойной, саморегулируемой системы кровообращения (вспомним тезис Парижской коммуны) в народном хозяйстве, системы, включающей в себя не только крупные сосуды, но и мельчайшие капилляры.

С образованием делового капитала Госбанк из единого банка (то есть монополиста в финансах) превращался в банк банков. Имея твердые источники поступления в виде налогов, он мог предоставлять кредиты коммерческим банкам, но последние служили промежуточным, страхующим звеном между возможным хозяйственным неуспехом (значит, ошибкой в коммерческом расчете кредитодателя) и бюджетом, то есть интересом всего государства и общества. В случае же успеха он становился двойным источником укрепления финансовой мощи госбанка: через процент возвращаемого ему кредита и через возрастающую сумму налога в бюджет.

Коммерческие банки начали самую настоящую охоту за деньгами. Оружием в этой охоте служила политика банковских процентов. На пассивных операциях этот процент увеличивался, на активных — снижался.

Пояснить, что такое процентная политика, легко на примере кооператива деревни Талица, о котором мы говорили вначале. Коммерческий банк 20-х годов в лице представителей своего отдела конъюнктуры или, иначе, отдела риска моментально бы понял всю выгоду помещения капитала в развитие талицкого кооператива. В самом деле, дачников в таком благословенном месте всегда будет хоть отбавляй, не прогорят ни кормящие их теплица, свинарник, птичник, ни деревенский автосервис. Кооператив, таким образом, станет для банка надежным, стабильным, выгодным клиентом; разворачиваясь все шире, он будет брать у банка все новые кредиты, кормя социалистических хозрасчетных банкиров процентами с них. Чтобы обеспечить Талице будущее, банк пообещал бы и дал максимальный процент прироста на вложенную сумму поминавшимся нами шахтеру, колхознику и писателю (то есть повысил бы банковский процент на пассивные операции, на прием денег от вкладчиков — это называется «охота за пассивами»), а кооперативу предоставил бы эти деньги с минимальным процентом кредита (то есть понизил бы ставку активов), чтобы дать ему скорее встать на ноги и развернуться. Разницу между процентами пассива и актива банк на время становления кооператива, как будущего своего надежного кормильца, взял бы на себя. Он либо погашал бы ее из собственной прибыли, получаемой от других, уже окрепших клиентов, либо сам взял бы для этой цели кредит у госбанка. Политика коммерческого банка была бы схожа с поведением заботливого родителя, который выращивает и воспитывает дитя для служения обществу и с тем, чтобы его, родителя, впоследствии кормило.

Дабы предприятия по-хозяйски рассчитывали и зарабатывали, с началом нэпа государственный Комитет цен перешел от фиксации твердых цен к установлению ориентировочных, необязательных для предприятий. Последние сразу же перешли на так называемые восстановительные цены.

Восстановиться удалось поразительно быстро. Не «понарошку» брошенная в волны экономики, промышленность самостоятельно поплыла: в 1922-23 годах она впервые после революции стала не просто безубыточной, но и дала прибыль в 250 миллионов рублей золотом. Дала за счет выпуска нужных народу товаров.

На этих товарах, на их безубыточности, на денежном сельхозналоге с производства также безусловно необходимой продукции и основывался переход с обесценившихся совзнаков на твердую «золотую» валюту Укрепление, «отверждение» рубля заключалось в его товарном наполнении. Золотую валюту могло создать не просто золото само по себе, хотя оно тоже было необходимо, а подлинное насыщение внутреннего рынка желанными для обладателей рублей товарами. Именно поэтому проблема рынка была поставлена во главу угла. Торговля стала центром внимания. Ленинское «Учитесь торговать!» было формулой оздоровления валюты, значит, экономики.

В этом огромный, непреходящий, наигуманнейший смысл нэпа. Впервые после лет войны и террора новый строй показал свое человеческое лицо: социализм, его экономика, промышленность, валюта могут развиваться и укрепляться только на базе растущего удовлетворения потребностей потребителя товаров, то есть народа. Учиться торговать, то есть учиться быстрее и полнее удовлетворять эти потребности, необходимо: социализм развивается, когда народу становится лучше.

«...Всякие радикальные реформы наши обречены на неудачу, если мы не будем иметь успеха в финансовой политике». Финансовая же политика может основываться лишь на успехах рынка, торговли. На их развитии Ленин старается сосредоточить все усилия Госбанка. Пишет наркому финансов Г. Сокольникову: «...В центре всего сейчас — торговля, в первую очередь внутренняя, потом внешняя; в связи с торговлей, на базе торговли восстановление рубля. На это — все внимание. К этому *практически* подойти — главное, главнейшее, коренное». И ему же, ровно через месяц: «Сам ли Госбанк должен торговать или через подчиненные фирмы, — через приказчиков или через клиентов-заемщиков и т. п., — этого я не знаю. Не берусь судить, ибо незнаком достаточно с техникой денежного обращения и банковского дела. Но я что твердо знаю, это — что весь гвоздь теперь в быстром развитии госторговли...»

Клиентами-заемщиками, связанными непосредственно с кредитованием производства и реализации товаров, стали уже перечисленные нами банки. Смогли появиться они потому, что глава государства не считал себя финансовым корифеем и предписывать не брался.

Для обеспечения новой валюты государству требовалось и золото. До нэпа действовал строгий указ, о б ы з ы в а в ш и й население страны сдавать золото государству и каравший за нарушение этого предписания. Нэп и здесь заменил «разверстку» экономическим методом стимуляции: декрет СНК от 4 апреля 1922 года первым пунктом предписывал отменить обязательную сдачу государству имевшихся у населения драгметаллов, камней и иввалюты. Вместо этого объявлялось о с к у п к е государством этих ценностей.

В результате всего этого появилась первая (и, увы, пока последняя) в советской истории твердая валюта, свидетельством рождения которой послужил декрет СНК от 25 июля 1922 года. «...Исходя из наличия реальных ценностей, накопленных Государственным Банком в значительных суммах в виде золота и других драгоценных металлов, твердой иностранной валюты и товарного фонда... предоставить Государственному Банку... право выпуска в обращение банковских билетов...», которые «обеспечиваются не менее чем на 1/4 их суммы по номинальной цене драгоценными металлами..., а в остальной части легко реализуемыми товарами и краткосрочными векселями...».

Как на практике реализовались условия обеспеченности золотого червонца, выпуск которого начался 11 октября 1922 года, и как его функционирование стало демократическим инструментом смычки города и села, показывает кризис сбыта 1923 года и выход из него.

Советские тресты в погонях за максимальной прибылью выходили на рынок с продукцией исключительно по «восстановительным» ценам, превышавшим уровень ориентировочных, подсказываемых Комитетом цен. Степень неискренности трестов в рыночных делах показывает тот факт, что в 1922 году многие из них не знали и затруднялись подсчитать себестоимость собственной продукции. В то же время в силу своей малочисленности они зачастую являлись монополистами на рынке.

Завышение цен привело к тому, что население, то есть в большинстве своем крестьянство, перестало покупать товары. Выйти из кризиса сбыта помог комплекс мер. Но главной в нем было резкое сокращение кредитования затоварившихся предприятий. Это сокращение находилось в полном соответствии с провозглашенным принципом обеспечения червонца: непокупавшиеся товары не являлись легкорезулируемыми, хотя при этом могли быть вполне дефицитными, краткосрочным векселям затоварившихся предприятий банк, следовательно, верить не мог.

Политика сокращения кредитов в течение одного сезона привела к тому, что тресты снизили цены и их продукция была мгновенно распродана. В результате этого тресты вновь оказались кредитоспособными и смогли резко увеличить объемы производства.

Снижение цен в масштабах всей промышленности уменьшило ее доходы на 120 миллионов рублей. Но расширение производства уже в следующем году увеличило на-

логовые поступления в бюджет от промышленности на целых 350 миллионов рублей. От кредитного маневра банков выиграли и крестьяне, и горожане, и бюджет.

И все же цены, по-настоящему в то время зависевшие от рынка и его конъюнктуры, так или иначе менялись. Если крестьянин, плативший налог со своего дохода, мог его поднять путем увеличения производства через самоэксплуатацию, использование пусть дорогой, но более прогрессивной техники, то как мог социально защититься получавший зарплату рабочий? Ведь даже регулярно печатавшиеся в эпоху нэпа статистические данные показывали, что индекс цен — далеко не константа.

Сегодня, когда в печати горячо обсуждается проблема реформы цен, и сторонники ее, и противники, и те, кто считает, что реформа отразится на покупательной способности и уровне жизни народа, и те, кто полагает, что она в результате компенсационных мер может пройти для потребителя безболезненно, безмолвю и априори единогласно почитают константой уровень зарплат. Его изменение допускается только как результат компенсации, планируемой сверху.

Нэповская действительность регулировала этот уровень иначе, в зависимости от цен. Зарплата на каждом промышленном предприятии ежегодно определялась в коллективном договоре, заключаемом профсоюзом — с одной стороны и администрацией предприятия — с другой. Заключение договора ни в коем случае не было актом формальным, наоборот, сопровождалось, как правило, игрой, а то и взрывом страстей. Но в годы нэпа никто не воспринимал это как нечестность по отношению к режиму или, тем паче, подрыв устоев. В своих интереснейших «Историях из жизни строителя» О. Лацис цитирует очерк Ларисы Рейснер «Лысьва», где женщина-комиссар, ставшая журналисткой, описывает заключение коллективного договора на одном из уральских заводов.

«Кто хочет видеть завоевания великой революции, пусть пойдет в завод в дни беспорядка: не в мирные трудовые недели, а именно в часы, отмеченные в трудовом календаре бузой, волянкой, или как ее еще называют. При первых признаках возбуждения, овладевающего фабрикой, ее хозяева во всем мире посылают за солдатами. Через окно, у которого председатель фабзавкома сейчас наблюдает беготню лысьвенских рабочих, когда-то наблюдали ее старые инженеры, с перекошенными лицами вися на телефоне, проволока которого на другом конце была намотана на казацкую пашку. Правда, товарищ Маслянников (профсоюз) не совсем спокоен. У товарища Кильдебакова (завком) вид человека, разорванного пополам распрей рабочего с рабочим государством. Дианыч (директор завода.— А Ч.) пока что усмехается...»

В ходе рабочего собрания обсуждаются все статьи договора, все тарифы. Дианычу приходится объяснять, расшифровывать, защищать каждую предлагаемую им коллективу цифру. Дианыч сам из рабочих, выдвинулся благодаря организаторскому таланту, который непременно включает умение убеждать.

«Тяжело будет перенести рабочему классу! — Этими пятью словами колдоговор, пожалуй, уже принят. — Тяжело будет перенести рабочему классу! — Это значит: помните, ни одного лишнего дня этой тягости, ни одной копейки, отнятой здесь и отданной на ненужное. Берите, но не забывайте, чего стоит каждый день и час несслыханных тарифов. Не позволяйте пухнуть спецу, штатам, всей этой стае мелких цифр, накладных расходов, обременяющих каждый пуд угля и руды, лежащихся непосильной ношей на всякую лысьвенскую ложку и плошку.»

Дианыч, как всякий хозрасчетный руководитель, был политически и экономически зависим от коллектива, его воли и результатов экономической деятельности. В резолюции XII съезда партии о промышленности говорилось, что вознаграждение руководителей предприятий должно зависеть от баланса, как зарплата рабочего от выработки. О руководителе было записано: «Его высшей аттестацией является активный баланс предприятия».

Не только руководители отдельных предприятий, но и руководство синдикатов, в которые объединялись тресты (объединялись свободно и инициативно, согласно постановлению ВСНХ), было полностью экономически зависимо от этих трестов. Тресты платили назначаемому ими самими руководству за высокое качество управленческих услуг.

Вот эта полная, сверху донизу зависимость всех и каждого от экономических результатов деятельности своей личной и своего трудового коллектива позволила при нэпе подчинить развитие хозяйства законам экономики, создать надежный противозатратный механизм.

В 1924 году была успешно завершена денежная реформа, в обращении воцарился твердый конвертируемый рубль. На его базе произошло оздоровление финансовых, а значит, и хозяйственных условий работы промышленности — твердый, товарнообеспеченный рубль стал фундаментом сбыта, расчетов, банковского кредитования и финансирования. Первый пореформенный хозяйственный год стал успешным для всей промышленности. В 1924-25 годах ее продукция по сравнению с 1923-24 годами выросла на 57 процентов, производительность труда — на 40 процентов, реальная заработная плата рабочих достигла довоенного уровня. Ничего подобного по темпам наша экономика позже уже не знала — ни в первые, ни в последующие пятилетки. Устойчивая валюта дала твердые основы для промышленной калькуляции, контроля, планирования и стимулирования производительности через заработную плату.

Насколько увеличилась емкость внутреннего советского рынка, то есть товарная обеспеченность рубля, видно из такого факта: с начала реформы до конца 1925 года денежная масса в обращении выросла почти в 4 раза. Но теперь это уже не было признаком инфляции, а, наоборот, вызывалось увеличением товарной массы — валютный курс и покупательная способность рубля за этот период повысились.

На базе твердой валюты увеличивалось кредитование народного хозяйства, которое было тогда реальным источником его роста. С 1 октября 1923 года по 1 октября 1925 года балансы банков увеличились в 5 раз, вклады и текущие счета — почти в 6,7 раза, учетно-ссудные операции — в 4,2 раза. Твердая валюта впервые дала, как отмечалось в резолюции XIII конференции ВКП(б), «реальную основу для действительного планового руководства хозяйством».

Если вспомнить образное выражение парижских коммунаров, то можно сказать, что организму с безупречным кровообращением, организму здоровому и полнокровному можно безбоязненно наметать достойные его задачи и цели. При этом не нужно его подталкивать и поддерживать, устанавливать ему ногу при каждом шаге, как больному, разучившемуся ходить. Достаточно указать направление движения.

В мае 1925 года на III Съезде Советов о государственном плане развития народного хозяйства было сказано, что главную особенность этого плана составляют не сами по себе цифровые выкладки и календарные сроки выполнения тех или иных наметок, а установление линии в хозяйственной политике в отношении цен, кредита и т. д., в отношении подлинно экономической оценки значения той или иной отрасли народного хозяйства.

Когда сегодня, в конце восьмидесятых, некий публицист смеется над прессой за ее, как он выражается, «нпопфильские стенания», он смеется над нашей тоской по демократическому экономическому механизму, способному объективно оценивать работу каждого, основываясь на четких критериях законов экономики, оперативно и честно выставлять отметки в великой школе экономики всем, от крестьянина — за количество и качество его урожая, до самого высокого руководителя — за количество и качество его управленческих услуг обществу.

Теперь, когда мы, пусть в самых общих чертах, обрисовали сущностное экономическое содержание нэпа, нам легче будет понять, почему Сталину был необходим его разгром.

Разгром нэпа был концом короткого исторического периода, который Стивен Козэн в публикуемой у нас ныне книге о Бухарине называет «дуумвиратом Бухарина и Сталина», то есть их совместным правлением. Как видно из опубликованных совсем недавно, после реабилитации Бухарина его работ, главным вопросом, по которому наблюдались расхождения у дуумвиров, был вопрос о крестьянстве и индустриализации, вопрос о цене, которую первое должно или не должно было заплатить за вторую. Бухарин постоянно пекся об увеличении емкости крестьянского рынка как об источнике накоплений для развития промышленности. «...Быстрота нашего хозяйственного оборота и оборота нашего капитала играет огромнейшую роль. Если мы ускорим движение хозяйственных соков во всем нашем хозяйстве, если мы ускорим оборот капитала, мы получим гораздо более быстрый темп нашего накопления, гораздо больший хозяйственный рост».

В своих рассуждениях Бухарин не ограничивается лишь анализом классовых позиций. Доходя до самой сути, он демократично углубляется в анализ личного стимула конкретного производителя, заклинает не насиловать человека, считаться с его интересами. Ратуя за это, не боится в 1925 году даже похвалить капитализм: «Капитализм страдает пороками — это верно. Но капиталистическая конкуренция ведет к развитию

производительных сил, которые гонятся капиталистическим развитием вперед... Поскольку коммунисты хотят установить производство по приказу, из-под палки, постольку их политика потерпит и уже терпит неминуемый крах».

Учитывать интересы каждого производителя, связывать эти интересы и опираться на эту связь, а не на приказ и палку — к этому он призывает, в этом видит главный козырь нэпа: «...совершенно не случайно мы пошли по линии торговли в первую очередь, потому что торговля-то и означает как раз ту связь, которая позволяет воздействовать одному хозяйственному фактору на другой, в первую очередь городу на деревню и обратно».

Далее в этой же работе «О новой экономической политике и наших задачах» Бухарин оценивает и другие «несущие конструкции» нэпа: «...мы начали организовывать банки, мы начали подбираться к оздоровлению нашей государственной финансовой системы... Если у нас нет банков, а создается мелкобуржуазная кооперация, то она нас гавит. А если у нас есть банки, то она от нас зависит; мы ее кредитруем; если мы ходим голенькими, то кулак нас побеждает экономически, а если он является вкладчиком наших банков, он нас не победит. Мы ему оказываем помощь, но и он нам. В конце концов, может быть, и внук кулака скажет нам спасибо, что мы с ним так обошлись».

Да, недаром столько лет мы не могли прочесть этих слов. Многие высказывания звучат злободневно даже сегодня, в связи, например, с горячо обсуждаемыми ныне проблемами кооперативов: «Меньше административного воздействия, больше экономической борьбы, большее развитие хозяйственного оборота. Бороться с частным торговцем не тем, что топтать на него и закрывать его лавку, а стараться производить самому и продавать дешевле, лучше и доброкачественнее его».

И вот, наконец, самое, пожалуй, знаменитое высказывание Бухарина. То, от которого в самом скором времени его принудили отречься. То, отречение от которого его не спасло. То, которое обозначило его главное принципиальное расхождение с напарником-дуумвиром. Вот оно:

«В общем и целом всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство. Только идиоты могут говорить, что у нас всегда должна быть беднота; мы должны теперь вести такую политику, в результате которой у нас беднота исчезла бы».

Что получим мы в результате накопления в крестьянском хозяйстве? Накопление в сельском хозяйстве означает растущий спрос на продукцию нашей промышленности. В свою очередь, это вызовет могучий рост в нашей промышленности, который окажет благотворное обратное воздействие нашей промышленности на сельское хозяйство».

Этого «идиота» Сталин не простит Бухарину до лютой смерти. Не помогло Бухарину и то, что слишком точно предсказывая будущую коллективизацию, на следующей странице цитируемой нами работы он называет вершителя этой коллективизации уже мягче — чудачком. Зато коллективизацию вновь опрометчиво величает «варфоломеевской ночью»:

«Могут появиться чудачки, которые предложили бы объявить крестьянской буржуазии «варфоломеевскую ночь», и они могли бы доказывать, что это вполне соответствует классовой линии и вполне осуществимо. Но одна беда: это было бы глупо в высшей степени. Нам этого, совершенно не нужно делать. Мы бы от этого ровно ничего не выиграли, а проиграли бы очень многое».

Думается, что приведенные цитаты достаточно ясно демонстрируют расхождение между дуумвирами.

Крестьянство на момент начала этой дискуссии и написания Бухариным цитированной статьи представляло подавляющее большинство населения страны. Индустриализация же была синонимом социализма. Она была необходима партии пролетариата еще и потому, что только в индустриальной стране такая партия имела бы формальное право быть правящей и осуществлять диктатуру пролетариата.

Таким образом, вопрос о крестьянстве и индустриализации являлся, по сути, вопросом о народе и социализме. А расхождение между Бухариным и Сталиным по этому вопросу заключалось в том, что Бухарин полагал развитие социализма не только совместимым с повышением уровня благосостояния народа и растущим удовлетворением его потребностей, но и необходимо базирующимся на этом росте. Сталин же, как доказала его последующая деятельность, думал прямо противоположное.

Расхождение между дуумвирами свелось к старому как мир вопросу: человек

для субботы или суббота для человека? Бывший семинарист ответил на него делом: человек — для субботников и воскресников, причем отнюдь не добровольных.

Разгром нэпа был необходим Сталину не только для того, чтобы убрать своего думвира, соперника. Даже если бы не было Бухарина, нэповская модель не могла устроить Сталина как главу государства. Она была слишком демократичной и обеспечивала обратную связь между управляемыми и управляющими. Эта связь обеспечивалась экономическим механизмом и требовала от управляющего, как мы уже видели ранее, высокого качества управленческих услуг. Поэтому нэповская модель была обречена на уничтожение. Взамен нее нужно было создать механизм, обратную связь исключающий. Механизм, при котором смог бы остаться у власти управленец, благодаря «услугам» которого в 1929 году — впервые в истории мирного времени — были введены карточки; кроваво до головокружения проведена «коллективизация»; разразился унесший миллионы жизней голод 33-го; стали возможными поражения в начале войны, расправы над интеллигенцией — и сопровождавшая все это параноидально раскручиваемая мясорубка репрессий.

С чего нужно было начать, создавая такой механизм и уничтожая нэп?

Сталин начал безошибочно: с ареста рубля.

Арест рубля. Финансовая монополия — начало разрушения экономики

Первым, как канарейка в шахте, почуял опасность, грозящую экономике, нарком финансов Г. Сокольников. Еще в конце 1925 года он категорически заявил, что ни в коем случае нельзя подчинять денежный механизм конкретным целям экономической политики, что главной задачей этой политики должно явиться обеспечение устойчивости рубля, и пытался трупом лечь на пути нарушения Сталиным закона о прекращении эмиссии, не обеспеченной ростом товарооборота. Остановить поправки экономических законов наркому не удалось, удалось лишь лечь трупом. Видимо, сильно помогло этому еще одно категорическое высказывание Сокольникова. В ноябре 1927 года он решительно выступил против аргументации о необходимости дать власти плана перевес над властью денег.

Вот тут нарком встал Сталину совершенно поперек дороги. Ибо это была его аргументация. И в ней он был так обострен, как еще, пожалуй, оказался только один раз — когда объявил потом об обострении классовой борьбы. Правдив и прям не бывал он никогда, чаще бывал лжив до прямой противоположности слова и дела, но в случае этих двух лозунгов — замены власти денег властью плана и обострения — почти напрямую сказал «иду на вы» собственному народу и предупредил о развязываемой им грядущей гражданской войне, войне планирующего против планируемых, войне как войне — с финансово-экономической разрухой, миллионами убитых-расстрелянных и пленных — эзков.

Пожалуй, не случайно на смену нэповскому термину «коммерческий расчет» пришел новый: хозрасчет. Хозяином становился один, и расчет у него был свой. Власть плана — это была его личная власть.

Двоевластия допустить он не мог. Власть денег следовало уничтожить. Что означала «власть денег» в стране, где победила социалистическая революция и успешно, как видели мы из цифр, развивались промышленность и село? Чего добивался хозяин, уничтожая ее?

Производителями и обладателями денег являлись социалистические труженики и предприятия. Их деньги, отдаваемые — или нет — за товары, помещаемые — или нет — в банки, давали им возможность участвовать в экономической жизни страны с правом решающего голоса. Власть денег, раз деньги доставались миллионам в результате честного созидательного труда, была истинной властью народа.

Уничтожение ее означало лишение народа возможности реально влиять на собственную хозяйственную жизнь.

Означало лишение бывших участников денежного обращения, то есть народа, экономической самостоятельности — основы всякой свободы. (В Древней Греции правами обладали те, кто был экономически независим — таковые являлись субъектами права. Прочие были рабами, объектами права. Права хозяина на планирование их жизни и деятельности.)

Со времен лидийцев, изобретателей монет и олимпийских игр, деньги, как и игры, были инструментом общественных, людских связей. Уничтожая их власть, хозяин уничтожал связь между людьми, разобщал экономических субъектов, облегчал себе задачу расправы с ними.

У кредита и кредиток от века был один латинский корень: «credo» — «верить». Миллионы и миллиарды кредитных билетов всегда были самыми массовыми в мире бюллетенями голосования, выражавшими доверие либо недоверие любой экономической акции. Спросом или отсутствием такого каждый мог выразить отношение к результатам хозяйственной политики. Аннулирование силы этих бюллетеней означало введение Сталиным наиболее бесчеловечного из принципов, пронизывающих всю его политику в любой области. Это был принцип игнорирования спроса. Раз и навсегда с этого момента миллионы производителей липались обратной связи с управляющими экономикой. Им было ясно сказано: вас не спрашивают.

Противопоставление власти плана и власти денег было чудовищно разоблачительно. Мы ведь помним, что сказал еще не расстрелянный нарком финансов: задача экономики — обеспечение рубля. Что же это за экономический план, которому мешала наложенная экономика, подчинявшаяся экономическим законам?

Противопоставление его «власти денег» срывает со сталинского плана всякую маскировку: план есть неэкономическое, политическое орудие вмешательства в экономику. Политика, которая пользуется таким орудием, есть политика, неизбежно основанная на голой силе и репрессиях.

Первой жертвой репрессий стал рубль. Еще ленинский, еще золотой рубль, свободно конвертируемый, высоко котирующийся на внешнем рынке, на валютных биржах, гражданин мира. С него взяли подписку о невыезде. В 1926 году Сталин декретом запретил вывоз советских денег за границу.

Деньги оставались. Но исчезала их суть, уничтожалось подлинное содержание. Оставалась форма, макет, чучело — так же, как потом от демократии, конституции, социализма. Потрошение сопровождалось аккомпанементом речей, по смыслу прямо противоположных действиям. Через два года, запретив уже и ввоз в страну бывшей твердой валюты (к тому времени в стране уже и своих неотоваренных рублей было с избытком), Сталин в письме «Первые итоги заготовительной кампании и дальнейшие задачи партии» 13 февраля 1928 года предписал применять чрезвычайные меры (то есть продрозверстку) к крестьянам и одновременно писал: «Разговоры о том, что мы будто бы отменяем нэп, вводим продрозверстку, раскулачивание и т. д., являются контрреволюционной болтовней, против которой необходима решительная борьба».

Разговоры о том, что король голый, что белое — это белое и прочее, оказались запрещены на четверть века. Следовало позаботиться об уменьшении количества пищи для них. И Сталин запрещает публикацию любых и всяких статистических данных. Специального декрета по этому поводу не было, «наследил» здесь он только один раз, пять лет спустя, когда лично подписал секретную телеграмму:

«Воспретить всем ведомствам, республикам и областям до опубликования официального издания Госплана СССР об итогах выполнения первой пятилетки издание каких-либо других, итоговых работ как сводных, так и отраслевых и районных с тем, что и после официального издания итогов пятилетки все работы по итогам могут издаваться лишь с разрешения Госплана...»

Мы помним, что регулярно печатавшиеся при нэпе данные статистики, в том числе об индексах цен, служили орудием в руках профсоюзов при заключении колдоговоров с администрацией предприятий, ежегодно определявших зарплату рабочих.

Следующим шагом по уничтожению «власти денег» стала «переделка» профсоюзов.

В декабре 1928 года на VIII съезде профсоюзов тогдашний их глава Томский защищал позиции времен нэпа. Профсоюзы, заявил он, существуют для обслуживания масс. Сталин выступил и выдвинул встречный лозунг: «Профсоюзы — лицом к производству».

Через полгода Томский был смещен со своего поста. В течение следующего года в Москве, Ленинграде, на Украине и Урале, то есть в основных промышленных районах, было замещено от 78 до 85 процентов членов фабрично-заводских комитетов. Это называлось борьбой с правым уклоном. По поводу откровенности ее масштабов и пропорций («Вся рота не в ногу...») не менее откровенно высказался Каганович: «Могут сказать, что это нарушение пролетарской демократии, но, товарищи, давно известно, что для нас, большевиков, демократия не фетиш...»

Совсем недавно раздраженные, видимо, «непофильскими стенаниями» прессы некоторые историки высказали мнение, что пролетариат был недоволен нэпом и с удовлетворением-де воспринял его ликвидацию.

Если бы это было так, Сталину не понадобилась бы расправа над профсоюзами.

Но, пожалуй, доля истины в словах историков все же есть. Не хватает лишь одного слова, чтобы все было правильно: люмпен-пролетариат был доволен сталинскими преобразованиями.

У всякого, даже самого антинародного режима должна быть своя социальная база. Сталина и его социальную опору — люмпена — объединяло одно неукротимое стремление: получать не по труду, не по заслугам.

Конечно, сказавши такое, автор прекрасно видит перед мысленным взором сардоническую ухмылку пожилой и принципиальной ленинградской химички. Такое — про Сталина с его вечным скромным кителем, легендарным, многожды воспетым аскетизмом!.. Это в ваше-де время демократии — коррупция, дачи, бриллианты, миллионы... Ну что ж, вся разница — во вкусах. Кому арбуз, а кому — свиной хрящик. Сталину больше орденов и бриллиантов нравилось коллекционировать звания. Лучший друг физкультурников, пожарников, мелиораторов, пионеров — разменная мелочь коллекционера. Вроде орденов Ленина, которых в наше время было больше десятка у Шарфа Рашидова. Из ценных экземпляров у Сталина были «Ленин сегодня» и «корифей всех времен и народов». Ну, еще звание генералиссимуса.

Он не заслуживал этих званий, был недостойн самодержавно и кроваво править шестой частью земной суши. Так же, как не заслуживала своего сытого, жирного куска огромная армия палачей и вертухаев, которым он предоставил работу.

Но он действительно уничтожил безработицу и очереди на биржах труда. Неважно, что при этом взамен армии безработных он создал многомиллионную армию бесплатных и бесправных рабов-зэков. Безработицу он уничтожил попутно, уничтожая экономический механизм, способный не только реально награждать за хорошую работу, но и реально карать за плохую, то есть нэп. Мне отмщение и аз воздам, провозгласил он и мстил неэкономическими методами, превращая караемого в зэка или расстрелянного, и воздавал — не превращая.

Люмпену, согласно довольствоваться своей соцлагерной пайкой не за колючей проволокой, а «на свободе», было достаточно одного: полностью и безоговорочно признавать право корифея всех времен и народов на такое звание. В этом и заключался их, корифея и люмпена, хозяина и раба, «контрат социаль»

«Только идиоты могут говорить, что у нас всегда должна быть беднота...» Нет, Николай Иванович, тут не идиотизм.

«Сталин слишком груб...» Нет, Владимир Ильич, тут не грубость.

Тут целая идеология, проникнутая не столько даже ненавистью, сколько бесконечным презрением к человеку.

Очень забавно, как эту абсолютно секретную личную сталинскую идеологию пыталась популяризировать и официально обосновать экономическая наука. Всеобщий и полный товарный голод объявили величайшим стимулом для развития производительных сил. Или и того чище — социально справедливым методом... распределения продуктов Журнал «Плановое хозяйство» в 1929 году в статье «К вопросу о природе денег и законах денежного обращения в СССР» писал, что товарный голод «есть не что иное, как один из методов перераспределения народного дохода. В самом этом методе, поскольку будет обеспечено падение основной тяжести его на... более зажиточные слои... мы не видим, принципиально, ничего такого, что было бы более недопустимым, чем другие методы перераспределения... Поэтому программа эмиссии может выйти за пределы необходимого количества денег и не подчинять, а подчиниться материальному плану».

Суть сталинской идеологии автором этой статьи интуитивно ухвачена верно: необходимость товарного голода. Сталин, видимо, запомнил фразу Бухарина о сути капитализма: постоянное превышение предложения (по отношению к спросу).

Это превышение — дамоклов меч над головой производителя, постоянная угроза не сбыть, не продать, разориться. Эта угроза стимулирует, заставляет выкладываться, обеспечивает качество, но и постоянно угнетает. Социализм, от века бывший мечтой пролетария, то есть производителя не из удачливых, был мечтой об избавлении от угнетения.

Сталинский социализм стал осуществлением мечты люмпена — зеркальным отображением капитализма. Обществом, где спрос всегда превышает предложение. Где, как бы мало и плохо ни произвел люмпен-производитель, ему не грозит разорение, ибо все будет потреблено и куплено по цене, гарантированно обеспечивающей ему его пайку. Общество всеобщего дефицита.

Эта система близка и понятна люмпену еще и другим. Она полностью соответствует его нищенской психологии, заключенной в формуле «продукт не должен пропадать» и исключающей, таким образом, саму идею о возможности превышения предложения над спросом. Психология дефицита — нищенский вариант товарного фетишизма. Товар — всегда желанное, почти недостижимое для люмпена благо. У нищего нет достоинства, он не дорожит ни собой, ни тем, что имеет. Этим немногим он всегда готов пожертвовать ради заветного дефицитного идола. А этим немногим является не что иное, как его собственная жизнь. Ею-то, конечно, по частям, то есть по часам, постоянно уходящим на очереди, и заставил создатель общества всеобщего дефицита расплачиваться его членов за «отсутствие гнета» и «социальную защищенность» существования в нем. Продукт не продается. пропадает жизнь.

Раннее христианство отвергало золото и власть денег. В средние века появилась алхимия — лженаука, пообещавшая феодалам, не имевшим ни рудников, ни копей, ни товаров в желаемом количестве, золото при помощи философского камня. Средневековая церковь тем временем, уйдя от раннехристианских идей, пришла к многочисленным и разнообразным способам добычи желанного золота. Самым циничным, пожалуй, хотя и самым прибыльным из них стала продажа индульгенций. За обещание рая в будущем человек отдавал кровью и потом добытое золото в обмен на бумажную индульгенцию. На его крови и поту жировал наместник бога — папа, строились храмы и содержалась святая инквизиция. Сталинские кредитки и облигации займов стали точно такими же индульгенциями, а гиганты — первенцы индустриализации — такими же храмами новой веры. Сталинская политэкономия стала алхимией, обещавшей утвердить золотой век при помощи философской твердокаменности. Миллионы верующих в него и исправно платящих ему Сталин выстроил в бесконечную и безнадежную (хотя надежно охраняемую и конвоируемую) очередь за будущим счастьем. Свою инквизицию при этом пестовал и множил.

Ее первой, судьбоносной для народа акцией стала коллективизация... Бывшему дуумвиру, Бухарину, пекшемуся еще недавно об увеличении емкости крестьянского рынка как залого благосостояния экономики, опасавшемуся ослабления его покупательной способности, не приходила в голову мысль о возможности уничтожения этого рынка вообще. Между тем именно это и было сделано. Согнанное в небольшие, территориально-политически ограниченные для удобства органов, экспроприрующих сельхозпродукцию подразделения, лишенное возможности бежать из этих подразделений, первых ласточек будущего ГУЛАГа, большинство населения страны оказалось вообще лишенным денежной оплаты и, таким образом, полностью выключенным из денежного обращения.

Таков был следующий мощнейший сталинский удар по «власти денег» — единственному по-настоящему грозному для него сопернику в борьбе за абсолютное самодержавие.

Правда, этот удар делал сельское хозяйство практически неспособным накормить страну. Но, предвидя это не слишком для него важное последствие, Сталин еще в 1929 году повсеместно ввел карточную систему.

Следующим, главным ударом, настоящим 18 брюмера Сталина, сути которого из тогдашних политиков не понял никто, стала его кредитная реформа.

Для каждого своего преступного дела Сталин обязательно придумывал имя, прямо противоположное сути происходящего. Эти понятия-перевертыши он вносил в официальную историю, которую заставляя учить наизусть поколения людей.

Так, например, введение монополии (всегда убивающей конкуренцию — значит в результате всегда ослабляющей развитие) стало называться концентрацией сил, позволяющей избежать их распыления, дублирования и параллелизма в работе, мобилизацией ресурсов.

А именно введением государственной, то есть личной сталинской, монополии на финансы была его кредитная реформа. Говорить о том, что возможность подобной концентрации ресурсов была преимуществом социалистической плановой системы

хозяйства, не приходится. Социализм тут ни при чем. Не меньшими возможностями в этой области обладали Иван Грозный или император Нерон.

Сутью реформы, начатой согласно постановлению ВЦИК и СНК СССР от 30 января 1930 года, было введение и воцарение в стране финразверстки. Полная денежная экспроприация всех предприятий — как хозрасчетных, так и бюджетных. Назвав это мобилизацией ресурсов, хозяин государства вводил для еще вчерашних коллективных хозяев высшую степень отчуждения от результатов их труда, превращал в совершенно неимущих, безденежных, полностью зависящих от него работников.

Если введение продрозверстки в свое время было названо диктатурой Наркомпрода, то введенную с января тридцатого финразверстку можно назвать диктатурой Госбанка. Можно бы, если б не понимать, что Государственный банк был всего лишь одним из орудий в руках того, кто мог бы по праву сказать: «Государство — это я».

Как бы то ни было, Госбанк становился единственным источником кредита и единым расчетным центром для всего народного хозяйства. В постановлении о реформе предлагалось в недельный срок установить порядок ликвидации системы коммерческого кредита.

И полгода спустя, в июне, специальным постановлением СНК рожденный в годы нэпа, столько сделавший и столько еще не успевший сделать Комитет по делам банков, объединявший и координировавший систему коммерческого кредита, был ликвидирован.

Но были Комитет раньше, чем официально ликвидировали: 18 мая 1930 года. Тогда было принято постановление СНК, первый пункт которого гласил: «Признать необходимым участие Государственного банка Союза ССР... в рассмотрении и утверждении балансов государственных предприятий... действующих на началах коммерческого (хозяйственного) расчета, и в распределении их прибылей...»

Если предприятие переставало самостоятельно распоряжаться собственными средствами и прибылью, то, конечно, система коммерческого кредита становилась ненужной.

Вспомним только, что создавалась эта система в начале нэпа, одновременно со снятием предприятий с бюджетного финансирования — с целью обеспечения их безубыточности и бездефицитности бюджета. Вот, следовательно, что находилось на подрубаемом кредитной реформой суку. Но вдохновителя реформы это не смущало. Он был руководителем нового типа — планово-убыточным руководителем. Его план, превращавшийся в закон, становившийся сразу по рождении планом партии — планом народа, приносил последнему убытки во всех отраслях и сферах, зато полную безграничную власть своему автору. И ради этого не жалел он ни средств, ни убытков каких-то там предприятий.

Когда читаешь документы по кредитной реформе, невозможно избавиться от ощущения, что видишь написанную строгими терминами инструкцию для налетчиков из «черной кошки»: следует признать необходимым нанести клиенту удар сади по затылочной области черепа... после чего, перевернув труп, вывернуть карманы... Или: выборочные обследования показывают, что некоторые клиенты пытаются сопротивляться, в этом следует видеть грубое нарушение техники, извращение практики правильного нанесения удара...

Наиболее разоблачительным по своей экономической сути является то, что следующим документом после постановления о кредитной реформе и ликвидации коммерческого кредита явилось решение о так называемом кассовом плане Госбанка. Это как если бы воображаемый нами и инструктированный выше «кошкист» сначала бы жаловался на то, что непрозрачность материала, из которого изготовлены чужие карманы и кошельки, а также стремление некоторых из их обладателей всячески избегать общения с ним, «кошкистом», невероятно технически осложняют для него подсчеты и планирование денежного обращения...

Кассовый план — принципиально новое сталинское слово в политэкономии. Это приказ по финотрядам, осуществляющим финразверстку, предписывающий, сколько выколотить и сколько оставить денег на поддержание каждого без исключения планируемого, то есть живущего. Последнее препятствие на пути к такому планированию в виде той самой непрозрачности и физической отдаленности кошельков и карманов было ликвидировано постановлением от 16 декабря 1930 года «О регулировании кассовой наличности госучреждений, хозяйственных, кооперативных, профессиональных и общественных организаций».

«Выборочное обследование учреждений и организаций по выполнению ими директив правительства о кредитной реформе... выявило, что... в кассах отдельных учреждений и организаций происходит накопление наличных денежных сумм и несдача таковых в кассы банка».

(Жалко, конечно, прерывать такую прозу, но все-таки попробуйте представить жалобу, например, «Манхеттен бэнка» на «Дженерал моторс», которая не сдала ему все до доллара. Да, впрочем, и у нас еще за несколько лет до этого постановления, как мы помним, банки вели охоту за пассивами, играли процентными ставками, чтобы приманить чужие рубли именно к себе. Однако не забудем, что тогда банк был деловым партнером для предприятия, а не экспроприатором и регулятором его заработков, каковым стал в результате сталинской кредитной реформы.)

Так вот, значит, на основании результатов своего «выборочного обследования» Наркомфин и правление Госбанка постановили:

«Предложить всем конторам, отделениям и агентствам Госбанка... в пятидневный срок со дня получения настоящего постановления установить для всех обслуживаемых учреждений, кооперативных, хозяйственных и пр. организаций предельную сумму денежной наличности, допускаемую к хранению в собственной кассе...

Все организации и учреждения... имеющие ежедневную выручку и поступления наличными, таковую полностью и ежедневно передают через инкассаторов Госбанка, фельдсвязь ОГПУ... местному кредитному учреждению».

Чтобы точнее составлять собственный кассовый план, Главный рэкетир обязал рэкетлируемых сдавать ему свои кассовые планы. Так появилось постановление СНК от 2 января 1931 года «О кассовых планах государственных предприятий, смешанных акционерных обществ, кооперативных организаций и учреждений», обязавшее всех перечисленных представлять в Госбанк свои кассовые планы, в коих «должны быть предусмотрены все ожидаемые в предстоящем квартале поступления наличных денег и фактическая потребность в наличных деньгах. Все указанные предприятия, организации и учреждения обязаны, кроме того, представлять не позднее 20-го числа каждого месяца свои оперативные месячные кассовые планы...».

Во исполнение этого постановления была в том же месяце принята инструкция о форме и порядке составления кассового плана Госбанка.

Приложением к инструкции была номенклатура кассового плана. Интересно заглянуть в графу «приход».

Первым пунктом значилась там «реализация товаров по розничному обороту всего» Вторым — «в т. ч. Потребкооперация», третьим — «Союзспирт». Далее шли налоги и сборы, в столбик: сельхозналог, самообложение, госстрах, подоходный налог, местные и прочие налоги (включая промналог), культналог.

Следующим разделом были доходы по займам, в том числе заем «Пятилетка», целевые, рыночные займы и акции Трактороцентра. Далее шли: «возврат ссуд по с.-х. кредиту», пай и вклады кооперации, прочие поступления, в том числе выручка зрелищных предприятий, членские взносы профсоюзов и прочих общественных организаций, коммунальные доходы и т. д.

В столбце расходов помимо заработной платы по различным наркоматам в инструкции по номенклатуре содержались две, видимо, обязательные графы: «задолженность по зарплате на 1-е число планируемого периода» и «задолженность по с.-х. заготовкам на 1-е число планируемого периода».

Этим беспрецедентным в мировой экономической истории документом был завершен сталинский арест рубля. Если прекращение конвертируемости, запрет на ввоз-вывоз в 1926—1928 годах были подпиской о невыезде, то теперь произошло заключение рубля в Госбанк, а кассовый план был расписанием тюремных прогулок и выходов в зону для принудительных работ.

Что давала Сталину финразверстка, названная им кредитной реформой? Фактическое, полное уничтожение денег, превращение их в разновидность нарядов, карточек, приказов о выдаче того или другого, без его разрешения на выдачу силы не имевших.

Ведь борьбу с властью денег Сталин ввел одновременно с двух сторон: экспроприруя их и лишая сущности — покупательной силы. Если на потребительском рынке этот процесс, как мы увидим, шел «де факто» через падение покупательной способности рубля, то в финансировании народного хозяйства он был оформлен и «де юре» — шла натурализация экономики, заключавшаяся в переходе от оптовой тор-

говали к фондируемому снабжению. Рубли при этом размещались по камерам — статьям расходов, разделенным непробиваемыми стенами, не тоньше тюремных.

Именно тогда, при проведении кредитной реформы и повсеместном введении фондирования, лимитирования, исчезло слово «купить» и на смену ему пришел длинный синонимический ряд глаголов: достать, выбить, вырешить и т. д. Смысл замены глаголов, далекий от семантики, был чисто политическим. Хозяин усматривал в слове «купить» отзвук той самой его пугавшей власти денег. Как же так, я, Хозяин, тебе чего-то не дал, а ты пошел — и купил. Это же бунт, это же подрыв моей над тобой власти. Я, Хозяин, не успокоюсь до тех пор, пока не сделаю так, чтобы ни заработать, ни купить без моего на то позволения ты не мог. Вот «вырешить», «выбить» — то есть уговорить меня, Хозяина, дать — это другое дело, это можно...

На практике натурализация выглядела так: в хозяйственный год кредитной реформы ВСНХ, как дед Каширин чаинки, делит цемент и пиломатериалы между объединениями Сталь, Уголь, Союзнефть, Союзсредмаш, Союзсельмаш и другими. Максимальный процент удовлетворения потребностей оказывается 84,4 — по цементу и 71,7 — по пиломатериалам. Союзсельмаш получает чуть больше половины просимого цемента и чуть меньше половины — леса. Текстильной промышленности, работающей на потребительский рынок, достается соответственно 31 и 23,6 процента.

Кредитная реформа и натурализация экономики убрали даже формальные препятствия для проведения политики «подхлестывания страны», как Сталин сам же иной раз называл свое «планирование». В том же январе 1931-го Молотов на сессии ЦИК сообщил об изменении контрольных цифр на 1931 год — прирост промышленной продукции не 22, а 45 процентов. Никакого обсуждения этого изменения не было. Месяц спустя на первой конференции работников промышленности Сталин просто пояснил, что выполнение такого задания будет означать выполнение пятилетки в четыре года. (Фактическое выполнение составило 20,5 процента.)

Кредитная реформа не помогла и не могла помочь. Два главных ее принципа — кредит под план и автоматизм расчетов — распространяли принцип игнорирования спроса с потребительского рынка на всю экономику в целом. Погибаа рыночный механизм, а с ним вместе неизбежно и механизм противозатратный.

Кредитная реформа была проведена для создания возможности кредитования под план, каким бы он ни был. Тем самым был создан затратный механизм, противоположный нэповскому. И тогда же было положено начало одной из самых прочных наших традиций: неизбежные результаты работы механизма, совершенно закономерные результаты объявлять извращениями практики, ошибками, недоработками и валить вину за эти результаты с механизма и его автора на исполнителей, винтиков этого механизма..

Результаты не замедлили сказаться. Уже 20 марта 1931 года в постановлении СНК говорится об «извращениях в проведении кредитной реформы», и отмечается «...нарушение хозяйственного расчета в предприятиях и объединениях, что наряду с обезличиванием их прибылей и оборотных средств привело к ослаблению заинтересованности хозяйственных органов в финансовых результатах своей деятельности (снижение себестоимости, накопление прибылей и т. п.)».

Как две капли воды похоже это на сетования по поводу крестьянского нежелания увеличивать урожайность и посевные площади в годы продразверстки. Но степень отчужденности производителя от продукта не меняется, механизм остается прежним, и не удивительно, что в июне того же года вновь констатировалось, уже на совещании хозяйственников, что последние совершенно перестали заботиться о режиме экономики, о сокращении непроизводительных расходов, о рационализации производства. Хозяйственников обвиняли в иждивенческих настроениях, в том, что они слишком рассчитывают на щедрость Госбанка, на то, что он-де все равно выдаст нужные суммы.

Вспоминя позже о том, что творилось в эти годы «подхлестывания» в металлургии, Орджоникидзе рассказывал, как возили на южные заводы с Урала магнетит, который был и на Украине. Как огнеупорный кирпич спешно покупали за границей, хотя глина была в стране.

Всего несколько лет назад противозатратный механизм в той же металлургии работал. Удавалось Главметаллу экономить десятки миллионов собственных оборотных средств. Почему же теперь перестало удаваться?

При наличии системы коммерческого кредита в 1924 году Дзержинскому и возглавляемому им Главметаллу хватило месяца, чтобы создать два акционерных общества, «Транспорт» и «Реалфонд». Пример Форда, которому тогда последовали, показывал: чтобы сэкономить, иной раз надо вначале потратить, надо, значит, прежде всего быть хозяином собственных средств. Тогда есть и потребность и возможность экономить. А так, как хотел Сталин — чтобы один владел и распоряжался, а экономил при этом другой, — так получиться не могло.

С осуществлением кредитной реформы было завершено формирование сталинской административно-командной экономики, основанной на принципе игнорирования спроса и поэтому монополистической, дефицитной, капиталоемкой и низкоэффективной.

Создание ее оправдывалось и объяснялось необходимостью обеспечения возможности «подхлестывать страну». Практика показала, что результаты этого «подхлестывания» не могли идти даже в сравнение с результатами развития неподхлестываемой экономики времен нэпа. Известно сталинское объяснение этого тем, что в годы нэпа-де шло только восстановление, а восстанавливать легче, чем строить новое. Это объяснение не выдерживает критики. Разоблачает его положение сталинского сельского хозяйства, где не требовалось и не проводилось никакого капиталоемкого строительства и где темпы развития не просто упали по сравнению с непевскими, а поменяли знак

Построенная Сталиным система не только создавала возможность для подхлестывания, но и необходимо нуждалась в нем. Кнут был единственным стимулом, двигавшим ее и не дававшим ей развалиться. Стагнация, застой, низкий уровень благосостояния были органически присущи этой системе, и лишь машина политических репрессий оказалась способна затянуть ее агонию и распад на многие десятилетия.

Финансово-экономический крах и начало политических репрессий

На 1930 год прирост промышленной продукции в СССР был намечен по плану «подхлестывания» в 31,3 процента. Фактический прирост составил 22. В 1931 году: план — 45, факт — 20,5 процента. 1932: план — 36, факт — 14,7. В 1933 году прирост составил всего 5,5 процента, но к моменту этого краха Сталин уже объявил первую пятилетку выполненной и страшный год организованного коллективизаторами голода не успел отразиться на умело подводимых итогах. (В том году, когда миллионы людей умирали от голода, Сталин экспортировал хлеба на 389 миллионов рублей. Нефтепродуктов в тот же год продали за границу на 700 миллионов, даже продажа пушнины — и та дала больше, чем экспорт хлеба. Хлеб в тот страшный для нас год был на мировом рынке баснословно дешев. Зачем было его экспортировать? Дело в том, что рост нефтедобычи и даже добычи пушнины требовал капиталовложений и экономических усилий. А зерно у умиравших с голода колхозников отнималось практически бесплатно. Победы в политике всегда давались вождю народов легче, чем в экономике.)

Вот почему Сталин запретил печатать статистические данные, а итоги пятилетки опубликовал только под своей личной редакцией. Но крах был не только количественный — качественный тоже.

Уничтожение противозатратного механизма и действовавшие принципы кредитной реформы — кредитование под план и автоматизм расчетов — привели к резкому росту себестоимости продукции.

В 1931 году ее в промышленности планировалось снизить на 11 процентов, а вместо этого 6,8 процента составил ее прирост. На 1932 год план снижения себестоимости был уже скромнее — 7 процентов. Зато фактический ее прирост оказался выше и составил 8,1 процента.

План роста производительности труда, намеченный на пятилетку, удалось выполнить чуть больше, чем на 1/3. Очень низкая производительность компенсировалась лишь избытком рабочей силы — в промышленности хлынули гонимые колхозным голодом и произволом крестьяне. К 1932 году численность рабочих и служащих превысила запланированную на пятилетку цифру на 45 процентов и по сравнению с 1929 го-

дом удвоилась. Рост средней городской зарплаты вместо пятидесяти планировавшихся за пятилетку процентов составил все 100. Но реальная зарплата при этом упала. Дело в том, что в деревне, несмотря на сталинское «головокружение от успехов», положение ухудшалось с каждым годом. Планы росли, а результаты падали. Если в 1928 году, последнем году еще не убитого изпа, валовой сбор зерна составил 73,3 миллиона тонн, то в 1932 при плане в 105,8 сбор составил 69,9 миллиона тонн. Производство же молока, мяса и яиц за тот же период сократилось в 1,5—2 раза.

Все это привело к тому, что к концу пятилетки вместо рубля золотого страна имела рубль неконвертируемый и обесцененный. Уже в 1930 году по сравнению с 1929-м денежная масса выросла на 45 процентов, а темп ее роста в 2,7 раза превышал темп розничного товарооборота. Нэповский закон о запрещении эмиссии, не обеспеченной ростом товарооборота, Сталин принялся нарушать, едва начав свое «подхлестывание». Всего за годы первой пятилетки денежная масса выросла на 210 процентов при абсолютном снижении товарной массы. Покупательная сила рубля за эти годы снизилась на 60 процентов. На столько же процентов за тот же период снизилось потребление мяса, птицы и жиров на душу городского населения.

Как же при этом удавалось выполнять уже упоминавшиеся нами кассовые планы и избегать бюджетного дефицита?

К этому времени Сталиным уже была отработана целая система мер. Первой была коллективизация, позволившая отбирать хлеб почти бесплатно и фактически выведшая большинство населения из денежного обращения.

Второй мерой было увеличение производства водки. Недаром в инструкции по составлению кассового плана, как мы помним, третьим пунктом в графе прихода значился Союзспирт. Еще в 1930 году Сталин написал только что назначенному им Молотову: «Нужно, по-моему, увеличить (ЕЛИКО ВОЗМОЖНО) производство водки. Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти на МАКСИМАЛЬНОЕ увеличение производства водки».

Следующей мерой были налоги и колоссальные сталинские займы. (Водка и займы представляли собой разновидности бестоварного отъема денег. Водка имела тот плюс, что добавок повышала управляемость человеческого материала.)

Еще одной мерой, самой, как впоследствии показала сталинская действительность, перспективной и излюбленной, было создание ГУЛАГа и использование бесплатного рабского труда миллионов заключенных.

И, наконец, последним из комплекса мер было неуклонное и систематическое повышение розничных цен на все виды продуктов.

Даже в такой подлинной энциклопедии русской жизни, какой для нашего времени является творчество Владимира Высоцкого, в одной из лучших песен поэта «Баллада о детстве», о сталинских временах сказано: «Было дело — и цены снижали». Поэт, опиравшийся всегда и во всем на свидетельства очевидцев и современников, в эту песню переплавил собственные детские впечатления и рассказы родителей о послевоенном сталинизме. В этот период Сталин с чисто пропагандистской целью, озвучивая десяти — пятнадцатипроцентные снижения цен ликующей медью левитановского баритона, демонстративно возвращал народу-победителю крохотную толику им, Сталиным, у народа отобранного.

Весь же период довоенных «великих побед в деле строительства социализма» сопровождался постоянным ростом цен и понижением уровня жизни народных масс.

Извлекая данные об этом из специальных трудов по денежному обращению в СССР, автор этих строк в процессе работы не мог удержаться, чтобы не поделиться доселе неизвестными ему данными со знакомыми и коллегами, многие из которых имеют прямое отношение к экономике. И почти каждый раз натакивался на недоверчивое изумление. Ну ладно, из монографий и статей двух десятилетий застоя все эти данные технически несложно было убрать. Но как же удалось даже в памяти народной оставить лишь желательное, про «цены снижали» и напрочь выгравить воспоминания о жутком экономическом гнете?

Поневоле задумаешься о роли карательных органов и результатах работы всей кровавой машины репрессий в деле формирования не только духовного облика и даже генотипа современника, но и потомков тех из современников, кому удалось миновать ее кровавые жернова.

Мы потомки тех, кому удалось не заметить, не разглядеть, не понять сути сталинской действительности и происходящих в ней процессов. Поняв, невозможно было не выдать себя. А выдав, нельзя было разминуться с репрессивной машиной.

Обративший внимание на систематичность и закономерность сталинских повышений цен, переставал страдать от них — либо на бесплатной баланде, либо в безмянной яме.

Когда задумаешься об этом и поймешь, что наше сегодняшнее незнание — это кровавая победа Сталина над Историей и Справедливостью, хочется орать сухие цифры с десятками и сотнями долями процентов во весь голос.

Этого нельзя не знать, этим нельзя не интересоваться. Неинтересующийся оставляет Сталина-победителя жить в истории. Главное, чего сталинизм добивался от человека, это готовности к отречению. Его добивались бесконечными пытками в сталинских застенках, его демонстрировали в показательных процессах на весь мир, его воспитывали в детях на примере Павлика Морозова. Отречение от отца, от жены, от показаний собственных глаз и ушей, от себя самого и от памяти.

Спасение от манкуртизма — в знании.

С 1929 года в мирной стране, строящей социализм, победившей разруху и пережившей «русское чудо» воскрешения из пепла, Сталин ввел карточки. Карточное rationирование во все времена и при всех системах обязательно вызывало оживление спекуляции, бутлегерства, всевозможной махинаторской деятельности. В 1932 году рыночные цены превышали карточные в 7,7 раза, в 1933 — уже в 12—15 раз.

Но еще в 1931 году Сталин открыл коммерческую торговлю и Торгсин. В коммерческих магазинах цены не отличались от рыночных. В Торгсине были значительно ниже, но торговля велась только на драгметаллы и иностранную валюту.

В 1931 году в коммерческих магазинах было продано 9,8 процента общего фонда товаров. В 1932 году — 39 процентов.

Вот что написал именно в 1932 году в своем «Письме ко всем членам ВКП(б)» Мартемьян Никитич Рютин, большевик с 1914 года, сибиряк, по имени судья, раскольничьих кровей, этот прототип Аввакум сталинской эпохи, одним из первых принявший мученическую смерть от рук его палачей. Спасибо журналу «Юность», полностью напечатавшему текст этого письма, уцелевшего в архивах карательных органов и чудом донесшего до нас живой и смелый голос человека, отважившегося увидеть и понять цену жизни.

«...Сталин за последние пять лет... установил в ВКП(б) и всей стране свою личную диктатуру, порвал с ленинизмом, стал на путь самого необузданного авантюризма и дикого личного произвола...»

Авантюристические темпы индустриализации, влекущие за собой колоссальное снижение заработной платы рабочих и служащих, непосильные открытые и замаскированные налоги, инфляцию, рост цен и падение стоимости червонца; авантюристическая коллективизация с помощью невероятных насилий, террора... и, наконец, экспроприация деревни путем всякого рода поборов и насильственных заготовок привели всю страну к глубочайшему кризису, чудовищному обнищанию масс и голоду как в деревнях, так и в городах...

В перспективе — дальнейшее обнищание, одичание и запустение деревни.

В перспективе — угроза сильнейшего голода на будущий год...»

Трудно прерывать этот страстный монолог. Горько и страшно читать пророческие строки. Но и радостно — от сознания того, что они были прочитаны десятками людей — и главным адресатом, что хоть один погиб, не лижа его сапоги в поисках пощады, как иные высокопоставленные соратники; не одураченно — в его застенках с его же именем на устах, а умно и гордо, поняв и сказав правду Сталину и истории — то есть нам с вами.

Ответом на письмо был не только расстрел Рютина и гибель в лагерях его жены и двух сыновей. Сталин решил «оздоровить» экономическую обстановку. Именно так и называлось это до сих пор восхваляемое в научных трудах мероприятие — «санирование» денежной системы. По мнению экономистов, оно было произведено замечательно удачно.

Санирование заключалось в том, что Сталин изъял из обращения полтора миллиарда рублей — 20 процентов обращавшейся тогда денежной массы. Чтобы изъять деньги из обращения, надо отобрать их у людей. Это и было сделано: в голодном 1933 году через сеть коммерческих магазинов и Торгсин была произведена так назы-

ваемая товарная интервенция — говоря по-сегодняшнему, «выбросили» хлеб, мясо, жиры — и голодающие люди покупали еду на последнее, что имели, по ценам, семикратно превышавшим официально-картонные. (Этой сталинской мере автор данных строк пусть косвенно, но обязан своим рождением: мою маму, Валентину Ивановну Черниченко, в 1933 году двухлетнюю девочку, спасла от голодной смерти дальняя родственница, обменяв на муку свое обручальное кольцо. Жена автора, Черниченко Наталья Юрьевна, поныне носит доставшееся от бабушки золотое колечко с выковырянными камушками: в Торгсин принимали только валюту и золото, камни тогда уже вынули, чтобы нести кольцо, но в последний момент как-то извернулись, обошлись.) Именно разница в ценах помогла «изъять» деньги. Так что голод 1933 года, унесший столько жизней, оказался полезен для сталинской экономики в двух отношениях: он помог окончательно поставить на колени крестьянство, сломить остатки сопротивления коллективизации среди не раскулаченных, не сосланных на Беломорканал, не подавшихся в города или на «великие стройки» и помог «оздоровить» денежную систему.

Теперь следовало позаботиться о стабильности оздоровления. Сделать так, чтобы отобранные у народа полтора миллиарда рублей не попали к нему вновь.

Каким образом «лишние», то есть не обеспеченные товарами, деньги попадали к людям?

Но сначала — откуда они брались?

Ответ на второй вопрос ясное дело: «лишние» деньги были результатом эмиссии, не продуктом товарпроизводства, а продукцией печатного станка. Обманывать людей, вручая им вдвое за первую пятилетку возросшее количество рублей, Сталину позволяло преступление — преступление принятого при нэпе закона о запрещении эмиссии, не обеспеченной ростом товарооборота. На 1 января 1933 года удельный вес эмиссии в ресурсах Госбанка СССР составлял 33,4 процента.

Теперь ответим на первый вопрос: что порождало нужду в этих, по сути, фальшивых, ибо не обеспеченных рублех? Те принципы, которые лежали в основе сталинской кредитной реформы. Первый, помним мы, в отличие от двух следующих был не финансово-экономическим, а, так сказать, общечеловеческим. Был сталинским стержневым: игнорирование спроса. Народ нуждался в хлебе и в товарах ширпотреба, а вождь пекся исключительно о количестве чутуна и стали на душу этого полуживого населения. (Большинство храмов новой веры — гигантов-первенцев, — как Днепротэс, Харьковский и Сталинградский тракторные и т. д., были оккупированы в 1941 году, и война, как указывает в своей новой работе Г. Лисичкин, была выиграна при производстве стали, вдвое меньшем того, какое манакально вздувал Сталин в 30-х годах. Темпы и масштабы инаустриализации были необходимы как повод для «подхлестывания», как предлог для того, чтобы взять в руки Кнут.)

Финансовыми принципами были (и остаются до нынешнего дня) кредитование под план и автоматизм расчетов. Вместе с лозунгом «План — любой ценой!» они, как мы уже не раз говорили, представляли собой надгробие на могиле нэповского противозатратного механизма. Любоваться этим произведением мы можем до сих пор. В. Селюнин и Г. Ханин вычислили, что с 1928 по 1985 годы (какова преемственность!) материалоемкость советского общественного продукта выросла в 1,6 раза, а фондоотдача снизилась на 30 процентов.

Аппарату подхлестывания, репрессий и насилия, убившему нэп, удалось уничтожить товарно-денежные отношения, деформировав их до полной неузнаваемости, до абсурдности, и блокировать действие закона стоимости: продукт содержал не обязательно необходимое, а то количество труда, которое соглашался признать необходимым сталинский план. Поскольку выбирать было не из чего (мобилизация, «единый кулак», непременно «гиганты»), то признавать приходилось любое. А следовательно, и оплачивать. Рост зарплаты, как мы уже видели, совершенно не подчинялся сталинским планам. Следовательно, отобранные полтора миллиарда рублей грозили-таки в скором времени вернуться к хозяевам.

С не подчинявшимися его планам Сталин, как мы знаем, поступал двояко: сажал либо расстреливал. Расстрелять зарплату, исчисляющуюся хоть и обесценившимися, но миллиардами рублей, было затруднительно даже для корифея всех времен и народов. Поэтому зарплату посадили.

Ее посадили в клетку, в которой она сидит до сих пор. Клетка с тех пор модернизировалась и совершенствовалась своим создателем, но это были чисто техниче-

ские улучшения — вроде как запор делался понадежнее или по прутьям тож пропускаться..

Изобретение этой клетки было абсолютным сталинским приоритетом. Ее решетчатая тень до сих пор забивает все зеленые ростки на ниве нашей экономики. Имя этой клетке — фонд зарплаты.

Постановление Совета Труда и Оборона «О постановке учета фондов заработной платы» вышло еще 6 июня 1932 года: «...Обязать все предприятия и объединения в платежные документы, представляемые в филиалы Государственного банка... включать все расходы, которые отнесены инструкцией Центрального управления народно-хозяйственного учета к фонду заработной платы».

Итак, существовала уже инструкция и велся уже учет. Но, если для нас с вами не прошло даром чтение такой массы документов сталинской эпохи, мы должны уже догадываться: если существует нечто, поддающееся учету, то, будь это хоть количество смертей или аборт, это нечто неизбежно должно и будет планироваться. (Это нисколько не передежка. Может быть, не всем известно, что, например, на всех крупных кладбищах Москвы существуют сегодня планы по оказанию услуг населению. Эти планы спускаются в рублях и ежегодно увеличиваются.) Ничего поэтому нет удивительного в том, что наша догадка правильна и в одном из следующих пунктов первого постановления о фондах зарплаты говорилось, что их должны планировать в центре и спускать сверху вниз:

«Обязать все ведомства... обеспечить в дальнейшем спуск плановых фондов заработной платы до предприятий одновременно со спуском общего... промфинплана».

Это «дальнейшее» полностью наступило в следующем, 1933 году. Поистине страшен был он для народа. Но если о «санировании» денежного обращения, то есть первом официальном государственном повышении цен, не знает сегодня почти никто; если сведения о миллионах голодных смертей того года только становятся достоянием гласности, то родившийся в том же роковом году жуткий монстр сталинской экономики превратился для нас сегодня в совершенно обыденное явление, в привычнейшее словосочетание, чутьочку даже скучное, — плановый фонд зарплаты.

Во времена вопарения кнута планируемым «подхлестываемым» было, конечно, не до философских размышлений. Родился кассовый план, отчего же не появиться было его детищу — плановому фонду зарплаты. Но сегодня, когда оба они живут и здравствуют, уже грешно не задуматься над их экономической сутью. Кто и по какому праву заранее — на квартал, на год, на пятилетку — планирует до рубля и копейки все, что должно попасть к нам в карман и из этого кармана должно быть вынута? Или, если такой вопрос и сегодня сочтется крамольным и недопустимым, чтобы не пропал зря заключенный в нем гражданский пафос, можно взамен (с сохранением пафоса) сформулировать вопрос другой. Кто и по какому праву в нашем плановом, целеустремленном обществе осмеливается пускать на самотек и отдавать на произвол слепой стихии такой важнейший показатель развития общества, как рождаемость?! Или не правы классики марксизма и семья уже — не ячейка нашего планового общества? Так почему же тогда при свете дня все мы действуем по пятилетним, годовым, квартальным планам, а лишь настанет сумрак ночи...

Но мы отвлеклись. Да и, в конце концов, хорошенько, строго спланированный фонд зарплаты пусть косвенно, но весьма ощутимо влияет на рождаемость. Хороший плановик (а другие у нас редкость) сверстает его так, что, как говорится, жив будешь — жениться не захочешь. А уж размножаться — тем более.

И Сталин прекрасно понимал, что планируемые им показатели отнюдь не являются политэкономическими абстракциями, что они весомо и грубо вторгаются в жизнь сотен миллионов людей. И что с каждым месяцем и годом его правления терять этим людям остается его стараниями все меньше и меньше...

Об этом совершенно недвусмысленно говорило хотя бы письмо Рютина:

«Рабочий класс и трудящиеся массы деревни доведены сталинской политикой до отчаяния. Ненависть, злоба и возмущение масс, наглухо завинченные крышкой террора, кипят и клокоцут. Восстанит крестьян с участием в них членов партии и комсомола непрерывной волной разливаются в последние годы по всему Советскому Союзу. Забастовки рабочих, несмотря на свирепый террор, аресты, увольнения и провокации, вспыхивают то там, то здесь».

Если это было так в 1932 году, то после голода в следующем, столь безошибочно предсказанного в письме, после «санирования» — бессовестного ограбления миллио-

нов, после введения строгого плана сверху на зарплату как же должны были вырасти ненависть, гнев и возмущение масс!

Вся обстановка в стране была похожа на 1921 год накануне Кронштадта. Та же степень отчужденности производителя от продукта собственного труда, степень его экспроприированности. Продразверстка — в деревне, фиярзверстка — в промышленности. Громогласное официальное прославление побед, только не гражданской войны, а пятилетки, так же, как и тогда, не могло сдержать и отвлечь чувства масс, готовых взорваться. Момент был явно критический и поворотный. Экономика готова была вот-вот «вылиться в политику», как в ленинском замечании о Кронштадте. Так дальше оставаться не могло.

В 1921 году «политика» отреагировала на «экономiku» резким переходом к нэпу. Политика уступила экономике. В 1934-м политика подмяла экономику — мобилизованные Сталиным все силы режима были употреблены на то, чтобы навалиться на «крышку террора» и сделать ее неподъемной. Гнет последствий такого «решения» мы ежечасно испытываем до сих пор.

В марте 1921 года был принят нэп.

1 декабря 1934 года был убит Киров.

Что общего между нэпом и кровавыми политическими репрессиями, сигналом к эскалации которых послужил выстрел Леонида Николаева? И то, и другое было реакцией власти на невыносимость экономического положения народных масс.

Развитие нэпа улучшало положение народа. Ужесточение эксплуатации, дальнейшее усиление гнета в тридцатых влекло за собой расширение репрессий.

Кривые графика этих процессов — обнищания масс и роста репрессий — полностью повторяют друг друга, пики их совпадают.

Мы уже говорили, что в 1932 году 39 процентов товарных фондов розничной торговли были реализованы по коммерческим ценам. Удельный вес коммерческой торговли продолжал увеличиваться, но все же большая часть товаров так и оставалась с 1929 года реализуемой по карточкам и цены на них не менялись.

XVII съезд ВКП(б), так называемый съезд победителей, отдавший на выборах партийного лидера, как мы теперь знаем, предпочтение не Сталину, а Кирову (результаты выборов были фальсифицированы, Киров в том же году убит), провозгласил победу социализма в СССР. До сих пор в учебниках истории (в которых сказано о карточках) можно прочесть, что в результате победы социализма и успешного хода первых пятилеток в 1935-36 годах в Советском Союзе карточки были отменены.

Действительно, в 1935 году были отменены карточки на хлеб и продовольственные товары, а в 1936 году — и на все виды промышленных товаров. Учебники истории забывают лишь отметить одно обстоятельство. То, которое объясняет нам, почему данное сталинское благодеяние непосредственно предшествовало пику репрессий, как 1933 год — убийство Кирова и началу их разгула.

Обстоятельство таково: одновременно с отменой карточек на все виды товаров цены на них были повышены в 5,4 раза. Такого резкого одновременного повышения государственных цен история мировой экономики не знала. Но не знало человечество и такого масштаба репрессий, обеспечивавших безнаказанность любого экономического произвола.

О социальных последствиях такой меры распространяться, думается, излишне. Но интересно, что на этот раз даже учебники не хвалят вторую, чисто финансовую сторону сталинского мероприятия. Развал экономики был так глубок, финансовый крах так необратим и запущен, что даже такие драконовские меры уже не могли ничего «санировать».

В 1936 году даже привыкший всегда и во всем врать сталинский режим был вынужден объявить официально о снижении курса советской валюты. До этого официальный курс при Сталине объявлялся только один раз — 19 апреля 1933 года. Один советский рубль провозглашался тогда равным 13,15 французского франка. Тем самым золотое содержание рубля утверждалось в 0,77 грамма, то есть официально оставалось равным золотому содержанию твердого конвертируемого ленинского нэповского рубля. В 1936 году валютный курс сталинского рубля был объявлен в 3 французских франка. Этому соответствовало новое золотое содержание в 0,18 грамма. То есть по сравнению с нэпом золотое содержание советской валюты было снижено в 4,4 раза.

В июле 1937 года оно было снижено еще на 15 процентов.

Однако такое вычисление золотого содержания рубля после сталинской девальвации имело чисто умозрительный характер: впервые с 1922 года золотое содержание советской валюты в 1936-м официально установлено не было.

Углубляться в тонкости теоретических финансовых споров о золотом паритете нам, пожалуй, нет смысла. Отметим только, что отказ от него в то время знаменовал собой полный финансово-экономический крах. Недаром он совпал с пиком репрессий. И недаром сталинские алхимики — политэкономы в один голос бросились доказывать глубочайшую капиталистическую порочность фиксации золотого содержания валюты. Тот же автор, что в 1929 году доказывал полезность и необходимость для социалистической экономики товарного голода, теперь торжественно утверждал (с полным, впрочем, на то правом), что советские деньги не есть мера стоимости, а есть «средство планового учета». Про сталинский рубль — действительно превратившийся в разновидность наряда, выдаваемого хозяином-администратором в его натуральном царстве-хозяйстве, нуждавшийся для обретения покупательной силы в дополнительном «добре» в виде фонда на рынке средств производства либо очереди на потребительском рынке — такое можно было говорить и писать, насколько не кривя душой. Но, когда лейб-политэкономы в своих теоретических откровениях доходили до того, что отсутствие связи с золотом является главным и прогрессивным отличием социалистических денег от капиталистических, это была явная ложь даже в контексте той эпохи, когда советская валюта была единственной социалистической.

Доказать лживость сталинистских утверждений мы легко можем при помощи цитаты, в которой пропустим всего одно слово. Пропустим для интереса — чтобы читатель сразу не догадался об авторстве. Подсказка в нашей мини-викторине пусть будет одна: автор приводимых ниже слов — не Сталин.

«Мы подняли производство в огромнейшей степени, неизменно исходя из наших... (вот тут наш пропуск. — А. Ч.) принципов, согласно которым решающим фактором в хозяйстве являются рабочая сила и способность организовать и направить этих рабочих, а базой нашей валюты не может быть золото и должно быть производство. Это означает, что целиком в наших возможностях своим трудолюбием обеспечить нам продукты труда и потребительские товары... Мы пережили время, когда валюты золотых стран разваливались, тогда как мы, незолотая страна, укрепляли нашу валюту... Золото само по себе совершенно бесполезно... без золота можно жить так же хорошо, как с ним, при определенных условиях даже лучше».

Ну, а теперь — правильный ответ. Мы пропустили одно слово: «национал-социалистских». Приведенные слова являются цитатой из речи, произнесенной 8 ноября 1941 года, в годовщину фашистского путча 1923 года Адольфом Гитлером.

Отказом от золотого обеспечения рубля, сразу же объявленным очередной победой социализма, было завершено создание сталинской экономической системы. Принципиально нового в ней больше не появлялось. Кое-какие уточнения деталей, направленные на устрожение и ухудшающие положение масс, происходили. Некоторые из них действовали до самого последнего времени, и лишь перестройка сдвинула эти лежащие камни, но большинство еще лежит

Примером устрожения являются постановления 1938 и 1939 годов, касающиеся дальнейшего «совершенствования» кассового планирования и прямо вытекающего из него неприкрытого централизованно-государственного вмешательства в установление фондов зарплаты. Даже фактически уничтожив рубль, Сталин все как бы не верил в окончательность своей победы над властью денег и со свойственной ему подозрительностью и жестокостью продолжал топтать уже лежачего врага

В 1938 году Государственный банк был подчинен непосредственно Совнаркому СССР

После этого Экономсовет при СНК стал утверждать кассовые планы Госбанка в качестве директив по денежному обращению в стране. Это был апогей бюрократизации самого живого, массового, поистине общечеловеческого из всех экономических процессов. Формулировалось так: «Экономсовет при СНК Союза ССР постановляет:

1. Обязать правление Госбанка: а) ежеквартально составлять и вносить на утверждение Экономсовета приходно-расходный кассовый план с подразделением по

месяцам и с охватом денежных поступлений всех без исключения отраслей народного хозяйства; кассовый план составлять на основе отчетных и плановых материалов наркоматов и ведомств; б) исходя из квартального кассового плана составлять ежемесячные кассовые планы, в которых учитывать... принимаемые Госбанком меры, обеспечивающие выполнение заданий по денежным поступлениям...»

Вот так, вместо удовлетворения спроса — «выполнение заданий по денежным поступлениям», вместо предложения — плановые материалы ведомств. То, что это не синонимы, нам, советским потребителям, сегодня объяснять не надо. Как горько шутит академик Миндал: наша задача — дать народу не то, что он хочет, а то, в чем он нуждается.

Чтобы легче было «выполнять задания по денежным поступлениям», чтобы уверенно оставлять возможности обеспечивающих эти поступления потребителей на нищенском, следовательно, безошибочно угадываемом и просчитываемом уровне, 15 августа 1939 года были приняты сразу два постановления СНК СССР: «О порядке контроля за расходованием фондов заработной платы по бюджетным и хозрасчетным организациям» и «О порядке контроля за расходованием фондов заработной платы по промышленным предприятиям».

В первом говорилось: «В целях усиления контроля за расходованием фонда... обязать все наркоматы и ведомства... а также центральные, кооперативные и общественные организации с 1 октября 1939 года устанавливать поквартальные, с помесечной разбивкой, фонды заработной платы для подведомственных им учреждений... с доведением до каждой организации квартального фонда заработной платы, с помесечной разбивкой... Запретить учреждениям и организациям:

...Повышать заработную плату наличного состава работников за счет недокомплектования штата...»

Как ни думай над смыслом последнего запрета, другого не выдумаешь: индивидуальные возможности каждого участника денежного обращения независимо от меры его труда (хоть он один за всех на заводе работай) должны оставаться на запланированно люмпенском уровне. Даже частичные ограничения действия этого «табу» три с лишним десятилетия спустя рассматривались как прямо-таки революционная мера. Некоторая либерализация этого запрета составляла экономическую суть щекинского эксперимента. Да и экономическая сущность столь популярного в недавние застойные времена бригадного подряда связана, по сути, с этим же. «Клетка» в виде фонда зарплаты остается, ее решетка все так же незыблема. Изменяется лишь способ распределения «пайки» между обитателями клетки — членами одного хозрасчетного коллектива. Порция перестает быть индивидуальной, пайка не суется под нос каждому в его персональную миску. Служитель-планирующий кидает весь клеточный рацион в одну кучу, выражаясь языком блатарей. «на ур». При этом, конечно, механизм конкуренции действовать начинает, но творческого, созидательного, воистину добычливого характера конкуренция тут лишена. В чем порочность метода? Да в том, что ни общее количество мяса-корма не увеличивается (и заведомо увеличиваться не может так же, как и его характер, — это не добыча, то есть прямой результат усилий, им пропорциональный, а пайка, то есть заранее определенный гарантированный рацион), ни характер «конкурентов» не меняется — они все равно обитатели железной клетки; захирение, атрофия мышц, недобычливость им неизбежно присущи.

Планирование фондов зарплаты есть карточное рационирование в области денег. Как и в любой другой, в этой области оно порождает стремление обойти препоны, обмануть существующие правила, получить больше кем-то запланированного «Выводилок», мертвые души другие формы приписок и обмана сопутствовали фондам с момента их появления. Все эти способы несколько не производительны, они даже не предполагают какое-либо увеличение реальной продукции. Вред их для общества совершенно очевиден, и вроде бы святое дело — при таких обстоятельствах — устроение контроля.

Таковые меры содержались еще в приказе по Государственному банку СССР от 3 сентября 1939 года. Цель приказа — обеспечить выполнение постановлений о контроле за расходованием фондов зарплаты. Приказ предписывал «организовать... самостоятельный Отдел контроля за заработной платой». Далее приказывалось «установить должности инспекторов по контролю за расходованием фондов заработной платы», каковых обязать «осуществлять наблюдение за распределением и перераспре-

делением заработной платы в пределах утвержденных фондов». Делать это они должны были путем тщательного анализа отчетности, «а в необходимых случаях — путем непосредственного посещения» кредитруемых предприятий и организаций.

Перед нами типичный образец попытки решения экономической задачи в условиях административно-командной системы и ее методами. Эти методы неизбежно приводят к тому, что растет... фонд зарплаты тех, кто устраивает контроль за расходованием фондов зарплаты. И придется создавать новый фонд зарплаты для тех, кто будет контролировать тех, кто будет устраивать контроль за фондами зарплаты... Это порочный круг административно-командного метода, приводящий только к тому, что на сухом языке терминов называется снижением фондоотдачи. Оно и понятно — такие растущие фонды ничего «отдавать» заведомо не способны, они непроизводительны, растет только число контролируемых. Социализм, конечно, это контроль и учет, но контроль и учет произведенного, а не контроль вместо производства, не учет, становящийся приоритетнее и престижнее производства.

Вырваться из порочного круга можно, лишь отказавшись от самого административно-командного метода. Зарплата не может, не должна «спускаться сверху» по фондам, равно как и все остальное. Никакое количество проверяльщиков, геометрически растущее, не может при этом спасти от того, чтобы «кое-где у нас порой» не было бы «вырешено», «выбито» либо просто приписано, украдено что-то сверх или сбоку от фондов.

Каждый должен иметь свободное и общественно необходимое право «купить» желаемое им количество зарплаты, в качестве собственного товара предоставив для обмена обществу нечто, тому необходимое. При бесконечном разнообразии способностей и возможностей каждого из нас, равном лишь бесконечному разнообразию существующих у нас ныне дефицитов, препятствием к такому эквивалентному обмену могут служить лишь искусственные административные препоны. Но надо сознавать, что административно-командная и люмпенско-дефицитная модель экономики — это лишь разные названия одного и того же. Для того чтобы резко повысить трудовой потенциал общества, препоны сломать придется.

Смутные времена

Если бы сегодняшние аргументы, оправдывающие политику Сталина подготовкой к войне и победой в ней, были бы верны, то правление Кнута должно бы было у нас закончиться 9 мая 1945 года. Но, поскольку и война, так же как коллективизация, голод, другие ужасы сталинской эпохи, была лишь чудовищно неопровержимым предлогом для того, чтобы не выпустить Кнут из рук Хозяина, конца этому правлению победа, конечно, не принесла. За ней последовали ленинградское дело, травля биологов, космополитов, врачей... Гигантская общественная пирамида с Кнутоносцем на вершине продолжала существовать. Смерть Кнутоносца не могла сломать эту пирамиду, она могла лишь полностью обесмыслить ее существование. Она это и сделала.

Альтернативой царству кнута, где каждый руководствуется единой верховной волей, действующей по принципу «не можешь — научим, не хочешь — заставим», может быть лишь «царство пряника», в котором без учетчиков, контролеров и кнутодержцев правит сила миллионов индивидуальных волей, направленная к реальному и осязаемому улучшению собственного положения.

Чтобы связать между собой и направить эти миллионы индивидуальных экономических волей, вместо стоящего «над обществом» кнута требуется надежный демократический инструмент общественных связей. Деньги, принадлежащие каждому, но нужные и работающие лишь в условиях товарно-денежных отношений, — именно такой инструмент.

Поэтому закономерно, что каждая послесталинская подлинная попытка возрождения экономики была попыткой возродить совершенно уничтоженную Сталиным в ходе строительства его военно-феодальной пирамиды «власть» денег.

Поскольку административно-командный тоталитарный экономический механизм оставался в неприкосновенности, эти попытки происходили на уровне локальных экспериментов и содержали в себе неперенное стремление вырваться раз уж не из всей построенной Сталиным для экономики и рубля тюрьмы, то хотя бы из ее простейшей элементарной клетки, индивидуальной камеры-одиночки для каждого участника хозяйственной жизни, клетки, имя которой — плановый фонд зарплаты.

Любая попытка сломать сталинский механизм, как бы мелкомасштабна она ни была, содержала в себе усилие, направленное на ликвидацию главного принципа сталинской системы — принципа игнорирования спроса. Спросу миллионов на лучшую жизнь осточертело быть игнорируемым, и, конечно, выражался он не только в стремлении к большей зарплате. Попытки начались после смерти Кнудодержца и были особенно активны в период хозяйственных реформ 50-х, 60-х и 70-х годов.

Конечно, жизнь не стояла на месте и внешне ситуация не могла не меняться. Но, поскольку неизменными оставались принципы, постольку сохранялось «статус-кво» в экономическом положении. Рубль остается неконвертируемым вне, ибо товарно не обеспечен в н у т р и страны. Отчего? Да оттого, что принцип игнорирования спроса по-прежнему в силе и неизбежно им вызываемый товарный голод за шесть посленеповских десятилетий лишь видоизменился, вполне диалектически перейдя из количества в качество. Простой количественный всеобщий и полный дефицит превратился во всеобщий и полный дефицит качества. Его не победить, пока «власть плана» будет давить «власть денег». Пока будет сверху планироваться, чего, сколько и как делать, и принцип диктата потребителя будет оставаться, следовательно, лишь пустыми словами. Ибо диктовать и планировать снизу потребитель может лишь в л а с т ь ю денег.

Пока же его рубль не властен акционерно на паях, кооперативно или индивидуально открыть предприятие по выпуску любого вдруг ставшего ему любезным (по неисповедимым и никак не планируемым на пятилетку вперед путям развития потребительских симпатий) товара и купить для этого всякое оборудование и сырье, пока рубль этот не в силе обанкротить и закрыть предприятие, обижаящее потребителя, просто перестав обмениваться на его продукцию — будь это предприятие завод, редакция журнала или министерство, «выпускающее» управленческие услуги, — этот рубль не станет сильной валютой, не включит свою страну в мировой экономический прогресс, а оставит догнывать в люмпенско-дефицитном тупике, как печально символических таежных староверов Лыковых

Историческое проклятие Пряника в наших условиях заключается в том, что благословить его на царство имеет право по положению лишь занимающий высшее иерархическое место в общественной пирамиде. Какое бы сам он лично ни испытывал отвращение к Кнуту и оперированию им, объективно он занимает место Кнудодержца.

Предположим — как оно и оказалось, — занявший место преисполнен благими намерениями, с негодованием отмечает окровавленный Кнут и провозглашает Пряник. Труженики, служащие основанием пирамиды, дружно и доверчиво делают движение к провозглашенному. Что происходит? Деформация пирамиды. В первую очередь от этого страдают те, кто представляет собой ее следующий за рядовыми тружениками слой — начальство невеликое, не цари — псари. Но зато их много и им очень больно — от них отрывают по-живому. Они-то и служат социальной базой подавления порыва к прянику, давя его сами, своими отнюдь не малочисленными средствами, и апеллируют к верху, совершенно искренне жалуясь ему на происходящий подрыв устоев.

Зачастую до самого верха дело даже не доходило. Пресекавший крамольный порыв кнут брался в руки где-нибудь на областном, максимум на республиканском уровне. Срабатывал. И вновь мечта о всемогущем и демократичном Прянике становилась чистой и общей для низов и верха.

Насколько сильно и искренне было желание все к лучшему изменить, ничего при этом не меняя, например, в Леониде Ильиче Брежнев, автор этих строк имел возможность убедиться на случае анекдотическом, в старом понимании этого слова, из собственной журналистской биографии.

В начале 1980 года я напечатал в газете «Комсомольская правда», где тогда работал, небольшую, строк на четыреста статью об одном из многочисленных тогдашних экономических экспериментов. По сути, это было очень локальное применение венгерского опыта в одном из одесских колхозов общественную птицу на договорных началах раздали по личным дворам. Первый же сезон доказал, что падеж птицы при этом сокращается на треть, а себестоимость произведенного мяса снижается втрое. Люди пошли на эксперимент охотно, так как заработки хозяев дворов взявшихся за откорм, превысили средние для колхоза раза в 3—4. Дипломатичность организаторов эксперимента заключалась в том, что внешне, по форме все оставалось без изменения: поголовье — колхозным, заключавшие договоры — колхозниками. Резко

изменялись в лучшую сторону лишь все экономические показатели. Статья называлась по-комсомольски игриво «Жили у бабуся колхозные гуси».

Ближайшие события показали, что педалирование «колхозности» даже в заголовке не смогло ввести в заблуждение, выражаясь старомодно, проницательного читателя. Сочувственно округляя глаза, мне сообщили, что в папке с надписью «Радиоперехват» на столе у главного редактора лежит первый отклик на мой опус. Какая-то радиостанция (сам я передачу не слышал, а папку мне так и не показали), то ли «Немецкая волна», то ли «Свобода», сообщила, что в канун пятидесятилетия колхозного строя центральной молодежной газеты Советского Союза «со свойственным ей идиотическим оптимизмом» — вот этот оборот сочувствовавшие мне передали точно — рассказывает, как выгодно и рентабельно от этого строя отказаться, да еще подробно доказывает это цифрами.

Я был опечален вдвойне. Во-первых, было уязвлено мое авторское самолюбие: про юбилей я знал, цифрами оперировал сознательно, и то, что мое по-застойному тщательно замаскированное ехидство обозвали идиотическим оптимизмом, было обидно. Во-вторых, даже такая обзывательская рецензия на статью по тогдашним, пусть и бескровным временам ничего хорошего не сулила. Как-никак воду на мельницу врага я-таки вылил...

Несколько дней я ждал нахлобучки, а то и выговора. Но, к моему удивлению, все обошлось, и я вскоре забыл и про заметку, и про вражье радио.

Девять месяцев спустя (мы еще удивлялись потом — аккурат срок беременности) в редакцию позвонил Леонид Ильич Брежнев. Лично. Похвалил заметку про гусей и посоветовал не оставлять это интересное начинание. Впрочем, за текстуральное совпадение с «Козлотуром» я не ручаюсь, потому что шел разговор по «вертушке» и слушал Генсека наш зам. главного (главный редактор был в отпуске).

Что воспоследовало, читатель, годы застоя помнящий, может вообразить либо обратиться за подсказкой опять-таки к бессмертному «Созвездию Козлотура», смоделировавшему подобную ситуацию на все времена. Во всяком случае, рубрики «Хозяйство личное — польза общая», «Подворье — подспорье» и т. п. газета вела до самой физической смерти позвонившего. Что предшествовало звонку, мы тоже узнали довольно подробно Брежнев, отдыхая тем летом в Крыму, принял среди прочих одесского секретаря, похваставшегося удачной трансплантацией венгерского опыта и подсунившего вырезку из нашей газеты.

Но вот что вызвало звонок — этой загадкой я по молодости прямо-таки мучался. И разгадать мне ее помогла академик Татьяна Ивановна Заславская.

Жила и работала она тогда еще в Новосибирске. А привело меня к ней, конечно, не желание получить отгадку, а желание познакомиться с человеком, изобретшим и опубликовавшим в «ЭКО» мгновенно ставшее крылатым выражение «теневая экономика».

Благо, повод для знакомства был у меня безупречный: в Сибирь я отправился изучать другой экономический эксперимент, научным руководителем которого был ученый из сектора знаменитого новосибирского института, возглавляемого Татьяной Ивановной.

К своему глубочайшему огорчению, я узнал, что Заславская в отпуске и уехала отдыхать в Белоуриху. Однако, прикинув расстояние и решив, что никто же не помешает Татьяне Ивановне в случае нежелания разговаривать меня не принять, я на казенном «Уазике» отправился на очаровательный алтайский курорт.

Отдыхала Татьяна Ивановна вместе с сестрой. Мы все трое расположились у небольшого столика, на котором посвистывал электрический самовар. Светила настольная лампа, и на стене беззвучно кивали-беседовали наши тени. На правах гостя, вроде как развязного газетчика, а больше, пожалуй, от смущения я не закрывал рта. Рассказал об эксперименте, о своих от него впечатлениях, подбадриваемый интересными, точными вопросами, стал сравнивать его с другими виденными, вспомнил про одесский и уже не мог удержаться — рассказал про звонок Генерального

Я в лицах изображал вставшего чуть ли не на цыпочки зама главного редактора с телефонной трубкой, выступления на партийном собрании, проведенном, кажется, на следующий день и посвященном задачам редакции «в свете пожеланий, высказанных лично...», а также свое сожаление по поводу того, что немедленно выписанная мне премия составила только половину оклада.

Ничто так не раскрывает характер человека, как смех, сама манера его. Совершенно им покоренный, я выложил заветное.

Я заявил Заславской, что считаю термин «теневая экономика», ею изобретенный и широкой аудиторией принятый как откровение, ошибочным, неверным. Та экономика, которую Татьяна Ивановна назвала теневой — скрываемая от официальных отчетов и проверяющих, считающаяся криминальной, загнанная в подполье, вынужденно натурализованная, строящаяся на негласных обменах фондами, людьми, на принципе «ты мне — я тебе», даже в кино заклеенном, — вот эта-то экономика и есть истинная, настоящая. Криминально же то, что ее вынуждают быть криминальной, тем самым деформируя, уродуя. Преступно то, что во имя догмы эту настоящую экономику заставляют корчить из себя кем-то и когда-то выдуманную паиньку, что по воле блюстителей догмы она должна и обязана, словно в каком-то маразматическом театре, отбрасывать идеальную тень на некий гигантский, неизвестно кому и зачем демонстрируемый «экран социалистического соревнования». Теневая экономика — это как раз дутая отчетная экономика. Как тошно и трудно настоящим хозяйственникам одновременно пытаться делать дело и быть персонажами балаганного театра теней!

Вот хоть бы тот же одесский эксперимент, вызвавший высочайший звонок. Ну, какая, к черту, бабуся, какой колхоз!.. Так оно должно выглядеть официально, а на самом деле — вот что это такое: как говорится, следите за рукой. Если сложить кукиш определенным, особым образом — так, чтобы большой палец оказался между средним и безымянным, а указательный и мизинец чуть выдвинуть вперед, — то тень этой фигуры будет иметь вид, сильно напоминающий профиль милой беззубой бабушки в платочке. Тень — тенью, театр — театром, но кукиш остается кукишем и обращен он — тут вражескому голосу не откажешь в пронизательности — именно к сталинскому плану коллективизации.

Я пошевелил мизинцем, теневая бабушка на стене у самовара вроде как зашамкала, и наградой мне была такой замечательный, такой искренний и заразительный смех, какой не то что от академика — от простого смертного редко услышишь.

И было мне отплачено образом за образ, и сторией.

Без хулиганства, правда, и издевки, но зато и без кукольности, масштаб образа был под стать сану авторши

Когда машин — наперечет по пальцам, управлять их движением может некий Центральный пункт. И пусть в нем восседает некто в ослепительном мундире, с мудрым и всемогущим Жезлом в руках. Теоретически, да и практически могут считанные направляемые двигаться, куда и как он прикажет. Другое дело, будут ли этим довольны они сами, в том ли направлении, с той ли скоростью хотели бы они двигаться. Факт тот, что теоретически такая схема движения возможна и практически Управителю под силу выполнять свои функции.

А дальше — машин становится все больше. В десятки, в сотни, в тысячи раз больше. И, сколько злата-серебра ни нашей на мундир Набольшего, какой длины и увесистости ни делай его жезл, ни системы, ни порядка, ни целенаправленности в движении не добиться. Будут управляемые сталкиваться (и жаловаться на смежников), буксовать в кювете (погрязать в убытках, сколько ни называй их плановыми), всюю ездить «налево».

Какой путь предложит тут обозначенная схема-система? Ясное дело, станет она плодить жезлоносцев. И страшные пробки всевозможных дефицитов, по-шариковски обозленные очереди на всех жизненных перекрестках воцарятся и поколениям ведомых водителей станут казаться неизбежными, фатальными и безнадежными до петли или белой горячки.

А выход есть. Деньги тратить надо не на регулировщиков, а на расширение дорог. И на каждом перекрестке, повороте пусть стоит бескорыстный и беспристрастный светофор.

Думается, пояснить надо лишь одно. Зеленый свет светофора в нормальной экономике — это благоприятные для производителя, рулящего с полным риском для собственного благополучия создающие ему зеленую улицу цена и кредитная политика. Током, питающим бесчетные и бессонные светофоры, является денежное обращение.

Пыль месяц над сахарными сопками, и не остыл самоварчик, и тепло было по-прежнему, но выветрило напрочь из ночного «люкса» беспечность. Потому что мы заговорили о смутном времени междуцарствия Кнута и Пряника.

В экономические реформы пятидесятых и шестидесятых годов были у нас поставлены светофоры. Но вместо того, чтобы создать единую их питающую и включающую энергосистему, при них оставили в неприкосновенности прежних регулировщиков. Поручив, значит, светофоры их попечению. Как сии премудрые приборы должны работать, регулировщики не знают и знать не хотят. Хозяевами на дороге они считают себя. Для блезира, раз велено, щелкают тумблерами, но горе тому, кто поверит горящему свету и попробует слушать его, а не их, фонарщиков в униформе. Лишат прав управления — это минимум, а за жестокое нарушение ценных указаний, за пренебрежение к руководящим свисткам и злостам могут, охулки на руку не кладя, очень даже просто и без церемоний врезать жезлом по кумполу. Пусть цена не выгодна, горит, значит, «красный» — «Ехай-ехай!» — говорят тебе, и попробуй послушаться. Или увидел ты «зеленый», не продукция — золотое дно, тут бы по газам... «Тпру, стойте!» — прикрикнут, и нишкни.

Нишкни, если не хочешь судьбы Ивана Андреевича Снимщикова или Ивана Никифоровича Худенко. Оба они успели добиться удивительных хозяйственных результатов, но увидели жезлопредержащие, что Иваны норвят признать над собой лишь власть денег, а не их, планирующих, власть. И судили обоих как уголовников, одного под Москвой, другого в Казахстане в начале семидесятых. А реабилитировали Снимщикова только в прошлом году, от начала перестройки третьем. Худенко же умер в заключении, и до сих пор казахская Фемида числит и честит его вором. Его, мученика политэкономии, жертву смутного времени, когда уже нельзя было не признать Пряник, но еще можно было не пускать к нему.

Святая сталинская инквизиция была еще в силе напаять позорный колпак еретика на того, кто, как средневековый лекарь, для науки и прогресса осмеливался коснуться смердящего трупа убитой Вождем экономики. Вскрывать трупы — грех, костер народного суда к услугам пытающегося.

Надо ли удивляться тому, что любого непокорного властям хозяйственника удавалось засудить как уголовного преступника? Недоумевать, почему и следствие, и прокуратура, и суд оказывались послушными орудиями в руках наследников Кнудодержца (Сталин вообще-то здесь был откровеннее — за неподчинение своим экономическим командам он паял, не маскируясь, политическую статью)? Не стоит. Потому что правовое государство должно начинаться не с права на кем-то спланированный, кем-то предписанный труд, а с права на труд вольный, осмысленный, целенаправленный, поэтому добычливый. И если хозяйственный механизм не оставляет для такового места, то это есть главное, основополагающее попрание прав, при котором наивно удаваться остальной правопривержности.

Тем поздним зимним вечером Татьяна Ивановна Заславская рассказала мне, что хранит целую пачку писем Худенко, которые он писал ей из тюрьмы. Этот пепел до сих пор стучит в ее сердце. А в те годы ей удалось прорваться к Брежневу, объяснить, что Худенко не вор, что высокие заработки в его экспериментальном хозяйстве были следствием производительности труда, шестикратно превышавшей среднесоюзную.

Ничто не помогло, и до сих пор не стало точно известно, но тогда до ходатаев дошли слухи, что категорически против пересмотра дела был М. Сулав. Он не страдал мягкосердечием и был куда квалифицированнее: перочинным носом своим стопроцентно чуял здесь не зерно, не проценты производительности — идеологию.

Власть плана вновь победила власть денег, и ээк Худенко заплатил жизнью.

Тот, который так любил украшать себя звездами, сам был на вершине общественной пирамиды лишь декоративной звездой. Кровожадным он не был вовсе. Всей душой был бы рад, если бы и волки были сыты, и овцы целы. Если бы... Если бы это было возможно. Узнав про одесский эксперимент, описанный в молодежной газете на таком «голубом глазу», решил, что — вот, как раз. Оттого и позвонил.

(После я узнал, как чуть не стал эксперимент концом карьеры для начавшего его председателя. Мяса стало больше, себестоимость снизилась, колхозники заработали хорошо. Вот это последнее и оказалось криминалом. В какую клетку можно было внести эти заработки? В клетку фонда зарплаты, самую незыблемую твердыню сталинской экономики до сего дня, эти милые людям заработки, подвигшие их на рывок, никак не помещались. Не придував лучшего, председатель «провел» оплату по статье «прочие расходы». Сел бы непременно, если бы в области не знали про брежневский звонок в газету.)

По доброте ли душевной, по аналогии ли с собственным неукротимым стремлением к сладкой жизни Брежнев не мог не признавать справедливой тягу людей к Прянику. И он давал людям зарабатывать.

Сменивший его Ю Андропов очень сурово отзывался о сложившейся повсеместно практике коррекции планов, которая, по его словам, приводила не только к ослаблению трудовой дисциплины, но и фактически обесценивала зарабатываемые деньги. Коррекция планов — это был брежневский вариант разрешения Пряника. Этот вариант идеально вписывался в схему пирамиды как фондирование, как задача орден, это была благостыня, идущая сверху. Всемиловистейшее разрешение за меньшую барщину получить неуменьшую плату.

Благодетелю, вероятно, даже в голову не приходило, что тем самым он просто-напросто уменьшает стоимость рубля приравнивает его к меньшему количеству товаров. Доброта дарителя поистине оказывалась хуже воровства: фальшивомонетчество действительно в уголовных кодексах всего мира наказывается строже.

Как бы то ни было, предпринятая в смутные времена междуцарствия попытка сохранить Кнут, сделав его бескровным, и скрестить его с Пряником объективно привела к еще большему подрыву денежного обращения, еще большему уничтожению власти денег. Только за пятнадцать лет, с 1971 по 1985 годы, объем денежной массы в обращении вырос в СССР в 3,1 раза, а объемы товаров за это же время — только в 2 раза. По подсчетам Д. Шавишвили, кандидата экономических наук из НИИ цен Госкомцен СССР, один рубль 1985 года равнялся 54 копейкам 1961 года. Ныне, по мнению других специалистов, он оставляет в том же исчислении 42 копейки. А. Левиков утверждает, что за счет увеличения цен в IX пятилетке у нас было получено около трети прироста товарооборота, в X — половина, в XI — 56 процентов. Мы уже говорили, что сочетание стагнации с инфляцией на языке современных экономических терминов называется стагфляцией.

Кнут и Пряник: разница идеологий

Движение, знаем мы из физики есть результат действия силы. В смутные времена Кнут силу утратил, и за одно это мы должны вспоминать их с благодарностью. Но его агонии хватило на то, чтобы не дать силы и Прянику. Не стало силы — не стало движения. Так родился застой.

Тут следует подчеркнуть огромную принципиальную разницу между силой Кнута и силой Пряника. Кнут — вспомним сталинский термин — инструмент «подхлестывания» страны, он подгоняет лупит по спине и ниже, короче говоря, действует сзади. При таком воздействии не удивительно, что движение подхлестываемых равномерно. Их толкают — они двигаются. Никому, естественно, не придет в голову вырываться вперед. Там, впереди — те же карточки.

Кнут, таким образом, обеспечивает равенство. Страшное, рабское, люмпенское равенство во кнуте.

Сталин сам был люмпеном духа — по натуре лишенным радости дружбы, любви, семьи, вечно озлобленным, вечно подозревающим, в жизни не узнавшим радости быть верным кому-либо и счастья простить кого-либо. И он мстительно и целенаправленно селекционировал нищету не только тела, но и духа. Его кровавая евгеника имела охранительский характер. Сталин был непоколебим и всемогущ, пока в угнетаемом им темном сознании пульсировала главная, руководящая люмпеном мысль «Никому не должно быть лучше, чем мне!» Уж это-то желание масс он мог удовлетворить и удовлетворял сполна, с садистским наслаждением обрушивал кнут на всех современников и сограждан люмпена. Если тому казалось, что кого-либо забыли, не подравнивали и ему вдарит досталась большая пайка счастья, удачи, таланта, люмпен писал Кнуту донос, который всегда оказывался удовлетворенным.

Сколько можно о Сталине, говорят нам Тридцать пять лет, как умер, а все ругают и валят на него грехи.

Беда в том, что только сегодня, наконец хоть сегодня у нас появился к Сталину наибольший счет. Не потому что «большое видится на расстоянии», а потому, что сила торможения прогресса в сталинизме оказалась так велика, что лишь сегодня мы готовимся стряхнуть с себя оцепенение. И только сегодня поэтому ясно видим масштабы сотворенного им зла. Видим всю тупиковость избранного им для нас пути. Господи, умнейший человек самых прогрессивных взглядов пишет статью о дороге к

храму и утверждает: что бы там ни было, а в итоге мы имеем в наследство доставшуюся великую индустриальную державу. Поистине блажен, кто не ведает, что это «индустриальное величие» в доставшемся от Сталина безвариантном варианте с его, будь он неладен, чугуном и трактором на душу населения — кошмарнейшая, безвыходнейшая экономическая ловушка, экстенсивный темный тупик. Знать бы философу, что храмы старой веры пригодились Сталину под зерносклады и клубы, а вот храмы его, сталинской веры (точнее, в него веры), все эти гиганты-первенцы, и под такое не годятся, они-то и вяжут нас сегодня больше всего, не дают повернуться, сманеврировать в тупике, чтобы найти верный путь. Именно из-за них, как в кошмарном сне, когда не в силах проснуться, мы продолжаем топить себя в тракторах, комбайнах, тоннах чугуна, самых многочисленных и плохих в мире. Именно эти гиганты ни в кооператив переделать, ни в аренду отдать невозможно. И остановить — как? Ведь с ними связаны сотни тысяч людей.

Сегодня мы видим, что это тупики, и можем об этом сказать. Но сказать-то мало! Как трудно выбраться из этих тупиков, не имея всего того, что Сталин убил: предприимчивости, инициативности, умения и желания считать, рисковать. Именно теперь как никогда ясно мы осознаем историческую необходимость восстановления того, что Сталин уничтожил сложного и тонкого экономического механизма; а также необходимость уничтожения того, что он создал: административно-командной системы.

Но, наверно, самое страшное и трудно ликвидируемое из его наследия — привитая нам люмпенская психология. Пока не выдавим ее из себя, и лучше бы не по капле, она будет губить все наши попытки что-либо переделать.

Люмпен в городе общезжитий пойдет погородами освобождать себе жилплощадь и будет готов при этом исповедовать любую религию.

Люмпен в нас благонамеренно и с готовностью возмутится: ишь ты, они отделиться вздумали, а мы тут, значит, пропадай?¹

Никому не должно быть лучше, чем мне... Неужели ему удалось-таки заложить это в генотип переживших его?

Хотя, впрочем, над китайцами не он работал, а, начиная свои хозяйственные реформы, они, продумав все, признали самой опасной для преобразований будет «болезнь красных глаз» Симптом ее таков: «Пусть лучше у меня не будет ни одной коровы, чем у соседа будет две»

Пока не вылечим эту болезнь психики, рывок к Прянику и нам не удастся.

Потому что Пряник в отличие от Кнута вовсе не гарантирует равенства. Он не толкает сзади, он манит вперед. И, когда он будет полноправно действовать, люди двинутся к нему с отнюдь не равной скоростью. Кто-то рванет бегом, во всю молодую, истосковавшуюся прыть, кто-то пошагает, пуще всего боясь потерять достоинство, а кто-то, раз не хлещут не толкают, и вовсе может присесть покурить

Вот этого-то последнего, присевшего, пуще всего заранее боится административно-командный начальник. В страшных снах видится начальнику одно и то же. приходит к нему этот непобежавший и спрашивает — почему во-он тому, вои, на горизонте уже, почему ему лучше, чем мне? Холодным потом покрывается тут начальник и просыпается с жалобным стоном, ибо ответить не знает как. Нельзя ответить: «Потому что он энергичнее, целеустремленнее, способнее — и не ленится потеть». Нельзя так ответить, ибо рассвирепеет спросивший, может вконец потерять сознание и спросить: а с чего тогда тебе, начальнику, лучше, чем мне? Ты что, способнее, энергичнее, умнее или, может, потеешь? Совершенно, ну совершенно нечем будет крыть бессонному начальнику.

И всеми силами своими стремится он помешать всеобщему старту к Прянику, потому что понимает, что выйти на дистанцию придется и ему и успех обеспечить сможет лишь высокое качество управленческих услуг.

Взять его неоткуда, и административно-командное начальство хочет попробовать объявить старт недействительным, объединившись с небегущим против того, равнущего.

Центральная газета с огромным тиражом объясняет миллионам, почему нет конфет Треть газетной полосы убористого текста. Но следящему за прессой не обязательно читать все. Можно заглянуть в конец и убедиться, так и есть, они, проклятые, виноваты Нет, не жидо-масоны, вы путаете, читатель, ведь речь об экономике. В таких случаях, запомните, виноваты бывают самогонщики и кооператоры

Само выстраивание ряда многозначительно. явные уголовники и... ну, неьяные.

Ряд пока не синонимический, но это же пока. Поработать еще над общественным мнением, а там... эх, как бы славно: не мудрствуя лукаво, по старому доброму рецепту — десяток-другой кооператоров покрупнее выгнать на сцену Колонного зала и ха-а-роший показательный процесс!

Ведь, в сущности, кооператор, безусловно, вредитель. Не тем, конечно, вредит он, что создает дефицит слава богу, жилали без кооператоров, а без дефицита не бывали. Дефицит органически присущ системе, где спрос должен превышать предложение, чтобы люмпенски калтуриющий производитель чувствовал себя социально защищенным и не боялся разориться. А вот кооператор такой системе чужд и враждебен. Он уголовник и беглый каторжник. Он сбежал из прочной клетки под названием «фонд зарплаты». Все прочие благонамеренно сидят по своим помещениям, а этот жирует на воле, смущая и соблазняя, да еще норовит стибрить что-то из их скудного узаконенного рациона — свободный же добытчик! Что делать умному зрителю зоопарка, чтобы не остаться без работы? Прежде всего правильно объяснить, почему этот «вольняшка» такой жирный да гладкий. Не потому, конечно, что живет и питается на воле, что рацион и образ жизни его здоровее. А потому, что он, злодей, ворует у вас, честных обитателей клеток!

А дальше нужно объединить и умело направить праведный гнев этих обитателей. Способов масса. Можно, например, поддержать начинание известного храбростью Зайца, который больше всего любит мастерски эдак пустить дробь на своем барабанчике, чем издавна снискал любовь и уважение соседей по клеткам. Начинание гражданственное: всем вытергозадым и редкошерстым собратьям предлагается объединиться в Общество потребителей, задачи коего воистину революционны — следить за пайками, не сводить глаз с каждой пойлушки, не давать зрителям кое-где у нас порой допускать недовложения, а главное, единым строем противостоять этому аморальному, этому низкому, падшему, этому несправедному хорьку-кооператору. Ни грамма нашей честной пайки в чужие руки!

Надо, надо поддержать маленького барабанщика. Но не явно — пусть чувствует себя революционером. Ишь, как соседи-то и почитатели его дружно поднялись — рукоплещут ему, гремят пойлушками, скандируют: «На-ша пай-ка!» Даже можно позволить им пару раз запустить пойлушкой в зрителей. Польза от этого базара двоякая: может, чем черт не шутит, и впрямь помогут хорька прихлопнуть, а нет, так главное — пусть больше ругаются, пары спускают, лишь бы и дальше не замечали, что он-то на воле, а они в клетках

Слава Зайцу, самозабвенно барабанищему по пустякам, мечущему свои вдохновенные бесконечные петли, пускающему почитателей по ложному следу! И не дай бог, осознают они, что требовать надо уничтожения клеток.

Речь идет не о мелочах. Если сегодня нашей внутренней реакции удастся, используя энергию масс медиа, сформировать единый обывательский фронт против кооператоров, если удастся, как все чаще предлагается, организовать хоть один жумный антикооперативный уголовный процесс, это будет новое, такое же неопознаваемое снаружи, как сталинская кредитная реформа, 18 брюмера Кнута, праздник его реанимации. Ибо в этот день будет крепко ударено по рукам, да и по ногам первым, рванувшимся к Прянику Суровых приговоров не понадобится, наш многомудрый, не однажды ученый народ все поймет и так. чья взяла и куда повернули.

Сегодня два главных направления нашего поиска — демократизация и хозяйственная реформа. Нельзя нам больше не замечать топора под лавкой и не попытаться воспользоваться средством, способным помочь нам в достижении обеих целей. То есть твердыми, настоящими, а не планово-учетными деньгами.

Уместно напомнить тут, что кредитная реформа, собственная финансовая монополия и уничтожение власти денег помогли Сталину уничтожить попутно и власть Советов, превратить последние в чисто формальный, совершенно бессильный орган. Это получилось само собой, ведь деньги по сталинскому порядку поступали от него центральным ведомствам. от них шли предприятиям на места и Советы оказывались в стороне от этого течения

Этот порядок доньше в неприкосновенности, и сегодня «места» питаются крохами, падающими со стола ведомств единственный способ для мест решить свои социальные, инфраструктурные и прочие проблемы — это попытаться привлечь к себе внимание ведомств, то есть попытаться уговорить их построить в данном месте какое-либо предприятие. Экология и культура, которые не проходят по линии богатого центрального

ведомства, обречены. Несколько месяцев назад в изумительном крохотном городке-сказке, начиненном гибнущими древними памятниками, архитектору, посвятившему жизнь их спасению, сказали в горисполкоме: «Вы не патриот и вы не нужны нашему городу, раз не хотите, чтобы в нем строился силикатный завод».

Сегодня в СССР местные Советы контролируют лишь 8 процентов государственных капитальных вложений и только 16 процентов бюджетных ресурсов страны.

Только власть денег может укрепить власть Советов. Нам пора наконец понять, что идеология равенства должна быть идеологией равенства возможностей их честно и общественно полезно зарабатывать. Что честное судейство заключается в обеспечении равенства на старте к Прянику, а если судьи кидаются выравнивать участников на каждом метре дистанции то соревнование из бега превращается в застой. Пора отказаться от самого вредного из стереотипов нашего официального сознания — антипатии к деньгам. Это самое древнее средство демократических общественных связей должно расцвести именно в нашем, самом общественном строе.

Когда-то Бернард Шоу написал о деньгах так: «...Они являются проклятием только при социальных условиях, настолько глупых, что сама жизнь при них становится проклятием. Первый долг гражданина требовать, чтобы деньги предоставлялись ему на разумных условиях... Вопиющая нужда народа требует не улучшения нравов, не удешевления хлеба, не воздержания, не свободы, не культуры, не спасения нищих, падших сестер и заблудших братьев, не милости, не любви, не братства во имя святой троицы, а просто-напросто денег в достатке».

Того же самого требует сегодня и наша экономика. Мы должны разглядеть и, как Бастилию, разрушить тюрьму, выстроенную Сталиным для рубля. Освободит его для работы.

Заставить себя отказаться от люмпенско-клеточно-пайковой психологии и создавать не Общество нищих потребителей, которое нам уже создали. Надо попробовать наконец основать Общество производителей.

Не может быть, чтобы у великой страны не получилось.

Декабрь 1988 года

Наши старики



В 1917—1921 годы Горький, как известно, ошибался; об этом понаслышке знают даже школьники, не говоря уже о людях, всерьез интересующихся биографией великого писателя. Не секрет, что, главным образом, ошибки эти сделаны в статьях, составивших книгу «Несвоевременные мысли», а печатались статьи в газете «Новая жизнь». Про газету можно узнать из любой энциклопедии, что основана она была в апреле 1917-го, а в июле 1918 года закрыта. О том, кто был основателем и редактором газеты (а им был именно Горький), энциклопедии предпочитают умалчивать, чтобы не портить образ. Но все это, я повторяю, всегда было легко узнать и не являлось секретом. Секретом являлись тексты самого Горького. Те самые, в которых он ошибался: преувеличивал трудности, преуменьшал достижения, субъективно трактовал, объективно смыкался, лил воду на мельницу врагов и за деревьями не видел леса. В конце концов, по доброму совету друзей, он отбыл за границу: полечиться, а заодно и посмотреть на революцию «издалека» — увидеть тот самый лес, которого не видел из-за деревьев. Отбыл Горький в Италию, и ошибки его стали достоянием истории.

Они описывались, эти ошибки, иногда даже и детально, даже и объективно, даже и в приличном тоне, то есть без ярости и злорадства, а со скорбью и пониманием. Не было только текстов. Даже цитат горьковских из этих самых его «Несвоевременных мыслей» было крайне мало.

И в наше время серьезные авторы цитируют тогдашнего ошибающегося Горького крайне осторожно, обкладывая его высказывания большим количеством объяснений. В работе Л. Резникова «О книге М. Горького «Несвоевременные мысли» («Нева» № 1. 1988) цитировано из Горького... двести строк. На три (почти) листа печатных. То есть на каждую строку Горького Л. Рез-

ников дает строк пятнадцать своего комментария. А. Овчаренко в «Литературной газете» 14 сентября 1988 года процитировал Горького посмелее; да, собственно, что там «посмелее» — уже известно было, что «Несвоевременные мысли» выходят в «Литературном обозрении», полоса в «Литгазете» именно и нужна была — смягчить впечатление, помочь нам переварить горьковские тексты; так и тут на каждую строчку Горького понадобилось четыре или пять строк объяснений. Уже при самой публикации статей Горького в «Литературном обозрении» потребовалась сопроводительная статья И. Вайнберга. Я имею в виду не примечания его, обильные, информативные и очень полезные, а именно сопроводительную статью, объем которой достигает едва не половины объема горьковских заметок. Ничего худого не скажу и о статье: она точна, объективна и достойна по тону. Но факт такого сопровождения говорит о том же: мы продолжаем бояться горьковских текстов. Хотя деться некуда, отступать поздно, прятаться смешно — и вот наконец они опубликованы¹.

Можно спорить о том, вполне ли удачно это сделано. Вайнберг, собственно, перепечатал не газетные статьи, а ту книгу, которую Горький из них составил тогда же, в 1918 году. Но в книгу вошло, во-первых, не все и, во-вторых, не в том порядке, как было в газете. Для книги Горький скомпоновал статьи по «темам» Темы острые: революция — народ — культура — Россия — Европа — Азия... Дело, впрочем, не только в темах. Горький перетасовал статьи весны и осени 1917 года, показывая, что для него Февраль в Октябре отнюдь не кончился. Так или иначе, он это сделал. Последняя воля автора, мог бы сказать в подкрепление своей позиции Вайн-

¹ М. Горький. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. «Литературное обозрение» №№ 9, 10, 12. 1988.

берг. А если не последняя, спрошу я Горький ведь собирался переиздать книжку, дополнив ее другими своими тогдашними статьями; отчасти он это и сделал в берлинском издании того же 1918 года, где некоторые «Несвоевременные мысли» были соединены со статьями других циклов. В 20-е годы Горькому уже не удалось повторить издание. Не будем гадать, почему, оставим этот вопрос биографам. Мы читатели, нам важнее другое — состав мыслей. Как они теперь работают.

Работает ли теперь та «дидактическая» композиция, которую избрал в книге Горький? Не думаю. Дидактика устаревает — остается опыт. Нам важен не «итог», видевшийся Горькому в 1918 году, и даже не «литературный памятник», пусть и замечательный, но сам ход мысли Горького: хронологический свод статей его, соответственно откомментированный.

Надо думать, это и будет сделано в издаваемом сейчас Полном собрании. Но и «литературный памятник», воспроизведенный И. Вайнбергом по горьковской книжке 1918 года, — событие огромной важности. Именно сейчас. Уже хотя бы потому, что оригинала вам не достать. Недоступна читателю не только газета «Новая жизнь», занимавшая, как писалось во время оно, «враждебную позицию в отношении Советской власти», но и книжка Горького, которая продолжает лежать в спецхране (в чем я убедился в апреле 1989 года, когда обратился за нею в лучшую библиотеку страны)

Какой смысл держать книгу в спецхране, когда она переиздана в журнале тиражом в 24 тысячи экземпляров и когда из спецхрана, если верить газетам, выпущены книги куда более «враждебные»? Что, и здесь тугость бюрократов, вечная наша ответчица? Козни врагов перестройки? Бесконечная «русская» бессмыслица и неразбериха?..

Прости, читатель, я отвлекся. Хотя как сказать: именно о российской реальности и думаешь в связи с публикацией давних горьковских статей. И не о тогдашней России, нет. Скорее о «всегдашней». И еще — о нашей теперешней. И не хочется мне влезать ни в горьковедение, ни вообще в литературоведение. Семьдесят лет мы зрели — созрели, слава те, господи, и гениальный старик, великий писатель, сожженный, канонизированный, вмурованный в стену, порывается к нам сквозь нашу трусость и глупость, чтобы помочь нам понять: что с нами происходит?

Это жгучее чтение. Как сейчас написано.

Послушайте:

«— Кто же виноват в дьявольском обмане, в создании кровавого хаоса? Не будем искать виновных в стороне от самих себя. Скажем горькую правду; все мы виноваты в этом преступлении, все и каждый...»

Кажется, это ответ Владимиру Волоухину, который попросил объяснить ему, с какого момента репрессии надо считать незаконными и почему он должен давать ответственность с теми, кто во всем этом виновен.

«— Мы очень легко веруем: народники расписали нам деревенского мужика, точно пряник, и мы охотно поверили — кореш у нас мужик, настоящий китаец, куда до него европейскому мужику... не просто мужики, а всечеловеки!.. У нас верят же потому, что знают и любят, а именно — для спокойствия души, — это вера созерцателей, бесплодная и бессильная... Теперь, когда наш народ свободно развернул перед миром все богатства своей психики, воспитанной веками дикой тьмы... мы начинаем кричать:

— Не верим в народ!

Уместно спросить неверов:

— А почему вы раньше верили?..

Нужно сделать усилие, чтобы не подумать: это написано в ответ на какой-нибудь наш «Круглый стол», посвященный оскудению (или, напротив, неиссякаемости) народолобивой прозы («деревенщико»).

«...На Руси, даже среди профессиональных воров и убийц, есть очень много «совестливых» людей — это всем известно; ограбит человек или убьет ближнего, а потом у него «душа сучает» — болит совесть. Очень многие добрые русские люди весьма утешаются этой «скукой души» — им кажется, что дрябленькая совестливость — признак духовного здоровья, тогда как, вероятнее всего, это просто признак болезненного безволия...»

Ну, тут Горькому и договорить не дадут: на совесть руку поднимает, но наше достояние, на нашу способность каяться — плохо он смотрел фильм Тенгиза Абуладзе...

«Эти люди, видимо, не знают что у нас — лучший в мире балет и — самая отвратительная постановка книгоиздательского дела... Газеты Сибири, изобилующей лешими, печатаются на бумаге, привозимой из Финляндии... мы возим хлопок из Туркестана в Москву для того, чтобы, обработав оный, отвезти обратно из Москвы в Туркестан...»

А это что? Комментарий к Семюнину? К Стреляному? К Нежному? А может,

прошу прощения, намек на песенку: зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей.

Нет, подождите, вот еще:

«Костер зажгли, он горит плохо, воняет Русью, грязневкой, пьяной и жестокой. И вот эту несчастную Русь тащат и толкают на Голгофу, чтобы распять ее ради спасения мира... А западный мир суров и недоверчив, он совершенно лишен сентиментализма... В этом мире дело оценки человека очень просто: вы.. умеете работать?.. Не умеете?.. Тогда... вы—лишний человек в мастерской мира. Вот и все. А так как россияне работать не любят и не умеют, и западноевропейский мир это их свойство знает очень хорошо, то — нам будет очень худо, хуже, чем мы ожидаем...»

Это прямо к суждениям Вл. Цветова о том, почему японцы отказываются строить с нами смешанное производство, почему отказался с нами иметь дело американец Питер Марси (о чем сообщил в «Советской культуре» от 28 января 1989 года). Впрочем, костер и Голгофа — это другое: это комментарий к речам литераторов на Рязанском пленуме, оплакивавших Россию.

«— В чем дело? А в том, видите ли, что среди... большевиков оказалось два еврея. Кажется, даже три. Некоторые насчитывают семерых и убеждены, что эти семеро Самсонов разрушают вдребезги 170-миллионную храмину России».

Привет «Нашему современнику» от «Огонька».

А вот про кооперативы.

Запретили печатать объявления о спросе на труд и о предложениях труда. «Прежде, бывало, возьмешь газету и можешь выбрать по своей специальности предложение, а теперь обоьешь пороги всех союзов и видишь подлые улыбки и грубые шутки, а работы нет...» «Грубые шутки» и вообще грубость уже вошли в практику новой бюрократии...» «Позвольте заявить, что по зубам били достаточно в старину, а если и нынче так, то — не стоит овчинка выделки...»

Простите, но вот еще про мордобой:

«— В этой словесной драке, которую мы для приличия именуем «полемикой» — драчунам нет дела до правды, они взаимно ищут друг у друга словесных ошибок... не столько для доказательства истинности верований своих, сколько для публичной демонстрации своей ловкости...» «Сравнить психологию уличных самосудов с приемами газетной «полемики» — в обоих случаях — и в газетах, и на улицах... одинаково

слепые и бешеные люди... Это — психика людей, которые все еще не могут забыть, что 56 лет назад они были рабами...»¹

А вот что Горький предсказывает в качестве народной реакции на такую гласность:

«...Видя, каким целям служит «свободное слово», эти миллионы легко могут почувствовать пагубное презрение к нему, а это будет ошибка роковая и надолго непоправимая».

Наконец — про всемирно-исторический эксперимент:

«— Россия — как материал для опыта, русский народ... та лошадь, которой ученые-бактериологи прививают тиф для того, чтоб лошадь выработала в своей крови противотифозную сыворотку...»

Довольно. Есть что-то гротескное в этих попаданиях. Я боюсь, что они даже чересчур точны. Что-то вроде фокуса: испытываешь скорее чувство ошарашенности, чем очищения. И читатель, не исключено, воспримет «Несвоевременные мысли» Горького как слишком «своевременные», он обрадуется неожиданной поддержке в злободневных бранях и упустит то глубинное, что потрясает в горьковском наследии.

Там есть нечто, бесконечно более важное и страшное, чем злости дня, угаданные за семьдесят лет. Там есть драма, и она имеет отношение к нашей общей драме. Понять это важнее для нас сегодня, чем взять «Несвоевременные мысли» «на вооружение», растащить на цитаты, подкрепить ими в очередных боях. Есть кое-что и в фундаменте

Один эпизод из октября 1917 года. Большевики дали клич — быть готовым! Горький отказывается от такой готовности, он полагает, что рабочий класс не должен участвовать в бешеной пляске г. Троцкого над развалинами России — тысячами жизней, потоками крови будет заплачено за ошибки и преступления вождей!

Из лагеря большевиков Горькому отвечают. Ответ выдержан отнюдь не в «плясовом стиле г. Троцкого». Я сжато передаю этот ответ именно затем, чтобы вы почувствовали стиль, холодный, спокойный тон ответа, и можете проверить (по третьему тому сочинений И. В. Сталина), что тон именно таков и он делает музыку.

¹ Можно считать что имеется в виду 1861-й: год Освобождения, а можно — что 1932-й: когда Великий Перелом дошел до костей литературы и до стен храма Христа-Спасителя.

— Буржуазия выставила пушки. Ничего. История этого не забудет. С буржуазией и ее подголосками у нас разговор будет особый. Что же до неврастеников из газеты «Новая жизнь», то непонятно, чего, собственно, хотят они от нас. Если они хотят узнать о «дне» восстания, чтобы заранее сбежать, то мы их можем только похвалить за это намерение, ибо мы вообще за ясность. Если они спрашивают о «дне» восстания для того, чтобы успокоить свои «стальные» нервы, то уверяем их, что легче им не станет: как только мы, большевики, сообщим им об этом «на ухо», у них начнется истерика. Если же они просто хотят отмежеваться, то мы их можем опять же только похвалить: этот шаг будет, несомненно, зачтен им кем следует в случае возможных «неудач»...

Ледяной тон этого высказывания должен был задеть Горького куда больше доводов. Знал ли он, что автором этой редакционной газетной заметочки был Сталин? Знал ли в 1917 году вообще, что такое Сталин или даже кто он такой? Даже если не знал персонально, то тембр голоса, донесшегося из-за звуков «бешеной пляски», Горький, несомненно, должен был различить. Слух-то писательский. Тем более что и лично ему кое-что было сказано:

«Русская революция ниспровергла несма-ло авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонялась перед «громкими именами», брала их на службу либо отбрасывала их в бытие, если они не хотели учиться у нее. Плеханов, Кропоткин, Брешковская, Засулич... Мы боимся, что лавры этих «столпов» не дают спать Горькому. Мы боимся, что Горького «смертельно» потянуло к ним, в архив... Что же, вольному воля... Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов...»

Тогда Горький не отступил. Он ответил: «Будьте человечнее в эти дни всеобщего озверения!» И, однако, лежит же путь от этих слов к словам: «Если враг не сдается, его уничтожают!» К Беломорканалу путь и к перековке косной массы в «нового человека» К восхищению железной волей Иосифа Сталина. Как произошла с Горьким эта метаморфоза? И метаморфоза ли? Вот что жизненно важно сегодня высказать.

С этой целью я продолжу стилистические изыскания.

В полемике, которую в 1917—1918 годы ведет против Горького леворадикальная печать (не только «Правда», но и другие,

близкие к ней газеты, не только органы партийные, но и правительственные, вроде «Известий», и вообще более или менее свободные, не только, стало быть, официальные деятели зиновьевского круга, но и «низовые работники»), так вот, когда читаешь эту полемику, поражают не идеи, более или менее общепринятые, поражает густой, непробиваемый образно-философский стиль, в который облакают идеи. Пролетариат, «сбросив с себя оковы векового рабства, неопытными, но могущими руками берется за строительство новой жизни», а Горький вместо того, чтобы «слиться с ним», стоит «в позе безучастного наблюдателя» и отыскивает на теле освободившегося исполина язвы и рубцы... Не пробыешь сквозь образность. Горький — про то, что обворовали артистку Ермолову, а ему в ответ, что «молодой богатырь, творя новую жизнь, задевает своими мускулистыми руками чужое благополучие». Он им про грабеж в Гатчинском дворце, а они ему — про «ломку тысячелетнего уклада», про «хныкающего обывателя», да еще и про «буревестника», ставшего «гагрой».

Этот иносказательный туман настолько плотен, что вряд ли может быть отнесен на счет чистой стилистики. Да какая там стилистика — лубок. У Сталина с его богословским образованием вкуса побольше, чем у поэта Корнилова, да и чем у самого Демьяна Бедного, Сталин про «исполина» и «богатыря» не пишет, у него ассоциации библейские, но и тут многозначительный туман: «окружили мя тельцы мнози тучны» — сквозь метафорические эти тучи совершенно не видны люди. Видны классы людей. Отряды, армии массивы. Силуэты, аллегории. Враги (которые, естественно, не сдаются). Борцы (которые их уничтожают). Нашупывать в этом мифологическом царстве факты человеческого масштаба трудно, но Горький пытается. Он цитирует письма, пересказывает случаи, ссылается на очевидцев. Но и тут создается какое-то странное ощущение, что Горький, в сущности, тоже пишет не о фактах, а о чем-то другом, уже выделенном, вываренном из фактов. Кажется, что в этих письмах и диалогах с очевидцами все продолжается давний, всегдашний, чисто горьковский «философский спос», чередуются «афоризмы и максимы» и все фактическое словно уже пропущено сквозь призму неистребимой русской ийфории, отсчитывающей не от факта, а от какой-то вознесшейся мечты. «Объявляю тебе, друг людей, что по деревням происходит чепуха, потому что солдатам наделяют зем-

лю... и они ревмя ревут. Воротятся с войны мужа их, так из этого будет драка, сделайте одолжение...» Горький невольно любит речью и складом ума своих корреспондентов. Факты прощупываются плохо, они словно реют, висят в сиянии, у них нет почвы. Убили, обманули, ограбили — и все это философема. «Жизнь мира движет социальный идеализм», — пишет Горький. «Идейный максимализм, — считает он, — очень полезен для расхлябанной русской души». Позвольте, так ведь и «господа народные комиссары» думают так же, и они не без «чистого идеализма», и они в своем эксперименте освобождают в человеке то идеальное существо, которое в нем под грязью и подлостью предполагается. Как же Горькому спорить с их экспериментами? И как же анонимным читателям в газете «Правда» не упрекнуть Горького в том, что из «буревестника» он стал «гагарой», когда и «буревестника», и «гагару» он же им и преподал вкупе с Соколом, Ужом и другими мифологемами, окружающими человека... нет, Человека — с большой буквы!

Как сквозь эту стилистику пробиться к тем морякам берегового отряда при военном отделе Красного флота Российской Федеративной Республики, которые были убиты в марте 1918 года, после чего последовала резолюция: «За каждого нашего убитого товарища будем отвечать смертью сотен и тысяч богачей...» Горький пришел в ужас от оргии заложничества. Но как остановишь, как распутаешь это дело, когда нет ни следствия, ни суда, а есть митинг, а на месте конкретных убитых и их конкретных убийц — возвышенный образ «наших лучших товарищей... погибших от предательской руки тиранов» (!?), а на месте приговора — вопль: «За каждую нашу голову — сотню ваших!»

Горький урезонивает моряков в стиле, где абстрактная торжественность совмещена с конкретным чувством полной безнадежности: «Господа моряки! Надобно опомниться. Надо постараться быть людьми. Это трудно, но — это необходимо».

Тайная издевка, которая может почуваться нам сегодня в оксюмороне «господа моряки» возглашенном в марте 1918 года, вряд ли была в замысле Горького. А если и была, то это не характерно. Он не издевается — он взывает. Взует упрямо и безнадежно:

«Позвольте же сказать вам, матери, что злость и ненависть — плохие акушерки», — это женщинам, тем самым «бабам», на ко-

торых теперь жизнь «держится» и которые «проклинают большевиков, мужиков и рабочих».

«Граждане! Культура в опасности!»... «Надо работать, почтенные граждане, надо работать — только в этом наше спасение и ни в чем ином!»... «Будьте человечнее в эти дни всеобщего озверения...»

Да что-то сам он плохо верит в свои призывы. «Я знаю, что нет сердца, которое бы приняло эти слова...» Как с детьми говорит. Как с разошедшимися детьми, которых уже и ремень не остановит. А ремень — плохо: насилие. Стоит и увещевает не веря. И эта безнадежность уходит в какую-то качающуюся под ногами бездну, куда невозможно докричаться, ибо там не отдельные личности, а все то же: «исполины», «богатыри». Когорты, массивы, классы, разряды, типы... Господа моряки. Граждане. Пролетарии. Хныкающие обыватели.

Драма великого писателя, чьи глаза созданы для конкретного видения: он все время соскальзывает с человека к силуэту Человека. Проклинает это, мучается, кричит о своей бессилии. И все-таки не пробивается.

В самые корни русской реальности уходит эта драма.

Народ страшен, а интеллигенция бессильна. Русский народ — огромное дряблое тело; русская интеллигенция — болезненно распухшая от обилия чужих мыслей голова, она связана с туловищем не крепким позвоночником, а какой-то еле различимой тоненькой нервной нитью. Нигде так резко не формулировал Горький это ощущение, как в «Несвоевременных мыслях», и читатель, который возьмет в руки эти тексты, убедится, что я ничего не форсирую и не акцентирую. Ситуация — смертельно опасная. Народ — это азиатская стихия, это жестокий и хитрый травленный зверь, это вечно бунтующий раб, который из отупения и покорности выходит не в свободу, а в анархический разгул, в хамство, обалдение и гульбу. Русский человек, полагает Горький, по фатальной восточной логике тяготеет к равенству в ничтожестве — из дрянной азиатской догадки, что быть ничтожеством проще, легче. Поэтому русский головогяп вечно ищет виноватых на стороне, он ищет врагов где угодно, только не в бездне своей матерой глупости.

Учитывая теперешнюю остроту этих вопросов, можно себе представить, какую реакцию вызовут горьковские мысли у людей, склонных сегодня видеть в «народе» последнюю спасительную инстанцию. Есть

и другая, от Достоевского идущая традиция раздумий о народе: традиция судить о нем не по тем мерзостям, которые он делает, а по той душевной чистоте, которую он хранит во всех мерзостях. Можно с фактами в руках отстоять и ту, и другую характеристики. Только я думаю, что спор этот будет совершенно бессмыслен, то есть вполне «мифологичен». По существу же, речь идет о другом. Не о том, какое представление о «народе» запечатлеть на нашем «знамени», а о том, как быть, как жить, как решать конкретные вопросы вот в этой, данной нам ситуации, вот при этой, распухшей от чужих мыслей голове. вот при этом повальном «азиатском» хамстве добрых людей

Так и у Горького, по существу, именно эта проблема и взвешивается. Есть ведь кое-что и за словами: линия поведения, судьба писателя. Судьба продиктовала Горькому его линию, у него были основания ужасаться всему тому, что он видел вокруг,— он этот ужас вынес из детства, из юности. из свинцовых мерзостей распадающегося крестьянского бытия, из психологии «пригорода», сквозь которую он мучительно шел к культуре.

Эта культура была им воспринята в линейно-просветительском, почти школьном, а лучше сказать — студенческом варианте. Хотя «университеты» у Горького были весьма жизненными, воспринимал-то он их все-таки именно как университеты и вынес на всю жизнь твердую веру: нас спасет просвещение — европейская культура, опытная наука, свободные искусства, новая техника... Духовность — это то, что создается Разумом. Надо возненавидеть страдание и взяться за ум...

Рациональное членение духа, вынесенное Горьким из той «азиатской тьмы», которую он надеялся разогнать прямым «европейским светом», делает у него истину оптически резкой, но трудноощутимой. Как в голографии: объем непреложен, контуры четки, а «потрогать нельзя» — нематериально. Все как в увеличительном стекле: чистота и романтичность, тьма и беспросветность. Конечно, до лубочных «богатырей» и сказочных «исполинов» Горький бы никогда не дошел уже хотя бы по врожденному чувству формы, и все-таки в самой глубине его духа реальность как раз именно и соблазнена формой — в пику ее же рыхлости: на месте человека высится Человек, оптически огромный и головокруглительно высокий. Как до него домахаться «пьяненькому», «хитренькому» русскому мужичку, «травленому зверю»? Как до него

дострадаться бедному россиянину, если страдание ненавидимо и запретно? Увы, дострадаться — не тот путь, надо «дорасти». Задача приобретает просветительский и вполне количественный характер. Нужны учителя, наставники. Нужны перила. Нужны «цепи культуры», а они тонки, и «зверь» с них срывается. Нужны «культурно-ценные люди», мозг нации, учителя жизни, а их морят голодом, не дают пайков. Надо, чтобы художники вторглись силой своих талантов в хаос улицы и умротворили ошалелого гражданина, умерили бы его буйство, облагородили бы его разгулявшиеся инстинкты.

Художники особенно трогательны в этом проекте. Уже в 1910-е годы Горький мог убедиться в том, куда их несет, не говоря уже о 20-х годах, когда художники вторглись в хаос улицы вовсе не с целью умротворить его, а упиться им, возглавить его, раздуть прямо до «мирового пожара». Ученые, «культурно-ценные люди» — те оказались честнее в своем бессилии не столько даже перед хаосом жизни, сорвавшейся с традиционных орбит, сколько перед инстинктивной враждебностью бунтующей массы к интеллекту. Идеи оказались вывернуты, идейные люди — «интеллигенты» — заморочены либо обесилены. Смирить хаос Разуму оказалось не под силу. Горький почувствовал: нужна Воля.

Откуда же возьмется воля в этом царстве рыхлости? Есть у Горького спасительная социальная инстанция: «рабочий класс». Опять-таки из юности вынесено, из «мастерских»: металл надежней земли. Рабочий — аристократ демократии, он культурная сила в мужицкой стране.

Сила... Опять высвечивается в «мифологеме» тот контур, который кажется спасительным.

Но почему в «мифологеме»? Разве рабочий класс не был реальностью в том раскладе сил, который имел перед собой и пытался понять Горький?

Был. Но в том-то и дело, что Горький в этом раскладе сил хотел разглядеть нечто большее — решение духовной загадки. Он-то в «рабочем классе» видел именно «мифологему», спасительную и умопостигаемую. Да еще и всемирную. Реально-то, на ощупь — все шло не «по Павлу Власову». Не только потому, что «лучшие рабочие» полегли на «окаянной войне» еще до 1917 года. И не только потому, что пролетариат, который начал действовать в 1917—1918 годах, оказался отнюдь «не великодушен и не справедлив». Все это Горький увидел. Но было еще од-

но обстоятельство, которого он не видел, но, кажется, предчувствовал. Я попробую передать это с помощью примера из «жгучей современности».

Когда сегодня в ответ на создание Народного фронта в одной из прибалтийских республик начали создавать Интернациональный фронт, выяснилось, что первый состоит преимущественно из «творческой интеллигенции», а второй — из «квалифицированных рабочих». Я подчеркиваю — квалифицированных, то есть никакого особого «перепада уровней» тут нет: современный рабочий высокого разряда не уступает в культуре тому среднему журналисту, который и создает кадровую массу Народного фронта. Однако выясняется, что рабочие в формировании Интернационального фронта все-таки отстали. На вопрос, почему, один из них ответил:

— У меня нет на станке телефона, чтобы во время работы обзванивать единомышленников...

Это в наши дни, когда станок у него — с программным управлением. А в «незабываемом 1919-м»?

Дело не в том, какой функционер из какого слоя выдвигается. Да из любого! Дело в том, что функционер должен выйти ийти из слоя — выйти из строя. Иначе говоря, рабочий должен оставить станок. Воля должна иметь свободные руки.

Другого выхода у Горького нет — рабочий класс выделяет из своей среды особую силу, чтобы удержать народ от впадения в хаос. Впрочем, эта особая сила может вобрать в себя нужных людей и из интеллигенции, и из крестьянства. У Горького было разное отношение к разным ипостасям этой силы, но в том, что сила как таковая необходима, у него сомнений не было. Так сложилось, что с «партией» у него имелись расхождения: он спорил с Лениным, враждовал с Зиновьевым. Но «чекистов», кажется, видел только с героической стороны. Железная воля Иосифа Сталина в конце концов закономерно прорезала себе путь к этой душе Мы-то ищем — закономерность.

Закономерность чего? «Ошибок», которые великий человек совершает, пытаюсь решить задачу нечеловеческой тяжести? Да, и ошибок. Но это не главное для нас. Главное — попытка решить непосильную задачу. Упрямство духа. Сопротивление.

Спорить с властью — опасно: власть действует прагматически, кто не сдается, того уничтожает.

Вставать на пути идущей массы — смертельно опасно: масса, обуреваемая идеей, не разбирает нюансов, она сметает с пути всякого, кто встает поперек.

Сопротивляться власти, которая действует заодно с массой, — не просто смертельно; по здравому смыслу это почти бессмысленно, это абсурдно, потому что в ситуации фанатического одушевления не видны ни циники, ни мародеры, а видна поднимающая людей, действительно великая и чистая идея, сопротивляться ей нечем.

Тем более что сам всю жизнь служил этой самой идее. Психологически положение Горького особенно сложно: его влияние Горького, авторитет, его народная слава, дающие, казалось бы, в его руки сильнейшие козыри, на самом деле имеют оборотную сторону: от него ждут совсем другого. Миллионы людей, привыкших видеть в Горьком «могильщика старого мира», воспринимая любую его попытку спасти какого-нибудь очередного гибнущего интеллигента как акцию в пользу «старого мира», как поворот, как измену. Можно противостоять ненависти, но легко ли противостоять обманывающейся любви? Горький сопротивляется даже не с «нулевой» отметки, но как бы с «отрицательной»: его авторитет едва ли не затрудняет ему сопротивление.

И все-таки он сопротивляется безумию. Ощущение титанической борьбы — вот что выносишь из его драмы 1917-18 годов. От ошибок эта борьба неотделима, она потрясает не «вопреки», а вместе с его ошибками, и мнимыми, и действительными, вместе с романтическими иллюзиями, без которых не реализовалась бы великая драма его жизни. Тут ничего не «выправить» — только вытерпеть.

Этот урок неизмеримо важнее для нас сегодня, чем разительные попадания Горького в «злобу дня» через дистанцию в семьдесят лет; читатель видит — я не без веселости фиксирую эти попадания. Читатель видит и другое: я без всякого злорадства говорю об иллюзиях Горького. Потому что главный урок его — не в выяснении этих иллюзий, нам сегодня их легко выяснять, и отмечаешь эти горьковские слабости скорее умом, чем сердцем.

Сердцем же чувствуешь величие. Величие человека, для которого достоинство личности — ценность безотнотельная. Важнее «позиции», которая корректируется, важнее «злободневности», которая проходит, важнее «принципов», к которым так легко попасть в психологический плен. Людей, которые «не могут по-

ступиться принципами», мы навидались. И для злобы дня мы умеем использовать все что угодно. И позиции корректируем славно. Величие духа — вот в чем мы нуждаемся. Если это есть, остальное можно обсуждать. Там уж возможны варианты, пути. Важен исток сопротивления. Он должен быть — вне корысти, вне интересов. Интересы — это «другое».

В горьковских статьях, вообще говоря, много «другого». Там много попутных, ветвящихся идей. Например, 5 января 1918 года, протестуя против ареста Иракия Цетрели, меньшевика и «учредилловца», Горький замечает, что гражданская война, то есть «взаимоистребление демократии» — это следствие того, что «практические интересы рабочего класса» подменяются «теоретическим торжеством анархо-синдикалистских идей». Что любопытно в этом горьковском замечании? Догадка о том, что теория попирает практику. Эксперимент идет поверх жизни, вразрез с нею. Дело не в том, что идеи — «анархо-синдикалистские», а интересы — «рабочего класса»; идеи могут быть любыми, и они способны выморочить практические интересы любого человека: рабочего, крестьянина, интеллигента. Идеи могут быть «в принципе правильными», но важна практическая готовность людей их правильно воспринять, нужна, скажем так, школа: долгая школа, школа демократии, школа хозяйствования... У Горького эта мысль не развита, она лишь сопутствует его главному борению за Человека и Разум, Пролетариат и Интеллигенцию. Если бы Горький чуть дальше сдвинулся от романтической символики распрямившей его еще с юности, к ощущению конкретной социальной действительности, к эмпирике жизни того самого дремучего россиянина, буйство которого его так мучило, это был бы уже другой, хоть и близкий опыт. И тут нужен был бы, пожалуй, другой писатель, не Горький, а...

Вы догадались, конечно, о ком я думаю. Вы читали, конечно, письма Короленко к Луначарскому — шесть потрясающих документов, только теперь из 1920 года дошедшие до нас¹. Вы понимаете, конечно, что значат для нас эти предсмертные письма великого русского писателя —

публикация, которая по важности, по мощи воздействия и по глубине понимания вещей становится рядом с воскрешенными статьями Горького, в нашей теперешней литературе все это события огромного и далеко идущего значения.

Вот Короленко-то и развивает эту мысль как главную, стержневую: о «теоретическом торжестве» идей над «практическими» возможностями действительности. Идеи все те же: социальный переворот и немедленный марш к социализму. Но вот интересная закономерность: чем менее готово общество, тем более решимости у мечтателей. Американские социалисты не спешат, они считают, что капитализм еще не закончил своего дела, то есть еще не вывел экономику на должный уровень. Зато румыны, где это дело еще дальше от завершения, готовы устроить переворот немедленно. Русские в полунищей стране его и устраивают. Начинается эксперимент. Английские социалисты относятся к нему холодно. Зато социалисты турецкие шлют России «приветы фанатического Востока»: «На площадях перед мечетями.. странствующие дервиши призывают сидящих на корточках слушателей к священной войне с европейцами и вместе к приветствию русской Советской республики.. Едва ли вы скажете, что тут речь идет о прогрессе в смысле Маркса и Энгельса, — с горьким юмором замечает Короленко. — Скорее наоборот: Азия отзывается на то, что чувствует в нас родного, азиатского...»

Переключается с Горьким? Да, переключается. Но не более. «Ткань» размышления иная, основа иная. Тончайшее сплетение научных идей и эмоциональных реакций на эти идеи составляет неповторимый склад публицистической речи Короленко; он эти идеи воспринимает всерьез и отнюдь не романтически, а практически; он жизнь положил на их пропаганду, он в них вдумывается, внедряется, он относится к ним именно как к научным идеям, а не как к символам и антисимволам. Там, где Горький видит лишь «упрощенные переводы анархо-коммунистических лозунгов на язык родных осин» (символ на символ), Короленко ищет реального смысла; он сопоставляет не слова со словами, не символы с символами — он сопоставляет реальные условия, реальные вещи; именно поэтому за словами «свобода мысли, собраний, слова и печати» он ищет реальные элементы повседневной жизни, а не мечтаемые берега вдали, и уж, конечно, ему дико слышать, что все это «буржуазные предрассудки». «Только мы, никогда

¹ Владимир Короленко. Письма к Луначарскому. «Новый мир» № 10. 1988. Говорю «до нас», потому что до зарубежных читателей они дошли еще в 1922 году.

не знавшие вполне этих свобод и не научившиеся пользоваться ими совместно с народом, объявляем их «буржуазным пред-рассудком», лишь тормозящим дело справедливости».

«Это,— пишет он Луначарскому,— огромная ваша ошибка, еще и еще раз напоминающая славянофильский миф о нашем «народе-богоносце» и еще более — нашу национальную сказку об Иванушке, который без науки все науки превзошел и которому все удается без труда, по щучьему велению. Самая легкость, с которой вам удалось повести за собой наши народные массы, указывает не на нашу готовность к социалистическому строю, а, наоборот, на незрелость нашего народа...» «Народ, который еще не научился владеть аппаратом голосования, который не умеет формулировать преобладающее в нем мнение, который приступает к устройству социальной справедливости через индивидуальные грабежи (ваше: «грабь награбленное»), который начинает царство справедливости допущением массовых бессудных расстрелов, длящихся уже годы, такой народ еще далек от того, чтобы стать во главе лучших стремлений человечества. Ему нужно еще учиться самому, а не учить других...» «Не создав почти ничего, вы разрушили очень многое, иначе сказать, вводя немедленный коммунизм, вы надолго отбили охоту даже от простого социализма, введение которого составляет насущнейшую задачу современности...»

Потрясает трезвость, с которой Короленко видит реальность. А ведь видит он ее из 1920 года, задымленного гражданской войной, задавленного разрухой, застланного ненавистью.

Потрясает прямая речь, обращенная вроде бы к Анатолию Васильевичу Луначарскому, но в его лице и через него — к большевикам, к живым и осязаемым собеседникам, которых Короленко хочет и надеется убедить. Горький не надеялся; в его иронических обращениях — надо работать, почтенные граждане! Надо опомниться, господа моряки! — было больше от фигуральной проповеди, чем от деловой программы. А этот хочет докричаться.

Потрясает близость Короленко к фактам, доверие к собственным глазам и ушам, готовность опереться на ту самую «эмпирику», от которой горьковская мысль сокрушенно отлетает. Письма его — не просто великая публицистика, это еще и реальная картина жизни, картина полтавской жизни в 1920 году, точная, докумен-

тированная и — апокалиптическая. Не только в таких ужасающих проявлениях, как бессудные расстрелы, но даже и в повседневной жизни. Уродился в огородах картофель, но доспеть ему не дают — крадут прямо с поля. Вырастившие его хозяева вынуждены выкапывать незрелый, но незрелый лежать не будет — сгниет; запасы из него не сделаешь. «Я видел группу бедных женщин, которые утром стояли и плакали над разоренными ночью грядками. Они работали, сеяли, вскапывали, полли. А пришли другие, порвали кусты, многое затоптали, вырвали мелочь, которой еще надо было доходить два месяца, и сделали это в какой-нибудь час». Вот так: одни потрудились, другие попользовались. Причем эти «другие» — из того же теста, из того же народа, вот в чем ужас. «У нашего народа «при коммунизме» огромная часть урожая прямо погибла от наших нравов». Короленко словами не обманывается, он глядит в почву, его с этой почвой не уведешь. «Коммунизм» есть — подвоза нет.

Неисповедимы пути господни. За тридцать лет до того в Нижнем Новгороде двадцатилетний Алексей Пешков носил свои первые стихи знаменитому ссыльному писателю Короленко, прося «советов и указаний» Ему же потом и первые свои рассказы посылал в недоступный петербургский журнал «Русское богатство». При его помощи вошел в «большую журнальную литературу».

Потом они встали вровень. И в литературе, и в гражданской жизни, где Короленко был признанным бойцом, человеком, который сумел защитить удмуртов в Мултанском деле, спас от смертной казни чеченца Юсупова, никогда не колебался протестовать против погромов и репрессий. Иногда они вставали плечом к плечу — в том же деле Бейлиса. В сущности, они и теперь стоят плечом к плечу: в 1917-м, в 1920-м. Дальше пути расходятся. Одному — Полтава, тщета провинциального опустошения, бессилие, простуда, близкая смерть. Другому — Италия, Сорренто, а потом возвращение к «родным осинам», к кремлевским стенам, к подножию Секирной горы.

И все-таки не было ни полной тщеты, ни безнадежности. Даже в случае Короленко. Конечно, его положение не сравнить с положением Горького в 1918 году. У того — газета, трибуна, возможность ежедневного воздействия на множество людей. У этого — лишь письма, «частные письма», без малейшей перспективы прорваться в российский печать.

В российскую — да. А — в европейскую? Случай Короленко — странное соединение безгласности и гласности. Он пишет безответно, но, кажется, он и не ждет ответов от Луначарского. Более того, похоже, что эти письма спровоцированы Луначарским именно с тем, чтобы замечательный писатель выговорился. Инициатива эта — вызвать Короленку на переписку — принадлежала не Луначарскому, инициатива шла от Ленина. Трудно сказать, читал ли их Луначарский единолично или сразу передавал тому кто был инициатором «переписки», но факт, что Ленин читал письма Короленко; в 1922 году читал их и в книжке, как только они были изданы в Париже.

Весьма современный способ общения читателя и писателя, не правда ли?

Знал ли Короленко, что пишет для «там-издата»? Или, на нынешнем диссидентском языке говоря, он более на «самиздат» надеялся — письма-то его еще до парижских типографов в списках по России читались. Так или иначе, он писал не в пустоту, не в вакуум, не в полную безнадежность.

А если нет и этого? Ни родной газеты, пусть даже и выходящей под ножом, ни зарубежных издателей, пусть даже и далеких, ни возможности пустить текст в списки — ничего! При абсолютно нулевых возможностях может ли человек все-таки найти в себе решимость сказать все, что он думает?

Может.

Восьмидесятипятилетний академик Иван Петрович Павлов шлет в Совнарком письма, протестуя против репрессий. Дело происходит в Ленинграде прямо после злодейского убийства товарища Кирова. На что надеется академик? Что стоит за его плечами? Да ничего, кроме резаных собак в Колтушах, для которых надо еще и жратву выпрашивать. Ни печатного органа «на языке родных осин», ни печатного станка на проклятом Западе, ни литературного стиля, чтобы надеяться, что пойдет текст «в списки». Ничего! Старик пишет — как в глухую стену стучится. И все-таки пишет, все-таки стучится:

«...По моему глубокому убеждению, так называемая вредительность... это главным образом, если не исключительно, — не сознательное противодействие нежелательному режиму, а последствия упадка энергии и интереса...»

«...То, что вы делаете, есть, конечно, только эксперимент и пусть даже грандиозный по отваге... и... как всякий эксперимент, с неизвестным пока окончательным

результатом. Во-вторых, эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни...»

«...Вижу сходство нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий. А у нас это называется республиками. Как это понимать? Пусть, может быть, это временно. Но надо помнить, что человеку, произошедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься...»

«...Это факт, строжайше очевидный, повсюдовый и в большом, и в малом...»

«Вредительность», «культурный покой», «повсюдовый»... Нет, стилистика не та, чтобы тексты шли в списки. Тексты идут единственному адресату, председателю Совнаркома Вячеславу Михайловичу Молотову. А оттуда — в досье, в какие-нибудь «спец-спецхраны», где их до сих пор «не могут найти». В отличие от Молотова академик Павлов в своем интеллигентском архиве сохранил-таки ответы предсовнаркома.

Смысл ответов: не лезьте не в свое дело, многоуважаемый академик. Мы, политические руководители, не лезем же в ваши научные дела...

Во-первых, неправда. Лезли. В конце концов в 1948 году в биологию так влезли, что до сей поры мы у обреченного Запада хлеб покупаем. Во-вторых, что за поразительное убеждение, что массовые политические репрессии — это «их дело» и оно как бы никого кругом не касается. Академик почему-то думает иначе. Он полагает, что террор и «безудержное своеволие власти» касается всех. И его тоже. Он полагает, что беззаконие превращает «нашу и без того довольно азиатскую натуру в позорно-рабскую», и против этого академик протестует. Никакие научные — прав В. М. Молотов — интересы этого не требуют. Достоинство, одно только чистое достоинство. А ведь рискует академик головой. Это иллюзия, будто не посмели бы тронуть. Посмели бы! Вавилова сгноили, не постеснялись «мировой славы».

М. Ярошевский, между прочим, передает мнение одного из врачей, что Павлова умертвили. С тем же диагнозом лежат в могилах и другие мои герои. Вл. Солоухин передает мнение, что убили и Короленку: едва заболел — прибыли из Москвы доктора, помогли отправиться на тот свет. О том, что помогли Горькому, мы знаем с детства. Сначала «отравителями» были «зиновьевско-бухаринские изверги». Потом определение отпало. Изверги остались.

Знаете, что-то нет у меня охоты упираться в этот частно-детективный сюжет,

Угробили — не угробили... Если сорок миллионов угробили и это считалось в порядке вещей, то что прибавят к этому еще три эпизода? И что убавят, если этих трех стариков не угробили, а просто дождались, пока сами помрут?

Да, они не могли изменить тотального положения вещей. Отдельная личность этого не может. Вопрос в другом: как в этом положении вести себя личности? Когда не остается ничего, кроме достоинства, а достоинство — такая неопутимая, такая мелкая, такая незамечаемая эфемерность! Это сегодняшний вопрос. Боюсь, что и завтрашний.

Считается, что Павлов протестовал из «религиозных соображений». Неправда! Он был «атеист-рационалист» и четко говорил это. Он стал «креститься на каждую церковь» в ответ на атеистический террор. Улавливаете логику? Он начал носить царские ордена, когда за это стали преследовать, а при царском режиме он на эти ордена не обращал внимания. По этой же самой логике он посылал свои протесты напрямую в Совнарком и никогда не апеллировал к «международной общественности». Советская власть могла не беспокоиться, что на каком-нибудь международном конгрессе академик Павлов врежет ей правду-матку, ударит в спину — у него такие возможности были; так вот же: как раз за границей он свою страну защищал — правду он предпочитал говорить ей, а не о ней.

Вы понимаете, о чем идет речь? Не о «позициях». А о том, что от «позиций» не зависит вообще. Мне, между прочим, как человеку, стоящему на определенных «позициях», социалист Короленко ближе, чем физиолог Павлов, ищущий наши рефлекссы по аналогии с рефлекссами собак, а ближе всех мне именно Горький, которого я понимаю, люблю и жалею всю мою читательскую жизнь. Но если говорить о достоинстве, об уровне личности, то здесь «континуум» предпочтений ложится в обратную сторону. Публицистический переворот в эпоху перестройки учит нас видеть в литературе не красоту и совершенство текстов, а след и смысл присутствия личности. Так вот, с этой точки зрения письма академика Павлова, опубликованные по копиям частично в газете «Советская культура»¹, а полностью подготовлен-

ные для журнала «Нева», — это огромное, колоссальной нравственной значимости событие в нашей публицистике, в нашей литературе, в нашем сегодняшнем самосознании. Надо только урок извлечь. Не обманываясь «позициями сторон» и не выворачивая эти «позиции» в зависимости от нового вопроса.

По известному анекдоту, ленинградский милиционер, недавно мобилизованный из деревни, глядя, как академик Павлов крестится на церковь, качает ему вслед головой: вот темнота!

Хорошо бы нам не походить на того милиционера. Особенно в наши перестроечные времена, когда позиции интенсивно меняются и в свете тысячелетнего юбилея нашей церкви мы с нею страстно примиряемся, и, как всегда, всем миром.

В заключение — один любопытный эпизод, где пути моих героев в последний раз скрещиваются.

Я где-то читал в мемуарах, что Горький, встретившись с академиком Павловым в первые послереволюционные годы, выразил удивление, что тот верит в бога. Горькому это должно было казаться странным со всех точек зрения: и с «академической», и с человеческой. С «академической» даже больше. Горький, кстати, сам чуть не стал академиком: в царские времена его едва не выбрали (а когда не выбрали, Короленко в знак протеста отказался от звания почетного академика). У Горького шпигет к академии остался на всю жизнь.

И вот он обратился к академику Павлову со словами удивления, что академик верит в бога, когда есть куда более достойный восхищения и более реальный объект — прекрасный человек. И человека такого он, Горький, видит вочуюю. И в доказательство снял перед Павловым шляпу и низко поклонился ему. Павлов пришел в неописуемую ярость. Горький от него отошел, понимая, что чем-то его обидел, но вряд ли в тот момент понимая, чем именно.

Даже если это апокриф, то замечательный.

И нам сегодня тоже не грех понять, где бог, где человек, где «позиция», к которой надо «звать единомышленников», чтобы ее отстаивать «всем миром», а где достоинство и право личности, куда не только «всем миром», но и индивидуально без приглашения вторгаться не следует.

Урок достоинства дают нам наши старики. Наши великие старики, дорого оплатившие свое право давать нам уроки.

¹ «Протестую против безудержного своевластия». Переписка академика И. П. Павлова с В. М. Молотовым. «Советская культура» от 14 января 1989 года.

«Ненавижу войну»

ИЗ ДНЕВНИКА 1920 ГОДА ИСААКА БАБЕЛЯ

3. 8. 20.

Ночь в поле, двигаемся с линейкой в Броды. Город переходит из рук в руки. Та же ужасная картина, полуразрушено, город ждет снова. Питпункт, на окраине встречаюсь с Барсуковым. Еду в штаб. Пустынно, мертво, уныло. Зотов спит на стульях, как мертвец. Спят Бородулин и Поллак. Здание Пражского банка, обобранное и разодранное, клозеты, эти банковские загородки, зеркальные стекла.

Говорят, что начдив в Клёкотове, пробыли в опустошенных, предчувствующих Бродах часа два, чай в парикмахерской Иван стоит у штаба Ехать или не ехать. Едем на Клёкотов, сворачиваем с Лешнювского шоссе, неизвестность, поляки или мы, едем на ощупь, лошади замучены, хромает все сильнее, едим в селе картошку, показываются бригады, неизъяснимая красота, грозная сила двигается, бесконечные ряды, фольварк, имение разрушенное, молотилка, локомотив Клентона, трактор, локомотив работал, жарко.

Поле сражения, встречаю начдива, где штаб, потеряли Жолнаркевича. Начинается бой, артиллерия кроет, недалеко разрывы, грозный час, решительный бой — остановим польское наступление или нет, Буденный Колесникову и Гришину — расстреляю¹, они уходят бледные пешком.

До этого — страшное поле, усеянное порубленными, нечеловеческая жестокость, невероятные раны, проломленные черепа, молодые белые нагие тела сверкают на солнце, разбросанные записные книжки, листки, солдатские книжки, Евангелия, тела в жите.

Впечатления больше воспринимаю умом. Начинается бой, мне дают лошадь. Вижу, как строятся в колонны, цепи, идут в атаку, жалко этих несчастных, нет людей, есть колонны, огонь достигает высочайшей силы, в безмолвии происходит рубка². Я двигаюсь, слухи об отозвании начдива?

Начало моих приключений, двигаюсь с обозами к шоссе, бой усиливается, нашел питпункт, на шоссе обстреляли, свист снарядов, разрывы в 20 шагах, чувство безнадежности, обозы скачут, я прибился к 20-му полку 4-й дивизии, раненые, взводный командир, нет, говорит, не ранен, ударился, профессионалы, и все поля, солнце, трупы, сижу у кухни, голод, сырой горох, лошадь нечем кормить.

Кухня, разговоры, сидим на траве, полк вдруг выступает, мне нужно к Радзивиллову, полк идет к Лешнюву, и я бессилён, боюсь оторваться. Бесконечное путешествие, пыльные дороги, я пересаживаюсь на телегу, Квазимодо, два ишака, жестокое зрелище — этот горбатый кучер, молчаливый, с лицом темным, как Муромские леса.

Едем, у меня ужасное чувство — я отдаляюсь от дивизии Теплится надежда — потом можно будет проводить раненого в Радзивилово, у раненого еврейское бледное лицо.

Въезжаем в лес, обстрел, снаряды в 100 шагах, бесконечное кружение по опушкам.

Песок тяжелый, непролазный. Поэма о лошадях замученных

Пасека, обыскиваем ульи, четыре хаты в лесу — ничего нет, все обобрано, я прошу хлеба у красноармейца, он мне отвечает — с евреями не имею дела, я чужой, в длинных штанах, не свой, я одинок, едем дальше, от усталости едва сажу на лошади, мне надо самому за ней ухаживать, въехали в Коношков, крадем ячмень, мне говорят — ищите, берите, все берите — я ищу сестру по деревне, истерика у баб, забирают через 5 минут после приезда, какие-то бабы бьются, причитают, рыдают невыносимо, тяжело от непрекращающихся ужасов, ищу сестру, у меня непреодолимая печаль, похитил кружку молока у командира полка, вырвал паляницу из рук сына крестьянки

О к о н ч а н и е. Начало см. «Дружбу народов» № 4 за 1989 год.

¹ См. новеллу «Комбриг два»: «— А побежишь — расстреляю, — сказал командарм, улынулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела».

² Этот впечатляющий художественный образ вошел в текст «Конармии»: «И мы услышали великое безмолвие рубки» (новелла «Комбриг два»).

Через 10 минут выезжаем. Вот-те и на! Поляки где-то близко. Опять назад, я думаю, что не выдержу, еще и рысью, сначала еду с командиром, потом пристаю к обозам, хочу пересесть на телегу, у всех один ответ — пристали кони, ну, скинь меня и садись сам, сядь, дорогой, только здесь убитые, я смотрю на рядно, под ним убитые.

Приезжаем в поле, там много обозов 4-й дивизии, батарея, опять кухня, ищу сестер, тяжелая ночь, хочу спать, надо кормить лошадь, я лежу, лошади поедают великолепную пшеницу, красноармейцы в пшенице — бледные, совсем мертвые. Лошадь мучает, я гоняюсь за ней. Пристал к сестре, спим на тачанке, сестра — старая, лысая, вероятно, еврейка, мученица, эта невыносимая брань, повозочный ее сталкивает, лошади путаются, повозочного не разбудить, он груб и ругается, она говорит — наши герои — ужасные люди. Она укрывает его, они спят, обнявшись, несчастная, старая сестра, хорошо бы застрелить возницу, брань, ругань, сестра не от мира сего — засыпаем. Просыпаюсь через два часа — украли уздечку. Отчаяние. Рассвет. Мы в 7 верстах от Радзивилова. Еду на «ура». Несчастливая лошадь, все мы несчастные, полк пойдет дальше. Тргаюсь.

За этот день — главное — описать красноармейцев и воздух.

4. 8. 20.

Двигаюсь один к Радзивилову. Тяжкая дорога. Никого по пути, лошадь пристала, боюсь на каждом шагу встретить поляков. Прошло благополучно, в районе Радзивилова никаких частей, в местечке — смутно, меня посылают на станцию, опустошенное и совершенно привыкшее к переменам, население. Шеко¹ на автомобиле. Я в квартире Буденного. Еврейская семья, барышни, группа из гимназии Бухтевой, Одесса, сердце замерло.

О счастье, дают какао и хлеб. Новости — новый начдив — Апанасенко², новый наштадив — Шеко. Чудеса.

Приезжает Жолнаркевич с эскадромом, он жалок, Зотов³ объявляет, что он смещен, пойду торговать на Сухаревку лепешками что же новая школа, вы, говорит, войска расставлять умеете, в старину умел, теперь без резервов не умею.

У него жар, он говорит то, чего говорить не следовало, перебранка с Шеко, тот сразу поднял тон, начальник штаба приказал вам явиться в штаб, мне сдавать нечего, я не мальчик, чтобы шляться по штабам, оставил эскадрон и уехал. Уезжает старая гвардия, все ломается, вот и нет Константина Карловича.

Еще впечатление — и тяжелое и незабываемое — приезд на белой лошади начдива с ординарцами. Вся штабная сволочь, бегущая с курицами для командарма, относятся покровительно, хамски, Шеко — высокомерен, спрашивает об операциях, тот объясняет, улыбается, великолепная, статная фигура и отчаяние. Вчерашний бой — блестящий успех 6-й дивизии — 1000 лошадей, 3 полка загнаны в окопы, противник разгромлен, отброшен, штаб дивизии — в Хотине. Чей это успех — Тимошенки или Апанасенки? Тов. Хмельницкий — еврей, жрун, трус, нахал, при командарме — курица, поросенок, кукуруза, его презирают ординарцы, нахальные ординарцы, единственная забота ординарцев — курицы, сало, жрут, жирные, шоферы жрут сало, — все на крыльечке перед домом. Лошади есть нечего.

Настроение совсем другое, поляки отступают, Броды хотя ими заняты, снова бьем, вывоз Буденный.

Хочу спать, не могу. Перемены в жизни дивизии будут иметь важное значение. Шеко на подводе. Я с эскадромом. Едем на Хотин, опять рысь. 15 верст сделали. Живу у Бахтурова. Он убит, нет начдива, чувствует, что и ему не быть. Дивизия потрясена, бойцы ходят тихие — нарастает или нет. Наконец-то я поужинал — мясо, мед. Описать Бахтурова, Ивана Ивановича и Петро. Сплю в клуне, наконец-то покой.

5. 8. 20. Хотин

День покоя. Ем, шляюсь по залитой солнцем деревне, отдыхаем, обедал, ужинал — есть мед, молоко.

¹ Я. В. Шеко — с августа 1920 года начальник штаба 6-й дивизии при новом начдиве Апанасенко.

² И. Р. Апанасенко (1890—1943) — в августе—октябре 1920 года командир 6-й кавалерийской дивизии (начдив 6), сменивший в этой должности С. К. Тимошенко.

³ А. С. Зотов (1882—1938) — начальник полевого штаба Первой Конной армии (начполештарм).

Главное — внутренние перемены, все перевернуто.

Надвигая жалко до боли, казачество волнуется, разговоры из-под угла, интересное явление, собираются, шепчутся, Бахтуров подавлен, герой был начдив, теперь командир в комнату не пускает, из 600 — 6000, тяжкое унижение, в лицо бросили — вы предатель, Тимошенко засмеялся, — Апанасенко, новая и яркая фигура, некрасив, коряв, страстен, самолюбив, честолюбив, написал воззвание¹ в Ставрополь и на Дон о беспорядках тыла для того, чтобы сообщить в родные места, что он начдив. Тимошенко был легче, веселее, шире и, может быть, хуже. Два человека, не любили они, верно, друг друга. Шеко разворачивается, невероятно корявые приказы, высокомерие. Совсем другая работа штаба. Обозов и административного штаба нету. Лепин поднял голову — он зол, ту и возражает Шеко.

Вечером музыка и пляска — Апанасенко ищет популярности, круг шире, Бахтурову выбирает лошадь из польских, нынче все ездят на польских, великолепные кони, узкогрудые, высокие, английские, рыжие кони, этого нельзя забыть. Апанасенко заставляет проводить лошадей.

Целый день — разговоры об интригах. Письмо в тыл.

Тоска по Одессе.

Запомнить — фигура, лицо, радость Апанасенки, его любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирает для Бахтурова.

Об ординарцах, связывающих свою судьбу с «господами». Что будет делать Михеев, хромой Сухоруков, все эти Гребушки, Тарасовы, Иван Иванович с Бахтуровым. Все идет следом.

О польских лошадях, об эскадронах, скачущих в пыли на высоких, золотистых, узкогрудых польских конях. Чубы, цепочки, костюмы из ковров.

В болоте завязали 600 коней, несчастные поляки.

6. 80. 20. Хотин

На том же месте. Приводимся в порядок, куем лошадей, едим, перерыв в операциях.

Моя хозяйка — маленькая, пугливая, хрупкая женщина с измученными и кроткими глазами. Боже, как ее мучают солдаты, это бесконечное варено, крадем мед. Приехал домой хозяин, бомбы с аэроплана угнали у него коней. Старик не ел 5 суток, теперь отправляется по белу свету искать своих коней, эпопея. Старый старик.

Знойный день, густая, белая тишина, душа радуется, кони стоят, им молотят овес, возле них целый день спят казаки, кони отдыхают — это на первом плане.

Издredка мелькает фигура Апанасенки, в отличие от замкнутого Тимошенко он — свой, он — отец-командир.

Утром уезжает Бахтуров, за ним свита, слежу за работой нового военкома, тупой, но обгесавшийся московский рабочий, вот в чем сила — шаблонные, но великие пути, три военкома² — обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного рубаку, молодого 23-хлетнего юношу, скромный Ширияев, хитрый Гришин. Сидят в садку, военком выспрашивает, сплетничают, высокопарно говорят о мировой революции, хозяйка страшивает яблоки, потому что все объели, секретарь военкома, длинный, с звонким голосом ходит, ищет пищу.

В штабе новые веяния — Шеко пишет особенные приказы, высокопарные и трескучие, но короткие и энергичные, подает свои мнения Реввоенсовету, действует по собственной инициативе.

Все грустят о Тимошенке, бунта не будет.

Почему у меня непроходящая тоска? Потому, что далек от дома, потому, что разрушаем, идем как вихрь, как лава, всеми ненавидимые, разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде

¹ См. планы и наброски к «Конармии», где неоднократно упоминается Апанасенко. «Литературное наследство». М. 1965. Т. 74.

² В планах и набросках к «Конармии» сохранилась запись под названием «Три военкома» с перечислением фамилий конармейцев. Это Губанов, Ширияев, Винокуров (архив вдовы писателя А. Н. Пирожковой).

Иван Иванович — сидя на скамейке, говорит о днях, когда он тратил по 20 тысяч, по 30 тысяч. У всех есть золото, все набрали в Ростове¹, перекладывая через седло мешок с деньгами и пошел. Иван Иванович одевал и содержал женщин. Ночь, клуна, душистое сено, но воздух тяжелый, чем-то я придавлен, грустной бездумностью моей жизни.

7. 8. 20. Берестечко

Теперь вечер 8. Только что зажглись лампы в местечке. В соседней комнате панихида. Много евреев, заунывные родные напевы, покачиваются, сидят по скамьям, две свечи, неугасимая лампочка на подоконнике. Панихида по внучке хозяйна, умершей от испуга после грабежей. Мать плачет, под молитву, рассказывает мне, мы стоим у стола, горе молотит меня вот уже два месяца. Мать показывает карточку, истертую от слез, и все говорят — красавица необычайная, какой-то командир бегал за яром, стук ночью, поднимали с кровати, рылись поляки, потом казаки, непрерывная рвота, истекла. И главное у евреев — красавица, такой в местечке не было.

Памятный день. Утром — из Хотина в Берестечко. Еду с секретарем военкома Ивановым, длинный, прожорливый парень без стержня, обрванец — и вот, муж певицы Комаровой, мы концертировали, я ее выпишу. <нрзб>

Труп убитого поляка, страшный труп, вздутый и голый, чудовишно.

Берестечко переходило несколько раз из рук в руки. Исторические поля под берестечком, казацки могилы. И вот главное, все повторяется — казаки против поляков, больше — хлоп против пана.

Местечко не забуду, дворы крытые, длинные, узкие, вопочие, всему этому 100—200 лет, население крепче, чем в других местах, главное архитектура, белые водянисто-голубые домики, улочки, синагоги, крестьянки. Жизнь едва-едва налаживается. Здесь было здорово жить — ценное еврейство, богатые хохлы, ярмарки по воскресеньям, особый класс русских мещан — кожевников, торговля с Австрией. контрабанда.

Евреи здесь менее фанатичны, более нарядны, ядрены, как будто даже веселее, старые старики, капоты, старушки, все дышит стариной, традицией, местечко насыщено кровавой историей еврейско-польского гетто. Ненависть к полякам единодушна. Они грабили, мучили, аптекарю раскаленным железом к телу, иголки под ногти, выщипывали волосы за то, что стреляли в польского офицера — идиотизм. Поляки сошли с ума, они губят себя².

Древний костел, могилы польских офицеров в ограде, свежие холмы, давность 10 дней, белые березовые кресты, все это ужасно, дом Ксендза уничтожен, я нахожу старинные книги, драгоценнейшие рукописи латинские. Ксендз Тузинкевич — я нахожу его карточку, толстый и короткий, трудился здесь 45 лет, жил на одном месте, схоластик, подбор книг, много латыни, издания 1860 года, вот когда жил Тузинкевич, квартира старинная, огромная, темные картины, снимки со съездов прелатов в Житомире, портреты папы Пия X³, хорошее лицо. изумительный портрет Сенкевича⁴ — вот он экстракт нации. Над всем этим воняет душонка Сухина. Как это ново для меня — книги, душа католического патера, иезуита, я ловлю душу и сердце Тузинкевича и я ее поймал. Лепин трогательно вдруг играет на пианино Вообще — он иногда поет по-латышски. Вспомнить его босые ножки — умора. Это очень смешное существо

Ужасное событие — разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны, на полу, сестра милосердия утащила три тюка, рвут подкладку, свечи

¹ На торжественном заседании Реввоенсовета, командиров и политкомиссаров Конармии, состоявшемся 14 января 1920 года в Ростове, в выступлениях членов РВС К. Е. Ворошилова и Е. А. Щаденко были сурово осуждены некоторые конармейцев при взятии города. Коммунисты решительно выступили против бандитизма, грабежей и хулиганства в рядах армии. По приговору Ревтрибунала наиболее злостные мародеры были приговорены к расстрелу. Примечательна одна из памяток того периода, обращенная к бойцам Первой Конной: «Кто сбивает мирное население, тот губит Советскую власть» «Красный кавалерист» № 35. 1920 20 января и № 209. 14 августа.

² Историю расправы над аптекарем Бабель подробно описал в очерке «Рыцари цивилизации» («Красный кавалерист» № 209. 14 августа 1920). См: С. Повацков. «Материалы к творческой биографии И. Бабеля». «Вопросы литературы» № 4. 1979.

³ Пий X (1835—1914) — римский папа с 1903 года.

⁴ Г. Сенкевич (1846—1916) — известный польский писатель, автор исторических романов.

забраны, ящики выломаны, буллы выкинута, деньги забраны, великолепный храм — 200 лет, что он видел (рукописи Тузинкевича), сколько графов и хлопов, великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а может быть, Мурильо, и главное — эти святые упитанные иезуиты, фигурка китайская жуткая за покрывалом, в малиновом кунтуше, бородастый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура святого Валента¹. Служитель трепещет, как птица, корчится, мешает русскую речь с польской, мне нельзя прикоснуться, рыдает. Зверье, они пришли чтобы грабить, это так ясно, разрушаются старые боги.

Вечер в местечке. Костел закрыт. Перед вечером иду в замок графов Рациборовских. 70-летний холостяк и его мать 90 лет. Их было всего двое, сумасшедшие, говорят в народе. Описать эту пару. Графский, старичный польский дом, наверное, больше 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, остатки рогов, маленькие комнаты для дворцовых вверх, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 года, *notre petit héros achève 7 semaines*².

Боже, кто писал, когда писали, растоптанные письма, взял реликвии, столетие мать — графиня, рояль Стейнвей, парк, пруд.

Не могу отделаться — вспоминаю Гауптмана³, Эльгу.

Митинг в парке замка, евреи Берестечка, тупой Винокуров, бегает детвора, выбирают ревком, евреи наматывают бороды, еврейки слушают о российском рае, международном положении, о восстании в Индии.

Тревожная ночь, кто-то сказал быть наготове, наедине с чахлым мешуресом, неожиданное красноречие, о чем он говорил?

8. 8. 20. Берестечко

Вживаюсь в местечко. Здесь были ярмарки. Крестьянки продают груши. Им платят давно несуществующими деньгами. Здесь жизнь была ключом — евреи вывозили хлеб в Австрию, контрабанда товаров и людей, близость заграницы.

Необыкновенные сараи, подземелья.

Живу у содержательницы постоялого двора, рыжая тощая сволочь. Ильченко купил огурцов, читает «Журнал для всех»⁴ и рассуждает об экономической политике, во всем виноваты евреи <...> Какие-то приемыши, недавно умершая. История с аптекарем⁵, которому поляки запускали под ногти булавки, обезумевшие люди.

Жаркий день, жители слоняются, начинают оживать, будет торговля.

Синагога, торы⁶, 36 лет тому назад построил ремесленник из Кременца, ему платили 50 рублей в месяц, золотые павлины, скрещенные руки, старинные торы, во всех этих шамесах нет никакого энтузиазма, изжеванные старики, мосты на Берестечко, как всколыхнули, поляки придавали всему этому давно утраченный колорит. Старичок, у которого остановился Корочаев, разжалованный начдив⁷, со своим оруженосцем-евреем. Корочаев был предчека где-то в Астрахани, поковырять его, оттуда посыплется. Дружба с евреем. Пьем чай у старичка. Тишина, благодушие. Слоняюсь по местечку, внутри еврейских лачуг идет жалкая, мощная, неумирающая жизнь, барышни в белых чулках, капоты, как мало толстяков.

Ведем разведку на Львов. Апанасенко пишет послания Ставропольскому исполкорму, будем рубить головы в тылу, он восхищен. Бой у Радзихова, Апанасенко ведет себя молодцом — мгновенная распланировка войск, чуть не расстрелял отступившую 14-ю дивизию. Приближаемся к Радзихову. Газеты московские от 29/VII. Открытие II конгресса

¹ См новеллу «У святого Валента»

² *Notre petit héros achève 7 semaines (франц.)* — «Нашему маленькому герою исполняется семь недель» Заключительная фраза из письма в новелле «Берестечко».

³ Г. Гауптман (1862—1946) — известный немецкий драматург. Эльга — героиня одноименной пьесы Г Гауптмана Действие происходит в Польше.

⁴ «Журнал для всех» — ежемесячный иллюстрированный научно-популярный и литературный журнал, издавался в Петербурге в 1896—1906 годах.

⁵ См. примеч. на с. 250.

⁶ Торы — у евреев книги законов пророка Моисея, «Пятикнижие», то есть первые пять книг Ветхого завета.

⁷ Во время болезни начдива 4 О. И. Городовикова его обязанности исполнял П. Корочаев, затем командовавший одним из полков Первой Конной.

III Интернационала¹, наконец осуществленное единение народов, все ясно: два мира и объявлена война. Мы будем воевать бесконечно. Россия бросила вызов. Пойдем в Европу, покорять мир. Красная Армия сделалась мировым фактором.

Надо приглядеться к Апанасенко. Атаман.

Панихида тихого старика по внучке.

Вечер, спектакль в графском саду, любители из Берестечка, денщик-болван, барышни из Берестечка, затихает, здесь бы пожить, узнать.

9. 8. 20. Лашков

Переезд из Берестечко в Лашков, Галиция. Экипаж начдива, ординарец начдива Левка — тот самый, что цыганит и гоняет лошадей. Рассказ о том, как он плетил соседа Степана, бывшего стражником при Деникине, обижавшего население, возвратившегося в село. «Зарезать» не дали, в тюрьме били, разрезали спину, прыгали по нему, танцевали, эпический разговор: хорошо тебе, Степан? Худо. А тем, кого ты обижал, — хорошо было? Худо было. А думал ты, что и тебе худо будет? Нет, не думал. А надо было подумывать, Степан, вот мы думаем, что ежели попадемся, то зарежете, ну, да <нрзб>, а теперь, Степан, будем тебя убивать². Оставили чуть теплого. Другой рассказ о сестре милосердия Шурке. Ночь, бой, полки строятся, Левка в фэзтоне, сожитель Шуркин тяжело ранен, отдает Левке лошадь, они отвозят раненого, возвращаются к бою. Ах, Шура, раз жить, раз помирать. Ну, да ладно. Она была в заведении в Ростове, скачет в строю на лошади, может отпустить пятнадцать. А теперь, Шурка, поедем, отступаем, лошади запутались в проволоке, проскакал 4 версты, село, сидит, рубит проволоку, проходит полк, Шура выезжает из рядов, Левка готовит ужинать, жрать охота, поужинали, поговорили, идем, Шура, еще разок. Ну, ладно. А где?³

Ускакала за полком, пошел спать. Если жена приедет — убью.

Лашков — зеленое, солнечное, тихое, богатое галицийское село. Живу у дьякона. Жена только что родила. Придавленные люди. Чистая, новая хата, а в хате ничего. Рядом типичные галицийские евреи. Думают — не еврей ли? Рассказ — ограбили, обрубил голову двум курицам, нашел вещи в клаузе, выкопал из-под земли, согнал всех в хату, обычная история, запомнить мальчика с бакенбардами. Рассказывают мне, что главный раввин живет в Белзе, поистребили раввинов.

Отдыхаем, в моем палисаднике 1-й эскадрон. Ночь, у меня на столе лампочка, тихо фыркают лошади, здесь все кубанцы, вместе едят, спят, варят, великолепное, молчаливое содружество. Все они мужиковаты, по вечерам полными голосами поют песни, похожие на церковные, преданность коням, небольшие кучки — седло, уздечка, расписная сабля, шинель, я сплю, окруженный ими.

Сплю днем на поле. Операций нет, какая это прекрасная и нужная вещь — отдых. Кавалерия, кони отходят от этой нечеловеческой работы, люди отходят от жестокости, вместе живут, поют песни тихими голосами, что-то друг дружке рассказывают.

Штаб в школе. Начдив у священника.

10. 8. 20. Лашков

Отдых продолжается. Разведка на Радзихов, Соколовку, Стоянов, все к Львову. Получено известие, что взят Александровск, в международном положении гигантские осложнения, неужели будем воевать со всем светом?

Пожар в селе. Горит клуня священника. Две лошади, бившиеся что есть мочи, сторели. Лошадь из огня не выведешь. Две коровы удрали, у одной потрескалась кожа, из трещин — кровь, трогательно и жалко.

Дым обволакивает все село, яркое пламя, черные пухлые клубы дыма, масса дерева, жарко лицу, все вещи из поповского дома, из церкви выбрасывают в палисаднике. Апанасенко в красном казакине, в черной бурке, гладко выбритое лицо — страшное явление, атаман

Наши казаки, тяжкое зрелище, тащат с заднего крыльца, глаза горят, у всех недовкость, стеснение, неискоренима эта так называемая прищипка. Все хоругви, старинные Четьи-Минеи⁴, иконы вынесены, странные раскрашенные бело-розовые, бело-голу-

¹ II Конгресс Коминтерна открылся 19 июля 1920 года в Петрограде.

² См новеллу «Письмо».

³ Этот «другой рассказ» получил разработку в новелле «Вдова».

⁴ Четьи-Минеи («Чтения ежемесячные») — в древнерусской церковной литературе сборники житий святых, расположенных по месяцам и числам.

бые фигурки, уродливые, плосколицые, китайские или буддйские, масса бумажных цветов, загорится ли церковь, крестьянки в молчании ломают руки, население, испуганное и молчаливое, бегаёт босичком, каждый садится у своей хаты с ведром. Они апатичны, прибиты, нечувствительны — необычайно, они бросились бы даже тушить. С воровством удалось совладать — солдаты, как хищные, затрудненные звери, ходят вокруг батюшких чемоданов, говорят, там золото, у попа можно взять, портрет графа Андрея Шептицкого¹, митрополита Галицкого, мужественный магнат с черным перстнем на большой и породистой <руке>. У старого священника, 35 лет прослужившего в Лашкове, трещит все время нижняя губа, он рассказывает мне о Шептицком, тот не «выхован» в польском духе, из русинских вельмож, «граф на Шептицах», потом ушли к полякам, брат — главнокомандующий польскими войсками, Андрей вернулся к русинам. Своя давняя культура, тихая и прочная. Хороший интеллигентный батюшка, припасший мучку, курицу, хочет поговорить об университетах, о русинах, несчастный, у него живет Апанасенко в красном казакине.

Ночью — необыкновенное зрелище, ярко догорает шоссе, моя комната освещена, я работаю, горит лампочка, покой, душевно поют кубанцы, их тонкие фигуры у костров, песни совсем украинские, лошади ложатся спать. Иду к начдиву. Мне о нем рассказывает Винокуров — партизан, атаман, бунтарь, казацкая вольница, дикое восстание, идеал — Думенко², сочащаяся рана, надо подчиняться организации, смертельная ненависть к аристократии, попам и, главное, к интеллигенции, которую он в армии не переваривает. Институт он кончит — Апанасенко, чем не времена Богдана Хмельницкого?

Глубокая ночь. 4 часа.

11. 8. 20. Лашков

День работы, сидение в штабе, пишу до усталости, день покоя. К вечеру дождь. У меня в комнате ночуют кубанцы, странно — смиренные и воинственные, домовитые и немолодые крестьяне ясного украинского происхождения.

О кубанцах. Содружество, всегда своей компанией, под окном ночью и днем фыркают кони, великолепный запах навоза, солнца, спящих казаков, два раза в день варят огромные ведра похлебки и мясо. Ночью кубанцы в гостях. Бесперывный дождь, они сушатся и ужинают у меня в комнате Религиозный кубанец в мягкой шляпе, бледное лицо, светлые усы. Они истовы, дружелюбны, дики, но как-то более привлекательны, домовиты, меньше ругатели, спокойнее, серьезнее, чем донцы и ставропольцы.

Сестра приехала, как все ясно это надо описать, она стерта, хочет уезжать, там все были — комендант, эти, по крайней мере, говорят, Яковлев, и ужас, Гусев. Она жалка, хочет уходить, грустна, говорят непонятно, хочет о чем-то со мною поговорить и смотрит на меня доверчивыми глазами, мол, я друг, а остальные, остальные слуги (?). Как быстро уничтожили человека, принизили, сделали некрасивым Она наивна, глупа, восприимчива даже к революционной фразе и чудачка, много говорит о революции, служила в Культпросвете ЧК, сколько мужских влиятель.

Интервью с Апанасенко. Это очень интересно. Это надо запомнить Его тупое, страшное лицо, крепкая сбитая фигура, как у Уточкина³.

Его ординарцы (Левка), статные золотистые кони прихлебатели, экипажи, приемный Володя — маленький казак со старческим лицом, ругается, как большой.

Апанасенко — жаден к славе, вот он — новый класс Несмотря на все оперативные дела — отрывается и каждый раз возвращается снова, организатор отрядов, просто против офицерства, 4 Георгия, службист, унтер-офицер, прапорщик при Керенском, председатель полкового комитета, срывает погоны у офицеров, длинные месяцы в Астраханских степях, непререкаемый авторитет, профессионал военный⁴.

Об атаманах, их там много было, доставали пулеметы, дрались со Шкуро⁵ и Ма-

¹ Глава униатской церкви на Западной Украине После Октябрьской революции враг Советской власти

² Б. М. Думенко (1888—1920) — герой гражданской войны, участник разгрома контрреволюции на Дону.

³ С. И. Уточкин (1876—1916) — один из первых русских летчиков, уроженец Одессы.

⁴ О боевом пути И. Р. Апанасенко см.: И. Иванько. «Генерал армии Апанасенко». Ставрополь. 1949; А. Лысенко. «Иосиф Апанасенко». Ставрополь. 1987.

⁵ А. Г. Шкуро (Шкура) (1887—1947) — контрреволюционер. В гражданскую войну командовал кавалерийским корпусом «Вооруженных сил юга России».

монтовым¹, влились в Красную Армию, героическая эпопея. Это не марксистская революция, это казацкий бунт, который хочет все выиграть и ничего не потерять. Ненависть Апанасенко к богатым, к интеллигентам, неугасимая ненависть.

Ночь с кубанцами, дождь, душно, какая-то странная чесотка у меня.

12. 8. 20. Лашков

Четвертый день в Лашкове. Необычайно забытая галицийская деревня. Жили лучше русских, хорошие дома, много добропорядочности, уважение к священникам, честны, но обескровлены, сваренный ребенок у моих хозяев, как он родился и зачем он родился, в матери ни кровинки, где-то что-то беспрерывно скрывают, где-то хрюкают свиньи, где-то, вероятно, спрятано сукно.

Свободный день, хорошее дело — корреспондентство, ежели его не запустать.

Надо писать в газету и жизнеописание Апанасенки².

Дивизия отдыхает — какая-то тишина на сердце и люди лучше — песни, костры, огонь в ночи, шутки, счастливые, апатичные кони, кто-то читает газету, походка в развалку, куют лошадей. Как все это выглядит. Уезжает в отпуск Соколов, даю ему письмо домой.

Пишу — все о трубах, о давно забытых вещах. Бог с вей, с революцией, туда и надо устремиться.

Не забыть бы священника в Лашкове, плохо бритый, добрый, образованный, может быть, корыстолюбивый, какое там корыстолюбие — курица, утка, дом его, хорошо жил, смешливые гравюрки.

Трения военкома с начдивом, тот встал и вышел с Книгой в то время, когда Яковлев, начподив, делал доклад, Апанасенко пришел к военкому.

Винокуров — типичный военком, гнет свою линию, хочет исправлять 6-ю дивизию, борьба с партизанщиной³, тяжелодум, морит меня речами, иногда груб, всем на «ты».

13. 8. 20. Нивица

Ночью приказ — двигаться на Буск — 35 верст восточнее Львова.

Утром выступаем. Все три бригады сосредоточены в одном месте. Я на Мишинной лошади, научилась бежать, но шагом не идет, трусит ужасно. Целый день на коне с начдивом. Хутор Порады. В лесу 4 неприятельских аэроплана, пальба залпами. Три комбрига — Колесников, Корочаев, Книга. Василий Иванович хитрит, пошел на Топоров в обход (Чаныз), нигде не встретил неприятеля. Мы на хуторе Порады, разбитые хаты, извлекаю из люка старуху, голубцы. Вместе с наблюдателем на батарее. Наша атака у леса.

Беда — болото, каналы, негде развернуться кавалерии, атаки в пешем строю, вялость, падает ли мораль? Упорный бой и все же легкий (по сравнению с империалистической бойней) под Топоровым, берут с трех сторон, не могут взять, ураганный огонь (?) нашей артиллерии из двух батарей.

Ночь. Все атаки не уаались. На ночь штаб переезжает в Нивицу. Густой туман, пронзительный холод, лошадь, дорога лесами, костры и свечи, сестры на тачанках, тяжелый путь после дня тревог и конечной неудачи.

Целый день по полям и лесам. Интереснее всех — начдив, усмешка, ругань, короткие возгласы, хмыканья, пожимает плечами, нервничает, ответственность за все, страстность, если бы он там был, все было бы хорошо.

Что запомнилось? Езда ночью, визг баб в Порадах, когда у них начали (прервал писанье, в 100 шагах разорвались две бомбы, брошенные с аэроплана. Мы у опушки леса с запада ст. Майданы) брать белье, наша атака, что-то невидное, нестрашное

¹ К. К. Мамонтов (1869—1920) — генерал-лейтенант, контрреволюционер, в гражданскую войну командовал кавалерийским корпусом «Вооруженных сил юга России».

² Один из сюжетов в планах и набросках к «Конармии» называется «Жизнеописание Апанасенки» (см прим. на с 13) Образ начдива послужил Бабелю импульсом к созданию новеллы «Жизнеописание Павличенки. Матвея Родионьича». Новелла посвящена герою гражданской войны Д. А. Шмидту «начдиву Второй Червонной».

³ По свидетельству секретаря РСВ Первой Конной С. Н. Орловского, 6-я кавдивизия была расформирована 10 октября 1920 года в районе Ракитно. Причиной расформирования явились участвовавшие в дивизии случаи бандитизма. См. С. Орловский «Великий год. Дневник конноармейца» М. Л. 1930. Полный драматизма, этот эпизод под названием «У Ракитно» вошел в пьесу Вс. Вишневского «Первая Конная» (М.-Л. 1931).

издали, какие цепочки, всадники ездят по лугу, издалека все это совершается неизвестно для чего, все это не страшно.

Когда вплотную подошли к местечку, началась горячка, момент атаки, момент, когда берут город, тревожная, лихорадочная, возрастающая, доводящая до отчаяния безнадежности трескотня пулеметов, непрерывные разрывы и над всем этим — тишина сверху и ничего не видно.

Работа штаба Апанасенко — каждый час донесения командарму, выслуживается. Озябшие, усталые приехали в Нивицу. Теплая кухня. Школа.

Пленительная жена учителя, националистка, какое-то внутреннее веселье в ней, расспрашивает, варит нам чай, защищает свою мову, ваша мова хорошая и наша мова, и все смех в глазах. И это в Галиции, хорошо, давно я этого не слышал. Сплю в классе, на соломе рядом с Винокуровым.

Насморк. <...>

18.8.20

Не имел времени писать. Выступили. Выступили 13.8. С тех пор передвижения, бесконечные дороги, флажок эскадрона, лошади Апанасенки, бои, фермы, трупы. Атака на Топоров в лоб, Колесников в атаку, болото, я на наблюдательном пункте, к вечеру ураганный огонь из двух батарей. Польская пехота сидит в окопах, наши идут, возвращаются, коноводы ведут раненых, не любят казаки в лоб. проклятый окоп дымится. Это было 13-го. День 14-го — дивизия движется к Буску, должна достигнуть его во что бы то ни стало, к вечеру подошли верст на десять. Там надо произвести главную операцию — переправиться через Буг. Одновременно ищут брода.

Чешская ферма у Адамы, завтрак в экономии, картошка с молоком. Сухоруков, держащийся при всех режимах, <нрзб>, ему подпекает Суслов, всякие Левки. Главное — темные леса, обозы в лесах, свечи над сестрами, грохот, темпы передвижения. Мы на опушке леса, кони жуют, герои дня аэропланы, авдеятельность все усиливается, атака аэропланов, беспрерывно курсируют по 5-6 штук, бомбы в 100 шагах, у меня пепельный мерин, отвратительная лошадь. В лесу. Интрига с сестрой. Апанасенко сделал ей с места в карьер гнусное предложение, она, как говорят, ночевала, теперь говорит о нем с омерзением, но ей нравится Шеко, а она нравится военкомдиву, который маскирует свой интерес к ней тем, что она, мол, беззащитна, нет средств передвижения, нет защитников. Она рассказывает, как за ней ухаживал Константин Карлович, кормил, запрещал писать ей письма, а писали ей бесконечно. Яковлев ей страшно нравился, начальник регистрационного отдела, белокурый мальчик в красной фуражке, просил руку и сердце и рыдал, как дитя. Была еще какая-то история, но я об ней ничего не узнал. Эпопея с сестрой — и, главное, о ней много говорят и ее все презирают, собственный кучер не разговаривает с ней, ее ботиночки, переднички, она одевает, книжки Бебеля.

«Женщина и социализм»¹.

О женщинах в Конармии можно написать том². Эскадроны в бой, пыль, грохот, обнаженные пашки, неистовая ругань, они с задрывшимися юбками скачут впереди, пыльные, толстогрудые, все б..., но товарищи, и б... погому, что товарищи, это самое важное. обслуживают всем чем могут, героини, и тут же презрение к ним, поят коней, тащут сено, чинят сбрую, крадут в костелах вещи и у населения.

Нервность Апанасенки, его ругня, есть ли это сила воли?

Ночь снова в Нивице, сплю где-то на соломе, потому что ничего не помню, все на мне порвано, тело болит, СТО верст на лошади.

Ночую с Винокуровым. Его отношения к Иванову. Что такое этот прожорливый и жалкий высокий юноша с мягким голосом, увядшей душой, острым умом. Военком с ним невыносимо груб, беспрерывно матом, ко всему придирается, что же ты, и мат, не знаешь, не сделал, собирай манатки, выгоню я тебя.

Надо проникнуть в душу бойца, проникаю все это ужасно, зверье с принципами.

За ночь 2-я бригада ночным налетом взяла Топоров. Незабываемое утро. Мы

¹ «Женщина и социализм» (1879) — известное произведение немецкого социал-демократа, публициста и литературного критика Августа Бебеля (1840—1913).

² Судьба женщины в рядах Конармии весьма интересовала Бебеля, о чем говорят планы и наброски, составленные на основе дневника, а также очерк «Бе день», напечатанный в «Красном кавалеристе» 18 сентября 1920 года за подписью: К. Лютов.

мчимся на рысях. Страшное, жуткое местечко, евреи у дверей как трупы, я думаю, что еще с вами будет, черные бороды, согбенные спины, разрушенные дома, тут же <нрзб>, остатки немецкой благоустроенности, какое-то невыразимое привычное и горячее еврейское горе. Тут же монастырь. Апанасенко сияет. Проходит вторая бригада. Чубы, костюмы из ковров, красные кисеты, короткие карабины, начальники на статных лошадях, буденновская бригада. Смотр, оркестры, здравствуйте, сыны революции. Апанасенко сияет.

Из Топорова — леса, дороги, штаб у дороги, ординарцы, комбриги, мы влетаем на рысях в Буск, в его восточную половину. Какое очаровательное место (18-го летит аэроплан, сейчас будет бросать бомбы), чистые еврейки, сады, полные груш и слив, сияющий полдень, занавески, в домах остатки мещанской, чистой и, может быть, честной простоты, зеркала мы у толстой галичанки, вдовы учителя, широкие диваны, много слив, усталость невыносимая от перенапряжения (снаряд пролетел, не разорвался), не мог уснуть, лежал у стены рядом с лошадьми и вспоминал пыль дороги и ужас обозной толкотни, пыль — величественное явление нашей войны.

Бой в Буске. Он на той стороне моста. Наши раненые. Красота — там горит местечко. Еду к переправе — острое ощущение боя, надо пробегать кусок дороги, потому что он обстреливает, ночь, пожар сияет, лошади стоят под хатами, идет совещание с Буденным, выходит Реввоенсовет, чувство опасности, Буск в лоб не взяли, прощаемся с толстой галичанкой и едем в Яблоновку глубокой ночью, кони едва идут, ночуем в дыре, на соломе, начдив уехал, дальше у меня и военкома нету сил.

1-я бригада нашла брод и переправилась через Бут у Поборжанки. Утром с Винокуровым на переправу. Вот он Бут, мелкая речушка, штаб на холме, я измучен дорогой, меня отправляют обратно в Яблоновку допрашивать пленных. Беда. Описать чувство всадника: усталость, конь не идет, ехать надо далеко, сил нет, выжженная степь, одиночество, никто не поможет, версты бесконечно.

Допрос пленных в Яблоновке. Люди в нижнем белье, есть евреи, белокурые полячки, истомленные, интеллигентный паренек, тупая ненависть к ним, залитое кровью белье раненого, воды не дают, один толстоморднейший тычет мне документы. Счастливицы — думаю я — как вы ушли. Они окружают меня, они рады звуку моего благожелательного голоса, несчастная пыль, какая разница между казаками и ими, жила тонка.

Из Яблоновки еду обратно на тачанке в штаб. Опять переправа, бесконечные переправляющиеся обозы (они не ждут ни минуты, вслед за наступающими частями) грузнут в реке, рвутся построжки, пыль душит, галицийские деревни, мне дают молоко, в одной деревне обед, только что оттуда ушли поляки, все спокойно, деревня замерла, зной, полуденная тишина, в деревне никого, изумительно то, что здесь такая ничем не возмутимая тишина, свет, покой — как будто фронта и в 100 верстах нету. Церкви в деревнях.

Дальше неприятель. Два голых зарезанных поляка с маленькими лицами порезанными сверкают во ржи на солнце.

Возвращаемся в Яблоновку, чай у Лепина, грязь, Черкашин унижает его и хочет бросить, если присмотреться, лицо у Черкашина страшное, в его прямой, высокой как палка, фигуре угадывается мужик — и пьяница, и вор, и хитрец.

Лепин — грязен, туп, обидчив, непонятен.

Длинный нескончаемый рассказ красивого Базкунова, отец, Нижний Новгород, заведующий химотделом, Красная Армия, денкинский плен, биография русского юноши, отец — купец, был изобретателем, торговал с ресторанами московскими. В течение всего пути толковал с ним. Это мы едем на Милатин, по дороге — сливы. В ст. Милатине церковь, квартира ксендза, ксендз в роскошной квартире — это незабываемо, — он ежеминутно жмет мне руку, отправляется хоронить мертвого поляка приседает, спрашивает — хороший ли начальник лицо типично иезуитское, бритое, серые глаза бегают, и как это хорошо, плачущая поляка, племянница, просящая, чтобы ей вернули телку, слезы и кокетливая улыбка совсем по-польски. Квартиру не забыть, какие-то безделушки, приятная темнота иезуитская, католическая культура, чистые женщины и благовоннейший и растревоженный патер, против него монастырь. Мне хочется остаться. Ждем решения — где остаться — в старом или новом Милатине. Ночь. Паника. Какие-то обозы, где-то поляки прорвались, на дороге столпотворение вавилонское. обозы в три ряда, я в милатинской школе, две красивые старые девы, мне стало страшно, как напомнили они мне сестер Шапиро из Николаева, две тихие интеллигентные

галичанки, патриотки, своя культура, спальня, может быть, папилютки, в этом грохочущем, воющем Милатине, за стенами обозы, пушки, отцы командиры рассказывают о подвигах, оранжевая пыль, клубы, монастырь ими заверчен. Сестры угощают меня папирозами, они вдыхают мои слова о том, что все будет великолепно — как бальзам, они расцвели, и мы по-интеллигентски заговорили о культуре.

Стук в дверь. Комендант зовет. Испуг. Едем в Новый Милатин. Н. Милатин. С военкомом в странноприимнице, какое-то подворье, сараи, ночь, своды, прислужница ксендза, мрачно, грязно, мириады мух, усталость, ни с чем не сравнимая, усталость фронта.

Рассвет, выезжаем, должны прорвать железную дорогу — все это происходит 17/VIII, железную дорогу Броды — Львов.

Мой первый бой, видел атаку, собираются у кустов, к Апанасенке ездят комбриги — осторожный Книга, хитрый, приезжает, забрасает словами, тычут пальцами в бугры — по-под лесом, по-над лоцинкой, открыли неприятеля, полки несутся в атаку, шашки на солнце, бледные командиры, твердые ноги Апанасенко, ура.

Что было? Поле, пыль, штаб у равнины, неистово ругающийся Апанасенко, комбригам — уничтожить эту сволочь в... бандажи.

Настроение перед боем, голод, жара, скачут в атаку, сестры.

Гремит «ура», поляки раздавлены, едем на поле битвы, маленький полячок с полированными ногтями трет себе розовую голову с редкими волосами, отвечает уклончиво, виляя, «мекая», ну, да, Шеко, воодушевленный и бледный, отвечай, кто ты — я, мнется — вроде прапорщика, мы отъезжаем, его ведут дальше, парень с хорошим лицом за его спиной заряжает, я кричу — Яков Васильевич! Он делает вид, что не слышит, едет дальше, выстрел, полячок в кальсонах падает на лицо и дергается. Жить противно, убийцы, невыносимая подлость и преступление.

Гонят пленных, их раздевают, странная картина — они раздеваются страшно быстро, мотают головой, все это на солнце, маленькая неловкость, тут же — командный состав, неловкость, но пустяки, сквозь пальцы. Не забуду я этого «вроде» прапорщика, предательски убитого.

Впереди — вещи ужасные. Мы перешли железную дорогу у Задвурдзе. Поляки пробиваются по линии железной дороги к Львову. Атака вечером у фермы. Побойще. Ездил с военкомом по линии, умоляем не рубить пленных¹, Апанасенко умывает руки. Шеко обмолвился — рубить, это сыграло ужасную роль. Я не смотрел на лица, прикалывали, пристреливали, трупы покрыты телами, одного раздевают, другого пристреливают, стоны, крики, хрипы, атаку произвел наш эскадрон, Апанасенко в стороне, эскадрон оделся как следует, у Матусевича убили лошадь, он с страшным, грязным лицом, бежит, ищет лошадь. Ад. Как мы несем свободу ужасно. Ищут в ферме, вытаскивают. Апанасенко — не трать патронов, зарежь. Апанасенко говорит всегда — сестру резать поляков резать.

Ночуем в Задвурдзе, плохая квартира, я у Шеко, хорошая пища, непрерывные бои, я веду боевой образ жизни, совершенно измучен, мы стоим в лесах, кушать целый день нечего, приезжает экипаж Шеко, подвозит, часто на наблюдательном пункте, работа батареи, опущи, лоцины, пулеметы косят поляки главным образом, защищаются аэропланами, они становятся грозными, описать воздушную атаку, отдаленный и как будто медленный стук пулемета, паника в обозах, нервирует, непрерывно планируют, скрываемся от них. Новое применение авиации, вспоминаю Мошера, капитан Фонт-Ле-Ро во Львове, наши странствия по бригадам, Книга только в обход, Колесников в лоб, едем с Шеко в разведку, непрерывные леса, смертельная опасность, на горках, перед атакой пули жужжат вокруг, жалкое лицо Сухорукова с саблей мотаюсь за штабом, мы ждем донесений, а они двигаются, делают обходы.

Бои за Баршовице После дня колебаний к вечеру поляки колоннами пробиваются к Львову. Апанасенко увидел и сошел с ума, он трепещет бригады действуют всем, хотя имеют дело с отступающим, и бригады вытягиваются нескончаемыми лент

¹ Одной из важных задач Политотдела Конармии было воспитание бойцов в духе гуманизма, несмотря на ожесточенные бои с противником. Так, на общем собрании комьячейки 83-го кавполка 14-й дивизии была принята следующая резолюция: «Считается с тем, что Красная Армия есть не национальная, а социальная армия и ее борьба есть борьба классовая, собрание коммунистов 83 кавполка призывает красных бойцов быть покровителями пленных, а не расстреливать их, ибо совесть каждого бойца должна быть незапятнанной». «Красный кавалерист» № 185. 19 июля. 1920. Сцену расстрела пленных см. в новелле «Эскадронный Трунов».

тами, в атаку бросают 3 кавбригады, Апанасенко торжествует. хмыкает, пускает нового комбрига 3 Литовченко взамен раненого Колесникова, видишь, вот они, иди и уничтожь, они бегут, корректирует действия артиллерии, вмешивается в приказания комбатарей, лихорадочное ожидание, думали повторить историю под Задвурдазе, не вышло. Болото с одной стороны, губительный огонь с другой. Движение на Остров, 6-я кавдивизия должна взять Львов с юго-восточной стороны.

Колоссальные потери в комсоставе: ранен тяжело Корочаев, убит его помощник — еврей убит, начальник 34-го полка ранен, весь комиссарский состав 31-го полка выбыл из строя, ранены все наштабриги¹, буденновские начальники впереди.

Раненые ползут на тачанках. Так мы берем Львов, донесения командарму пишутся на траве, бригады скачут, приказы ночью, снова леса, жужжат пули, нас срывает с места на место артогонь, тоскливая боязнь аэропланов, спешу тебя, будет разрыв, во рту скверное ощущение, и бежишь. Лошадей нечем кормить.

Я понял — что такое лошадь для казака и кавалериста.

Спешенные всадники на пыльных горячих дорогах, седла в руках, спят как убитые на чужих подводах, везде гниют лошади, разговоры только о лошадях, обычной мены, азарт, лошади мученики, лошади страдальцы, об них — эпопея, сам проникся этим чувством — каждый переход больно за лошадь.

Визиты Апанасенко со свитой к Буденному. Буденный и Ворошилов на фольварке, сидят у стола. Рапорт Апанасенко, вытянувшись. Неудача особого полка — проектировали налет на Львов, вышли, в особом полку сторожевое охранение, как всегда, спало, его сняли, поляки подкатили пулемет на 100 шагов, изловили коней, поранили половину полка.

Праздник Спаса — 19 августа — в Баршовице, убиваемая, но еще дышащая деревня, покой, луга, масса гусей (с ними потом распорядились Сидоренко или Егор, рубят шашкой гусей на доске), мы едим вареного гуся, в тот день, белые, они украшают деревню, на зеленых <лугах>, население праздничное, но хилое, призрачное, едва вылезшее из хижин, молчаливое, странное, изумленное и совсем согнутое.

В этом празднике есть что-то тихое и придавленное.

Униатский священник в Баршовице. Разрушенный, ископаненный сад, здесь стоял штаб Буденного, и сломанный, сожженный улей, это ужасный варварский обычай — вспоминаю разломанные рамки, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья, их тревожные рои².

Священник объясняет мне разницу между униатством и православием. Шептицкий великий человек, ходит в парусиновой рясе. Толстенный человек, черное, пухлое лицо, бритые щеки, блестящие глазки с ячменем.

Продвижение к Львову. Батареи тянутся все ближе. Малоудачный бой под Островом, но все же поляки уходят. Сведения об обороне Львова — профессора, женщины, подростки. Апанасенко будет их резать — он ненавидит интеллигенцию, это глубоко, он хочет аристократического по-своему, мужицкого, казацкого государства.

Прошла неделя боев — 21 августа наши части в 4-х верстах у Львова.

Приказ — всей Конармии перейти в распоряжение Запфронта. Нас двигают на север — к Люблину. Там наступление³. Снимают армию, стоящую в 4-х верстах от города, которого добивались столько времени. Нас заменит 14-я армия. Что это — безумие или невозможность взять город кавалерией? 45-верстный переход из Баршовице в Адамы будет мне памятен всю жизнь. Я на своей пегой лошаденке, Шеко в экипаже, зной и пыль пыль из Апокалипсиса⁴, удушливые облака, бесконечные обозы, идут все бригады, облака, от которых нет спасения, страшно задыхаешься кругом гром движения, уезжаю с эскадроном по полям, теряю Шеко, начинается самое страшное, езда на моем не поспевающем коньке, бесконечно едем и все рысью, я выматываюсь, эскадрон хочет обогнать обозы, обгоняем, боюсь отстать, лошадь идет, как пух, по инерции, идут все бригады, вся артиллерия оставили для заслона по одному полку, которые должны присоединиться к дивизии с наступлением темноты. Проезжаем ночью через мертвый, тихий Буск. Что особенного в галицийских городах? Смешение

¹ На штабриги — начальники штабов бригад

² См. новеллу «Путь в Броды»

³ В распоряжение Западного фронта кроме Первой Конной были переданы 12-я и 14-я армии, но передача слишком затянулась и наступление на Варшаву было сорвано.

⁴ Апокалипсис, или Откровение святого Иоанна Божьего — последняя часть Нового завета, в которой повествуется о конце света.

грязного и тяжелого Востока (Византии и евреев) с немецким пивным Западом. От Буска 15 км. Я не выдержу. Меняюсь лошадьми. Оказывается, нет покрывки на седле. Ехать мучительно. Каждый раз я принимаю другую позу. Привал в Козлове. Темная изба, хлеб с молоком. Какой-то крестьянин, мягкий и приветливый человек, был военнопленным в Одессе, я лежу на лавке, заснуть нельзя, на мне чужой френч, лошади во тьме, в избе душно, дети на полу. Приехали в Адамы в 4 часа ночи. Шеко спит. Я ставлю где-то лошадь, сено есть, и ложусь в клуню спать.

21.8.20. Адамы.

Испуганные русины. Солнце. Хорошо. Я болен. Отдых. Днем все в клуне, сплю, к вечеру лучше, ломит голова, болит. Я у Шеко живу. Холуй наштадива, Егор. Едим хорошо. Как мы добываем пищу. Воробьев принял 2-й эскадрон. Солдаты довольны. В Польше, куда мы идем — можно не стесняться, с галичанами, ни в чем неповинными, надо было осторожнее, — отдыхают, не сижу на седле.

Разговор с комартидивизионом Максимовым, наша армия идет зарабатывать, не революция, а восстание дикой вольницы.

Это просто средство, которым не брезгует партия.

Два одессита — Мануйлов и Богуславский, опервоенком авиации, Париж, Лондон, красивый еврей, болтун, статья в европейском журнале, помнаштадив, еврей в Кон-армии, я ввожу их в корень. Одет во френч — излишки одесской буржуазии, тяжкие сведения об Одессе. Душат. Что отец? Неужели все отобрали? Надо подумать о доме.

Прихлебательскую.

Апанасенко написал письмо польским офицерам. Бандяги, прекратите войну, сдайтесь, а то всех порубим, пань. Письмо Апанасенки на Дон, Ставрополь, там чинят затруднения бойцам, сыны революции, мы герои, мы неустрашимые, идем вперед.

Описание отдыха эскадрона, визг свиней, тащут курей, агенты, туши на площади. Стирают белье, молотят овес, скачут со снопами, лошади, помахивая ушами, жрут овес. Лошадь это все. Имена: Степан, Миша, Братишка, Старуха. Лошадь — спаситель, это чувствует каждую минуту, однако избить может нечеловечески. За моей лошастью никто не ухаживает. Слабо ухаживают.

22.8.20. Адамы

У Мануйлова — помнаштадив — болит живот. Конечно. Служил у Муравьева¹, чрезвычайка, что-то военно-следственное, буржуй, женщины, Париж, авиация, что-то с репутацией, и он коммунист. Секретарь Богуславский — испуганно молчит и ест.

Спокойный день. Движение дальше на север.

Живу с Шеко. Ничего не могу делать. Устал разбит. Сплю и ем. Как мы едим. Система Каптеры фуражиры, ничего не дают. Прибытие красноармейцев в деревню, обшаривают варят всю ночь трещат печи, страдают хозяйские дочки, визг свиней, к военному с квитанциями. Жалкие галичане.

Эпопея — как мы едим. — Хорошо — свиньи куры, гуси.

«Барахольщики», «молошники» те, которые отстают.

23—24.8.20 Витков

Переезд в Витков на подводе. Институт обывательских подвод, несчастные обыватели, их мотают по две-три недели, отпускают дают пропуск, другие солдаты перехватывают, снова мотают Случай — при нас приехал мальчик из обоза. Ночь. Радость матери

Идем в район Красностав — Люблин. Взяли армию, находившуюся в 4-х верстах от Львова Кавалерия не могла взять.

Дорога в Витков Солнце Галицийские дороги, нескончаемые обозы, заводные лошади разрушенная Галиция, евреи в местечках, уцелевшая ферма где-нибудь, чешская предположим, налет на неспелые яблоки, на пасеки.

О пасеках подробно в другой раз.

В дороге на телеге думаю, тоскую о судьбах революции.

Местечко особенное, построенное после разрушения по одному плану, белые домики, деревянные высокие крыши, тоска

¹ М. А. Муравьев (1880—1918) — командующий Восточным фронтом, левый эсер.

Живем с помнаштадивами, Мануйлов ничего не понимает в штабном деле, муки с лошадьми, никто не дает, едет на обывательских подводах, у Богуславского сиреневые кальсоны, в Одессе успех у девочек.

Солдаты просят спектакля. Их кормят — денщик подвел.

Ночь наштадива — где 33-й полк, где пошла 2-я бригада, телефон, армприказ бригау 1, 2, 3!

Дежурные ординарцы. Устройство эскадронов, командиры эскадронов — Матусевич и бывший комендант Воробьев, неизменно веселый и, кажется, глупый человек.

Ночь наштадива — Вас просят к начдиву.

25.8.20. Сокаль

Наконец город. Проезжаем местечко Тартакув, евреи, развалины, чистота еврейского типа, раса, лавчонки.

Я все еще болен, не могу опомниться от львовских боев. Какой спертый воздух в этих местечках. В Сокале была пехота, город нетронут, наштадив у евреев. Книги, я увидел книги. Я у галичанки, богатой к тому же, едим здорово, курицу в сметане.

Еду на лошади в центр города, чисто, красивые здания, все загажено войной остатками чистоты и своеобразия.

Революционный комитет. Реквизиции и конфискации. Любопытно: крестьянство не трогают совершенно. Все земли в его распоряжении. Крестьянство в стороне.

Объявление революционного комитета.

Сын хозяина — сионист и ein angesprochener Nationalist¹. Обычная еврейская жизнь. Они тяготеют к Вене, к Берлину, племянник, молодой юноша, занимается философией и хочет поступить в университет. Едим масло и шоколад. Конфеты.

У Мануйлова — трения с наштадивом. Шеко посылает его к...

У меня самолюбие, ему не дают спать, нет лошади, вот тебе Конармия, здесь не отдохнешь. Книги — polnische, juden².

Вечером — начдив в новой куртке, упитанный, в разноцветных штанах, красный и тупой, развлекается — музыка ночью, дождь разогнал. Идет дождь, мучительный галицийский дождь, сыпет и сыпет, бесконечно, безнадежно.

Публикация А. Н. ПИРОЖКОВОЙ

Примечания С. Н. ПОВАРЦОВА

¹ Ein angesprochener Nationalist (нем.) — настоящий националист.

² Polnische, juden (нем.) — польские, еврейские.

Позади еще один год...

ЗАСЕДАНИЕ РЕДКОЛЛЕГИИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

24 января 1989 года

Как всегда, в конце января состоялось расширенное заседание редколлегии журнала «Дружба народов», на котором были подведены итоги минувшего года и намечены перспективы на будущее.

Открывая заседание, главный редактор Сергей Баруздин рассказал о сложностях в работе редакции, особо отметил неудовлетворительную организацию подписной кампании на 1989 год, искусственно созданный ажиотаж вокруг нее. Тем не менее тираж журнала в нынешнем году превысил один миллион. Сейчас важно удержать этот уровень, повысив качество публикуемых произведений, добиваясь того, чтобы каждый номер удовлетворял возросшие во времена гласности запросы подписчиков как по форме, так и по содержанию. Задача это не простая, особенно в обстановке конкуренции между изданиями, но выполнимая.

Затем обзор журнала сделал Игорь Дедков. В целом положительно оценив проделанную редакцией работу, он остановился на трудностях формирования номеров журнала с таким обязывающим названием, как «Дружба народов», единственного в своем роде. Главная проблема, отметил он, это выбор самого достойного, что есть в республиках, характерного по национальному своеобразию и колориту именно для этой братской литературы.

Далее критик отметил регулярные выступления журнала на межнациональные и национальные темы. Ни в каком другом издании, сказал он, эти актуальные вопросы не освещаются столь компетентно, как в «Дружбе народов».

Еще одна важная проблема для журнала заключается в поддержке молодых писателей из национальных регионов. Очень хорошо, что в нем печатаются наиболее талантливые, маститые, известные авторы, но нельзя забывать о молодых писателях. А они-то как раз нуждаются в большей поддержке, в большем внимании со стороны журнала.

И. Дедков проанализировал опубликованные в прошлом году произведения, прозу и поэзию, публицистику, подчеркнул важное значение для популярности журнала историко-архивных публикаций.

Об освещении на страницах журнала национальной темы говорил член редколлегии Григорий Корабельников. Он отметил, что у нас в стране нет специальных научно-исследовательских центров по изучению взаимоотношений между народами, развитию культур, языка. Хотя ученых по этим проблемам предостаточно. В этих условиях журнал должен взять на себя функции формирования общественного сознания, выступать за единство и сплоченность братских народов.

Г. Корабельников положительно отозвался о публикации в № 12 подробного отчета о заседании «круглого стола» «Национальный вопрос сегодня», отметил острую дискуссионную статью башкирского писателя Айдара Халима о языках, ряд других материалов на эту тему.

По мнению Г. Корабельникова, журнал слишком увлекается различными анкетами и короткими интервью, в которых проблемы скорее называются, чем глубоко обсуждаются.

«К сожалению, у нас,— сказал в своем выступлении Георгий Ломидзе,— проблемы национальных культур разработаны очень слабо. Нет фундаментальных научных исследований по этим темам». Он объяснил это тем, что десятки лет развитие культур малых народов просто сдерживалось, а то и вовсе отрицалось. Национальное называлось националистическим. Пропагандировалась идея слияния наций и их культур.

Г. Ломидзе выразил неудовлетворение тем, что медленно решаются вопросы, связанные с полной реабилитацией крымских татар и немцев, имевших в свое время автономию в Поволжье.

Высоко оценил работу отдела «Нация и мир», возглавляемого Л. Аннинским, Тимур Пулатов. Вместе с тем он обратил внимание на то, что национальные вопросы тесно связаны с экономическими, социальными и экологическими. И об этом надо

писать больше. Наш журнал, сказал он, почему-то не стал писать о гибели Арала, хотя это была сугубо его тема. А вот «Новый мир» в этом плане сделал много.

Узбекский писатель посоветовал редакции больше внимания уделять армяно-азербайджанским отношениям, судьбе крымских татар и советских немцев. Он привел несколько примеров отношения, унижающего достоинство представителей татарского населения, проживающих в Крыму.

Свое выступление Константин Щербаков посвятил, главным образом, публицистике. Особо он подчеркнул высокий уровень публицистических материалов, опубликованных в первой половине года, назвав такие имена авторов статей и очерков, как А. Стреляный, Г. Лисичкин, Е. Будинас А. Адамович, Г. Шахназаров, Э. Генри, Г. Иссерсон, Я. Рапопорт. К оптимальному варианту, например, приближается шестой номер. Затем наметился некоторый спад. В этой связи К. Щербаков предложил более стабильно и ритмично формировать все номера года. Ситуация такова, что ни одного проходного номера сегодня выпускать нельзя.

Азербайджанский прозаик Акрам Айлисли говорил, что задача журнала сегодня заключается в том, чтобы помочь национальной интеллигенции обрести себя и разбудить совесть народов.

«Очень хорошо, что журнал так активно обратился к важнейшей теме — нация и мир,— сказал в своем выступлении Рафаэль Мустафин. — В союзных и автономных республиках происходит бурление, кипение национальных страстей. И у нас в Казани создано много неформальных организаций и обществ, и почти все они в своих программах так или иначе выходят на национальные проблемы. К сожалению, не все могут определить, что в этих программах позитивное, а что представляет собой какую-то накиль. И вот здесь очень важна роль журнала «Дружба народов».

На событиях, происходящих в Прибалтике, в частности, в Литве, остановился Альгимантас Бучис. Он посетовал, что журнал в последнее время больше внимания уделяет русскоязычным произведениям и меньше печатает материалы из национальных республик. Например, многие острые события, имевшие место в Литве, просто умалчивались в центральной прессе, не писала о них и «Дружба народов». А между тем в Литве сейчас происходит колоссальное переосмысление истории, есть свои белые пятна в истории и литературе, впервые публикуются произведения эмигрантов и писателей, творивших в период 20-х и 30-х годов... Есть очень интересная литература репрессированных в прошлом литовцев. «Дружбе народов» на все это стоит обратить внимание.

Юрий Киришин рассказал о деятельности Института военной истории по изучению и обнародованию архивных документов, подлинных исторических фактов, призвал воспользоваться гласностью и рассказать читателям правду о прошлом.

Об использовании различных архивов в журналистском деле, при создании документальных литературных произведений говорил также Анатолий Иващенко.

В заключение редколлегии приняла решение создать при редакции журнала общественный Совет по межнациональным отношениям.

«Дружба народов»: хроника полувека

ЧАСТЬ V. В ПЕРВОМ РЯДУ (1975 — 1984)

1975 год

Открывается год подборкой из новой книги стихов Леонида Мартынова «Даты».

Меня томят великие заботы,
 Я к Александру Невскому пойду:
 Зачем ты ездил, черт возьми, в Орду?
 Не по душе мне эти извороты!
 И Грозного с престола низведу:
 Почто гневился больно горячо ты?
 И, между прочим, с Кромвелем я счелы
 За крайности кровавые сведу.
 В Истории я наведу порядок!
 Кто как себе затылка ни чешы,
 А не уйдете от моих нападок!
 И, негодую ото всей души,
 Коль слушать не хотите вы добром,
 Вас всех зараз я вычеркну пером...

«Порядок в Истории» — тема, уловленная поэтом в воздухе времени и литературы. Об этом и «Небесный камень» Яана Кросса, и «Сокровища Улугбека» Адыла Якубова — старина, откликающаяся на зов современности, но и современность, взятая в острых социальных ракурсах. у Чингиза Гусейнова в «Магомеде, Мамеде, Мамыше», у Тиркиша Джумагельдыева в «Кальме», у Висвалда Лама в «Итоге всей жизни»; это дипломаты военной поры в романе Саввы Дангулова «Кузнецкий мост», это политури, солдаты и солдатки в повести Елены Ржевской «Февраль — кривые дороги»; это «Кузнецы и чеканщики» Нины Бичуя «Ночные летчики» Владимира Бээкмана, «Горнило» Мушега Галшояна. «Неблагодарный» Нодара Думбадзе, «Хатынгольская баллада» Абиша Кекильбаева, «Невеста моря» Анатолия Кима, «Твой род» Гранта Матевосяна, «Огненный протопоп» Юрия Нагибина, «Владения» Тимура Пулатова, «Женильба Кевонгов» Владимира Санги... Скрещение реальности и мифологии, древности и злободневности, вечной поэзии и живых проблем.

Бетти Алвер и Хута Берулава. Лариса Васильева и Петр Вегин, Евгений Винокуров и Андрей Вознесенский, Иван Драч и Евгений Евтушенко, Танзиля Зумакулова и Мирдза Кемпе. Алим Кешоков и Валентин Колумб, Виталий Коротич и Владимир Костров. Колау Надирадзе и Шота Нишнианидзе. Булат Окуджава и Борис Олейник, Сергей Орлов и Янис Петерс, Расул Рза и Максим Танк, Гулрухсор Сафиева и Марис Чаклайс, Степан Шавлы и Игорь Шкляревский — таков диапазон поэзии года.

«Хлеб соседа» Юрия Черниченко, «Из декабристских архивов» Наташа Эйдельмана, «КамАЗ перед пуском» Рафаэля Мустафина — диапазон публицистики.

Письма с фронта М. Луконина, С. Наровчатова, А. Яшина, Б. Лебского, Б. Слуцкого, А. Туркова, С. С. Смирнова, П. Воронько, Ю. Друниной... еще одна очная ставка человека с Историей.

В разделе «Литературное наследство» — Исаакян, Эминеску, Твардовский: новые переводы, ранее непубликованные стихи.

В «Критике» — статьи Г. Асагиани, М. Асимова, А. Бочарова, П. Браженаса, диалог Ар. Григоряна и В. Кожина, «Заметки о поэтической критике» Л. Лавлинского, статьи И. Дедкова, М. Тычины, М. Чимпя... Обсуждение только что завершенной шеститомной «Истории советской многонациональной литературы».

Можно назвать этот год литературно добротным, а можно литературно ломовым. Репутация журнала, стоящего в первом ряду и отвечающего за ситуацию в литературе, требует постоянного подкрепления.

Двухсоттысячный тираж держится.

1976 год

Никак не умаляя важности разнообразных и ярких произведений этого года (повести Я. Брыля, В. Жалакявичуса, В. Личутина, В. Мартинкуса, М. Траата, рассказы Г. Бакланова, В. Белова, А. Битова, П. Бровки, И. Вильде, В. Гейдеко, В. Дрозда, А. Ткаченко, Ф. Уяра, С. Ханзадяна, А. Якубана — уже вошло в традицию «ДН» раз в год выпускать номер рассказа), отдавая должное весомости и добротности романов М. Ищенко «Течение», Ю. Мушкетика «Белая тень», Б. Шинкубы «Последний из ушедших», А. Эбаноидзе «Брак по-имеретински», следует отметить в 1976 году публикацию четырех произведений, читательский и критический резонанс которых оказался в практике журнала беспрецедентным. Это роман Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа», роман Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов», роман Виталия Семина «Нагрудный знак «ОСТ» и повесть Юрия Трифонова «Дом на набережной». С этими четырьмя публикациями журнал окончательно утверждается на одном из флагманских мест в советской литературной журналистике.

Надо также отметить крупные поэтические циклы и стихи П. Антокольского, К. Ваншенкина, И. Драча, М. Дудина, Жале, Л. Забашты, В. Казанцева, С. Капутикия, А. Кодру, Ю. Кузнецова, Ст. Куняева, Вяч. Куприянова, Р. Лубкиевского, С. Мауленова, А. Межирова, П. Мовчана, М. Нагнибеды, З. Нури, П. Панченко, Л. Первомайского, А. Сийга, Вл. Соколова, З. Тхагазитова, Б. Укачина, Н. Хазри, О. Чиладзе, Л. Шерали, А. Шогенцукова...

В разделе «Новые имена» отметим Атамурада Атабаева, Тимура Зульфикарова, Ольгу Ипатову, Петра Кошеля, Сабита Мадалиева, Рамиза Ровшана.

В разделе очерка и публицистики — «Мартовские всходы» Г. Лисичкина, «Трое в степи» А. Стреляного, «Заботы Неворотова» П. Ребрин...

В «Литературном наследстве» — письма А. Твардовского и М. Исаковского.

В «Критике» — статьи И. Дедкова, В. Кардина, В. Ковского, Л. Новиченко, Г. Петриашвили, Ю. Суровцева, А. Теракопьяна. Два «круглых стола», первый — на тему «Взаимодействие и взаимообогащение литератур народов СССР на современном этапе»; второй — «Проблемы качества художественного перевода». Этот последний (на который собрались поэты, прозаики, практики и теоретики перевода: А. Арипов, Г. Бельгер, Фл. Васильев, В. Ганиев, Л. Гинзбург, Эд. Елигулашвили, А. Еники, Н. Капиева, М. Карим, А. Кекильбаев, Р. Мустафин, О. Нодия, Ю. Покальчук, М. Рудов и С. Семененко) фактически начинает в «ДН» новую рубрику, которая впоследствии делается постоянной и называется: «Художественный перевод: проблемы и суждения».

В течение десятилетия под этой рубрикой публикуются статьи советских и зарубежных переводоведов, дискуссии по острым вопросам перевода, «Форумы», на которых несколько мастеров состязаются в переводе одного стихотворения (оригинал и подстрочник которого печатаются здесь же), а затем дается критический разбор всех предложенных версий. Избранные статьи, напечатанные под новой рубрикой за десять лет ее существования, в 1986 году выходят отдельным томом. Тому предпослано следующее вступление:

«ОТ СОСТАВИТЕЛЯ. Эта книга составлена из статей и материалов, опубликованных в журнале «Дружба народов» под рубрикой «Художественный перевод: проблемы и суждения». Когда эта рубрика открывалась в 1976 году, вряд ли можно было в мечтать, чтобы со временем она встала на обложке книги; даже и насчет журнальных публикаций были опасения: проблематика художественного перевода выглядела в ту пору слишком специальной и узкой, чтобы претендовать на особое внимание литературной общественности, не говоря уже о широком читателе; чаще всего дело ограничивалось привычным сличением перевода и оригинала «по строкам» и рассуждениями о том, что надо бы изжить подстрочник. Действительность, однако, оказалась богаче самых смелых предположений: проблематика художественного перевода быстро вышла за пределы привычных схем и отразила живые и актуальные вопросы сегодняшнего многонационального литературного процесса. Тот факт, что аналогичные разделы вско-

ре появились и в других периодических изданиях («Литературная газета», журналы «Вопросы литературы», «Литературное обозрение»), показателем... При гигантском развитии переводческого дела в современном мире художественный перевод становится коррелятом таких жизненно важных процессов, как взаимодействие и взаимообогащение национальных культур в рамках социалистического общества... Этим жизненным тоном объясняется сегодняшний интерес писателей и читателей к таким традиционно «специальным» проблемам, как переводимость и непереводимость, уровни соответствия перевода оригиналу, соотношение вольности и буквальности и т. д.— при всей теоретической (то есть умозрительной) «неразрешимости» некоторых из этих вопросов они сейчас непрерывно решаются практически...» («Художественный перевод: проблемы и суждения». Сборник статей. М. Изд-во «Известия». 1986.).

1977 год

Год повести. «Страна Бумба» А. Балакаева, «Отзовись, мой жеребенок» О. Бокеева, «Знахарь» А. Борина, «Долгое, долгое детство» М. Карима, «Соловьиное эхо» А. Кима, «Судный день» В. Козько, «Прощальный ужин» С. Крутилина, «Две жизни» М. Мураталиева, «Затмение» Вл. Тендрякова — заметные вехи в развитии многонациональной советской прозы 70-х годов.

Вот необычный роман Вл. Орлова «Гамаюн» — «страницы жизни Александра Блока». Вот романы, исследующие человека в контексте движущейся истории: «Капли дождя» П. Куусберга, «На исходе дня» М. Слущкиса, «Оправдание крови» И. Чигринова.

Вот несколько новелл, продолжающих цикл Ю. Смолича «Мои друзья»: «Корнейчук... Головко... Белецкий... Сенченко... Малышко». Вот рассказы Г. Беса, Е. Гуцало, Ф. Искандера, В. Конецкого, Дж. Менюка, Ю. Нагибина, Е. Попова, В. Семина, А. Скалона, А. Сулакаури, Р. Эзери, А. Якубана...

Главные события года в поэзии: поэмы «Ночные раздумья старого мастера» М. Бажана, «Песнь моей любви» К. Кулиева, «Поэма Прометей» Ю. Марцинкявичюса, поэтические циклы М. Айтхожиной, К. Ваншенкина, Фл. Васильева, О. Вацетиса, Х. Гагуа, Р. Давояна. М. Исмаила, Н. Лайне, Л. Мартынова, Н. Матвеевой, Г. Поженяна, А. Сагияна, Д. Самойлова, Б. Слущкого, М. Стрельцова, С. Хакима, Г. Эмина, И. Шкляревского; под названием «От Руставели до верлибров» — маленькая антология грузинской лирики в переводах Е. Евтушенко.

Скорбный строй башкирских поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны: Х. Мухамадыров, Х. Хайри, Б. Мукамай, Х. Кунакбай, М. Харис, Т. Мурат, С. Киньякай... их стихи предваряет вступлением Мустай Карим.

События в публицистике: «Портрет и время» Е. Яковлева — Ленин на «фоне времени», работа О. Лациса о Дзержинском, очерк М. Галлая «С человеком на борту», «Из записок воспитателя» А. Дрипе. Цикл очерков о культурном лице современного города: Н. Аитов и Н. Харитонов. О. Кучкина, М. Мураталиев. «Лента времени» — воспоминания актера Камиля Ярматова.

В «Критике» и «Проблемах перевода» — материалы совещания в редакции «Современность историко-революционной темы»: А. Тимонен, А. Нурпейсов, Д. Икрами, Л. Новиченко. Заметки В. Леонovichа «Переводчик, сломай карандаш!». Статья Льва Гумилева «С точки зрения Клио». Беседа Л. Лебедевой с Ч. Айтматовым. Отвечая на вопрос о чертах и качествах современной литературы, он, в частности, говорит:

«Раньше я получал сотни писем, которые мне ничего не давали. Это были хорошие, доброжелательные письма, но они (авторы.— Прим. составителя) лишь констатировали факт своего отношения, не больше. А сейчас, казалось бы, благополучное, мирное время, но оно порождает свои и такие сложные проблемы, которые во много раз превосходят трудности военного времени, как это ни парадоксально. Возникают такие жизненные проблемы, о которых мы и не подозревали, с которыми просто не сталкивались в жизни тогда, когда боролись за сохранение самой жизни. В связи с этими новыми сложностями литература должна перестроиться, найти новые ресурсы» (это напечатано в 1977 году.— Прим. составителя.)

1978 год

Самая драматичная публикация года — роман Ивана Мележа «Метели, декабрь», продолжение «Полесской хроники», оказавшееся окончанием, вернее, обрывом ее;

предварять эту публикацию пришлось траурным сообщением, а завершать — монтажом набросков, планов и записей, найденных в бумагах писателя; драматична и история перевода романа с белорусского на русский язык: Дмитрий Ковалев умер, не завершив работы, и «Метели, декабрь» перевела до обрыва текста Г Золотухина.

Еще несколько романов, обретших долгий и заслуженный читательский успех: «Закон вечности» Нодара Думбадзе, «Путешествие дилетантов» (книга вторая) Булата Окуджавы и «Старик» Юрия Грифопова, — определяют облик года.

Необычна повесть Ленарта Мери «Мост в белое безмолвие» — путевой дневник эстонского писателя, где он кроме собственных впечатлений («Северный полюс... Маточкин Шар... Большие Оранские острова...») использует «подлинные материалы Толля, Кука, Форстера, Врангеля, Матюшкина, Даля...».

Несколько «обычных» повестей, получивших резонанс у читателя и критиков: «Контакт» Анара, «Старый колокольчик» В. Близнаца, «Воспоминания Калевипоэга» Э. Ветемаа, «Возвращение Урузмага» Н. Джусойты, «В редкие месяцы на берегу» С. Есына, «Флюгер для семейного праздника» В. Мартинкуса, «Тесна пустыня» А. Мухтара, «Маленькая семья» А. Поцоса, «Байга» А. Хакимова, «Смоковница» Эльчина... Впрочем, усилившееся в прозе конца 70-х годов философское, символическое, мифологическое поветрие, не миновавшее и авторов «Дружбы народов», делает большинство этих повестей не совсем обычными, что можно почувствовать по названию повести А. Алимжанова: «Возвращение Учителя, или Повесть о скитаниях Абу Насра Мухаммеда ибн Мухаммеда ибн Тархана ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки».

Поэзия года: «Можжевельный дым» Б. Бедюрова, «Вспаханное поле» П. Боцу, «Вечное мясо» А. Вознесенского, «Детство» В. Давтяна, «Половинки» И. Зиедониса, «Добрый дождь» Зульфийи, «Времена» М. Карима, «Светотени» А. Кушнера, «Камни на взморье» Я. Петерса, «Начало начал» С. Рустама, «Миг равенства» О. Сулейменова, а также стихи Ф. Алиевой, А. Вергелиса, Л. Дуряна, А. Кешокова, К. Ковальджи, Ю. Кузнецова, Ст. Куняева, С. Попова, М. Танка, Ф. Унгарсыновой, Шукрулло...

Из новых работ переводчиков надо выделить переводы Юнны Мориц из Р. Гамзата, В. Леоновича из Г. Табидзе и Аллы Тер-Акопян из армянской лирики.

По разделу публицистики (или все-таки прозы) отметим воспоминания К. Симона «История одного киноинтервью», которому суждено войти во все позднейшие жизнеописания маршала Г. К. Жукова.

Отметим также очерк Ю. Калешука «Харасавэй», очерк К. Ляско о культурном облик Полтавы (продолжение урбанистической галереи «ДН» — «Культура города — культура народа») и очерк Вл. Турбина о диалогии и Тенгиза Абуладзе («Мольба» — «Древо желания»...).

В разделе критики заметно прозвучали статьи А. Адамовича, М. Бажана, Т. Буачидзе, О. Гончара, И. Друцэ, Л. Промет, Т. Пулатова и других писателей к 150-летию Льва Толстого. В разделе «Художественный перевод...» — диспут Л. Миля и Л. Мкртчяна «Как переводить классику на современный язык?» диалог М. Карима и А. Сийга «Взаимоузнавание», Первый форум переводчиков «ДН»: сонет М. Рьельского в переводах шести мастеров, а следом — статья П. Мовчана с разбором их версий.

Сотня рецензий в разделе «Библиография»...

Тираж журнала вырастает до 210 тысяч. Если 10 тысяч прибавки покажутся читателю этой хроники малосущественными он может заглянуть в ее начало и вспомнить, что именно с этого количества экземпляров начиналась история альманаха.

1979 год

«Дружбе народов» — сорок лет! Год открывается серией приветствий; журналы поздравляют Г. Марков, Н. Тихонов, М. Шагинян, Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян, руководители Нурека и «Нурекгэсстроя»...

МАРИЭТТА ШАГИНЯН. «ПОЧЕТНОЕ СОРОКАЛЕТИЕ»

«Пишу «почетное», хотя для советского журнала сорок лет — совсем не такая уж большая дата. Но дело не в возрасте «Дружбы народов». Дело в том, что этот журнал за короткий сравнительно срок — на наших глазах — сумел вырасти из своего скромного целевого назначения (публикации в русском переводе вещей писателей советских национальных республик и автономных областей) в один из лучших наших толстых журналов вообще.

Он заслужил любовь у читателей и уважение крупнейших советских писателей,

печатающих в нем свои произведения. Из года в год шло углубление его содержания, возрастала требовательность к публикуемому материалу, вкус при его отборе.

«Дружба народов» открыла немало новых имен, ставших из «республиканских» всесоюзными. Она помогла многим молодым талантам найти себя.

За все эти качества, за действительное сближение многонациональных наших литератур — в единый по духу, широчайший многоязыковый фронт великой советской литературы и за высокий темп его качественного развития — мне кажется молодой юбилей журнала «Дружба народов» юбилеем почетным» («ДН» № 1. 1979).

Характеристику года лучше всего начать с «Новых имен». Их, как всегда, немало: Важа Гигашвили, Эльда Грин, Мурад Мухаммед Дост, Алексей Дударев, Ольга Ипатова, Владимир Некляев, Давид Ованес... Одно имя выделяется: пронзительной силой правды и таланта, стремительным взлетом признания, начатым с февральской книжки «ДН», где Константин Симонов напутствует: «Доброго пути, Сашка!» — и следом идет повесть «Сашка» Вячеслава Кондратьева.

Основные публикации года: романы Юсуфа Акибирова «Нурек» (можно сказать в шутку: художественные плоды шефства. — Прим. составителя), «Кузнецкий мост» С. Дангулова (третья книга), «Потерянный» Т. Джумагельдыева, «Евпраксия» П. Загребельного, «Дорога в Россию» Т. Каипбергенова, «Трасса» В. Лама.

Среди авторов повестей по читательской популярности лидирует Юлиан Семенов («ТАСС уполномочен заявить...»), однако спектр художественных манер достаточно широк: Я. Брыль («Рассвет, увиденный издалека»), Т. Зульфикаров («Возвращение Ходжи Насреддина»), В. Козько («Цветет на Полесье груша»), Т. Пулатов («Завсегда-тай»), Я. Стецюк («Супруны»).

Рассказчики: В. Афонин, О. Гончар, В. Дрозд, С. Залыгин, Р. Климас, Г. Ковалевич, Р. Кутуй, П. Куусберг, П. Нилин, Б. Окуджава, М. Слуцкис, В. Токарева, К. Тоноян, С. Турсун... Последний рассказ Виля Липатова (и первый, который он решился предложить «Дружбе народов», а до публикации не дождался) предварен прощальным словом С. Баруздина.

К. Симонов и Ю. Трифонов в своих новеллах рассказывают о К. Федине, так что в прозе журнала зримо присутствует и этот знаменитый писатель.

Среди поэтов: И Абашидзе, М. Бажан, Х. Беххожин, В. Белшевиц, Р. Бородулин, К. Ваншенкин, О. Вацетис, Г. Виеру, А. Вознесенский, Ю. Кузнецов, К. Кулиев, Л. Лавлинский, Лоик, М. Львов, А. Малдонис, Ю. Марцинкявичюс, Э. Межелайтис, А. Межиров, П. Мовчан, Д. Мулдагалиев, И. Нонешвили, Р. Рза, А. Сагиян, Д. Самойлов, Г. Сафиева, В. Соколов, М. Танк, Уйгун, Н. Хазри, И. Шкляревский...

В публицистике — «круглые столы»: «Нечерноземье, пять лет спустя» (разговор происходит в Ядринском районе Чувашии с участием председателей колхозов, руководителей района и республики, а также писателей); «Круглый стол» по проблемам развития Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса.

Во углубление народнохозяйственной проблематики — статьи академика В. Глушкова «Этажи науки», Б. Холопова «Влечение к высоте», О. Лациса «После испытания» очерки А. Стреляного «В селе, у матери».

Ленинская тема: «Карта ГОЭЛРО» и «Апрельские эскизы» Егора Яковлева.

В сильном и разнообразном отделе «Культура и искусство» заметнейшие публикации на вклейках — работы Тогрула Нариманбекова, космические акварели А. А. Леонова; выделяются также очерк Д. Данина «Улетавль» — о Татлине и воспоминания И. Смоктуновского «Время надежд».

В «Критике» имеют резонанс полемические статьи Н. Крымовой и Е. Книпович о прозе Валентина Катаева («Алмазный мой венец»), воспоминания М. Карима об А. Твардовском, заметки В. Ковского о деревенской теме в литературе, статьи М. Мартинайтиса, А. Марченко, Б. Панкина, И. Янскои и В. Кардина...

В течение года — три некролога.

В сентябре — памяти Валерия Гейдеко, прозаика и критика, заместителя главного редактора «Дружбы народов».

В октябре — памяти Константина Симонова, постоянного автора журнала, чья книга «Разные дни войны» выходит приложением к журналу уже после смерти автора.

В декабре — памяти Василия Смирнова, прозаика, главного редактора «Дружбы народов» в 1960—1965 годах.

Тираж журнала вырастает еще на 13 тысяч.

В 1979 году во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об укреплении связи литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства» редакция «Дружбы народов» и общественные организации Коми АССР подписали «Договор о творческом содружестве» между журналом и труженниками Тимано-Печорского территориально-производственного комплекса. Учреждена «Рабочая премия Тимана», которую решено ежегодно присуждать автору лучшего произведения документально-публицистического жанра. Лауреатами «Рабочей премии Тимана» в последующие годы стали: Юрий Калешук за очерк «Прошедшие времена» (1982); Лина Тархова за очерк «Трудно быть исключением» (1983); Эдуард Белтов за очерк «Цена» (1984); Евгений Будинас за подготовку и проведение «круглого стола» в Пярну по проблемам агропрома (1986).

1980 год

Циклы поэтов: М. Алигер, А. Атабаев, И. Аузинь, А. Балтакис, К. Ваншенкин, Г. Вьеру, Х. Гауга, И. Драч, Д. Кугультинов, Р. Кутуй, А. Кушнер, Я. Ругоев, А. Сийг, Г. Эмин... Известные имена. И все-таки перечень циклов, где трудно выделить события, которые стали бы наново определять ситуацию, — показатель некоторого «пробуксовывания» лирики. Две поэмы, каждая из которых имеет свою силу и прелесть — «Колыбель Авиценны» Мумина Каноата и «Талисман Авиценны» Льва Опашина (впрочем, здесь жанр обозначен: «роман в балладах») — не отрицают, а даже усиливают ощущение некоторой тематической монотонности. Поэзия — наиболее чуткий род литературы — уловила, конечно, тот застой, который к концу 70-х годов усилился в общественном сознании; поэзия «Дружбы народов» его тоже «уловила»...

В прозе этого еще не чувствуется. год — яркий: семь романов, среди них замечательные; перечислим все семь: «Чужая вотчина» А. Адамчика. «Твоя заря» О. Гончара, «И всякий, кто встретится со мной...» О. Чиладзе, «Возьму твою боль» И. Шамякина, «Совесть» А. Якубова, «Чай в пять утра» Л. Яцинявичюса и, наконец, «После бури» С. Залыгина, начавшийся (первой книгой) с апрельского номера...

Пять ярких повестей, которые, можно сказать, все стали всесоюзными событиями: «Каратели» А. Адамовича, «Бархан» О. Бокеева, «О, суббота!» Д. Калиновской, «Лотос» А. Кима, «Шестьдесят свечей» В. Тендрякова — острота, разнообразие, мастерство.

Главное событие в публицистике — перемена в шефских горизонтах, и перемена отрадная. Завершено строительство Нурекской ГЭС — завершено многолетнее шефство. В статье «Скращения Вахского треугольника» Бронислав Холопов итожит эту работу. Два месяца спустя опубликованы материалы «Экспедиции «ДН» в Тимано-Печорский территориально-производственный комплекс»: статья первого секретаря Коми обкома КПСС И. П. Морозова и очерки Юрия Калешука и Лины Тарховой; Тимано-Печорский комплекс — новый объект особого внимания журнала.

Надо отметить также очерки Г. Лисичкина «Вклад и отдача», Н. Смелякова «Роза ветров», А. Илларионова «Оседлое кочевье»...

В отделе «Культура и искусство» помимо статей о художниках (выделим «Соотнесенность буквы и линии» П. Мовчана — об украинском графике Василе Лопате) опубликованы воспоминания артиста Мариса Лиэпы «Вчера и сегодня в балете», рассчитанные на самый широкий круг читателей.

В критике — некоторый перевес «круглых столов» над индивидуальными статьями; главные темы: «История и современность в литературах республик Поволжья, Коми АССР и Калмыцкой АССР», «Современная проза: стилевые поиски», «Обсуждение прозы республик Прибалтики...».

Событием в отделе критики перевода является публикация работы Юрия Абызова «Окаменевшие атлеты». Проведено также несколько анкет и дискуссий: «Что такое «перевод автора»?», «Поэма В Маяковского «Владимир Ильич Ленин» (говорят переводчики)». На Втором форуме переводчиков «ДН» — стихотворение Хасана Туфана; переводы этого стихотворения комментирует Р. Мустафин.

Тираж журнала поднимается до 240 тысяч. И застывает.

1981 год

Год прощания с Юрием Трифоновым. Он успел снять последние редакционные вопросы, готовя к печати роман «Время и место», но прочесть уже не успел — роман стал его завещанием.

Такой же посмертной и такой же пронзительной по звучанию вышла публикация Виталия Семина — роман «Плотина». Книги писателей продолжают работать и после смерти писателей...

Два романа давних авторов «ДН»: «Сребропряжи» Энна Ветемаа, «Сабля для эмира» Алима Кешокова. Два романа новых для «ДН» авторов: «Одинокая орешина» Вардгеса Петросяна, «Фальшивый Фауст» Маргеры Зариня.

Черда ярких повестей: «Меньший среди братьев» Г. Бакланова, «Сказание о Юзасе» Ю. Балтушиса, «Алба, отчина моя» В. Василяке, «Кукарача» Н. Думбадзе, «Производственный конфликт» С. Есина, «Черная тропа» И. Кашафутдинова, «По причине души» П. Краснова, «Дождь в июле» М. Магомедова, «Со стороны» Ю. Скопа, «Второе возвращение» С. Турсуна, «Ивановы журавли» И. Чендея, «Небесная душа» Ю. Щеглова, «Танго» А. Якубана.

Урожай рассказов поскромнее: «Мгновения» Ю. Бондарева, К. Ваншенкин, Г. Гуля, Г. Ковалов, Г. Матевосян...

Две поэмы в очередной раз организуют «пространство» лирики: «Донелайтис» Ю. Марцинкявичюса и «Черная гать» И. Шкляревского. Среди публикаций поэтов (В. Белшевиц, Р. Гамзатов, С. Евсеева, П. Зирнитис, Т. Зумакулова, К. Каладзе, Ю. Кузнецов, М. Мартинайтис, Э. Межелайтис, М. Нагнибеда, Ш. Нишнианидзе, А. Сагиян, М. Траат) отнюдь не потерялись «Три песни» Вл. Высоцкого, предваренные вступлением Марины Влади.

Ширятся границы шефства: «Экспедиция «ДН» в Тимано-Печерский ТПК» (статья секретаря Коми обкома КПСС А. Ф. Сюткина, очерки Ю. Калещука, В. Кунина) дополнена материалами из Ядринского района Чувашии (статья секретаря Чувашского обкома КПСС А. П. Петрова); не слабеет и таджикская тема (статья первого секретаря Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана А. И. Бабаева и Б. Холопова).

Заметнейшие материалы года: «Поле без плуга», очерки Федора Моргуна, первого секретаря Полтавского обкома КП Украины: «Дорога на Север» Э. Белтова, «Новое дело» А. Радова и, наконец, имевшая сильнейший резонанс в читательских и хозяйственных кругах работа В. Селюнина «Нерв экономики» (о железных дорогах: «По каждому километру пути мы перевозим в шесть с лишним раз больше грузов, чем американцы... Насколько оправданы астрономические цифры перевозок?» — Разрядка составителя). В такого рода материалах подготавливалась Перестройка...

В критике отметим «круглый стол» «Казахская проза сегодня», статьи И. Дедкова, М. Стрельбицкого, Л. Теракопия; в разделе «Художественный перевод: проблемы и суждения» — две полемики: В. Леонович — П. Мовчан на тему «Надо ли переводить с древнерусского?» и Т. Сумманен — Р. Винонен на тему: «Древний эпос в новом переводе» (на примере русских переводов «Калевалы»).

Еще около сотни рецензий в отделе «Библиографии»...

Тираж замер на 240 тысячах.

1982 год

Год шестидесятилетия Советского государства отмечен в журнале рядом целенаправленных публикаций, причем в разных жанрах. Это и «хроника» Егора Яковлева «Зимой, шестьдесят лет назад. Рассказ в документах», и подборка стихов «В семье великой», где выступает много поэтов разных республик, и Всесоюзная анкета критиков «Единая, многонациональная — опыт, задачи, критерии»... Однако даже с учетом юбилея в журнале ощущается некоторый перевес «рубрик» над материалом и текстов «организованных» над текстами «индивидуальными». В критике это анкеты и «круглые столы»: белорусские писатели А. Адамович, В. Быков, А. Жук, В. Козько и И. Шамякин отвечают на анкету «Что дает нам сегодня память о войне?»; в двух летних номерах журнал печатает материалы грандиозного «круглого стола» на тему «Литература и духовный мир современника», состоявшегося в Ереване; в Ташкенте проходит «круглый стол» на тему: «Гражданственность сегодняшней лирики»...

В отделе публицистики — тоже «круглый стол», в Полтаве: «Хлеб хлебу брат» — Продовольственная программа в действии. На ту же тему беседа В. Можина и А. Стреляного. Еще из актуальных диалогов надо отметить беседу двух Председателей Советов Министров, Белоруссии и Литвы: А. Аксенова и Р. Сонгайлы «Задача дня: комплексный подход».

Остротой в постановке народнохозяйственных проблем отличаются очерки Марка Кострова «Ратча», Эд. Белтова «Цена», Т. Смирновой «Запас прочности».

На широкого читателя рассчитана повесть Рены Шейко «Елена Образцова», напечатанная в разделе «Культура и искусство».

Богат в 1982 году раздел «Литературное наследство»: здесь опубликованы новые переводы из Нарекаци, из Якуба Коласа и Янки Купалы, главы из «Золотой розы» К. Паустовского.

Беспрецедентно «многолюден» раздел «Новые имена»: Ш. Аджинджал, Н. Александрова, С. Будаглы, С. Гырылова, В. Исразян, А. Крутлов, Р. Мишвеладзе, О. Тихомиров, И. Ярьско, Ф. Яруллин, братья Повилас и Пятрас Диргела.

В поэзии уменьшается количество ярких индивидуальных циклов и увеличивается вес тематических подборок («Из югославской поэзии», «Стихи казахских поэтов»), а также дробно-сборных «Поэтических тетрадей». Надо отметить прощальные стихи Александра Орлова (сотрудника «Дружбы народов», умершего год назад) и Владимира Высоцкого, подборку песен которого еще раз представляет читателям Марина Влади, на сей раз вкупе с Андреем Вознесенским.

Особенностью прозаического раздела можно считать перевес рассказа над крупными жанрами. Дважды в 1982 году «Дружба народов» выпускает «номера рассказов» (в январе и в октябре); имена рассказчиков достаточно известны: А. Айвазян, Г. Бакланов, Я. Брыль, Г. Гулиа, Н. Думбадзе, О. Ипатова, Д. Каинчин, Р. Кутуй, В. Поляев, Т. Пулатов, Г. Тютюнник, Г. Юшков; отметим также выступающих в этом жанре поэтов Ф. Алиеву, В. Белшевиц и драматурга Л. Петрушевскую, однако такой перевес малого жанра вряд ли говорит о его расцвете, а скорее об отсутствии таких крупных событий в прозе, которые сделали бы «жанровый вопрос» несущественным и не оставляли бы редакции соблазна для «жарового щегольства» книгами рассказов два раза в год.

Крупная проза: романы «Колесом дорога» Виктора Козько; «...Где отчий дом» Александра Эбаноидзе, «Дашрабат — крепость моя» Тиркиша Джумагельдыева. Еще три романа: «Императорский безумец» Яана Кросса, «Две связки писем» Юрия Давыдова и продолжавшийся роман Сергея Залыгина «После бури», пожалуй, самые яркие в контексте года, погружают нас в историю...

Современная же тема трактуется в повестях. Опубликованы: «Станция переливания крови» С. Ахмедова, «И тут мы расстанемся с ними...» Р. Киреева, «Ташкент» Г. Матевосяна, «Полтора квадратных метра» Б. Можаяева, «Хваткий мой» М. Мураталиева, «Ключ от райских ворот» А. Тагана... При всем мастерстве авторов (и переводчиков, среди которых блистают Анаит Баяндур, Зураб Ахведиани и Ольга Самма) все-таки в общем потенциале прозы ощущается некоторый спад, и этот спад связан с состоянием литературы в целом.

Тираж по-прежнему застыл на отметке около четверти миллиона.

Окончание следует

«Дружба народов» в Ленинграде

В Ленинграде прошло четыре встречи с редколлегией и авторами «Дружбы народов».

Во Дворце культуры «Невский» собралось около тысячи рабочих и инженерно-технических работников производственного объединения «Невский завод» имени Ленина. Гости рассказали о планах журнала, о состоянии многонациональной советской литературы, ответили более чем на сто вопросов, касающихся политических и экономических проблем страны. Один из представителей неизвестного общества «Память» пытался сделать явно провокационное заявление, в частности, выступил с резкими нападениями на журнал «Огонек» и его главного редактора В. А. Коротича. Но он получил отпор как со стороны присутствующих

в зале слушателей, так и со стороны литераторов.

Состоялись встречи дружинцев с творческой интеллигенцией города в Доме актера, Доме кино и Доме композиторов.

В них приняли участие Михаил Дудин, Анатолий Чепуров, Юрий Рытхэу, Александр Кушнер, Поэль Карп, Сергей Антонов, Тимур Пулатов, Леонид Лиходеев, Владимир Корнилов, Лев Аннинский, Елена Мовчан и Игорь Захарошко.

Вели встречи Сергей Варуздин и Леонид Теракопан.

Сбор от литературного вечера во Дворце культуры «Невский» был перечислен на счет № 700412 Жилсоцбанка Армянской ССР в фонд помощи пострадавшим от землетрясения.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ШОТА НИШНИАНИДЗЕ	Как март, переменчива доля... Стихи. С грузинского. Перевод Я. Гольцмана и С. Надеева	3
ЮРИЙ РЫТХЭУ	Путешествие в молодость, или Время красной морошки. Главы из повести	6
НИКОЛАЙ ТРЯПКИН	Горькие песни	33
СЕМЕН ЛИПКИН	Декада Летописная повесть	35
АЛЬМИС ГРИБАУСКАС	...Где незримые глазом плоды. Стихи. С литовского. Перевод В. Асовского	93
ВЛАДИМИР АДМОНИ	Стихи многих лет	106
ВИКТОР НЕКРАСОВ	Маленькая печальная повесть	107
А. БЕРЗЕР	О Викторе Некрасове	142

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ	Рассказы. Публикация И. П. Сиротинской	96
	«Ненавижу войну» Из дневника 1920 года. Исаака Бабея. Окончание. Публикация А. Н. Пирожковой, примечания С. Н. Поварцова	247

НАЦИЯ И МИР

Что такое сегодня автономия!

В совещании приняли участие:

ЛЕОНИД ТЕРАКОПЯН, РАФАЭЛЬ МУСТАФИН,
АЛЕКСЕЙ ГОГУА, АЛЕКСЕЙ ЕРМОЛАЕВ, АХИЯР
ХАКИМОВ, АРКАДИЙ АЙДАК, ЮРИЙ КАЛЕЩУК,
ФАТИМА УРУСБИЕВА, НАЛЬБИЙ КУЕК, НАФИ
ДЖУСОЙТЫ, АРКАДИЙ СОЛОДОВНИКОВ, ЛЕВ
ШИШОВ, СЕРГЕЙ БАРУЗДИН

153

Национальное и провинциальное.

С главным редактором журнала «Огонек»
ВИТАЛИЕМ КОРОТИЧЕМ беседует писатель
ЮРИЙ ПОКАЛЬЧУК

184

КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ	Мечта о деревянном храме	196
----------------	--------------------------	-----

УРОКИ ИСТОРИИ

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНИЧЕНКО	Кнут и пряник	200
--------------------	---------------	-----

КРИТИКА

Л. АННИНСКИЙ	Наши старики	236
	Позади еще один год... Заседание редколлегии «Дружбы народов»	261

К 50-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА

	«Дружба народов»: хроника полувека. Продолжение	263
--	---	------------

К НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ:

НИНО ЗААЛИШВИЛИ, НИКОЛАЙ ТРУФАНОВ	Оттенки кутаисского пленэра	30
--------------------------------------	------------------------------------	-----------

НА ОБЛОЖКЕ:

на второй странице —

Г. ДМИТРИЕВ.
В. Пуль. Человек придумал книгу.
Иллюстрация.

на третьей странице —

Г. ДМИТРИЕВ.
В. Пуль. Человек придумал книгу.
Иллюстрации.
Фирменный знак издательства «Искусство».

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.



ГИВИ ТОИДЗЕ. Тбилиси.

Старый Кутаиси.

ВТОРОЙ КУТАИССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕНЭР



РЕЙН КЕЛЬПМАН. Эстония.

В парке.



ХАДЖИ НИКОЛОВ. Болгария.

Городской пейзаж.



ЯНУШ ВАГНЕР. Венгрия.

Хлеб и вино.



ВАЛЕРИЙ МАРГИАНИ. Тбилиси.

Набережная Риони.

ВТОРОЙ КУТАИССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕНЭР



КАРИНЭ НАЗАРОВА. Москва.

Свадьба.



ДЖАВА ЧЕИШВИЛИ. Кутаиси.

Гелати.

ГОРДИАН ДМИТРИЕВ



Известный график Гордиан Дмитриев родился в 1929 году в городе Москве. Окончил Московский полиграфический институт. Работал главным художником издательств «Искусство» и «Планета». Наибольшую известность принесли ему работы в области книжной графики, где он проявил себя как мастер шрифта и конструирования. Строгость, сдержанность и монументальность определяют характер его работ. За годы творчества Г. Дмитриевым оформлено более 600 книг, среди них собрание сочинений Твардовского, сборники стихов Ярослава Смелякова, Наровчатова, Фатьянова, книги о Пушкине. Его работы неоднократно отмечались на отечественных и международных выставках.



В. Пуль. Человек придумал книгу.
Иллюстрации.

Фирменный знак издательства «Искусство».

1 р. 10 к.

Индекс 70250

**Дружба
5'89 народов**

ISSN 0012—6756. Дружба народов, 1989, № 5, 1—272